

Н О В Ы Е  
М И Р

Н О В Ы Е  
М И Р

1949

1

1949



# Н(О)ВЫЕ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXV

№ 1

Январь, 1949 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

*К 25-летию со дня смерти В. И. Ленина*

	Стр.
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Живой Лени, стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский	3
АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ — Памяти Ленина, стихотворение	5
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — Начинается день, стихотворение	8
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Горцы в Кремле, стихотворение. Перевели с аварского Л. Озеров и Д. Самойлов	9
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — Ночь в Смольном, стихотворение	12
—	
АЛЕКСАНДР ГОНЧАР — Злата Прага, роман. Перевел с украинского Лев Шапиро	17
А. МИТРСФАНОВ — Под старым вязом, повесть	115
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Пути моей Беларуси, стихотворение. Перевел с белорусского Дмитрий Осин	195

### КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

СОКРОВИЩНИЦА ЛЕНИНИЗМА. Издание произведений В. И. Ленина в СССР (По материалам Всесоюзной Книжной палаты)	197
—	
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — Калевала	202
К. ЗЛИНСКИЙ, Е. КОВАЛЬЧИК — Литературный дневник (Ноябрь—декабрь 1948 года)	218

#### На зарубежные темы

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Поэзия Пабло Неруды	240
Книжное обозрение	
<i>Литература и искусство</i>	
	253

Аи. Тарасенков. Поэма о Коммунистическом Манифесте. — Федор Левин. «Своя правда» и правда государственная. — Юрий Герман. Писатель идет по стране. — Сергей Колдунов. Поэзия в походе. — С. Григорьева. Повесть о белорусских строителях. — Н. Лесючевский. Это и есть социализм. — Алиса Марголина. Однополчане. — Н. Шкляр. Герои и хищники. — Виктор Важаев. Первая книга поэта для детей. — Павел Нилин. Очерки о шахтерах. — А. Лейтес. Облик предателей.

(См. на обороте).

---

---

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр
<i>История, международные отношения, военная наука</i>	276
Профессор <b>К. Базилевич</b> . Великий русский флотоводец. — Полковник <b>Н. Денисов</b> . «Вторые глаза» человека. — Генерал-майор <b>И. Зубков</b> . Выдающийся русский полководец. — Профессор <b>И. Звавич</b> . Ватикан на службе Уолл-стрита. — <b>Н. Сергеева</b> . Голос трезвого американца.	
<i>Экономика и право</i>	285
<b>Е. Касимовский</b> . Резервы советской промышленности. — <b>В. Чепраков</b> . Грубые ошибки в работе профессора <b>К. Лукашева</b> . — Член-корреспондент Академии наук СССР <b>А. Трайнин</b> . Американский суд. — <b>С. Зайцев</b> . Литература к выборам народных судов.	
<i>Техника и сельское хозяйство</i>	291
Кандидат технических наук <b>А. Шмыков</b> . Справочник «Машиностроение». — Доктор физико-математических наук <b>Н. Слезкин</b> . Научное наследие <b>Н. Е. Жуковского</b> . — <b>Геннадий Фиш</b> . Книга академика <b>В. Вильямса</b> . — Академик <b>И. Варунян</b> . Теоретические основы советской агробиологии. — <b>И. Хохлов</b> . Книга о советском пчеловодстве.	
<i>Медицина</i>	297
Доктор медицинских наук <b>П. Дьяконов</b> . Советский анатомический атлас. — Доктор медицинских наук <b>М. Мультиановский</b> . Библиотека практического врача.	
<i>География</i>	300
<b>Сергей Марков</b> . Русские имена на карте мира. — <b>Евг. Симонов</b> . К вершинам родной земли.	
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (Ноябрь—декабрь 1948 года)	303



Худ. Е. Киврик.

### *ЛЕНИН и СТАЛИН в СМОЛЬНОМ*

*«История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя потерять много завтра, рискуя потерять все. Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них».*

**В. И. Ленин.**

Письмо членам ЦК 6 ноября (24 октября) 1917 года.





---

# ЖИВОЙ ЛЕНИН

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

Когда прощальный марш звучал в Колонном зале  
И по Москве костры горели в зимней мгле,  
Над Ильичем, скорбя, знамена мы склоняли,  
Но не желали мы отдать его земле.

Не веря в смерть его, сошлись мы в час суровый —  
Посланцы городов, станиц, аулов, сёл.  
Над ним, как над живым, звучало наше слово:  
— Спи, дорогой Ильич, спи, горный наш орел!

Мы не позволили безжалостной могиле  
Забрать его во тьму, туда, где солнца нет.  
И мы гранитный дом в Москве ему сложили,  
Бесстрашному орлу, на сотни долгих лет.

Любил он высоту, с вершины цель виднее —  
Стоит гранитный дом у вечных стен Кремля  
На Красной площади, храним страной всею,  
Отсюда, как с горы, вся на виду земля.

Любил он моря шум, любил он на просторе  
В бушующую даль заглядывать, вперед, —  
На площади он спит, которая, как море,  
Волнуется, шумит в дни празднеств, что ни год.

И в дом к нему идя бескрайной чередою,  
Не лентой траурной его мы обвели,  
Мы опоясали его живой рекою,  
Живой людской венки навек ему сплели.

Нет! Понапрасну, смерть, зловеще, дни и ночи,  
Стояла ты над ним, большого стерегла.  
Ты в тот январский день ему закрыла очи,  
Но ты засыпать их землю не смогла.

Ты не властна над ним, как не властна над теми,  
Кого он посылал на грозные фронты.  
Смеялись над тобой они, идя сквозь темень,  
Хоть их у Сиваша свинцом косила ты.



Ты не имеешь прав на них, как не имела,  
Имеет только жизнь — одна — права на них.  
А что сказать о нем, чье праведное дело  
Мильоны за собой ведет солдат таких?

Ильич живет в трудах, им начатых когда-то.  
Продолжил их великий Сталин наш:  
Дорогой боевой мы — Смольного солдаты —  
С ним не один прошли под пулями Сиваш.

Спокойно Ленин спит. На страже — часовые.  
Течет из года в год к нему поток людской.  
И счет годам ведут куранты вековые,  
Которые завел он собственной рукой.

Земля не давит грудь, свет негасимо льется.  
Он не в земле лежит, ветвями осенен.  
Он на вершине спит, что площадью зовется.  
Он в центре мира спит в сени родных знамен.

Не тихий шум листвы до слуха долетает,  
Доносится к нему дыханье дел живых.  
Он слышит песнь Балкан, он слышит гул Китая,  
Он слышит бури шум в знаменах боевых.

Все ярче, что ни год, огни ракет взметенных,  
Все громче, что ни год, над ним гремит салют.  
Все чаще воины к ногам его кладут  
Капитализма  
        черные  
                        знамена.

*Перевел с белорусского Яков Хелемский.*





Худ. Е. Кибрик.

**«ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ...»**

*«...предыдущий оратор, гражданин-министр почт и телеграфов... говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: «есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».*

В. И. Ленин.

Речь на 1-м Всероссийском Съезде Советов 17 (4) июня 1917 года.





---

---

## ПАМЯТИ ЛЕНИНА

### АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

★

В глухую, безвестную волость,  
Где лес от села до села,  
При мне эта страшная новость  
По санному следу пришла.

Она перед тем, на рассвете,  
Весь шар облетела земной  
И все провода на планете  
Успела заполнить собой.

А тут и не дальние дали,  
Да глушь — заповедный удел,  
Мы даже гудков не слышали,  
Лишь ветер по трубам гудел.

Но в тяжком негаданом горе  
Была в это утро равна  
Столицам деревня Загорье,  
Лесная моя сторона.

Стояла над скопищем сонным  
Снегами заваленных крыш,  
Над миром, бедой потрясенным,  
Морозная жесткая тишь.

И полоз, рыдающий в поле,  
И утренний скрип журавля  
Отчетливы были до боли,  
И, может, слышны до Кремля.

Зачём это снова и снова  
Звучит их нещадная песнь,  
Когда уже сказано слово,  
Когда уже слышана весть.

И каждому было с той вестью  
Остаться невмочь одному.  
Большие и малые, вместе  
Собрались мы в школьном доме.

А в школе до этого часа,  
Как начал сходиться народ,



Ребятам из старшего класса,  
Нам было довольно хлопот.

Мы в ельник ходили гурьбою,  
Что был на задах невдали.  
Ломали морозную хвою,  
Охапками в школу несли.

Недетской заботою, дети,  
Мы были в то утро полны,  
И ветки еловые эти  
Не к празднику были нужны.

Не праздника ради мы сами  
Спустили над школьной стеной  
Знакомое красное знамя,  
Подшив его черной каймой.

Помыла полы сторожиха,  
И люди в назначенный срок  
С надворья морозного тихо  
Вступали на школьный порог.

И незачем было к порядку  
Просить, как на сходке в селе,  
Когда наш учитель тетрадку  
Свою разложил на столе.

Никто не садился. Стояли.  
И были, казалось, полны  
Не только глубокой печали,  
Но чувства какой-то вины...

Стояли в заплатанной грубо  
Овчине, обвиснувшей с плеч.  
Беззвучные двигались губы  
У многих, что слушали речь.

А слушали с думой суровой  
И строгостью горькой лица,  
Чтоб всю до единого слова  
Вместить бережливо в сердца.

Ту скорбную истовость схода  
Я помню с годами живею.  
Великая вера народа  
И сила мне видится в ней.

Не в ту ли годину прощанья  
В своей ощутил он грюди  
Готовность на все испытанья,  
Что ждали его впереди?

Не в горе ль своем молчаливом,  
Поникнув тогда головой,

Уже он был полон порывом  
На подвиг неслыханный свой!

Порывом на жертвы, на муку,  
Что вряд ли под силу иным,  
На полную с прошлым разлуку,  
На встречу с грядущим своим.

Порывом, исполненным страсти,  
На чудо свершающий труд.  
И волей к нелегкому счастью  
И славе, что с боя берут.

Не тем ли огнем устремленным  
Горели сердца у людей  
И в траурном зале Колонном,  
И в школе далекой моей.

Да, в час, как навек провожали  
Учителя, друга, отца,  
В своей обрели мы печали  
Решимость идти до конца.

Решимость нести его знамя,  
Итти его верным путем.  
И сталинской клятвы словами  
Поведали миру о том.



---

---

# НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

Я не заметил, как брезжить стало,  
Глянул — совсем рассветало.

Ночь отхлынула как-то сразу  
От светлого неба, лишённого красок.

И скоро во всю широту рассвета  
Пробилась полоска красного цвета.

Да здравствует день, за рассветом встающий!..  
Для предков он был где-то там, в грядущем.

Об этом дне Маркс и Энгельс мечтали,  
Стараясь его разгадать до детали.

Сквозь дым коммунарам в семьдесят первом  
Он, может, неясно, но брезжил наверно.


Решая навеки судьбу поколений,  
К нему направлял ход событий Ленин.

Выстрел с «Авроры» потряс всю планету.  
Солдаты и красногвардейцы к рассвету  
В ту ночь штурмовую чертовски устали,  
Но, чувствуя холод винтовочной стали,  
О социализме бессонно мечтали,  
О социализме, то есть об этом  
Сегодняшнем дне, что пришел за рассветом.

Так можно ль прожить этот день огромный,  
Чтоб завтра его было нечем вспомнить!

Ведь от его золотого порога  
Ведет в коммунизм прямым дорогом,  
Дорога, которую Сталин наметил.

Нет, мы не зря проживем на свете!





Худ. Е. Кибрик.

*В. И. ЛЕНИН в РАЗЛИВЕ*

*«Все признаки указывают на то, что ход событий продолжает идти самым ускоренным темпом, и страна приближается к следующей эпохе, когда большинство трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу революционному пролетариату. Революционный пролетариат возьмет власть, начнет социалистическую революцию, привлечет к ней, несмотря на все трудности и возможные зигзаги развития, пролетариев всех передовых стран, и победит и войну, и капитализм».*

В. И. Ленин.

«Рабочий и солдат», № 6, 11 августа (29 июля) 1917 года.





---

---

# ГОРЦЫ В КРЕМЛЕ

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

В те дни на кручах Аракана,  
В местах орлиных,  
Неслись на крыльях урагана  
О нем былины.

О нем осенними ночами  
Вели беседу,  
На огонек зайдя случайно  
Сосед к соседу.

И пели жаркими устами  
О нем поэты.  
Но не видали в Дагестане  
Его портрета.

К утру, когда очаг горящий  
Съедал поленья,  
Со словом ласковым ко спящим  
Являлся Ленин.

Он в бурке и папахе черной,  
Он выше высей.  
А на горах играют горны  
Его дивизий.

В тот год сады тряслись от стужи,  
И ветер гнул их,  
И подпоясывался туже  
Народ в аулах.

В тот год в горах пурга кружила,  
Съезжались горцы,  
И лучших к Ленину решили  
Отправить в гости.

Ему послали кубачинцы  
Клинок чеканный,  
Да бурку теплую андинцы  
На великана,

А унцукульцы — трубку с ярким  
Цветным кисетом.  
Весь Дагестан ему подарки  
Послал с приветом.

Летят послы, быстрее чем ветер,  
Быстрее рассказа.  
Всё видели они на свете,  
Москвы — ни разу.

И вот они уже в столице,  
Хоть путь был труден.  
И было там чему дивиться —  
Делам и людям.

И с Красной площади приедем  
Открылась крепость,  
Где воздух, как на высях, свежий,  
Где башни — в небо.

И вот послы прошли в ворота,  
А с ними разом,  
Казалось, в Кремль пришли народы  
Всего Кавказа.

Идут посланцы в изумленье  
По тихим залам.  
И вдруг навстречу вышел Ленин:  
— Салам, — сказал им.

Он поздоровался с гостями,  
Радущья полон.  
Как старожил, о Дагестане  
Беседу вел он.

Он спрашивал у них о землях  
И о походах.  
Потом спросил у них о семьях  
И о невзгодах.

Беседа шла о самом разном —  
Большом и малом.  
И всё посланцам стало ясным,  
О чем сказал он.

Часы секундами скользили —  
Пора проститься.  
А те едва не позабыли  
Отдать гостинцы.

И взял Ильич клинок с насечкой,  
Рукой потрогал.  
И был клинок ясней, чем речка  
У нас в отрогах.

Он трубкою полюбовался  
Из Унцукуля.  
Но дагестанцам не признался,  
Что сам не курит.

А после молодых и старых  
Просил ответить:  
Какой им может дать подарок  
В ответ на эти.

И вышел старый дагестанец  
К нему с ответом:  
— Мы возвратиться обещались  
С твоим портретом.

— Ведь описать тебя устами —  
У нас не выйдет.  
Пускай же люди в Дагестане  
Тебя увидят!

И вот портрет в руках посланцев —  
На поколенья,  
Где надпись: «Красным дагестанцам»  
И подпись: «Ленин»...

Как с наших круч уходят воды  
Далеко в море,  
Так с наших гор умчались годы  
Нужды и горя.

Я вновь увиделся с портретом  
В музее нашем.  
Цветами — и зимой и летом —  
Портрет украшен.

Прошли года в труде и громе...  
В любом селенье,  
И в каждом сердце, в каждом доме  
Живет он — Ленин!

*Перевели с аварского*  
**Л. Озеров и Д. Самойлов.**



---

---

## НОЧЬ В СМОЛЬНОМ

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

★

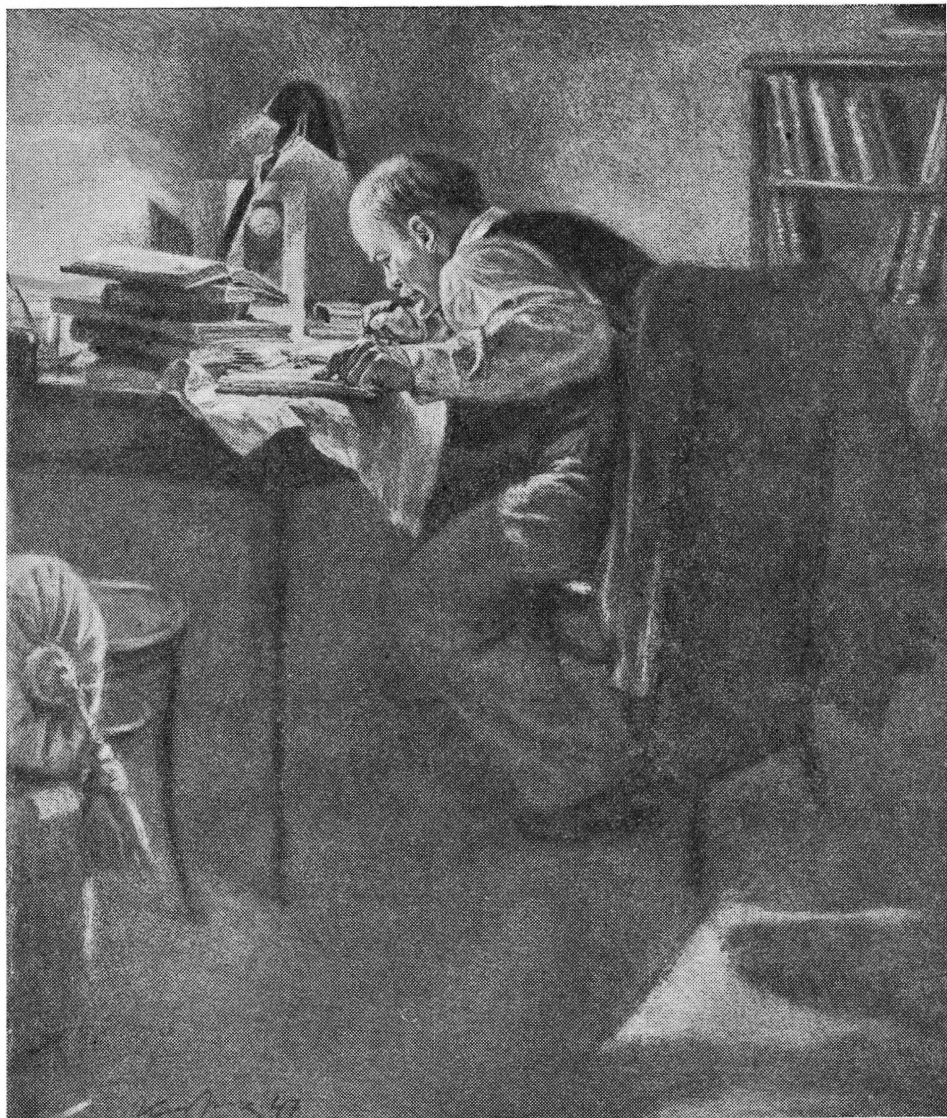
Та ночь была осады ночь глухая,  
Простор во тьму зарыт.  
И только в Смольном свет, не потухая,  
Горел всю ночь, за маскировкой скрыт.  
Холодные, пустые коридоры,  
Да часовых шаги,  
Да карт штабных неторопливый шорох,  
А за стеной — тяжелый свист пурги.

Последние часы перед рассветом,  
Когда усталость ломит синь висков,  
Когда, под лампы беспощадным светом,  
Чернеют жестко строки рапортов,  
Где смерть глядит из цифр, встающих круто,  
Пожаров дым восходит к небесам,  
И хочется тогда хоть на минугу  
Закрывать глаза, чтоб отдохнуть глазам.

Но только он закрыл глаза, как ожил  
Весь Ленинград и весь прошел пред ним,  
На музыку ночной пурги положен,  
Окрашен глухо заревом ночным.

Шли улицы с разбитыми домами,  
В сугробах до второго этажа,  
Тень баррикад и поседевший камень  
Ограды, где пробоина свежа.  
Шли площади, друг друга обгоняя,  
Заводы шли в своем бою ночном,  
Где, мертвого товарища сменяя,  
Вставал рабочий в цехе ледяном.

Кровь на снегу... Людей суровых лица,  
Работающих в страшной тишине,  
Людей, чье сердце не устало биться,  
Хоть бьется уж с бессмертьем наравне:  
Шоферов небывалой в мире трассы,  
Подводников, ломавших мин капкан,  
Советского, немислимого асса,  
Что сквозь пургу шел ночью на таран,  
И снайпера, что там в окопной стуже



Худ. Е. Кибрик.

**В. И. ЛЕНИН в ПОДПОЛЬЕ**

*«Будем непреклонны в разборе малейших сомнений судом сознательных рабочих, судом своей партии, ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи...».*

В. И. Ленин.

«Пролетарий», № 10, 6 сентября (24 августа) 1917 года.





Без промаха стрелял в сто первый раз,  
 Что получил почетное оружие,  
 И только с жизнью он его отдаст.

Какое имя силе небывалой,  
 Что перед ней бессилен этот ад  
 И голода, и стужи, и металла,  
 Летящего сейчас на Ленинград?

И Жданов слушал, как пурга густая  
 Гудит, летя из ночи пустыря...  
 Ему доверил ленинградцев Сталин,  
 Защиту колыбели Октября.  
 С той осени, когда земля замкнулась  
 Кольцом огня, чтоб город задушить,  
 Когда душа под силой бед согнулась  
 И распрямилась, гибель сокрушив, —  
 Все знали — он одной лишь клятвой дышит:  
 Враг не пройдет — обуглится в огне...  
 Партийной чести нет на свете выше,  
 И воли большевистской нет сильней.

Таких ночей пройдет еще немало,  
 От них седеет волос на висках...  
 ...Он ехал поздно. Темная стояла  
 Громада в ночи ледяных тисках.  
 Над площадью пред ним неизмеримый  
 Тот Зимний, тот, который в Октябре...  
 И он не мог проехать просто мимо,  
 Он вышел из машины...

В серебре

Темнел дворец, что возвышался датой,  
 С которой человечество ведет  
 Свой новый счет, в нем Ленинград — вожатый.  
 Шел нашей эре двадцать пятый год.

И в памяти над площадью морозной  
 Слова блистали, кровью сердца вспенены:  
 «Пусть осенит вас победоносное  
 Знамя великого Ленина!»

...Вновь Смольный был тем кораблем, который  
 Как флагман вел эскадру за собой,  
 И Жданов шел по гулким коридорам,  
 Хранившим чуткий фронтовой покой.

Еще по снегу кралась ночи тени,  
 Едва дымилась зимняя заря,  
 И он вошел в ту комнату, где Ленин  
 Жил в первый год священный Октября.  
 Здесь все дышало строгой, мудрой силой,  
 И даль времен в ночной вернулась мгле,  
 Как будто только приняла Россия  
 Декреты те о мире и земле.  
 Как будто Сталин сам под эти своды  
 Сейчас входил, и Ленин с ним вдвоем

Решал судьбу бесчисленных народов  
Земли родной за этим вот столом.

И ходоки с Урала, из Сибири,  
Закончивши беседу с Ильичем,  
Его слова в свои родные шири  
Несли в сердцах, где сила бьет ключом.  
И увозя с собой заданий груды,  
И выслушавши ленинский наказ,  
Как будто бы лишь час назад отсюда  
Уехал Киров к горцам на Кавказ.

И, возвышаясь над горами тягот  
Тех первых дней, тяжелых, как гранит,  
Словами, что в основу жизни лягут,  
Об Октябре сам Ленин говорит.  
И ловят жадно — речь огнем ложится —  
Его слова, движение руки  
Красногвардейцы с Пулковских позиций,  
Путиловцы, солдаты, моряки.

Неутомимый, щедрый, добрый гений  
Судьбу вселенной здесь определил,  
Как верил он — стратег победы Ленин —  
В непобедимость большевистских сил.  
Отсюда всей земли ему просторы  
Открыты были — горному орлу,  
И видел он проникновенным взором  
Сквозь всей борьбы пороховую мглу.

И партией бессмертною хранимы,  
Прошли народы долгий, грозный путь,  
Сквозь беды все, сквозь всех сражений дымы,  
Чтоб коммунизма знамя развернуть.

А сколько раз, в конце бессонной ночи,  
Он здесь стоял и думал у окна,  
Как Петроград подымет рабочий,  
Могучая подымет страна.

Он говорил тогда о петроградцах:  
...Всех больше они тяготы несут,  
И всюду там, где нужно снова драться,  
Не унывают, в битвах не сдают.  
И, закаленные, находят снова силы,  
Они у нас передовой отряд,  
И превосходный...

Так оно и было,  
Так рос и креп и вырос Ленинград!

И если трудно нынче ленинградцам,  
Не легче было в Петрограде том  
Ломать врага, без усталости сражаться  
Под знаменем, взметенным Октябрем.

Вновь ленинградцы с ЭТИМ стягом встали,  
Метет в глаза им смертная пурга,  
Вновь чертит план в ночах бессонных Сталин —  
Под Ленинградом разгромить врага...

И Жданов знал, что Сталина заданье  
Он выполнит железом и огнем,  
Он чувствовал в рассвета полыханье,  
Как сердце наполняется теплом.  
И как уже усталости не стало,  
Как будто прикоснулся к роднику,  
Где чистая прохлада освежала,  
Откуда реки в целый мир текут.

Уже рассвет в белесый снег вращает...  
И Ленинграду видится Москва.  
И тишина... — У аппарата Сталин!  
Сжигая ночь, идут его слова.  
— Как Ладога? И как у вас погода?  
— Пурга метет, но транспорты идут,  
По Кировскому немцы бьют заводу,  
Рабочие не прекращают труд...

Слова летят над мерзлым, темным полем,  
Над мертвым лесом, в предрассветной мгле  
И над огнем кинжальным и продольным, —  
И нету им преграды на земле.  
Как бодрствовал великий Ленин в Смольном,  
Великий Сталин бодрствует в Кремле:

...Оконные раздвинуты портьеры,  
Восходит солнце. В комнате светло,  
А над Невой струится сумрак серый,  
В алмазах льда замерзшее стекло.

И Смольный снова поднимает стены  
Навстречу бою, как и тот завод,  
Где кончены уже ночные смены  
И новый танк выходит из ворот.  
И Жданов видел в этот час рассвета,  
Как Ладогой идут грузовики, —  
Водители, как в шубу, в лед одеты,  
Им от руля не оторвать руки;  
Как, всплесками мотора полыхая,  
Летит корабль — передний край бомбить;  
Как девочка строгаёт, задыхаясь,  
Лучину, чтобы печку растопить;  
Как тот солдат, кому вручал оружие,  
Нажал на спуск в сугробе ледяном —  
И сто второй лежит в кровавой луже,  
Упав на снег с растерянным лицом;  
Как пушкари, орудия громаду  
Нацелив, дот разносят на куски;  
Как новый день высокий Ленинграда,  
Геройский день творят большевики.

Так просыпался новый день сраженья,  
Так просыпалась новая заря,  
Отметив сердца тайное движенье,  
Вставал день двадцать первый января...

...Мы Ленинское знамя пронесли,  
В огне боев решая смертный спор,  
Нас Сталин вел наперекор стихиям,  
И всем преградам вел наперекор!

Всею правдой большевистскою владея,  
Мы в прах сотрем любой вторженью тьмы, —  
На свете нет и не было сильнее  
Вот этой правды. Ею жили мы!





---

---

# ЗЛАТА ПРАГА

Роман\*

АЛЕКСАНДР ГОНЧАР

★

*Дѣвицы поют на Дунаи,  
взъются голоса чрезъ море  
до Киева.*

«Слово о полку Игореве»

1

**Н**аступала великая весна.

Ширились горизонты, день становился просторней. С каждым пройденным километром солнце припекало все сильнее, словно бойцы сами приближались к нему. Наступление приобретало все более стремительный темп. Куцых топографических карт хватало всего на несколько часов движения. Посылаемые из высших штабов, эти карты едва успевали догонять наступающие войска.

За двое суток полк с боями прошел от Грона до Нитры и форсировал ее у местечка Новые Замки. Но, благодаря стремительности наступления, сталинскую благодарность, полученную за освобождение Новых Замков, бойцы читали уже за десятки километров от Нитры, на реке Ваг — третьем словацком притоке Дуная.

Обогретые солнцем дороги вели в глубь Словакии. Шинели просохли и стали легкими, как птичьи крылья.

Может быть потому, что весну полк встретил в походе, у бойцов создавалось впечатление, будто самое понятие времени зависит от них, от темпа их наступления. Чем стремительнее шли они вперед, с боями форсируя вскрывшиеся холодные реки и задыхаясь в горячих маршах, тем быстрее, казалось, наступает весна.

Долгожданная пыль апрельских дорог! Впервые в этом году она заклубилась над нами. Не та, что разъедала нам глаза в сорок первом, не та, что отравляла нас в украинских знойных степях! То была тяжкая пыль горя, смешанная с грозной сажей пылающих наших жилищ... А эта — золотистая, легкая, апрельская! — поднимается рядом с тобой могучими крыльями, предвещая великую солнечную весну. Бурная спутница походов, она, кажется, уже несет в себе привкус победы.

— Странно! — восклицает посеревший от пыли Маковой, обращаясь к Роману Блаженко. — Аж на зубах скрипит, а приятно!

— Приятно-то приятно, да как бы засуха не ударила...

Они скачут верхами за ротными повозками. Вокруг расстилаются плодородные придунайские равнины. Кое-где покажется на горизонте

---

\* Третья книга, завершающая трилогию «Знаменосцы». (См. «Новый мир», №№ 3 и 8 1947 года).

одинокий словак с одним волом в плуге. Лучи солнца, повернувшего на запад, рикошетят на далеких полевых озерах. Над прошлогодними камышами уже взвиваются белые табунки чаек. Впереди вся дорога запружена войсками. В тучах поднятой пыли видны очертания подвод, всадников, машин. Сотнями серебряных молодиков<sup>1</sup> поблескивают на солнце подковы. Спокойно покачиваются на лафетах полковые артиллеристы. Обгоняя минометчиков, одна за другой проплывают «катюши», неся в себе грозу.

Гомон марша возбуждает Маковея. словно сквозь огромный радостный оркестр пролетает он, ротный соловейко. Ему хочется петь.

— Роман, каких я девчат видел в Галанте!

— Эх, Маковей, Маковей... Жди беды. Будет тебе от старшины. Мы тут всей ротой тебя искали...

— Старшине я уже доложил... Выругал на первый раз, и все.

— Счастье твое, хлопче, что не во время боя отстал.

— Дурак бы я был — во время боя отстать! Но какие там девчата! Видел бы ты их, Роман! — Телефонист сладко прищурился, покачал головой. — Павы!

Этой весной молодой хмель бродил в крови Маковея. Юноша влюблялся в каждую девушку, которая подавала ему кружку воды через забор или лукаво улыбалась, выглядывая из окна.

— Гляди, как бы эти павы не сбили тебя спанталыку...

— Словачки да мадьярочки, Роман! Как высыпят из костела да как поплывут по улице — очей не оторвешь! Платки на них яркие, юбки короткие и круглые, как на обруч натянутые. Идут по тротуару в красных сапожках, маленькие молитвеннички к груди прижимают и на меня из-под косынок только зырк-зырк! А сапожки у них дзень-дзень... Еду себе рядом с ними и люблюсь. — Марусина! — зову одну, самую лучшую. А она улыбнулась мне, остановилась у калитки:

— Я не Марузина, я Иринка!

— Ах, Яринка! Йов, говорю. Хочу, говорю, посмотреть, что там у тебя так красиво позванивает, когда ты идешь по улице... Покажи-ка свое дзинь-дзинь-дзинь!.. — Тогда она глянула на меня — да как глянула! — и, засмеявшись, подняла свой красный сапожок. И что б ты думал, Роман? Ничего особенного... Просто между высоким каблуком и подошвой у нее прилажен маленький, как пуговица, медный колокольчик. А я вначале думал, что это какое-нибудь чудо особенное!

— Я, — говорю, — Яринка, думал, что сама земля под тобой позванивает... Потому что такая ты вся... ладная! — А она повела глазами, щелкнула по колокольцу своим кожаным молитвенничком, и звоночек аж засмеялся!.. Чудесно!.. Но вижу: ехать уже пора. Тронул коня, а Яринка как глянет на меня... И жалобно как-то, и испуганно:

— Хова?<sup>2</sup>

— Фронт, — говорю.

— Не надо фронт... Не любим фронт... — Ну что ты ей скажешь на это? Пока я за угол не свернул, всё стояла на месте как вкопанная, смотрела мне вслед...

— Ой, хлопче, хлопче, — укоризненно говорит Роман, — не играй с огнем. И не заметишь, как в капкан попадешь...

— Что ты мне мораль читаешь? — вспыхнул Маковей. — Взялись за меня, опекуны! И ты, и Хома, и все — одно и то же: веди себя хорошо, остерегайся, гляди в оба... Сам не маленький, кое-что понимаю!

<sup>1</sup> Молодой месяц (укр.).

<sup>2</sup> Куда? (венг.).

— Маковей, — спокойно продолжал Роман, — я прожил две твоих жизни, прислушайся к моему слову, спасибо когда-нибудь скажешь. Разве я, или Денис, или офицеры зла тебе желают, приструнивая тебя? Да ведь вся рота болеет за тебя, как за родного сына! Ты, правда, хлопец хороший, в боях авторитет приобрел... И грамотнее многих из нас, и медали не зря тебе повесили. Но молодой еще и падкий на все, что в глаза бьет!

— А что ж, по-твоему, у меня душа из репейника?

— То-то и оно, что душа у тебя молодая и горячая, доверчивая ко всему. Оберегай ее, Маковей, не вывихни! Разве забыл, сколько в Будапеште шпионов наши хлопцы поймали. Сколько там всяких субчиков в дамские жакеты переодевалось? Уж у них и повязки на рукавах, уж они и «антифашисты», уж они и «подданные» других держав — паспорта у них заранее заготовлены... Думаешь, для чего? Думаешь, добра тебе желают такие типы? Они только и ждут, чтобы завести тебя куда-нибудь одного, напоить метиловым спиртом — и ножкой в спину... Это тебе, хлопец, не дома, тут чужая территория...

— Выходит, уж на дивчину и глянуть грех? Уж и пошутить с ней нельзя?

— Грех не грех, а береженого и бог бережет. Думаешь, то красные сапожки тебе позванивают? То искуше-ния твои, Маковей!.. Ходят они по улицам в женских сапожках, обступают тебя со всех сторон. Всё перед тобой выставлено: вина панские, картинки бесстыдные, женщины тонкобровые... Бери, Маковей, развлекайся, получай удовольствие! Разве не капканы? А ты их обойди, иди своей дорогой, куда твоя миссия пролегла. Глянь, Маковей, какие пути-дороги перед тобой стелются! Такие пути, что как встанут, так и до неба достанут!

Маковей неволью поглядел на далекую дорогу, что лежала перед ним, окутанная золотистой пылью, запруженная войсками. Ни конца ей, ни краю... Протянулась далеко-далеко, уходя за горизонт, пылающий над ней грандиозной аркой заката. Неужели, если встанет, так и до неба достанет?

Маковей присмирел, задумался.

— Разве я этого не знаю, Роман? Не такой я легкомысленный, как некоторым кажется.. Яринку я сегодня и в глаза не видел!

Блаженко свирепо уставился на юношу.

— А что ж ты мне всю дорогу о ней тарыхтишь?

— Так она ж была! Только не в Галанте, а еще в Камендене на плацдарме... Я видел ее, когда ездил в полк за орденом.

— Когда это было!

— А вот сегодня почему-то вспомнилась, встала перед глазами. Вот и рассказал тебе про нее...

— Чудной ты, Маковей... Всегда говоришь так, будто сны рассказываешь... Надумал меня своими сказками развлекать! Весна на тебя действует, вот что я тебе скажу.

— А на тебя не действует?

Роман промолчал, явно уклоняясь от ответа. Потом снова навалился на парня:

— Где ж ты, в таком случае, болтался? Мы тут с ног сбились, разыскивая тебя.

— У меня конь засекал, так я перевязывал, чтоб старшина не заметил и не пристыдил всенародно. Знаешь, он как начнет!.. И нечего было искать меня. Что я вам — ребенок на ярмарке? Никто не заставлял вас бегать, высунув язык.

— Именно ты и заставил, чтоб тебя лихорадка не схватила! — рассердился Блаженко. — Может, думаем, сдуру где-нибудь в беду попал, может, ему помочь нужно...

— Не попаду, — засмеялся Маковей, — будьте уверены!

— Потому и не попадешь, что вся рота с тебя глаз не сводит, что все товарищи заботятся о тебе... Как только где-нибудь запропастишься, так и бросаются один к другому: где Маковей? Где телефонист? Разыскать немедленно! Всыпать по первое число! А как же? Вся рота хочет, чтоб из тебя человек вышел.

Парень мечтательно слушал, вглядываясь в высокое яркое море пылающего заката.

— Что тебе? Образование у тебя восемь классов — не то что мы, церковно-приходские... Котелок у тебя на плечах варит. Да ты даже в офицеры можешь выйти!

Внимание Маковея поглотила дорога. Вся она двигалась, дрожала, дымилась без конца, словно горела. Закат полыхал все ярче, полевые озера покраснели, будто налились свежей кровью. Клубящаяся над дорогой пыль стала красно-бурой. Далеко на горизонте дорога изгибалась, исчезая где-то у самого солнца. Там, на небосклоне, силуэт колонны едва темнел, вытянувшись на розовом фоне, как неподвижная полоса леса. Можно было только догадываться, что и там, вдали, как и здесь, все грохочет, движется вперед, все, как и здесь, затянато красно-бурым дымом, который медленными волнами ложится на окрестные поля.

Маковей мерил дорогу глазами, улыбался ей.

— А в самом деле: как встанет, так и до неба достанет! Это ты верно сказал, Блаженко!

Вдруг кто-то сзади огрел плетью лошадь Маковея. Она взвилась под своим всадником:

— Гони, не давай мочиться! — прозвучал знакомый голос.

Среди всадников появился Хома Хаецкий. Весь запыленный, будто только что от молотилки. Вспотел, ватник распахнул. На погонах, вшитых в плечи ватника, толстым слоем осела серая пыль. Едва заметно краснеют под ней старшинские «молотки».

Уже около месяца Хома старшинствует. Васю Багирова взяли в полк, к знамени. В горах Вертешхэдыгег погибло несколько знаменщиков, и Багиров в числе других ветеранов-сталинградцев заменил погибших. А в роте его заменил Хаецкий. Кому ж было занять освободившуюся должность, как не старшему ездому, как не герою Будапешта? Командир роты назначил, а замполит Воронцов, узнав об этом, сказал:

— Добро. Поздравляю вас, Хаецкий. Теперь вы развернетесь.

Сейчас Хома как раз разворачивался. Раздобыл для роты хозяйство большее, чем было раньше. Вышколенный Багировым, уверенно гнул свою старшинскую линию. Маковею покоя не давал. Хорошо, что глазастый — все видит... Вот и сейчас, поровнявшись конем с Маковеем, он говорил телефонисту:

— Когда остановимся, Маковей, то мы сядем ужинать, а твоя ложка пусть немножко отдохнет. Раньше всего сведешь коня в ветлазарет. Засекся ж!

«И откуда ты это знаешь, чортов «допиру»<sup>1</sup>. Ведь конь даже не хромает!» — подумал Маковей и начал защищаться.

— Я промыл, забинтовал...

— Знаю, чем ты промыл... Мочою! А здесь нужен ихтиол. Пора уже тебе понимать в медицине. Сделаешь, как сказано, и доложишь.

<sup>1</sup> Дескать (укр.).

— Слушаюсь, — буркнул телефонист.

— А сейчас — гони!..

Некоторое время они ехали молча. Жеребчик Хома, несмотря на то, что с него клочьями падало мыло, прижимал уши и упрямо, по-собачьи, щелкал зубами на маковейчику коня.

Далеко впереди, за едва различимой головой колонны, садилось солнце. Ребристые облака вдоль горизонта раскалились, стояли словно золотые горы. Протянулись одно за другим неподвижными светлыми краями. Одни совсем близко, другие за ними, иные еще дальше, будто пошли куда-то на край света. А между этими чистыми золотыми хребтами в пылающем просторе купалось солнце. Затопило румяным сиянием всё вокруг себя, охватило полнеба пылающими стожарами.

Роман закурил, посмотрел на солнце, потом на товарищей. Хаецкий и Маковей уже, кажется, забыли о своем резком разговоре, ехали плечо к плечу, устремив взгляды на закат.

Все трое притихли, завороженные чарами этого ясного весеннего вечера.

— Заходит, — наконец задумчиво произнес Хома. — Где оно заходит, Маковей?

— За Веной, может быть... Нет, Вена левее, и Братислава левее. За Прагой заходит, за золотой Прагой...

— Почему — золотой?

Телефонист задумался: в самом деле, почему?

— А почему — Злате Моравце? Народ так назвал: Злате Моравце, Злата Прага. Сегодня на станции, когда я с конем возился, мне два чеха помогали. «Торопитесь, говорят, пан-товарищ, вызволять нашу Злату Прагу... Там на вас вельми чекают...»

Грохот подвод, гул моторов, ржанье коней — все звучало теперь значительно громче, чем днем. Звонкие вечерние поля будто подхватывали и усиливали шум похода. Справа и слева по степи, всюду шли войска. Все словацкие дороги сегодня запылили на запад. И оттуда, с параллельных дорог, звонкий весенний вечер доносил до Маковея — через луга, через озера! — музыку моторов, которая час тому назад еще не была слышна.

Парню припомнились осенние дожди-туманы где-то у Тиссы. Долгие-предолгие ночи, топкие черные поля... Хриплые команды, тонущие в седой мороси... Там даже звук собственного голоса, отяжелевшего от сырости, падал в нескольких шагах от тебя... А сейчас... Как громко и звонко вокруг! Весна... Маковею кажется: если он сейчас запоет, то услышат его аж на самом Днепре... По голосу узнают девчата: наш Маковей! Где-то на Дунае поет, а в Орлике слышно!

А на западе солнце неутомимо возводило свои величественные сияющие здания, воздвигало из золотых туч города с башнями, соборами, кучерявыми садами. И все это светилось изнутри, разгораясь все сильнее.

— Вы видите — город в облаках! — взволнованно крикнул Маковей товарищам. — Смотрите, какой он золотой! Раскинулся в тучах дворцами, башнями, садами... А среди них — волны, волны, волны, как флаги. Плывут, переливаются, летят...

Зрелище захватило всех. Но в этих призрачных сооружениях каждый видел свое. Хоме рисовался гигантский золотой трактор, вставший на дыбы над западом. Роман уверял, что то гиганты-кузнецы стоят с молотами над огромной наковальней и куют. А Маковей настаивал на своем: это город.



— Ну как вы его не видите? Кто знает, может, это Прага? Может, она и в самом деле золотая?

В его широко открытых глазах горели радужные переливы далекого неба.

— Где-то там нас ждут!

Солнце зашло, степные озера потускнели и стали темнокрасными, словно запеклись. Седые волокна легкого, прозрачного тумана поплыли оврагами, пологими балками, густо усыпанными холмиками кротовых подземных поселений. Сзади в колонне кто-то радостно призывал товарищей посмотреть вверх: высоко над войсками летели на север журавли.

— Смотри, как дисциплинированно летят, — заметил, задрав голову, Хома. — Даже дистанцию соблюдают!

## 2

Старшинствовать Хаецкий начал с наступлением весны.

Полк тогда наступал в горах вдоль северного берега Дуная. Безлюдный, мрачный край... Голые вершины сопок, темные массивы лесов. Ущелья. Пропasti. Размытые проливными дождями дороги. Бешеные пенные потоки, разбухавшие с каждым часом.

Противник откатывался через горы за Грон. Рвал за собой мосты и мостики, забивал тропы и стежки завалами, минировал нависающие над дорогами скалы. Основную тяжесть наступления в эти дни выносили на себе саперы. Все подразделения помогали им. Чуть ли не каждый пехотинец шел вперед с кайлом или топором, как строитель. Приходилось ежесуточно форсировать по нескольку водных рубежей, возводя для артиллерии и тяжелых обозов свежие мосты в таких местах, где их никогда не было.

Дожди лили беспощадно. Гуляли в седых ущельях холодные ветры-бураны. Однако ранняя прозелень с каждым днем проступала все ярче. Даже в непогоду сквозь тучи пробивалось столько света, что воздух казался не серым, как осенью, а почти белесым, лучистым. И лица бойцов, блестящие, умытые дождями, казалось, все время были освещены невидимым солнцем.

В горах почти не встречались населенные пункты. Лишь изредка попадались убогие поселки венгерских и словацких лесорубов. Гвардейцы не останавливались в них ни ночевать, ни за тем, чтобы переобуться или отдохнуть. Их обходили, унося дальше в набрякших шинелях воду бесчисленных горных потоков, перейденных вброд.

Нехватало фуража для лошадей. Старшины, напрасно обскакав бесплодные окрестности, в конце концов давали лошадям, как и своим гвардейцам, порции размокших сухарей.

В это время Иван Антонович Кармазин получил распоряжение: откомандировать старшину Багирова в полк. На сей раз Антоныч не мог даже пожаловаться на то, что его грабят, что у него забирают лучших людей. Наоборот, Антоныч и вся рота провожали Васю с удовлетворением: он шел к знамени, ему оказана такая честь — честь для всей минометной! Старшинские дела по приказу Антоныча принял Хаецкий. Вася передал ему свою полевую сумку с ротными списками, коня и толстую плетеную нагайку.

— Гремела наша минометная и греметь будет! — заверяли Васю товарищи на прощанье. А он, собрав свое немудреное солдатское имущество, уместившееся в карманах, и пожимая растроганному Хоме руку, весело завещал:

— Держи руль, друже, твердо, не отклоняйся от гвардейского курса!

Легко Васе сказать: держи! А он, этот старшинский руль, оказался довольно горячим. Поначалу чуть было руки не обжег. До сих пор жила в памяти Хаецкого первая ночь его старшинства. Горькая и поучительная ночь... Хорошо запомнил ее и командир роты.

Батальон Чумаченко тогда вынужден был задержаться у горной бурной речки. При свете факелов, замерзая в ледяной воде, роты наводили переправу. Некоторым подразделениям, в том числе и минометчикам, комбат разрешил короткий отдых. Наконец-то можно отоспаться!

Расположились тут же, возле реки, на колючих камнях. Завернувшись с головой в палатки, бойцы падали там, где стояли, и мгновенно засыпали. Грудами мокрых тел сплелись под повозками, пригрелись под попонами у теплых тел истощенных коней. А командир роты Антоныч еще долго сновал по своему табору, проверяя посты. За деревьями почужому шумела река, суетились люди с факелами в руках, стучали топоры. Время от времени в черной глубине противоположного берега взвивались ракеты, вспыхивала короткая перестрелка — то батальонные автоматчики, форсировав речку «на котелках», вели где-то разведку боем. Иван Антонович уже промок до последней нитки, и казалось, что теперь ему безразлично, где свалиться, чтобы хоть немного поспать. Но он все еще бродил, не решаясь улечься прямо в слякоть, как другие. А дождь сплошной пеленой наваливался на окружающие леса, на темные кручи и высоты.

Где-то в темноте среди повозок Хаецкий громко ссорился с непослушными лошадьми. «И чего он до сих пор толчется?» — подумал Кармазин.

— Я выбью из тебя эти предрассудки! — кричал Хома коню. — Будешь ты у меня шелковый!

Командир роты направился на голос Хома, осторожно обходя клубки сонных, мокрых тел. Хома остановил командира роты грозным окликом «кто идет?» — хотя еще издали узнал Антоныча по характерному чавканью сапог и по тому глухому побряхтыванью, с каким комроты медленно спускался с бугра.

— Почему до сих пор не спите, Хаецкий?

— На посту, товарищ гвардии старший лейтенант.

— На каком посту? — удивился Иван Антонович. — Кто вас назначил?

— Видите ли... я сам себя назначил.

Старшине, конечно, не полагалось стоять на посту, и Хома это прекрасно знал. В роте существовал порядок, при котором на огневой несли охрану назначаемые офицерами бойцы расчетов, у повозок же старшина должен был выставлять отдельный «автономный» пост из числа ездовых. Охраняя повозки, они одновременно должны были ухаживать за лошадьми. Сейчас на этом посту Антоныч неожиданно застал своего выдвигенца.

— Вам обязанности старшины известны?

Хома насупился в темноте, как сыч.

— Известны.

— Почему же вы своих подчиненных уложили спать, а сами стоите вместо них?

Некоторое время Хаецкий молчал. Потом, собравшись с духом, затянул своим полновзвучным подольским говорком:

— Товариш гвардии старший лейтенант!—Антоныч уже давно заметил, что Хома начинает таким манером напевать всякий раз, когда ему больно и горько на душе. — Все мы одинаково не спали: и я, и они. Да разве ж мне ноги покорчит — выстоять какой-то там час? А не стань — сразу начнутся разговоры!

— Спокойнее, Хаецкий. Какие разговоры?

— Известно, какие... Ишь, скажут, как начальником стал, так и начал из нас веревки вить. Блаженки домой напишут, все отпрапортуют в артель. Накинулся, скажут, Хома собакой на земляков...

Иван Антонович слушал жалобы Хома и диву давался: кто это говорит? Тот ли Хома, который, будучи рядовым, ни перед кем не поступался своими правами? Который не уступил бы самому генералу, если бы чувствовал свою правоту? А теперь, став начальником, вдруг запел такое... будто стыдился своего нового звания.

— Та лучше я самосильно все лямки буду тянуть, чем упреки выслушивать!

— Эге-ге, — сказал Иван Антонович. — Вижу, вы, Хаецкий, плохо усвоили свои командирские функции. То, что вы солдата жалеете, это хорошо. Командир — отец своим бойцам и должен их жалеть. Но то, что вы их работу хотите перевалить на свои плечи—это уже плохо. Потому что, как бы крепки ни были плечи одного человека, они не выдержат того, что выдержат плечи коллектива. Что же, в конце концов, получится? Отстояв час за рядового, вы потом свалитесь с ног, зададите храпака. А кто будет за вас посты проверять? Кто будет выполнять ваши прямые старшинские обязанности?

— Меня хватит на всё.

— Нехватит, Хаецкий, если будете стоять из ночи в ночь. Свалитесь непременно. Днем начнете дремать на ходу. А я не дам. Я буду гонять беспощадно. И буду требовать вашей прямой работы не с того ездового, вместо которого вы сейчас с лошадьми возитесь, а персонально с вас. И не спрошу, спали вы или нет. И даже когда с ног свалитесь, то не пожалею, а наоборот, строго накажу. Если солдат сваливается с ног по своей собственной неосмотрительности, его за это надо сурово наказывать. Плохо, никуда не годится, Хаецкий! Подумайте: старшина роты, — Иван Антонович многозначительно поднял вверх палец, — ездовых охраняет! Лошадей за них кормит! А они спят себе сном праведников... Ну как это называется, Хаецкий? Отвечайте!

— Панибратство, — подумав, говорит Хома. — Либерализм.

— Вот... именно так. А где панибратство, где либерализм, там уже не спрашивай железной дисциплины. Там, смотришь, старшине и на голову сядут. А поэтому, — Кармазин перешел на грозный тон, — отныне приказываю: вам, как старшине, на пост не становитесь. Коня под седло возьмите самого лучшего. «Артиста» возьмите. Чтoб с первого взгляда было видно: ага, это старшина едет! Образец для всех! И никому никаких поблажек. Все, что подчиненным положено, — дайте. Все, что с них полагается, — возьмите. Имейте в виду: я, в свою очередь, буду взыскивать с вас безжалостно по всем пунктам. Понятно?

— По всем пунктам.

— На то не обращайтесь внимания, — уже мягче заговорил Иван Антонович, — кто да что о вас скажет или подумает. Ибо вы не мне угождаете, не Ивану, не Степану, а выполняете волю Родины. Все отбросьте, все забудьте, кроме нее. Действуйте неуклонно, честно, справедливо. И тогда, каким бы вы строгим и беспощадным ни были, бойцы никогда не перестанут вас уважать и любить.

Иван Антонович склонился у повозки на ящик мин, задумался. Хома тем временем, хлюпая по лужам, добрался до крайней повозки, разыскал среди ездовых своего земляка и приятеля Каленика.

— Каленик, вставай!

Ездовой что-то буркнул в ответ, но не проснулся.

— Вставай! Кому сказано!

С большим трудом очумелый Каленик поднялся, сел.

— Что такое?

— На пост.

— На пост? — Каленик вкусно зевнул. — А который сейчас час?

Разве ты свое уже отстоял?

— Уже отстоял.

— Что-то очень скоро...

— Суждено столько.

— А Гмыря где? Нехай сейчас он станет, а я пойду в третью.

— Нет, ты станешь сейчас.

— Та почему ж?

— А потому, — рассвирепел Хома, — что встань, когда с тобой командир разговаривает!

Приятель вскочил как ошпаренный.

Когда Хаецкий вернулся к Антонычу, тот все еще стоял, задумавшись, у повозки. Натянутая палатка торчала у него на голове, по ней лопотал дождь. «Почему ж он сам до сих пор не ложится? — подумал Хома о командире роты. — Весь день наравне с нами надрывал жилы, а ночью и не приляжет»...

— Товарищ гвардии старший лейтенант!

Антоныч не откликнулся. Склонившись на ящики, он крепко спал.

«Стой, Антоныч, стой, держись на своих двух, — дружелюбно думал Хома, остановившись за спиной Ангоныча, готовый подхватить его на руки, если тот будет падать. — Держись, потому что должен... Бо свалишься тут, возле воза, по собственной вине, то еще и кару пришьешь...»

Утром, прежде чем двинуться на переправу, Хаецкий провел ревизию на повозках и доложил командиру роты о наличии мин. На каждой повозке было по боекомплекту.

— Больше не поднимете? — поинтересовался Кармазин.

— Больше? Чего ж... Можно попробовать.

Хома замялся. Откровенно говоря, ему и самому хотелось догрузить подводы хотя бы сотней мин, воспользовавшись тем, что машины полкового боепитания стояли сейчас под боком. Все может случиться: машины могут отстать, ведь еще неизвестно, какие горы там, за переправой. Хорошо если дороги, а если бездорожье, обрывы, овраги? Зарез! Тогда лишняя сотня мин будет находкой. Хома уже давно все это обдумал, прикинул. Не случайно он чуть свет взялся за ревизию. Но дело в том, что на повозках лежали не только боеприпасы: много места занимало личное имущество бойцов и офицеров роты, в том числе вещи самого Ивана Антоновича. Как быть? В какой форме доложить Антонычу о своем решительном намерении? Но старший лейтенант догадался сам.

— Старшина!

— Я!

— Немедленно очистить повозки от посторонних вещей. Выбросить все, что не может стрелять или взрываться. Вместо этого догрузиться боеприпасами.

— Слушаюсь! Разрешите начать?

— Начинай...

Через секунду Хаецкий был уже на повозке. Бойцы, предчувствуя расправу, обступили его со всех сторон. Случилось так, что первым попал в руки Хаецкого ранец командира роты, снаружи обшитый собачьим мехом. Ординарец Антоныча ревниво смотрел из толпы на этот мех.

— Чье?—глядя на Антоныча, громко спросил Хома, хотя прекрасно знал, чьи это вещи.

— Старшего лейтенанта, — поспешил ответить ординарец.

— Принимай! — крикнул Хома ординарцу и швырнул ранец к его ногам.

— Ну что вы ему на это скажете? Ничего не скажете, — смеялся Черныш.

— Смейся над чужим горем! Рад, что у тебя ничего нет, кроме левой сумки.

А Хома тем временем лазил по возам, ворочал тяжелые ящики, отчитывал ездовых за либерализм, за то, что принимают на хранение всякую дрянь.

— Чье одеяло?

Одеяло слетело с повозки.

— Чья торба?

Братья Блаженко дружно стали перед Хомой.

— То наша, — заявил Роман. — Кидай сюда.

Но Хома, прежде чем сбросить мешок, из интереса заглянул в него.

— О, человек! — загремел он, обращаясь к Роману. — Сыромятины в мешок напихал! Тьфу! Стыдился бы с таким барахлом на переправу въезжать! Гляньте, гвардейцы, на Романа: полон мешок сырца! Чи не на постромки для своей тещи заготовил? Чи не запрягать ее планируешь?

Хома кинул братьям их мешок и взялся за другой.

— А это чей?

— То мое, — подбежал Маковей.

— Что ты сюда насовал, Тимофеич? Похоже, костлявого фрица заткнул.

— То запасное седло... Праздничное! Не выбрасывай, Хома!

В другой раз Хаецкий безусловно уважил бы просьбу Маковея. Как и вся рота, Хома опекал маленького телефониста и, где только мог, протезировал ему. Но сейчас Хома был беспощаден.

— Не подбивай меня, Маковей, на грех. Что не положено, то не положено...

Раскидывая ранцы и вещевые мешки, Хома добрался, наконец, и до своего собственного имущества. Стоя на повозке, он взял свой мешок за помочи, вытряхнул содержимое на ящики и начал перебирать. Смена белья, бритва и помазок, пара голенищ, отрезанных от сношенных домашних сапог, полотняный домотканый рушник... Нетяжелый скарб у Хома, однако и ему нет места на армейской повозке! Солдату в походе тяжела даже иголка! Взял вышитый рушник на руки—ветвистая калина улынулась бойцам, зарумянилась, напоминая далекие родные края, защелкала расшитыми соловейками.

— Патку мий, патку! Своими руками Явдошка эти узоры выводила! Долго берег, а нынче разлучаться должен... Не осуди, жинка, не осуди, любка! Пускаю твоих вышитых соловейков на высокие горы! Летите, коли на то пошло!

— Не выкидай, Хома, — запротестовали товарищи. — Голенища брось, а рушник оставь!

Хаецкий раздумывал мгновенье, колеблясь, и послушался совета. Сложил свою пеструю памятку, положил ее в карман.

— Не много весит. Может, даже легче с ним будет в походе...

Все это происходило ранней весной в хмурых придунайских горах. С тех пор прошло уже около месяца. Хома освоился, привык уже к своим новым обязанностям. В горных переходах он было заметно похудел, а теперь опять вошел в норму, даже шире раздался в плечах; загорелая тугая шея распирала воротник.

Горы остались далеко позади, серый камень сменился словацким хилым черноземом. Не ранняя, а уже полная весна дышала вокруг.

Едучи в колонне к далеким огням гаснущего заката, Хаецкий чутко ловил ноздрями знакомые с детства запахи весенних, распаренных за день полей. Пахло родным Подолем, земляными соками, хмельной силой будущих урожаев.

— Может, мы уже землю вокруг обогнули и опять домой возвращаемся? Ты слышишь, Роман? Ты слышишь, Маковей?

И земля, и села пошли знакомые, будто виденные уже когда-то давно. Напевная словацкая речь радостно зазвенела повсюду.

## 3

— Добры ранок, пане вояку!

— Здорова будь, сестра!

Где-то поблизости бойцы разговаривали со словачками, Сагайда сквозь теплую дремоту слышал их громкие мелодичные голоса, думая, что это ему еще снится. Разве уже утро? Он медленно раскрыл глаза и был радостно поражен: прямо над ним, вся в цвету, раскинула ветви тонкая яблонька. Словно пришла откуда-то ночью и встала у его изголовья. И все деревья вокруг, казавшиеся ночью черными и колючими, стояли сейчас бледнорозовые, мягкие, праздничные. Золотые пчелы гудели, копошились в лепестках, то скрываясь в чашечках, то вновь появляясь, еще гуще покрытые золотой пылью. Теплый спокойный воздух, пронизанный солнечными молнийками, был чист и ясен.

Сагайда встал, потянулся и ощутил в отдохнувшем теле крепкую силу и желание действия. Совсем близко на западе высились горы — Малые Карпаты; они тянулись могучей грядой с севера страны до самой Братиславы. Ночью, когда полк подходил к ним, горы казались мрачными, словно зубчатые средневековые стены. К утру они будто придвинулись ближе, заблестели камнями на солнце, весело зазеленели на склонах. Где-то в горных глубинах глухо гремел бой, а здесь, вокруг Сагайды, было тихо и спокойно. Весь полк Самиева, которому после неистового марша выпала, наконец, короткая передышка, сейчас блаженствовал. Сегодня он должен был получить пополнение. Штаб полка остановился ночью в словацком селе Гринава, раскинувшемся вдоль Братиславского шоссе, а подразделения, в том числе и минометчики Ивана Антоновича, расположились в садах предгорья, нависавших над селом огромным цветущим амфитеатром.

Сагайда, выпрямившись среди низких деревьев, некоторое время стоял, ослепленный сверканьем утренней природы. Он по-детски протирает кулаком глаза, стараясь освоиться в этой непривычной весенней стороне. Пышными розовыми клубами перекатывались по всему предгорью цветущие черешни. Внизу, словно приплыв из далеких зеленых равнин,

пришвартовалась к подножью гор Гринава. Вытянувшись вдоль шоссе, она пробивалась черепичными крышами сквозь густые сады. Вскинула над собой белые снасти, натянула сияющие паруса и будто легко повисла на них, готовая отплыть при малейшем ветре... Куда поплывешь ты, Гринава?..

За селом разворачивались густо изрезанные поля. Едва виднелись на дорогах ползущие обозы, их то и дело обгоняли машины, ослепительно сверкая на поворотах стеклами кабин. На далеком горизонте неутомимо передвигались клубы марева, словно ряды прозрачных атакующих войск. «Теперь и я понимаю, что весна!» — с наслаждением думал Сагайда.

Роту он догнал несколько недель назад на Гроне. Тогда весна еще только высылала вперед своих дерзких разведчиков — гремучие буйные ручьи на южных склонах. Лишь сейчас она развернулась во всю ширь, двинув навстречу полкам свои прекрасные солнечные силы, и полки соединились с ними, словно две братские армии.

Гринава гудела внизу, как улей, после долгой зимы впервые выставленный на солнце. Бойцы и словаки собирались группами, толпились на площади. Несмотря на ранний час, то в одном, то в другом конце села взлетала песня.

У минометов несколько бойцов чистили оружие, и среди них похаживал свежесбрированный Денис Блаженко, заглядывая в стволы и придирчиво выискивая пятна.

— Где народ? — крикнул ему Сагайда.

— Все там, — махнул рукой Денис в сторону села. — Митингуют со словаками и словачками. Их партизаны из гор выходят.

— И комроты там?

— Командир роты в полку. Пошли с гвардии лейтенантом отбирать пополнение.

— Пришло?

— Как будто.

Сагайда сбросил китель, снял рубашку и начал мыться до пояса. Денис прямо из ведра щедро лил ему на спину щекочущую воду, а он, с наслаждением выгибаясь, фыркал, гоготал и плескался во все стороны.

— Мне ничего не передавал комроты?

— Они вас вдвоем тащили за ноги, никак не могли разбудить. Потом засмеялись, пускай, говорят, поспит для эксперимента сколько влезет. Говорили, что вы три дня можете спать без просыпу.

— Вот еще мне экспериментаторы! — засмеялся Сагайда и, сбив набекрень свою кубанку, уселся возле термоса, в котором ему был оставлен завтрак. — Садись и ты, Денис, рубанем... Хватит на двоих.

— Нет, я уже.

— Как хочешь. А я повеселюсь.

После завтрака Сагайда отправился в село. Он шел напрямик, то скрываясь в белых зарослях садов, то снова выходя под солнце в голых еще виноградниках. Он приветствовал знакомых офицеров, которые, разувшись, ходили по террасам предгорья и, перекидываясь шутками, впервые пробовали голыми подошвами приятно щекочущую теплую землю. Два незнакомых Сагайде бойца, сидя под деревом, мирно беседовали, потягивая из котелка свежее, покрытое высокой пеной молоко.

— Вот ты говоришь, Мартынов, ненависть... А по-моему, не только ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед, — говорил один, в погонах сержанта. — Тяжелая и трудная любовь, освященная нашей кровью... Любовь ко всем угнетенным, ко всем трудя-

щимся людям на земле. Ею мы сильны, Мартынов, сильнее любой другой армии.

«Философы, — дружелюбно подумал Сагайда, проходя незамеченным мимо бойцов и, вопреки установленному им правилу, не поднимая их окриком, чтобы они отдали ему приветствие. — Любовь двигает армии... гм... загнул», — улыбнулся Сагайда, припоминая, что однажды уже слышал нечто подобное от Брянского. Тогда он лишь посмеялся над словами друга и почему-то назвал его Спинозой. А сегодня эти слова запали Сагайде в душу.

Начинались окраинные дворы Гринавы. Тут было совсем тихо, и ничто не напоминало о войне. Кудахтали куры, собираясь к гнездам. В парниках поднималась рассада... Лишь за спиной, где-то далеко, зеленые громады гор приглушенно гремели. Неужели там еще идет бой? Неужели он, Сагайда, только на время вырвался из мрачного зноя войны и очутился вдали от грохота, вдали от дыма и крови, среди этих садов, среди цветенья и солнца, словно выброшенный во сне на какой-то солнечный остров?

— Младый пане!

От грядки через двор спешит к нему мелкими шажками старенькая сгорбленная словачка.

— Просим вас, не обходите мой дом, загляните хоть на одну минутку!..

Она стоит перед Сагайдой, маленькая, словно куропатка на меже, жалобно и неуверенно улыбаясь.

— Богатые люди днесь открыли пивницы, угощают драгих высвободителей, — губы у бабуси обиженно задергались. — А я убогая словачка, ниц не мам, герман вшецко повыел, повыпил... Але хце се ми тако принять гостя, русского вояка, посадить его на красном месце... Не откажите... Зайдите-но!..

Сагайда взволнованно засопел.

— Чего ж... Зайду... С радостью зайду.

Бабуся торопливо пошла впереди него к дому, то и дело оглядываясь, словно хотела убедиться, действительно ли офицер идет за ней. Скрипнула дверь, распахиваясь настежь, запела на весь двор «прощай!».

Хата была, как в венке. Хотя бедность смотрела изо всех углов, впечатление сглаживалось заботливой, какой-то целомудренной чистотой, которая чувствовалась во всем. Стены разрисованы ветвями винограда, на окнах цветы в горшках. От порога к столу протянут пестрый домотканый коврик, очевидно только сегодня положенный. Часть комнаты отгорожена простой переносной ширмой. Бабуся, поднявшись на цыпочки, заглянула за ширму, улыбнулась и отставила ее в сторону.

На низкой деревянной кровати, свернувшись клубочком, спала девушка, тяжело дыша и время от времени вздрагивая во сне всем телом. Она была одета так, будто только что вернулась из дальнего пути: в сапогах, в теплом зимнем платке, подпоясана ремнем. Белые пушистые волосы рассыпались по ее плечам шелковистыми волнами.

— Видите, опять оделась, — говорила бабуся, поглаживая белый, покрытый потом лоб девушки. — Так всегда: только-но выйду на минутку, вернусь, а она уже одета, как бы мает сейчас куда-то итти. Далеко ты собралась, голубка?.. И ночью так: проснется, схватится — и все на себя, все на себя. Оденется, как будто до войска, потом упадет и спит... Езус-Мария, как у нее лоб горит!



— Давно заболела? — спросил Сагайда, стесняясь подойти близко к кровати.

— О, то было еще зимой, — нараспев, с гордостью говорила бабуся. — Видите, ноги и во сне у нее все дергаются, как будто сами куда-то идут, идут, идут... Юличка моя все Татры прошла с нашими партизанами. А как застудилась в горах, то ее лечили добрые люди в Братиславе. Потом они тайно привезли Юличку сюда. Теперь стала поправляться...

Лицо девушки пылало. Раскрасневшееся, напряженное, оно часто меняло свое выражение. Тонкие изогнутые брови то мрачно хмурились, то ласково разбегались, придавая всему лицу выражение спокойствия, удовлетворения и сердечности.

Старушка вытерла и без того чистый стул и пододвинула его Сагайде.

— Юличка так хотела вас видеть, так хотела, — говорила она таким тоном, словно Юличка лично знала Сагайду и именно его хотела видеть. — Покличьте та покличьте, мамця, русского вояка, пусть увижу...

У самой кровати на тумбочке стояла корзинка со свежими синими цветами, похожими на подснежники. Сагайда остановил на них взгляд и задумался. Собственное детство взмахнуло в памяти голубым крылом, пробежало босыми ногами по загородным рощам... Бабуся заметила этот взгляд, взяла на руки корзинку, как вазу.

— Маєте на русском эти цветы? Как то зовутся по-русски?

— Подснежники.

— Подснежники? По-словацки — нэбовый ключ. То есть самый ранний первый цветок нашей весны. Юличка кохается в тотех цветах. «Мама, ходи-но до леса, достань мне нэбовый ключ». — «О, доня, там еще снега лежат». — «Мама-люба, уже солнце за окном высокое, уже прогос нэбовый ключ... Принеси, пускай здоровая буду». Теперь каждый день ей ношу, — тихо смеется старушка, — хай видит, хай радеет, хай здоровьем красна будет...

Неожиданно девушка, вскинувшись, начинает говорить во сне.

— Виола! Виола! — настойчиво зовет она. — Где ты, я не вижу тебя, Виола!.. О, какая метель, какой ветер студеный!..

Мать смотрит на Юличку спокойно, она, видимо, уже привыкла.

— Виола — это ее посестра из Банской Быстрицы, — объясняет старуха Сагайде, когда девушка замолкает. — Они вместе были в Высоких Татрах, в одном отряде у Яна Пепы. Вы слышали про Яна Пепу?

— Нет, не слышал, — откровенно признался Сагайда, немного смущаясь оттого, что не слышал про этого Пепу.

— О, та он же был знатным коммунистом, народным посланцем республики. Оккупанты давали сто тысяч корон за голову Пепы! Его имя гремело в наших горах, словно весенний гром! А про пана Степу вы слышали?

— Про какого Степу?

— Про Степу из Русска... из России. О, его ведь вся Словакия знает!.. То был славный парень... Как вырвался из немецкой концентрации та появился прошлый год в Крушногорье, так все гардисты уже не мали себе спокойного сна. Пана Степу наши партизаны признали между собой старшим, хотя летами он был, говорят, юнак. Але ж дался его отряд немцам и гардистам!.. Мосты летели на воздух, машины с оккупантами скатывались в пропасти... А неуловимый был, как молния в горах!..

— О, кабы я могла, кабы я была мощна!<sup>1</sup>— снова бредила Юличка. И вдруг она порывисто поднялась и села, спустив ноги с кровати. Мать бросилась к ней. Девушка смотрела в стену неподвижным, бессознательным взглядом.

— Юличка! — мать обняла ее за плечи и прижала к себе. — Ты хотела позвать гостя. Кукай-но!<sup>2</sup> — она указала дочери на Сагайду, сидевшего у окна. — Ты видишь, кто зашел к нам? — Она сказала это таким тоном, словно Сагайда приходился им близким родственником, которого давно ждали. — Ты не узнаешь его? Да это ж русский!

Юличка несколько мгновений молча смотрела на погоны и ордена Сагайды. Потом вдруг встала на ноги и вся засветилась:

— Братку!..

Она держалась рукой за плечо матери, боясь упасть. Сагайда поднялся и, густо краснея, пошел ей навстречу.

— Я позову врача...

— Не надо лекаря, братку... Найлучшие лекарства уже есть у меня! Достаточне есть! Открывайте, мама, все окна в сад... О, какая там весна сегодня, какое солнце ласковое...

## 4

Хому в этот день видели повсюду. То он стоял в дверях паровой мельницы и громко витийствовал перед словаками, советуя им «обобществлять предприятия для народа»; то сидел, распустив усы, за столом в садяке католического священника и поносил перед ним папу римского; то, наконец, ходил по селу с захмелевшими хлеборобами и угрожал поделить чьи-то земли.

В конце концов, слух об этом дошел до майора Воронцова, и тот приказал немедленно вызвать Хаецкого к нему. «Дай ему волю, так он завтра колхоз организует, — думал Воронцов о подолянине, — а ты в дивизии за него пилюли глотай».

Вскоре Хома явился на вызов. Он прибыл не один, а в сопровождении целой толпы штатских, с которыми, видимо, успел где-то угоститься сливовицей. Словаки уже звали его по имени, как своего односельчанина, и, размахивая руками, клялись, что избрали б Хому своим приматором, если б он остался здесь.

— Приматор — это что? Председатель сельсовета? — спрашивал Хома и уверял своих новых друзей, что его мол на такой пост и дома выберут. Такая самоуверенность удивляла и радовала словаков. Это были в большинстве пожилые степенные крестьяне с трубками в зубах. Им не нужен был переводчик: словацкий язык удивительно близок певучему подоляскому диалекту Хома.

Шагая по улице, подолянин безудержно шутил, а словаки, весело толпясь вокруг, на ходу заглядывали ему в рот, ловили каждое сказанное им слово.

— Если товарищ майор будет меня слишком уж распекать, так вы меня поддержите, — поучал Хома своих новых приятелей. — Мою руку держите... Будьте живыми свидетелями, говорите, что мол Хома нас ничем не обидел...

Возле двора, где расположилась политчасть, Хаецкий столкнулся с Воронцовым. Майор вышел из ворот, с ним было несколько вооруженных юношей в коротких пиджаках и в гетрах, с партизанскими ленточ-

<sup>1</sup> Сильная (словацк.).

<sup>2</sup> Смотри-ка (словацк.).

ками на шляпах. Юноши оживленно рассказывали Воронцову о «Степе из Русска».

Увидев Хаецкого, майор остановился.

— Рассказывайте, — строго обратился он к минометчику, — чью там землю вы собрались делить? Может быть, у вас тут собственные поля? И кто вас вообще уполномочил на такие вещи?

Хома, вытянувшись, некоторое время ел майора глазами, стараясь угадать настроение начальства.

— Совесть меня уполномочила, товарищ гвардии майор! — наконец уверенно выпалил он. — Речь шла о земле тех предателей, что с немцами поудирали.

— То гардисты! Тисовцы! Полицианты! — дружно загудели словаки. — Бежали б они к своей могиле!

— Не будет им нашей земли!

— Пусть им Гитлер дает!..

Хома, поддержанный этим единодушным хором, сразу приободрился и, видимо не чувствуя на себе никакого греха, смело продолжал:

— Зачем бы я их землю делил? Разве вы, братья-словаки, сами не способны управиться? Разве вы позволите врагам народа вернуться из-под немца и осесть на этих полях?

— Не позволим, пане Хома!—возбужденно запротестовали словаки.

— Я, товарищ гвардии майор, только советовал им, как лучше...

— Что ж именно вы советовали?

— А мой совет был такой: обработанные и засеянные поля предателей распределить между партизанскими вдовами и матерями. Здесь есть даже такие семьи, что сыны их у генерала Свободы воюют... А незасеянные поля нарезать более крепким хозяйствам, которые собственное тягло имеют... А чтоб не было никаких нареканий и перегибов, надо выбрать такую комиссию, как наши комнезамы были!

«Что ты ему возразишь? — думал, улыбаясь в душе, Воронцов. — Не плохо рассудил, чорт возьми!»

— Все эти вопросы, Хаецкий, будут разрешены органами новой гражданской власти. Я уверен, что здесь обойдутся без вашего вмешательства. Товарищи словаки сами управятся с такими делами. Как вы скажете, товарищи? — приветливо обратился Воронцов к свидетелям Хома. — Управитесь?

— Управимся, товарищ майор! — энергично закивали усатые крестьяне.

— Вот видите, Хома, — улыбнулся Воронцов, — выходит, что ваше вмешательство непродуманно и излишне.

— Товарищ гвардии майор! — почти с дружеской сердечностью воскликнул Хома, уловив знакомые веселые искорки в глазах майора. — Да разве я очень вмешиваюсь? И могу ли я во все вмешиваться! Но если меня люди со всех сторон дергают: расскажи, помоги, посоветуй, — должен же я посоветовать! А как же? Ты, говорят, Хома, уже академию социализма прошел, а мы только за парту садимся. У тебя вон какая практика за плечами, а мы еще только по первой борозде проходим. Так должен же я людям помочь, свой опыт передать!

Воронцов едва сдерживал улыбку, глядя на распалившегося Хома. Вспомнилось майору, как в прошлом году в Альпах товарищи тянули Хаецкого канатом на отвесную скалу. А сейчас «патку, мий патку» уже сам вытягивает других.

«Теперь за папу римского начнется», — догадался Хома по тому, что майор снова нахмурился. Хаецкий не сомневался в том, что вся эта волокита началась из-за попа, с которым он сегодня выпил чарку,

а после жестоко поспорил. Надо бы его совсем не трогать. Ткнуть бы ему фигу при встрече, как мать учила когда-то, и пойти себе прочь. Может, это и предрассудок, но помогает наверняка. Чуть ли не всем чернорясникам Европы Хома уже понатыкал кукишей, чтобы никакой беды не случилось, а этого пощадил. И вот пожалуйста: заработал неприятность. Конечно, это поп пожаловался замполиту. Наверное, рассказал, какие угрозы посылал Хома папе римскому, сидя за поповским столом... Сейчас начнется, держись, Хома! -

Однако майора интересовало совсем другое.

— Докладывайте, как вы там на мельнице распорядились.

— Должен был, товарищ гвардии майор! — честно докладывал Хома, обрадовавшись, что самая главная, по его мнению, опасность миновала. — Должен был! Хозяин той мельницы в Австрию пятки нарезал, а у людей мука кончилась. Как быть? Выходит, надо обобществлять предприятие... Я им прямо говорю: обобществляйте! Набейте жернова по-новому и пускайте машину! А то как же?.. Правдивое мое слово, Юраш? — апеллирует Хома к одному из своих явных приверженцев, стоящему ближе других.

— О, Хома, — с удовлетворением откликнулся Юраш. — Обобществим для народа, чорт его дер! —

Воронцов переглянулся с юношами-партизанами, которые весело следили за происходящим, и все засмеялись. А неугомонный Хома разошелся и уже допрашивал другого:

— Штефан, а твоя думка какая?

— То так должно быть! — воскликнул Штефан, приземистый, воинственный, видимо готовый хоть сейчас взяться за мельницу богача. — То буде демократичка справа!

— Францишек! А ты почему молчишь? Ты — за?

— Айно<sup>1</sup>, — решительно топнул босой потрескавшейся ногой Францишек. — Айно!

— Айно! — подхватили в один голос остальные крестьяне.

— Слышите, все говорят: файно<sup>2</sup>! — резюмировал Хома. — Народ хочет! А если народ чего-нибудь дружно захочет, то уж так и будет, клянусь своими сынами!

Воронцов отпустил подолянина, не наложив на него взыскания. Однако серьезно предупредил, чтобы в дальнейшем Хома не брался распределять землю, которая ему не принадлежит.

Хома заверил, что линию не перегнет...

А часом позже уже хозяйничал в роте. У него и тут было немало дел.

Офицеры только что привели нескольких бойцов молодого пополнения, и Хаецкий, осуществляя свои старшинские права, должен был выстроить их и проинструктировать. Иван Антонович, лейтенант Черныш и все расчеты, посмеиваясь, наблюдали, как Хома приструнивал новичков. А он начал с того, что, не моргнув бровью, важно обошел шеренгу. Что там говорить, он знал, с чего начать! Прежде всего, стал экзаменовывать новоприбывших: твердо ли запомнили номера своих автоматов и карабинов? Потом просовывал свою руку за ремень каждого и выворачивал, определяя, туго ли затянуты орлы. Видно, Хома остался доволен.

— То, что номер карабинки заучил, — это раз хорошо. То, что погоны на тебе сидят, как влитые, — это два хорошо. А то, что вид

<sup>1</sup> Да (словацк.).

<sup>2</sup> Красиво, хорошо (укр., западн. диалект).

имеешь молодецкий, — это три хорошо. Таким будь! — восклицал Хома. — Должны и в дальнейшем внимательно за собой следить, бо у меня на тяп-ляп не проживешь. За первую пуговицу даю замечание, за другую — уже взыскание накладываю. Звезды на пилотках чтоб сияли у вас на две версты вперед! Иначе я не признаю. Ведь ты не какой-нибудь там ай-цвай, ты — великий человек! На тебя весь мир смотрит, следит, как ты сел, как встал, как двинулся, как пошел!.. Все это вы должны себе раз навсегда зарубить на носу и держать голову высоко. В нашей минометной нема таких, что уши по земле волочат. У нас такой народ, что сам на чужие уши наступает! Всем понятно?

— Понятно.

— Не слышу!

— Понятно!!!

— Разойдись!..

Новички рассыпались во все стороны. Однако Хоме показалось, что они разбежались недостаточно быстро.

— Эге, разве ж так гвардейцы расходятся? Гвардейцы отскакивают во все стороны, как пружины. Становись!

Новички снова выстроились.

— Разойдись!

— Становись!

— Разойдись!

— Становись!

Уже пот ручьями катился по раскрасневшимся лицам новичков. Наконец, Хома сжалился.

— Добре. Вот так чтоб всегда. А сейчас пойдете со мной на склад. Я получу обмундирование, а вы принесете.

Весть о летнем обмундировании вызвала в роте всеобщий восторг.

## 5

«Что, собственно, произошло? — думал Сагайда, шагая по улице Гринавы. — Почему тебе таким особенным, многозначительным кажется этот сегодняшний разговор в словацкой хате? Ну, пригласили тебя, ну, обласкали... В конце концов, самая обычная вещь... Но почему же ты вышел оттуда таким смущенным и взволнованным? Каким зельем тебя напоили в той убогой светлице, разрисованной до самого потолка буйным виноградом? Идешь — и земли не чувствуешь под собой... Идешь — и звенит все время у тебя в ушах нежное слово:

— Братку!

Словно разбогател неожиданно, словно впервые со всей полнотой ощутил свою большую солдатскую ценность...

Откуда все это?

Было время, когда тебе, грубому, мстительному, озлобленному личными потерями, все было немилу в этих чужих землях, ты не видел перед собой ничего и никого, кроме врагов. С мрачным недоверием смотрел ты на тех, кто тебя приветствовал. В их приветствиях тебе слышалась неискренность и виноватая предупредительность, покорность перед твоей силой. Упрямый в своей ненависти к врагам отчизны, ты с постоянным подозрением проходил среди чужих людей, будто продирался сквозь колючий кустарник, полагаясь только на себя, на товарищей, на оружие.

«Любовь двигает армии вперед»... Кто это сказал? Где? А-а, это те молочники, те философы... Здорово... В самом деле, если подумать,

чорт возьми, так это же счастье — любить людей! Конечно, стóящих. Конечно, настоящих. Таких, как... эти».

Сагайда восторженно смотрел на своих однополчан, которые беседовали и смеялись, толпясь вперемежку со словаками возле каждого двора. Некоторые уже в светлозеленом, только что полученном обмундировании, другие еще в прошлогоднем... Обтрепанные в походах обмотки, выгоревшие, полинявшие гимнастерки, простые, открытые лица... Однако глядишь на них и насмотреться не можешь. Не впервые ли Сагайда взглянул и на себя, и на своих товарищей новыми глазами? Кажется, еще нигде он не ощущал так глубоко свое значение и свою роль освободителя, как здесь, на этой словацкой земле, где его ждали «шесть долгих-долгих лет»...

Только что его спрашивали:

— Матку маш? <sup>1</sup>

И утерянная за время войны семья словно возвращалась к нему большой родней — могучими единокровными полками.

— Есть, — отвечал он с гордостью.

— Витця маш? <sup>2</sup>

— Есть.

— Братив маш?

— Есть, есть!..

— Сестру маш?

Когда Юличка спросила его о сестре, он не мог сразу ответить. Этот вопрос больно ударил его по незатянувшейся ране. Ведь у него и в самом деле есть где-то сестра, родная щебетушка Зинка, вывезенная в запломбированном вагоне на немецкую каторгу... Где ты, Зинка, где ты, сестричка? Изнываешь рабыней на подземных опостылевших заводах, состарившись в свои восемнадцать лет? А может, палачи уже загнали тебя в могилу? Юличка, видимо, разгадала его тяжелое молчание.

— Считаю тебя сестрой, — сказала она. — Буду тебе, как родная...

Юличка... Лежа, согнувшись, в постели, она казалась ему совсем маленькой. А когда, откинув косы, встала на ноги и выпрямилась, то оказалась высокой и стройной...

— Здравия желаю, гвардии лейтенант!

Кто это? Шовкун!.. Стоит перед Сагайдой уверенно, с достоинством, как равный перед равным. Голос его заметно окреп, в нем теперь твердо звенит гвардейская медь, сменив ту вкрадчивую, податливую мягкость, над которой так издевался Сагайда, когда Шовкун был ординарцем Брянского. Теперь Шовкун, очевидно, не позволил бы никому отыгрываться на себе. Усы подстрижены щеточкой, санитарная сумка на боку. Гвоздь! Сагайда от души рад ему, как рад всему на свете, что хоть в малейшей степени причастно к его идеалу, к Брянскому.

— Получил вот письмо от Ясногорской, — хвастался Шовкун. — Скоро будет в полку. Комбат сказали, что как только Ясногорская появится на горизонте, опять потребуют ее к нам.

— А Муся?

— Наладим, — сказал Шовкун о своей нынешней начальнице так решительно, словно её судьба целиком зависела от него. — Разве она стóит Ясногорской? Мизинца ее не стоит... На нее уже и командир санроты зубы точит. Нас, то есть санитаров, представил на «Отвагу», а

<sup>1</sup> Мать есть? (словацк.)

<sup>2</sup> Отец есть? (словацк.)

ей — дулю под нос, извините за выражение. Потому что мы из огня не вылазим, а Муся наша больше за кавалерами бегаает...

Чувствовалось, Шовкун хорошо знает цену своей работе, и хоть тяжела она ему, однако нисколько не обременительна.

— Ты, дружище, уже врос в свою новую должность, как добрый всадник в седло, — засмеялся Сагайда. — Хвалю за ухватку!

— А чего ж... при моей должности иначе и быть не может. Людьями дорожишь — и тобой дорожат.

— Да, я слышал. Комбат о тебе хорошего мнения. Когда же придет Ясногорская? Хоть бы увидеть, какая она...

— Через неделю-другую прилетит.

— Ого! До того времени еще трижды умереть можно!

— Теперь уже грех помирать, товарищ лейтенант. К цели подходим.

Вернувшись в роту, Сагайда не узнал своих: все были переодеты в новое, зеленое, весеннее. Хома встретил его упреком:

— Наконец-то дождался вас, гвардии лейтенант! Видите: все уже, как рута, зазеленели, только вы один вылинявший... Да еще Маковей где-то чорт носит, и на обед не появлялся. Прошу, получайте свое обмундирование и вещевую книжечку.

Черныш был уже с ног до головы в новом — вырядился, как на парад. Привинтил орден, затянул ремень, подошел к Сагайде:

— Осмотри меня, Володька! Скажи свое авторитетное слово!

— Повернись... Так... Всё — как на тебя шито. Только сапоги не гармонируют, слишком уж богатырские.

Сапоги из желтой юфты, с высокими плотными голенищами, действительно были несоразмерны и тяжелы для легкой, красивой фигуры Черныша.

— На тебя хромовые просятся.

— То ничего, что тяжелые, — заметил Роман Блаженко. — Зато походка выработается. Ведь коня-рысака специально подковывают тяжелыми подковами, чтоб ногу до груди выбрасывал.

Антоныч, разувшись, старательно примерял сапоги. Сагайда ждал от него какого-нибудь неприятного сюрприза: где, мол, был, да у кого спрашивался, уходя из расположения роты? Однако Антоныч сделал вид, будто Сагайда уходил из роты с личного его, Антоныча, разрешения. «В конце концов, этот курносый — симпатичный тип, — подумал Сагайда о командире. — Но почему же мы с ним никак ужиться не можем? С первого дня на ножах...»

Вернувшись из госпиталя в полк, Сагайда был неприятно поражен тем, что его ротой — славной ротой Брянского! — теперь командует какой-то Кармазин. Правда, этого «какого-то» он хорошо знал, ибо Иван Антонович долгое время командовал минометчиками соседнего батальона. В ту пору Сагайде не раз приходилось иметь с Антонычем разные дела, официальные и неофициальные, и отношения между ними в общем оставались добрососедскими. Но то, что Кармазин вдруг оказался его непосредственным начальником, Сагайду покорило. Пусть Черныш, пусть кто угодно другой, близкий к Брянскому, возглавит роту — Сагайда согласится безоговорочно. Но какой-то Кармазин, посторонний человек, далекий от семейных традиций роты, пришел на готовенькое и начал спокойно распоряжаться!.. Первые дни Сагайда чувствовал себя так, словно, вернувшись в родной дом, неожиданно застал в нем мачеху.

Свое непризнание «мачехи» Сагайда невольно переносил и на бойцов, прибывших в роту уже при Кармазине. Имея привычку давать людям прозвища, Сагайда окрестил их «кармазинниками». Незаслужен-

но обижая их, Сагайда всю свою грубоватую, еще не угасшую влюбленность в Юрия Брянского теперь перенес на ветеранов роты, на тех людей, которые как бы несли на себе немеркнувший отблеск погибшего друга-офицера. Ими дорожил, их оберегал за счет других. Нелюдимому, неуживчивому Сагайде вообще трудно было кого-нибудь полюбить, но если уж кто завоевывал его суровую любовь — то на всю жизнь. В особом фаворе был у него маленький Маковей. Ему лейтенант даровал всякие льготы, строго спрашивая с других телефонистов, напарников Маковея. Антоныч не мог смириться с такой несправедливостью, и на этой почве между ним и Сагайдой возникали острые стычки. Иван Антонович, рассвирепев, кричал, что пока он командует ротой — никому не позволит создавать в ней нездоровые отношения. «Нет у меня сынков и пасынков, своих и не своих! У меня есть только наши люди, советские бойцы!». Накануне, сцепившись с Сагайдой, Антоныч пригрозил, что предаст его офицерскому суду чести.

А сейчас как будто ничего между ними и не было. Примеряя сапоги, Кармазин спокойно сообщил Сагайде, что только что получил пополнение — несколько молодых, необстрелянных ребят.

— Все пойдут в мой взвод? — настороженно спросил Сагайда, ожидая, что командир роты умышленно даст ему всех новичков вместо воспитанников Брянского.

— Не дам тебе ни одного, — оглушил Антоныч Сагайду.

— Почему?

— А так. Ты трудно уживаешься с людьми. Воспитываешь медленно. Всех даю в первый взвод, Чернышу. А ты возьмешь тех, с которыми... полегче.

Сагайда обиделся, но промолчал. Он понимал, что здесь не обошлось без сговора командира роты с Чернышом. Черныш, конечно, тоже хотел бы иметь у себя людей проверенных, опытных, на которых можно положиться. Но он согласился взять к себе весь этот необстрелянный молодняк. Думает, что у него лучшие, чем у Сагайды, командирские данные. Ну что ж... Пусть будет так.

Натянув, наконец, новые желтые сапоги, Антоныч прошелся в них туда-сюда, попробовал, не жмут ли, и, усевшись на холмике, снова разулся. Потом кликнул ординарца:

— На, спрячь мою обнову!

— А вы как? — удивился ординарец.

— Пока что буду шкрябать в старых, добыю уж их до конца. А новые, — Антоныч улыбнулся и оглядел окружающих, — новые обую уже в день победы.

— К тому времени я себе еще одну пару выцыганю у начальника ОВС, — решительно сказал Сагайда и, держась за плечо Черныша, с такой силой выбросил вперед ногу, что наполовину стянутый старый его керзовый сапог отлетел на несколько метров в сторону, едва не стукнув Ивана Антоновича по темени.

— Куда вы швыряете? — неожиданно послышался снизу голос Маковея. Телефонист вышел из-за ветвистых белых деревьев, улыбаясь всей роте. — Разве вы не видите, что это я иду?

— Иди-ка, гуляка, — поманил его Хома, — засажу тебя до ночи бараболою чистить!

Маковей появился на огневой, как молодой королевич: в складке его пилотки задорно синел кустик «нэбового ключа». Увидев новичков, хлопец тут же предупредил их, что, как только отдохнет, будет с каждым из них по очереди браться.

— Испробую вашу зеленую силу.



Обедать Маковей отказался.

— Я недавно заправился, — сообщил он. — Обедал с разведчиками и партизанами. Вы не знаете, что это за народ — партизаны. Как есть наши: «Полюшко» даже поют! Мы с Казаковым первыми их заметили, когда они с гор спускались. Смотрим: спускаются стёжкой один за другим, машут нам фуражками и беретами... Они береты носят. Я сгоряча подумал, что это мы со вторым фронтом соединились. «Союзники!» — кричу Казакову. А ближе подошли, слышим по разговору — братья-словаки...

— Откуда ж они «Полюшко» знают?

— А у них в отряде командиром был какой-то наш капитан по имени Степа. Он их всему научил. «Степа из Русска» — так они его называли. А настоящей его фамилии никто не знает. Только то и известно, что был этот Степа офицером Красной Армии, потом попал в плен, все концлагери прошел... Его уже в печах должны были сжечь, а он организовал товарищей, перебил с ними охрану и вылетел, как орел, на волю! — Маковей даже засмеялся при этом. — Появился в Высоких Татрах, установил контакт с партизанами и в боях славу добыл. А потом они выбрали его командиром одного из своих отрядов. Незаменимый, говорят, был вожак! Повсюду немчура перед ним дрожала.

— Это правда, — поддержал воодушевленного Маковея Сагайда. — Я тоже слышал о нем.

— Бывает же такое с человеком, — задумался Роман Блаженко. — Дома его уже, наверное, занесли в без вести пропавшие, а он где-то живет, действует, за наше дело борется...

— Где он сейчас, Маковей?

Парень опустил глаза.

— Месяц назад где-то в Моравии голову сложил. Вместе с целой группой партизан.. Но фамилия его непременно будет установлена! Майор Воронцов сам взялся за это.

— Данных мало, — пожалел Денис, — трудно будет искать.

— Чего там мало, — энергично запротестовал Маковей. — Звание известно — это тебе раз. Имя известно — это тебе два. Родом... советский — это тебе три! А еще я не договорил: у него где-то дивчина осталась. В свободный час он как-то рассказывал о ней партизанам. И песни, говорят, по вечерам пел для нее. Чтоб она их услышала, чтоб знала, где он есть. Всюду, где он проходил со своим отрядом, словаки поют его песни. По всему Крушногорью поют, в каждой хатенке лесника, где он отогревался в метели и завихури... Разве по таким фактам нельзя человека узнать?

— Узнают, — убежденно заявил Сагайда. — По таким следам да не найти!

## 6

Так Хоме и не пришлось на сей раз засадить Маковея чистить картофель. Вечером полк снялся, вошел в зону Малых Карпат. Чем дальше, тем слышнее гремел бой, ленточки трассирующих, прорезая темные ущелья, приближались, становились ярче.

Отсинело высокое гринавское небо, отзвенела певучая братская речь, отшумели белым шумом переполненные чаши садов. Кончилась короткая передышка, когда солдаты, как бы выйдя из войны, из ее душных цехов, попали было на мгновение в неожиданно солнечный, непривычный, обновлённый край. Все это опять оборвалось... Впереди темным

зловещим морем снова клокотала война. Полк привычно входил в нее по пояс, по грудь, по шею...

По крайней мере, такое ощущение было сейчас у Сагайды. Он шел по обочине узкой дороги с командиром взвода бронейщиков Теличко. Из-за ближнего хребта уже вздымались багровые маяки зарев, подпирая небо над передним краем. Дорога круто поднималась в гору, то пролегая по узким карнизам над пропастями, то входя — как сейчас — в лесистые ущелья, темные и тесные, как туннели. Тяжело дышали лошади, вытаскивая повозки и пушки. Позвякивало оружие на бойцах. Слышались короткие сердитые команды.

Сагайда постепенно приходил в себя после сильных гринавских впечатлений. Его спутник, Герасим Теличко, маленький, задиристый, горластый, принадлежал к числу тех, с кем Сагайда делился своими сердечными тайнами. Младший лейтенант Теличко был ветеран, «старик», с ним Сагайда не раз попадал в трудные переделки. Встречаясь, они никак не могли наговориться до конца. Сегодня минометчики и бронейщики шли рядом, и Сагайда, уверенный в своих «гренадерах» (а с новичками пусть нянчатся Кармазин и Черныш!), мог спокойно всю дорогу точить лясы с приятелем. Они успели уже перемыть косточки какому-то придирчивому начальнику, уже дали прозвище знакомому скряге-интенданту и теперь добрались до Антоныча, над которым поиздеваться и сам бог велел.

— Знаешь, Герасим, мой курносый Сократ (так Сагайда заочно величал Антоныча) опять проехался по мне.

Услышав это, Теличко расхохотался:

— Как же это он умудрился, формальная его душа? Ведь по тебе, Вовка, проехаться — нелегкое дело!

— Представь себе — умудрился. Из нового пополнения не дал мне ни одного новичка. «Ты, говорит, медленно воспитываешь, тебе с новыми людьми трудно — садись на более легкий хлеб»... Так разве не дракон он после этого, скажи?

— И ты смолчал?

— Смолчал. Как раз был в таком настроении, такая лирика нашла на меня после Гринавы... Не хотелось ни с кем ссориться, с каждым братался бы... Как ни говори, а он тоже честно протопал свою тысячу километров, чтобы освободить эту самую Гринаву... Работяга, вол!

— А как же с новичками? Что, он их себе за пазуху положит?

— Передал всех в первый взвод, Чернышу. Пусть, дескать, выковыивает.

— И тот не возражал?

— Куда там, сам захотел. Видишь ли, он считает, что у него для этого больше данных, что мне это будет труднее, чем ему... Ну и пусть тянет...

— Он, кажется, до сих пор из себя недотрогу корчит, этот ваш Чернышок? Всё чем-то озабочен, всё время серьезный такой, всё у него идет по программе. Чихнуть не может без программы.

— Ты его просто мало знаешь, — возразил Сагайда. — Он только на вид теоретик, а на деле задушевный парень. А что любит на каждом шагу мировые проблемы решать, так это уж у человека такой характер. Между прочим, он хочет после войны какую-то диссертацию писать о роли минометного огня в условиях форсирования водных рубежей. Целые вечера бубнят об этом с Кармазиным.

— Лишь бы уменя хватило, — заметил Теличко, — а мысль неплохая.

— Уменья хватит. У него шарики работают дай бог... Недаром с ним Брянский дружил.

— А это правда, что у него с Ясногорской наклевывается?

— Факт. Тайком молится на ее фотографию.

— Почему тайком? — удивился Теличко. — Если бы мне такая ответила взаимностью, я на весь мир раструбил бы...

— А он корчит из себя безразличного. Мучается, кипит, переживает, а письма ей пишет холодные, как рапорты Чумаченко. Вот натура! И знаешь, что его сдерживает? «Она, говорит, была невестой моего друга. Я, говорит, не имею морального права на это». Так и живет, стиснув зубы. А по-моему, именно он, а не кто-нибудь другой, далекий Брянскому, имеет право на ее любовь. Как ты считаешь?

— Я лично не вижу тут ничего особенного, — развел руками Теличко. — Конечно, если бы закрутился легкий роман, мне было бы обидно за Юрия.

— А мне? — воскликнул Сагайда. — Да за такое я им обоим глаза повыдирил бы! Но тут совсем другая песня... Тут дело серьезное... Если уж Евгений не может пересилить себя, если это для него «первая и последняя», если и она его искренно сердцем избрала, то тут нужен другой подход. Здесь должен сказать свое слово настоящий судья.

— Кого ты имеешь в виду?

— Брянского. Представляешь, как бы он ответил на этот сложный вопрос? Осудил бы он их или нет? По-моему, нет. По-моему, он одобрил бы. Потому что тут не пустячки, не шутки, тут люди сгорают. Разве чистой, настоящей любовью осквернишь его память? Разве, скажем, для меня или для тебя было бы что-нибудь обидное в том, что человек, которому я хотел создать счастье, нашел его где-нибудь после моей вынужденной посадки? Я ведь не какой-нибудь дикарь, скиф, который, давая дуба, приказывал убивать свою жену и класть ее рядом с собой в могилу. Я, наоборот, завещал бы друзьям беречь ее, любить, осчастливить. Погибая сам, я хотел бы, чтобы моя любовь была, как знамя, подхвачена другим и честно пронесена им дальше через всю жизнь... Чтобы в ваших чувствах билось мое чувство, чтобы в вашей верности жила моя верность. Кому из нас не хотелось бы даже после смерти остаться примером для других? Примером не только в подвигах и боевых делах, но и в самом интимном.-

— Ты, Вовка, разошелся, как влюбленный. Все это результат твоих гринавских встреч. Теперь мне ясно, что ты влип.

— Ты со мной не согласен?

— К сожалению, я тут не при чем. Выкладывай это Чернышу, а не мне.

— Уже выкладывал.

— И как он?

— Молчит...

Черныш молчал. Шел с новичками впереди, иногда вместе с ними подталкивал повозки и думал в это время о Ясногорской. То, что Сагайде казалось простым и понятным, для него было мучительным клубком чувств; трудно их распутать, трудно выразить словами. Так и выгреб бы их из своего сердца, чтоб не жгли, не растравляли его... Скоро она вернется в полк... Опять будет рядом. Хочет он этого или не хочет? Иногда он готов закричать ей отсюда: приходи, скорее приходи! А иногда хочется кричать: не приходи! Ведь он не тот, ведь он... другой! Но, забегая мыслями в послевоенное время, представляя себя в новой, необжитой обстановке, он почему-то всякий раз встречал ее там,

хотел и не мог разминуться с ней: она была всюду на его воображаемых будущих путях.

Выплыл месяц, и хребты гор заблестели каменной чешуей. Колонна, перевалив через кряж, начала спускаться. Здесь был яснее слышен привычный гул ночного боя. Стали видны орудийные вспышки в далеких ущельях. Повозки, спускаясь на разогретых тормозах, громко стояли в ущельях, словно лебеди из старинных славянских песен.

Черныш слышал, как сзади, то и дело спотыкаясь на острых камнях, Маковой допытывался у Блаженко:

— Интересно, Роман, чем тебе кажутся эти силуэты на месяце? Говорят, какой-то Авель поднял на вилы своего брата Каина.

— Не Авель Каина, а Каин Авеля.

— В конце концов, это не так важно — кто кого. Факт, что брат брата убил. Вот варвары! Но где же вилы? Сколько ни смотрю, а вил не вижу. По-моему, эти силуэты больше на солдат похожи. Смотри: один сидит, а другой над ним склонился и рану ему перевязывает. Будто дивчина над бойцом.

Где-то совсем близко, как бы проснувшись, заговорили пулеметы. Дробная россыпь ударов дерзко ворвалась в тишину, словно кто-то сверху по длинной водосточной трубе спустил щебень. Перекатилось эхом, замерло... Голубые ракеты, взвившись над ущельем, мрачно осветили часть горной дороги, безлюдную опушку, лесной домик на курьих ножках...

Прозвучал приказ немедленно развернуться в боевые порядки. С оружием наготове подразделения спускались в темные буераки, куда не достигало голубое сиянье месяца.

По пояс, по грудь, по шею...

## 7

«Здравствуй, Женя!

Вот я уже и на пороге родного дома. Наш санитарный эшелон сейчас стоит на пограничной станции Н. Это письмо пишет тебе под мою диктовку медсестра Лида.

Утро. Мы только что умылись на берегу и теперь сидим под насыпью, ожидая встречного поезда. Все, кто только мог, высыпали из вагонов, восторженно приветствуя долгожданную родную землю. Даже если бы мне не сказали заранее, что за рекой, в нескольких метрах отсюда, уже начинается наша Родина, то я сам узнал бы об этом. Я почувствовал бы ее хотя бы по легкому весеннему воздуху, что плывет на меня оттуда, словно с высоких, вечно чистых гор.

Представляешь, Женя, что у меня на сердце? Представляешь, что может быть на сердце у человека, когда у него есть куда возвратиться, есть с чем возвратиться? Я не случайно подчеркиваю именно то, что у меня есть, что я приобрел, а не то, что я потерял. Поверь, мои потери в сравнении с моими приобретениями кажутся мне в этот момент совсем ничтожными. Так, верно, должен чувствовать себя каменщик, выложивший хотя бы один карниз величественного дворца.

Постепенно привыкаю к своему положению. И странная вещь: мне временами кажется, что, несмотря на утерянное зрение, я все-таки вижу. Может быть, это потому, что я не одинок, что меня всегда окружают товарищи и друзья. Со всех сторон я чувствую поддержку товарищеских рук, товарищеских глаз. Они стремятся передать моему восприятию окружающий мир во всей его полноте, они хотят, чтобы мне все было видно, как и им. И я вижу, Женя!

Мы ехали через Трансильванию. Грохоча в туннелях, наш эшелон пролетал теми самыми ущельями, где в прошлом году были наши огневые. Два дня мчались над самым Мурешом, над тем самым бурным Мурешом, который — помнишь? — пришлось нам форсировать вброд октябрьской ветреной ночью... Я снова чувствовал под собою те хребты, по которым мы прошлый год рвались на запад. Мезитур, Арад, Дева... Вслушайся, дружище, в названия этих мест. Я уверен, что от них на тебя также повеет чем-то теплым, чем-то близким.

Мне кажется, что все земли, по которым мы прошли с боями, стали для нас навсегда близки. Я, во всяком случае, не смогу теперь безразлично слушать румынскую или венгерскую речь, не смогу спокойно воспринимать газетные или радиосообщения о жизни этих народов. Я не смогу быть беспристрастным к ним. Да и кто из нас отныне может не интересоваться ими, не следить за развитием их жизни, за их движением по новому пути? В конце концов, разве это не естественно? Разве не оставил здесь каждый из нас частицу самого себя? Земля эта еще и сейчас горяча от нашей крови, еще до сих пор солона от нашего пота. Вот почему я волновался, как при встрече с родными, когда Лида сказала мне, что вдоль железной дороги стоят вооруженные кирками и лопатами смуглые трансильванцы в своих боярских шапках и в войлочных штанах. Это те самые чабаны и лесорубы, которых мы с тобой часто встречали в горах. Сейчас они прокладывают через горы газопровод. Я слышу их искренние возгласы, которыми они приветствуют наш эшелон. Все мы взволнованы до глубины души. Да! Освобожденные не могут забыть освободителей — это понятно. Но я уверен, что и освободители тоже никогда не станут безразличными к освобожденным.

Иногда горы поднимались вблизи вагонов, как небоскребы. Иногда отступали вдаль. Тогда бойцы, толпясь у окон, с радостью узнавали вершины, которые им довелось шгурмовать, вслух обращались к ним, как к живым существам. Для меня эти вершины, окутанные гучами, были как бы символами развенчанной недосыгаемости, они воплощали в себе величественный эпос нашего похода. Чувство преодолемости всего, что раньше казалось непреодолимым, — не это ли самое важное чувство, которое вынес я из войны? Сейчас в моем представлении все самое могущественное на свете кажется карликовым по сравнению с человеком, борющимся за свои идеалы.

Может быть, все это не ново, но для меня лично это было в какой-то мере открытием. Откровенно говоря, раньше и люди, и явления жизни выступали передо мной несколько преуменьшенными. И только на фронтах этой войны я узнал настоящую цену себе и своим товарищам. Потому что именно на этих фронтах каждый из нас, простых людей, рядовых гвардейцев человечества, отчетливо ощутил, что он имеет свой определенный вес на великих весах истории.

Такими мыслями я жил, пересекая вторично Трансильванские Альпы. Не раз мне хотелось поделиться ими с тобой, вспоминая наши ночные беседы под мокрыми скирлами, разбросанными в венгерских степях, под холодными заревами Будапешта, когда мы волновались за судьбу и пути человечества не меньше, чем за нашу полковую разведку, ушедшую куда-то на смертельное задание. Кстати, как там наш Казаков? Как другие «волки»? Приветствуй их, если живы.

В Плоешти нам пришлось перебазироваться из мадьярских вагонов в советские. Теперь уже до самого Плоешти доходит наша отечественная широкая колея. Отсюда поезда водят наши машинисты с нашими девушками-кочегарами. Нам попались обычные «телячьи» вагоны, по-

клеваные за войну пулями и осколками и уже старательно залатанные на наших вагоноремонтных заводах. Гвардейцы, ощупывая нашитые доски, нежно поглаживали их ладонями, как зарубцевавшиеся раны. Гладил и я. А Лида плакала.

Как твои отношения с Ш.? Я почему-то уверен, что если вы до сих пор не сблизились, то в будущем это произойдет непременно. Зная вас обоих, ваши характеры, ваши взгляды, склонности и интересы, я себе представляю вас в жизни не иначе, как рядом.

Прибыл встречный эшелон, остановился рядом. Заиграли гармошки, зазвучали песни. Это молодежь едет на фронт. Счастливые: они пойдут в бой! Возможно, кое-кто из этих новичков попадет именно в твою роту. Придется тебе, Женя, выступать уже в роли ветерана-учителя... Что ж! Обучай их гвардейской науке.

Должен кончать. Гудок. Эшелон молодых двинулся к вам на запад. Нам тоже команда: по вагонам... Домой, домой!..

Привет однополчанам, привет гвардии.

*Саша Сиверцев».*

## 8

Это письмо Черныш получил на Мораве.

Полк готовился форсировать реку. В кустарниках вдоль полноводной Моравы уже ползали разведчики, изучали характер противоположного берега, засекали вражеские огневые точки, выискивали самые выгодные причалы для предстоящей высадки десантов.

Десантные группы уже были здесь, неподалеку, за спиной у разведчиков. Если бы враг мог заглянуть в гущу приморавских лесов, он увидел бы, какая гроза собирается у него над головой! В лесу становилось тесно от непрерывно прибывающих войск.

Полк Самиева работал старательно, спокойно и деловито, как огромная мастерская. На этот раз он должен был переправляться на подручных средствах. Вся техника сосредотачивалась где-то севернее: направление главного удара было выбрано там.

Самиевские мастера сегодня соревновались в изобретательности. Саперы и пехотинцы, скинув телогрейки и поплевав на ладони, принялись вязать плоты. Из ближайших сел по лесным тропинкам несли на плечах тяжелые лодки и остроносые душегубки. Отдельные десантные группы были уже сформированы и, располагая перед боем несколькими свободными часами, проводили пробные учения. Атака на Мораву должна была начаться вечером, с первыми сумерками.

Черныш готовил своих новичков, когда батальонный почтальон Олег Чубарик принес ему письмо:

— Танцуйте, лейтенант!

Но Чернышу в этот день было не до танцев. Выяснилось, что большинство его новичков впервые стояли перед серьезным водным рубежом. Были, правда, среди них и прошедшие суровую купель форсирований. У молодых наводчиков Бойко и Шестакова за плечами стоял опыт форсирования Дуная. Солдатская судьба привела их сюда через госпитали и запасные полки из 3-го Украинского. Они уже побывали в Болгарии и Югославии, имели на груди красные и золотые нашивки и держались уверенно. Даже Хома, ведя с ними длительные беседы, признавал, что хлопцы видали виды и могут немало интересного рассказать ему о балканских краях, о тамошних порядках.

За этих Черныш был спокоен. Беспокоили его такие, как рядовой Ягодка. Этот статный краснощекий юноша с умными внимательными

глазами с первых дней заинтересовал Черныша. «Видно, человек с богатым умом, с хорошим образованием, — думал о Ягодке Черныш, отбирая его из пополнения. — За три дня станет наводчиком».

Какое же было его разочарование, когда он узнал, что Ягодка неграмотный: не умеет даже расписаться. Вся рота была поражена. В самом деле, бойцам непривычно было видеть неграмотного юношу двадцати лет, умного, работающего и безусловно способного. На Ягодку приходили посмотреть, как на что-то ненормальное, диковинное. Где он рос? В каком лесу?

Оказалось, что Ягодка родился и вырос под румынской оккупацией. Он был родом из Измаильской области. В роту прибыло несколько солдат, недавно ставших советскими гражданами, и все они первые дни держались в стороне, ходили невеселые. Их, видимо, угнетала собственная отсталость. Одного из них, бессарабца Иону, Хаецкий взял к себе в ездовые, пообещав «сделать из него человека», остальных Черныш забрал в свой взвод. Сегодня он должен был повести их в первый, самый страшный для них бой. Как они будут держать себя на Мораве? О чем они сейчас думают? Что их беспокоит?

Прочитав письмо Саши Сиверцева, Черныш оглядел своих молодых бойцов. Они сидели возле него на перевернутой вверх дном лодке. Одни смотрели на Черныша доверчиво, спокойно, другие прятали в глазах глубокую тревогу. Вероятно, им казалось, что они сидят сейчас на собственном гробу, а не на боевом судне, которое очень скоро понесет их навстречу подвигам, славе, победе. Может быть, именно их встретил Саша на границе? Может быть, как раз им нехватает великой науки — науки боя? Обучать? Но как их сейчас обучать?

Сагайде — тому легко. У Сагайды просто. Вот он поблизости муштрует своих бывальцев.

— Пока Денис и Анохин гребут, ты, Роман, ведешь по берегу огонь. Понял?

— Понял.

— Если тебя легко ранило, все равно ведешь огонь. Понял?

— Понял.

— Если тебя... совсем ранило, тебя заменяет Фесюра. Фесюра, понял?

— Так точно.

— Товарищ гвардии лейтенант! А если меня убило?

— Убило? — Сагайда на мгновение заколебался. — Тогда, — еще энергичнее выкрикнул он, — передай весло Маковею, а сам падай на плоту! Похороним на плацдарме!..

Черныш не мог так легко договориться со своими. Для них нужны другие слова. Прощальная тоска залегла в голубых глазах Ягодки. Чем его утешить, чем ободрить? Как разбудить богатырскую силу, что дремлет сейчас в широких плечах юноши, в его крепких развитых руках? Трудно? Но ведь ты командир, ты коммунист, сумей найти дорогу к его сердцу!

— Вы, Ягодка, хорошо действуете веслом?

— Неплохо.

— Наверное, часто рыбачили дома?

— Не часто, но по воскресеньям ездил... когда хозяин пускал.

— Какой хозяин?

— А тот, у которого я служил.

— Кем вы служили?

— Кем? — Ягодка стыдливо покраснел. — Всё вместе... и чабаном был... и брынзу делал... Зимой со всей худобой сам управлялся... Двенадцать лет отбатрачил.

— Двенадцать из двадцати? И круглый год? Чорт возьми, это же каторга! Неужели нельзя было иначе? Иона тоже вот батрачил, но он только сезонно.

— Я не мог сезонно, потому что я... безродный. Ни кола, ни двора. Да, может, это и лучше...

— Почему лучше?

— А потому, что как стукнет вот здесь, на Мораве, так никто жалеть не будет. Никому и не икнется.

— Это вы, Ягодка, уже слишком...

— Почему слишком? Скажете — не так? Это только для виду каждый хочет показать, что ты ему нужен... А я, товарищ гвардии лейтенант, уже давно знаю, что никому не нужен. Напьюсь вот навеки моравской воды, так никто и не заметит. И ничего тут не поделаешь... Кому же по-настоящему болит — есть такой Ягодка на свете или нет его?..

Боец безнадежно махнул рукой, словно уже хоронил себя.

— Все это чепуха, — сказал Черныш после гнетущей паузы. — Безродный, ненужный... Чепуха, товарищ Ягодка. Давайте подумаем так: вот вы скоро выйдете на тот берег. Что он сейчас представляет собой? Чужая опасная земля, начиненный фашистскими войсками клочок австрийской территории. Место, где только предполагается создать плацдарм. Но как только ты, Ягодка, ступишь туда своей ногой, сразу все изменится. Тот загадочный берег перестанет быть просто берегом, он уже станет плацдармом. Произойдет на земле событие, пусть небольшое, пусть не решающее, но оно вызовет немедленно сотни других событий, повлияет на них, внесет изменения в судьбу многих людей. И если сейчас, пока ты сидишь в этих кустах и изливаешь мне свою хандру, о тебе, может быть, и в самом деле мало кто думает — то тогда о тебе подумают все. Для противника ты становишься большой опасностью. Другьям ты будешь крайне нужен, не только нужен, а просто-таки необходим и дорог. Тогда ты увидишь, какая у тебя родня! Весь полк, вся армия с молниеносной быстротой узнает, что у нее на таком-то участке за Моравой появился плацдарм. Откуда, каким образом? Очень просто: ведь там уже встал своей ногой гвардии рядовой Ягодка. Поддержать его немедленно! Помочь ему во что бы то ни стало! Можешь представить себе, сколько людей будет тогда за тебя тревожиться? Все взгляды обратятся к тебе, все мысли будут о тебе, тысячи людей будут работать для тебя. А как же? Для тебя где-то на Урале дивчина целые сутки не выйдет из цеха. Из-за тебя Верховная Ставка даст кому-нибудь добрый нагоняй, чтобы лучше о тебе заботились, чтобы случайно не погиб там, не пропал этот гвардии рядовой Ягодка! В высоких штабах, не досыпая ночей, будут вырабатывать самые лучшие маршруты. Для тебя саперы будут строить мосты. К тебе по всем путям-дорогам потянутся обозы. А кто о тебе, рядовом Ягодке, забудет в это напряженное время, тот, чего доброго, и под трибунал пойдет. Тут не до шуток. Как же ты можешь после этого сказать, что ты безродный, ненужный? Да какой отец, какая мать вложит столько сердца в своего Ягодку, сколько вложит в тебя Отчизна?!

— Здорово, — засмеялся боец, закрыв лицо руками. Товарищи восторженно смотрели на него, словно сидел перед ними не смущенный



измаильский паренек, а кто-то большой и значительный. Черныш взволнованно продолжал:

— А перескочишь ты Мораву, вырвешься на широкий тактический простор — и придешь первый туда, где тебя люди годами ждут. Тебя там ни разу и в глаза не видели, а думают о тебе давно. Ты им нужен, ты для них свой. Знаешь, как тебя там встретят? Видел, как нас встречала Словакия? С колокольным звоном, с цветами, с открытой душой! Ты для них будешь и самым близким, и самым дорогим, и самым родным! Первые благодарности — тебе, первые приветы — тебе, первая любовь народов — тебе. Потому что ты самый передовой из передовых, ты — освободитель!

Возбужденный, разгорячившийся Черныш умолк.

— Это все так, товарищ гвардии лейтенант... Но ведь для этого надо быть самым передовым?

— Безусловно.

— Таким, как наш старшина? Как братья Блаженко? Как все ваши «брянчики»?

— А вы думаете, что они такими родились? Думаете, они пришли в прошлом году к Брянскому законченными гвардейцами? Уверяю, что Хаецкого тоже таскали тогда за ремень не хуже, чем он теперь вас таскает. И меня в свое время таскали, и Сагайду... Не сразу Москва строилась. Но как раз в том и состоит одно из преимуществ нашей армии, что мы быстро совершенствуемся, растем, крепнем. Быстрее, чем другие! Сегодня вы, Ягодка, просто рядовой, завтра уже хороший боец, послезавтра — вы герой, победитель, любимец народа...

— Только в атаке не оглядывайся назад, — спокойно посоветовал Ягодке наводчик Шестаков. — Это — гибель. Как сел в лодку — забудь про свой берег...

— Но про товарищей не забывай ни на секунду, — добавил Бойко, пришедший в роту вместе с Шестаковым с 3-го Украинского. — Иначе беда!.. Когда мы зимой по тонкому льду форсировали Дунай, так приходилось за руки братья, человек по двадцать. Возьмемся и идем так. Крепко держались, пусть вот Шестаков скажет. Если один и проваливался, так те, что шли рядом, сразу подхватывали его и не давали утонуть. А если бы в одиночку двигались, каждый сам по себе — много нас накрылось бы...

Ягодка внимательно слушал. Потом быстро заговорил по-молдавски со своими земляками. Молдавский язык он знал не хуже, чем свой родной. Выслушав Ягодку, молдаване заметно оживились, повеселели.

— Я им сказал, — охотно перевел Ягодка Чернышу, — что хозяин мне всегда врал! Хозяин каждый день учил меня, что лучше всего в жизни итти одному. Быстрее к цели, говорил, приходит тот, кто идет в одиночку, через головы других.

— Это действительно ложь, — согласился Черныш. — Быстрее приходит коллектив.

## 9

— Ты знаешь, что это не мой каприз, а желание массы, коллектива, с которым ты не можешь не считаться, — говорил в это время майор Воронцов командиру полка Самиеву. — В конце концов, мы с тобой, может быть, за этот коллектив ордена получаем...

— Я уже сказал, Воронцов, и хватит... Как сказал, так и будет. Пока все там не закончу, пусть сидят здесь. Мало ли чего кому захочется!

Речь шла о полковых знаменосцах. Воронцов настаивал на том, чтобы Самиев разрешил знаменосцам переправиться на ту сторону, как только атакующие закрепятся на плацдарме. Он ссылаясь на факты, хорошо известные им обоим.

— Ты же слышал, Самиев, солдатскую поговорку: где знамя пронесено, там мы уже в землю вросли. Если знамя будет на плацдарме, то сила и уверенность каждого бойца возрастут в сто крат. Тогда его ничем не столкнешь оттуда. Разве твой боец, почувствовав вблизи знамени, отступит от него хоть на шаг? Ты сам видел, как в Барте подразделения реагировали на то, что знаменосцы появились около них в самый критический момент боя. Может быть, мы и выстояли там только благодаря неслыханному энтузиазму, который был вызван знаменем...

Самиев категорически возражал.

— В Барте было одно, здесь другое. Ты знаешь, с кем нам придется иметь дело на этом плацдарме. Пока наведут переправу и перебросят артиллерию, «тигры» могут нас трижды смешать с землей. Еще, может быть, так припрут к берегу, что ты и вздохнуть не сможешь!

— Вот чтобы этого не случилось, я и предлагаю...

— Лучше не предлагай мне, Воронцов! На этот раз не сагитируешь. Я пропаду, ты пропадешь — нас с тобой заменят. А если со знаменем что-нибудь случится? Ты представляешь себе? Самоубийство для полка! Как ты вообще можешь мне предлагать такое?

— Не такое, а совсем обратное. Ответственность за знамя я готов взять на себя.

— Как же! Пска ты будешь «отвечать», мне голову снимут. Я против таких эффектов. Форсируем, расширится, пойдем вперед — вот тогда дам команду. Не бойся, Багиров нас не потеряет, у чорта в зубах найдет.

Они разошлись, на сей раз не придя к общему решению.

Воронцов дружил с командиром полка, любил его за решительность и честность в бою, за горячий темперамент. Воронцов восторгался «своим таджиком», когда тот руководил боем. Это было подлинное искусство, уверенное, всегда изобретательное и точное. Однако слабостей вспылчивого академика тоже, бесспорно, никто не знал лучше, чем Воронцов. Проявлением одной из этих слабостей Воронцов считал и состоявшийся только что неприятный разговор. В такое время держать знаменосцев в обозе! Как может Самиев недооценивать присутствия их там, в самом пекле? Это близорукость... И ничем ты его не проймешь, если упрется... «Бывают иногда моменты, когда он становится просто нетерпимым», — сердито подумал Воронцов и пошел в батальоны.

Шел густо заселенным лесом, тяжело ступая и чуть сутулясь, как грузчик, несущий на плечах невидимую ношу. Ко всему присматривался, все ощупывал острыми серыми глазами. Останавливался возле десантных групп, привычно «брал на пробу» их настроение. Перед боем Воронцов, казалось, беспокоился больше, чем во время самого боя. Сейчас его приятно удивляло царившее в подразделениях оживление, сверкавшие в глазах самоуверенные дерзкие огоньки, что можно заметить перед наступлением лишь у действительно бывалых вояк.

На прогалине бронебойщики под руководством безусого ефрейтора разложили костер, варят бог знает где добытую смолу. Ефрейтор, засучив рукава, сидит верхом на перевернутой лодке, смолит потрескавшееся днище.

— Нет непреодолимых водных рубежей, — доказывает он товарищу, — все они проходимы.

Пожилый крепыш вытесывает весло, скептическая улыбка гуляет у него под усами.

— А ты их все перепробовал?

— Дон пробовал, Днепр пил, Тиссу на бочке форсировал. Чего тебе еще надо, старый хрен?

Бронебойщики дружно хохочут.

Капитан Чумаченко, собрав под деревом своих командиров, разъясняет им боевое задание.

— Самое опасное на плацдарме — это помнить о лодках и веслах, — слышит Воронцов глухой голос Чумаченко. — Выбрось их из головы! Известно, конечно, — в начале боя тебе и твоим людям будет тесно, душно на пятаке. Река все время будет притягивать тебя, тянуть назад. Тебе будет казаться, что как только ты оторвешься от берега, пойдешь в глубину, так тебя и отрежут сразу, окружат, сомнут. Не поддавайся этому чувству, оно ложное, ненастоящее... Смелее отрывайся от берега, углубляйся в лес, выходи вот на эту дамбу. — Чумаченко тычет пальцем в карту, разостланную перед ним на земле. — Тогда ты сразу почувствуешь себя свободнее, развяжешь себе руки для маневра...

Заметив замполита, офицеры вскакивают, отряхиваются.

— Сидите, — машет рукой Воронцов и первый садится возле развернутой карты комбата.

Сегодня с самого утра Воронцов на ногах. Разогнав в «низы» всех политработников, он не мог на этом успокоиться и неутомимо ходил от подразделения к подразделению, в одном выступая с речью, в другом ограничиваясь веселой репликой, брошенной на ходу, в третьем беря кого-нибудь за жабры не хуже, чем Самиев.

Всюду видели в этот день его широкоплечую, высокую фигуру в меховой офицерской безрукавке

— Имейте в виду, — обратился Воронцов к командирам рот батальона Чумаченко, когда они сели возле него полукругом, почтительно вытягиваясь даже сидя. — имейте в виду, товарищи, что на плацдарме нам не миновать встречи с танками. Предупредите об этом своих людей, чтобы танковый удар не ошеломил их среди боя. Против нас стоит бронетанковая эсэсовская дивизия «Шёнрайх».

— Битая? — спросил один из молодых офицеров.

— Битая, но мало. Совсем плохо битая. Недавно переброшена сюда с Западного фронта, из Люксембурга.

Офицеры задумались. Чумаченко сердито смотрел на свою четырехверстку, пересеченную голубой лентой Моравы.

В это время на замполита, налетел комсорг полка Толя Домбровский:

— Листовки уже получены, как быть? — радостно крикнул он.

— Не знаешь, как? Немедленно в подразделения, читать вслух!

В минроте первым из рук агитатора выхватил листовку Маковой. Протиснувшись между товарищами, вскочил на лодку, зазвенел:

— «Вперед, за Мораву, советские богатыри!»

Ягодка жадно слушал, опершись на весло.

— Десанты, в лодки!

Команду подали шопотом, но впечатление было такое, будто ударила она как гром. Наконец!.. Весь левый берег, до этого казавшийся безлюдным, теперь ожил, задвигался. Темнота наполнилась почти не-

видимым, но явно осязаемым движением множества человеческих фигур.

— Десанты в лодки!

Просвистев по песку, лодки стрелами влетели в воду. Затрещали темные кусты, выбрасывая на воду тяжелые заготовленные днем плоты. Заплескалось вокруг, захлюпало... Бойцы, по колени в воде, на бегу вскакивали в свои шаткие суденышки, сильными ударами весел отталкивались на глубину.

Грозными роями взвились в темноте ракеты, пущенные с противоположного берега. Осветилась морщинистая широкая река, покрытая и справа и слева плотами, лодками и лодочками, низко летевшими от восточного берега. Вдоль реки блеснули пулеметные вспышки. Словно рванулись навстречу десантам слепящие струи расплавленного металла. Густо затёхало вокруг, волны закипели.

— Гребите сильнее! — хрипел Черныш, не спуская глаз с противоположного берега, направляя веслом лодку. — Гребите!.. Гребите!.. Гребите!..

Бойцы молча гребли. Втянув голову в плечи, выворачивали веслами пенистую волну. Река превратилась в ад. Жутко закричали раненые. Опережая Черныша, пронеслась душегубка с полковыми разведчиками. Прошмыгнула лодка пулеметчиков, ведя огонь на-плаву. Пригнувшись к плотам, яростно гребла пехота.

— Гребите, братцы, гребите!

В нескольких метрах от Черныша гонят свой тяжелый плот десантники Сагайды. За спиной Блаженко, лицом на восток, сидит, согнувшись, простоволосый Маковой. Торопливо перебирает обеими руками красную нитку кабеля, протягивая его через реку. Широкими серьезными глазами смотрит на свою работу. Кажется, что тянет он красный провод не с катушки, висящей на груди, а из самой своей груди. Тянет, как окровавленную живую нитку собственного нерва, распуская его вслед за собой.

Пуля задела лодку Черныша, прошелестела щепка, отколовшись от борта.

С обеих сторон ударила артиллерия. Лес насквозь осветился пламенем, затрещал, загрохотал. Пузатые немецкие мины зашумели над головой, тяжело шлепнулись в реку, и она всколыхнулась, казалось, до самого дна.

Черныш, отталкивая чью-то перевернутую взрывом душегубку и стараясь удержать направление своей лодки, кричал на незнакомых пловцов, приказывая цепляться за нее. Они нависли на бортах его лодки, молча захлебываясь водой. Грести стало тяжелее, минометчики изо всех сил налегали на весла. Черныш уже не видел ничего, кроме противоположного берега, завихренного огнем. Реался к нему не только взглядом, но всем своим существом. Вот уже скоро, вот уже близко... Стать бы только ногой на землю!.. Вспыхнуло, взорвалось рядом... Черныш инстинктивно пригнулся ко дну лодки, тяжелый фонтан с шумом навалился на него, окатил с головы до ног. Почувствовал, как неустойчивое дно лодки выскользнуло из-под него, и охваченное холодом тело начало погружаться в воду.

Неожиданно коснулся ногой дна. Стоя по шею в воде, Черныш посмотрел на свой десант.

— Все здесь?

— Все, все! — откликнулись ему новички удивительно близкими, желанными, родными голосами.

— Лафет пошел на дно, — сердито сообщил Ягодка и, не ожидая приказа, исчез под водой. Через минуту его мокрая голова появилась на поверхности. Набрав воздуха, Ягодка нырнул вторично.

— Есть! — доложил он, появляясь над водой. Кто-то подал ему руку, помогая преодолеть быстрое течение. Бойцы поспешно выбирались за Чернышом на берег. Темная глубина леса перед ними гремела, ревели, вспыхивала. Растянувшись на многие километры, плацдарм, рождаясь, клочкотал горячей пальбой, раскатистым, как море, шумом наступления. Зловещие вспышки ракет над деревьями уходили все дальше и дальше.

Вот, наконец, она, таинственная земля чужого берега! Ягодка шагнул из воды, с недоверием занося ногу над берегом, как над огромной миной. Казалось, ступит — и весь берег взорвется под ним. Ступил... и ничего не случилось.

Санитары и фельдшеры уже метались в темноте, подбирая раненых. С левого берега непрерывно прибывали новые волны десантников. Не пришвартовываясь, прыгали прямо в воду, навстречу плацдарму, бежали вперед, мокрые, горячие, стискивая гранаты в руках. Сагайда не стал вытягивать за собой плот. Уже не нужны ему плоты — драпать отсюда никто не собирается!

Решительно махнул рукой:

— Пускайте на Голубой Дунай!..

Денис Блаженко, стоя по колени в воде, с силой оттолкнул плот на быстрину:

— Плыви до Черного моря!

## 11

Саперы наводили переправу. Рядом с ней в кустах играл оркестр. Музыканты настойчиво дули в свои трубы, обливаясь потом, изнемогая, как от тяжелой работы. Это действительно была работа. Они знали, что поставлены здесь генералом не для того, чтобы развлекать, а с вполне практической целью: помогать саперам своими маршами. Именно так смотрели на оркестрантов и сами саперы. Они уже по опыту знали, что музыкантский взвод немалый помощник: под музыку мост вырастает значительно быстрее.

Музыканты играли в нарастающем темпе, саперы двигались быстрее, работа горела у них под руками. Сваи несли бегом, доски несли бегом, все делалось только бегом. До самого утра работали в ледяной воде, согревались не спиртом, а собственной кровью да горячими маршами, которые неудержимо рвались с левого берега, требуя простора, звонких мостов на плацдарм, далеких дорог.

И все-таки к утру мост еще не был закончен. Утром над Моравой появилась вражеская «крама», и химики вынуждены были окутать все строительство дымовыми завесами. Однако стук топоров и молотков не затих и в дыму, бурные марши требовали дорог и сквозь дым. Шум предстоящих триумфов, радостных майских громов уже слышался бойцам в этих могучих ритмах, несущихся над моравской незаконченной переправой.

Лес перед будущим мостом уже грешал, запруженный артиллерией, машинами, обозами. Никому не стояло на месте, каждый тянулся поближе к переправе, чтобы первым вырваться на плацдарм.

Хома со своими повозками бился в общей тесноте, ругался, поносил всех и вся, лез через головы вперед, крича, что, дескать, начальник переправы приказал пропустить его первым. Конечно, Хома и в глаза

не видел этого авторитетного начальника, на которого все время ссылался, протискиваясь шаг за шагом к мосту. А тем временем — откуда взялся? — появился и сам воображаемый покровитель Хомы. Налетел на подолянина, остолбенел:

— Я? Тебе? Разрешал?

— Товарищ майор!.. Экстренный груз!..

— В сторону! — затрясся начальник переправы. — В сторону! В сторону!

Только что обманутые Хомой и поэтому особенно злые на него артиллеристы накинулись с кнутами на его лошадей. В одно мгновение все повозки Хомы очутились далеко сбоку, затиснутые в кустарник.

— Выставили!.. А-а, чтоб вас...

Хома сплюнул и как ни в чем не бывало отправился искать новые возможности пробиться к мосту.

Неожиданно из-за леса прилетели первые снаряды. Враг начинал обстреливать переправу. Близкие взрывы ударили на берегу, заглушая звуки оркестра. Вскоре возле переправы остались только те, кто работал. Остальным было приказано рассредоточиться в лесу.

Хома не мог больше ждать. Раненые, на лодках эвакуированные с плацдарма, приносили далеко не утешительные вести. С ужасом оглядывались они на реку, словно не верили, что вырвались оттуда живыми. Хоме казалось, что судьба плацдарма зависит от него, что все там пойдет вверх тормашками, если он задержится со своим боевым грузом. Саперы работали уже под обстрелом. Среди них были раненые.

Хаецкий сел на коня.

— За мной! — скомандовал он ездовым. Ездовые не спрашивали — куда.

Молодые деревца забились под копытами лошадей, затрещали под колесами. Выехав на просеку, старшина вырвался на своем жеребчике вперед: «Гони за мной!»

Погнали что есть духу.

Будь, что будет! Хома решил попытать счастья у соседей. Он знал, что справа, выше по течению, строит для себя мост «Сестра», соседняя гвардейская дивизия. Еще выше наводило переправу казачье соединение. По дороге Хома узнал от встречных, что мост «Сестры» тоже готов только частично, и саперы там работают под огнем.

— А у казачат?

— У казачат заканчивают.

Хома подался к казакам.

Солнце поднялось из-за леса. Чистое, по-весеннему светлое небо синело над просекой. Почки на деревьях тихо, торжественно набухали. О, как эти деревья оденутся через неделю, как закрасуются буйно и весело!.. Но где будет в то время Хома? Дождется ли он зелени в этом году? Может быть, уже сегодня осиротеют его дети. «Явдошка, дружина моя любая! Сыны мои, Миронко и ты, маленький Ивась! Чи видите вы, где ваш батько сейчас по свету мыкается? Да разве вы можете?.. Если увидите, что среди чистого неба молнии на западе бьют — то и меня в них увидите. Если услышите, как издали гром на голые деревья рушится, то считайте, что и татко ваш в том гrome... Бо то не гром гудит, то гудит наш плацдарм».

За Моравой на десятки километров ухали и ухали пушки. Иногда даже слышно было, как постукивают на плацдарме пулеметы — тонко, дремотно, по-птичьему. Словно пробивают на далеких деревьях кору неутомимые дятлы. Что там сейчас творится? Как чувствуют себя товарищи? Перед глазами Хомы пронеслись страшные картины. Он знал,

что это значит — удерживать плацдарм без артиллерии. Правда, еще утром несколько легких батарей были переправлены за реку на плотках. Но разве их хватит? Мосты нужны, мосты, мосты!..

Тревога не покидала Хома всю дорогу.

Когда он привел свои повозки к казачьей переправе, по ней уже потоком двигались войска. С холма, по отлогому склону, влетали на мост всадники, орудия, кухни, транспорты — в кавалерийском соединении всё это, видимо, двигалось одновременно. У переправы стоял генерал в черной косматой бурке, время от времени подгоняя своих казачат:

— Галопом! Пулей! Пошел!

Войска вгонялись в переправу, как в обойму, вылетали на западный берег, разветвлялись по дорогам. А из-за пригорка уже вырывались другие, неслись горячим, шумным потоком, конь к коню, колесо к колесу.

Генерал пропускал своих в первую очередь. «Гости» пока что должны были ждать в стороне, с завистью поглядывая на уплотненную до предела лавину конников, хозяев переправы. Здесь Хома встретил нескольких старшин-однополчан. Они кляли на чем свет стоит казачьего генерала, который на лету выхватывает «гостей» из колонны и без разговоров спроваживает вместе с лошадьми в сторону. Сейчас старшины, раздобыв где-то красные кубанки, маскировали своих ездовых под казаков. У Хома кубанок не было. Да и как он замаскирует, скажем, своего Каленика? Ведь у Каленика на лбу написано, что он пехтура. Хома, не теряя времени, проинструктировал ездовых, как им надлежит держаться. На Каленика накинулся:

— Ты мне чортом смотри!

— Есть! — промычал Каленик.

— Ломитесь за мной!

Пришпорив коня, проникнутый холодком решимости, Хома кинулся в общий движущийся поток. Ездовые дружно пробивались за ним. Сверкая зубами, огрызаясь налево и направо, Хома в конце концов сбил конем какую-то захудалую казачью кухню, втерся на ее место и, под нагайками сдерживая нажим, втиснул между казаками своего совсем озверевшего Иону. Теперь все! Стоит затесаться одному! Через минуточку Иона пропустил впереди себя всех своих минометчиков. Их сразу подхватило, понесло. Только б на мост, только б ступить на первую доску! Оттуда уже никакой генеральский окрик не в силах их вернуть.

Мчась рядом с повозками, Хома расстегнул телогрейку, выставил грудь, чтобы звенела «Славой» и «Отвагой». Может быть, заглядится хоть на секунду, zalюбуется таким казачиной!.. Лихо осадил коня плотную перед генералом, заслоня от него своих ездовых.

— Товарищ генерал!

Первая подвода Хома влетела на мост.

— Товарищ генерал!

Вторая подвода протарахтела на мост.

— Товарищ генерал!

Третья подвода вырвалась на мост.

— Да что ты мне зарядил: генерал, генерал...

Всё! Четвертая подвода зазвенела на досках... Хома сверкнул зубами, дал шпоры коню, метнулся за ней. Оглянулся, уже подпрыгивая на мосту. Генерал грозил ему вслед тяжелой плеткой. Напрасно! Хома уже был защищен тысячеголосым бушевавшим валом, неудержимо напиравшим на него сзади.

За переправой вздохнулось легче.

Миновали перелесок, выехали в поле. Некоторое время двигались вдоль грунтовой дороги, запруженной казаками. Далеко-далеко, до самого горизонта покачивались впереди красные доньшки кубанок, как маки на ветру. Куда ехать? Казаки сворачивали на север, Хоме надо было на юг, к своим. Он лишь приблизительно представлял себе, где сейчас может быть его рота. Попробуй найди их в этой массе полков, уже развернувшихся по всему широкому пространству. Стрельба доносилась отовсюду, с каждым шагом слышнее. В ней натренированное ухо Хома различало чахканье батальонных минометов — там, и там, и там... Их уже можно было насчитать не меньше десятка на широком, еще не остывшем после боя плацдарме. Но где же рота Хома? Полагаясь, главным образом, на свою старшинскую интуицию, Хаецкий искал своих где-то слева, там, где, извиваясь в луговых низинах, убегала за горизонт дамба. Между нею и приморавским лесом тянулась на юг широкая полоса открытой местности. Заболоченные балки, голые холмы, покрытые редким кустарником луга... Хома окинул взглядом эту пустыню и взял курс на юг, параллельно дамбе.

Бархатный настил мягко зашелестел под колесами. Занесенное откуда-то половодьем прошлогоднее сено висело на кустах бахромой, показывая, как высоко поднялись здесь еще недавно вешние воды. Теплые поля, разогретые леса дышали полной грудью, посылая к небу прозрачные струи марева.

Вдоль всей дамбы тянулись окопы — незнакомые Хаецкому подразделения занимали оборону. В некоторых местах, уже на самой насыпи, стояли орудия, и по тому, как они били — отрывисто, сердито, неослабно, — Хома догадывался, что противник где-то недалеко за дамбой.

Хома нетерпеливо подгонял ездовых. Вырывался на своем конике далеко вперед, возвращался к тяжелым повозкам и опять рвался вперед. Если бы мог, то, кажется, сам впрягся бы в эти горы ящиков и тянул их быстрее к огневой. Прибыть во-время, доложить Антонычу!.. Так, мол, и так... Ездовые не жалели батогов, пена клочьями летела с лошадей.

Хотя плацдарм был уже достаточно широк и внешне положение казалось более или менее нормальным, Хому всё острее охватывала тревога. По многочисленным, на первый взгляд незначительным, приметам он определял, что дела плохи. Почему так часто скачут всадники-связные от насыпи к реке и обратно? Почему так лихорадочно суетится народ, торопливо роет окопы вдоль всей дамбы? Почему артиллеристы, скинув телогрейки, не отлучаются ни на секунду от своих орудий и стоят возле них в напряженных по-охотничьи позах? Раненых много. Одни ковыляют к лесу сами, других несут на палатках. И все обращаются к Хоме с одним и тем же вопросом:

— С переправы? Переправа готова?

Небо дрожит, как натянутое. Снаряды воют над головой, летят к лесу. С характерным пощелкиванием бьют вражеские самоходки, замаскированные в оврагах за дамбой.

Хаецкий на ходу расспрашивает раненых про свой полк. Вот уже начали встречаться люди его дивизии. Где-то здесь рядом, слева, и однопольчане Хома. Раненые выглядят страшно. Измученные, бледные, измазанные грязью... Некоторые хромают, смертельно усталые, у иных еще горит в глазах боевое возбуждение. Никто из них не обращает внимания на снаряды, рвущиеся совсем близко на опушке, словно эти разрывы — пустяки в сравнении с тем, что им пришлось пережить.



Тем временем над Моравой в высокой голубизне закружились «юнкерсы». Стрекотом зениток встретили их переправы. Не опускаясь, самолеты капнули косыми бомбами, и гулкие леса застонали. Над берегами поднялись дымовые завесы, пышные, плотные, ослепительно белые на солнце.

Стрельба приближалась. Весь ясный горизонт на западе сотрясался неестественным нервным громом. В разных местах над открытым плацдармом высоко взлетали огни ракет, бледные при дневном свете.

Снаряды ложились все ближе. Хаецкий вел свой обоз у самой дамбы, чтобы на случай артналета ездовые могли спрыгнуть в готовые окопы. Испуганные лошади, чувствуя опасность, летели ветром, готовые выскочить из шлей. Уже грохотало слева, справа, спереди, сзади. Хома, оглушенный взрывами, не заметил, как очутился против своего батальона. С насыпи на него смотрело множество знакомых лиц, которых он почти не узнавал. Размахивали руками, кричали: падай! падай!

Ездовые, соскакивая с передков, прыгали в ближайшие окопы. Хома, с полными звона ушами, тоже свалился на чьи-то тела и оказался лицом к лицу с Маковеем.

— Маковей!

Парень бросился в объятья Хома.

— Ты с переправы, Хома? Что привез?

— Мины, гранаты...

— О, гранаты! Нужны дозарезу! Мы уже пять контратак отбили! Такое тут творилось! На артиллеристах горели рубашки, приходилось бить по танкам с расстояния в полсотни метров!

— Где Антоныч? Должен доложить ему...

— Докладывай Чернышу. Антоныч... отвоевался.

— Как так?

— А так... Вот он возле моего окопа...

Хаецкий высунул голову за бруствер. Вытянувшись на плащпалатке, лежал Кармазин в своих потрескавшихся, разбитых сапогах. Смотрел прямо на Хому, напряженно открыв рот, словно хотел что-то громко крикнуть и не мог. Муравьи уже гуляли по его серому лицу.

Хому затрясло, как в лихорадке. Лицо его судорожно перекошилось от лютой боли, он сел в углу, сплел тяжелые кулаки и гневно устался в стенку окопа.

— О, до каких же пор это будет? До каких пор?

Маковей вдруг охватил ужас. До каких пор? И кто на очереди?

Как только кончился артналет, Хому вызвали к командиру полка. Самиев с несколькими офицерами стоял под дамбой. Сегодня все они были с автоматами в руках, как рядовые.

— С переправы? — встретил Самиев Хаецкого, не ожидая формального рапорта. Хома доложил скупое и невпопад. Все время он думал об Антоныче.

Узнав, что Хома переправлялся совсем в другом месте, хозяин не стал его слушать. В другое время он отметил бы старшинскую смекалку подолянина, похвалил бы его за то, что он первый провалился на плацдарм с обозом боеприпасов. Но сейчас Самиев, видимо, думал о другом. Не выслушав Хаецкого до конца, отвернулся и заговорил с офицерами о всаднике, приближавшемся со стороны леса.

— Казаков?

— Он.

Полчаса назад Казаков был послан на переправу узнать, каковы там дела. Сейчас он во весь дух гнал обратно. Посеревший, с распахнутой грудью, подскакал к командиру, доложил, не вставая с седла:

— Переправа разбомблена. Начинают снова.

## 12

Дамба напоминала собой гигантские соты: яма на яме, окоп на окопе. В ячейках рядом стояли солдаты и офицеры, разведчики и штабисты. Всех, кто был под рукой, командир полка поставил в оборону.

Хома, вытащив из окопа тело убитого пехотинца, занял готовое укрытие на самой дамбе. Соседями Хома были: справа — петеэровцы, слева — Маковой со своим аппаратом.

Маковой этот день казался неестественно длинным. Солнце, остановившись посреди неба, казалось, уже не движется дальше. Отбито пять контратак... Сколько еще их придется отбить до ночи?

В первые часы после форсирования наступление разворачивалось довольно успешно. Полк, решительным ударом выбив немцев из леса, отбросил их за дамбу. Многим уже казалось, что теперь наступающие подразделения пойдут и пойдут вперед, не задерживаясь. На рассвете комбат Чумаченко наметил было свой будущий КП у станционной водокачки, едва видневшейся в синеватой мгле на горизонте. Самоуверенность Чумаченко никого не удивила, хотя до водокачки было еще много непройденных километров, а на самой станции еще гудели немецкие поезда. Среди комбатов уже давно выработался дерзкий гвардейский обычай — под свои будущие КП заранее выбирать пункты, еще занятые врагом. И раньше или позже, но комбаты со своими штабами неизменно появлялись там, где наметили заранее. На сей раз дело обернулось иначе. В самый разгар наступления неожиданно, почти в спину атакующим, ударили немецкие танки. Они зашли по балке, смяв на открытой местности пехоту левого соседа. Самиев приказал батальонам немедленно отойти за дамбу. Возвращаясь по голому полю под шквальным огнем, батальоны понесли значительные потери. В это время минометчики и потеряли своего Ивана Антоновича. До насыпи его донесли еще живым. Он умер незаметно, когда рота уже залегла на дамбе рядом с другими искромсанными подразделениями полка и отбивала первую бешеную контратаку. Это было утром. Тогда здесь еще стояла полковая батарея легких пушек, которые, собственно, и решили судьбу предыдущих схваток. Несколько подбитых немецких машин сейчас стояли в балке перед дамбой — результат слабой работы батарейцев. Но самой батарее уже не было. Самиев перебросил ее на помощь соседу, далеко на левый фланг, куда сейчас перенесся центр боя. Там противник, прорвавшись через дамбу, постепенно вклинивался в плацдарм, стремясь снова выйти к Мораве.

Маковой то и дело тревожно посматривал туда.

Хома тем временем углублял свой окоп, показавшийся ему слишком мелким.

— Это теперь моя хата, Маковой... А все хозяйство — десяток гранат...

Разгрузив свои повозки, Хома передал их в распоряжение санитаров, которые повезли на них раненых к реке. Боеприпасы, доставленные Хомай для своей роты, были распределены поровну между всеми минометными подразделениями полка. Хома не жалел: пусть все пользуются, лишь бы с толком.

— Хуже всего, что местность кругом танкодоступная, — через бруствер жаловался Маковей Хаецкому. — Если он нас столкнет отсюда, с этой насыпи, никто не добежит до леса... Передавит среди поля гусеницами...

— Ячейки держись, — мрачно посоветовал Хаецкий.

— Ура! — неожиданно закричал Маковей, прижимая трубку к уху. — Иптап пришел!.. Иптап!

Услышав это слово, бойцы выставили головы из окопов, радостно всматриваясь в опушку. Иптап! Истребительный противотанковый артиллерийский полк... Гроза немецких танков, надежда гвардейской пехоты! Не раз бойцам приходилось видеть блестящую работу иптапов. Вооруженные новейшими скорострельными орудиями, подвижные, летучие, как молнии, они неумоимо сновали по фронту, появляясь неожиданно то тут, то там — в местах наибольшей опасности. Прямо с марша вылетали на поле боя, разворачивались с ходу, били без промаха!

— Где иптап, Маковей? — посыпались на телефониста вопросы. — Где он? Где?

— За речкой, у переправы стоит наготове! Хозяину оттуда кто-то передает...

Последние слова Маковей потонули в сплошном грохоте. Противник открыл огонь по всему плацдарму одновременно. Ударил из всех видов артиллерии: самоходками, танками, тяжелыми минометами. Плацдарм закипел на десятки километров, от края до края покрылся огромными пузырями взрывов.

Маковей бывал во всяких переделках, но, пожалуй, впервые попал под такой обстрел. Это был даже не обстрел, а разнузданный, всепоглощающий обвал огня, воющая крутоверть разорванного металла и поднятой на воздух земли, тяжело бушевавшей над телефонистом. Исчезли паузы между залпами. Голова еще звенела от предыдущего взрыва, еще сдвинутая земля сыпалась в окоп, а воздух уже опять качался, завывал, пружинил, втискивая в землю. Удар близкой молнии, горячее урчанье чугунных слитков, и снова нескончаемое вытье, вытье, вытье...

Забившись на дно ячейки, спрятав под себя аппарат, как живое, нежное существо, Маковей пронзительно молил в трубку:

— «Земля», «Земля», «Земля»...

— Чего тебе? — кричали на него из батальона. — Сиди там и дыши!

В самом деле, что ему нужно? Просто услышать человеческий голос, убедиться, что линия действует, что все на своих местах. И снова:

— «Земля»!.. «Земля»!..

На этот раз ему никто не ответил. То ли не хотели, то ли связь порвало, разметало снарядами? Маковей похолодел.

— «Земля», — едва не заплакал он в трубку. — «Земля»...

А «Земля» молчала. Все вокруг вихрилось, оглушало, обжигало горячей воздушной волной, присыпало сверху. Неужели никто не откликнется? Маковей вдруг почувствовал себя заброшенным далеко на край света, забытым, обессиленным, беспомощным. «Где ты, Хома? Где ты, Роман? Где вы, товарищи? Связь моя порвалась, аппарат молчит, погибаю!..»

Может быть, только сейчас, в эту минуту, он, беззаботный Маковей, сразу и до конца постиг, какое значение имела для него эта тонкая нитка красного кабеля. Она соединяла его с командными пунктами, с соседями и с тылами, соединяла, в конце концов, с самой Родиной. Пока она действовала, парень чувствовал себя твердо и уверенно. А порвалась — и все вокруг как бы заслонилось тучей, дохнуло на сол-

дата пустыней, зашаталось, теряя силу и смысл. Уже не нужно ему ни девчат в красных сапожках, ни весенних песен на просторе — он задыхается в своем тесном окопе, как в наглухо заклепанном котле. Так вот как страшно остаться без этой нитки! Нечем без нее дышать в жаркой ячейке, тесно, одиноко и страшно сидеть здесь! Маковой решительно поднимает голову. Дым тяжелыми бурунами бродит над плацдармом, как над разверстым кратером гигантского вулкана. Бьют и бьют огни.

«Побегу!» — решает Маковой, поднимаясь.

— Куда? — откуда-то снизу кричит ему лейтенант Черныш. — Сиди, пока не утихнет!

— Обрыв!

— Сядь, говорю!

Маковой присел в своей норе. Немая трубка стиснута в его застывшей руке. Не зуммерит онемевший аппарат.

А плацдарм беснуется. Взрывы разворачивают, сотрясают, рвут дамбу. В поднятой на воздух земле мелькают, поблескивая, сплюснутые алюминиевые котелки, колеса станкача, чьи-то желтые сапоги... Может, Антоныча? И солнце еще светит, и небо еще иногда прорывается сияющей синевой сквозь бурлящие тучи земли и дыма, а Макову этот день кажется ненастоящим, неестественным, фантастически уродливым. Как будто земля уже выскочила из своей орбиты и, разваливаясь на куски, летит куда-то вверх тормашками, и некому ее поставить на место.

— «Земля!» — снова неистово молит Маковой в трубку. — «Земля!»

О если бы она ответила! Как ожил бы его изорванный кабель, его родной, живой нерв! Все на свете вернулось бы к Макову... Все вокруг сразу приобрело бы прочность, целесообразность и выразительность. Тогда ему ничего не было бы страшно! Не давили бы на него вот так эти тяжелые пласты зноя, свиста, стали, что, завывая, проносятся над ним в чужом, затянутом тучами небе... Когда этому будет конец? Когда это утихнет? Почему лейтенант не пустил его бежать на линию? Может быть, приказано сниматься, отступить за Мораву? Ведь ясно, что после канонады сюда двинутся танки... Сейчас уже каждому понятно, что батальонам не усидеть на этом чортовом пятаке! Отступить, пока не поздно! Может быть, в окопах уже ни души, может быть, Маковой остался один-одинешенек на всей дамбе?

Сквозь сплошной грохот слышно, как размеренно, с беспощадной неутомимостью работающих станков, бьют немецкие самоходки. Как будто работают сами, без людей, разряжаясь и опять автоматически заряжаясь из неисчерпаемых погребов. Кажется, что истязание металлом, грохотом, газом, свистом никогда не кончится, не уляжется, не затихнет, пока не доведет несчастного Макова до безумия.

Однако кончилось. Улеглось. Окутанная дымом насыпь стонала, словно огромное живое тело, которое четвертовали. Раненые звали на помощь. Соседи перекликались между собой. Хома, черный как чорт, выбрался на поверхность и положил на бруствер тяжелую связку гранат.

— Теперь беги! — крикнул Черныш Макову.

Маковой стремглав бросился вниз. Под насыпью он заметил майора Воронцова. Стоя среди раненых, майор едва сдерживал раздражение, успокаивая окровавленного бойца:

— Никуда мы не уйдем, никого не бросим. Сниматься будем только вперед. Я уже послал гонца за знаменем.

Для Воронцова этот день был особенно тяжелым. Задержка с переправой, неустойчивость общего положения на плацдарме, прорыв немецких танков на левом, изнурительные контратаки, значительные потери — все это вызывало у части личного состава подавленное настроение. Последний артиллерийский удар, казалось, не оставит на дамбе ни одной живой души. Однако дым рассеялся, убитых и раненых снесли вниз — их оказалось меньше, чем можно было ожидать, — и из окопов опять выглядывали замурзанные, сразу похудевшие, напряженные лица.

Нахмутив косматые брови, замполит проходил вдоль дамбы, задерживаясь иногда возле раненых, осторожно переступая через убитых. Вся дамба следила за ним, утомленными взглядами докладывала, как ей тяжело.

Воронцов знал, что это смотрят на него трактористы и доменщики, педагоги и десятиклассники, шахтеры и студенты... Смотрят не только своими собственными глазами, а и глазами своих семей, матерей и детей, вверяя ему свою судьбу. Майор знал и то, что каждый его непродуманный приказ, каждый его неверный шаг и даже ошибочный жест обернется чьей-то кровью здесь, под чужой дамбой, обернется сиротами и вдовами там, на Родине.

«Ты не имеешь права ошибаться. Ты должен действовать безошибочно».

Что такое безошибочно? Правильно ли поступает он сейчас, решив с Самиевым держать свой полк на этом голом кулаке, вытянутом к западу? Не обрекает ли он тем самым своих людей на поголовное уничтожение танками, которые, без сомнения, рано или поздно опять пойдут на штурм дамбы? Может, и в самом деле был прав начальник штаба, советуя до прихода артиллерии снять отсюда подразделения и положить их в оборону по лесным болотам вдоль Моравы: танки в лес не пойдут, потери в живой силе будут незначительны, плацдарм будет удержан безусловно.

Все это хорошо. Но если снимется полк Самиева, то правые соседи гоже вынуждены будут один за другим оставить дамбу, перекочевать в лес. А окопы? Кому достанется эта изрезанная норами окопов дамба? Ведь здесь опять засядет противник. И потребуются кровь, много крови, чтобы выбить его вторично. Самиев только что передал в дивизию: «Если танки слева прорвутся и отрежут меня от реки, и связи уже не будет, считайте, что я на дамбе. Дамбу не обстреливайте».

Воронцов поддержал это решение командира полка. Но хватит ли сил удержать дамбу под бронированным натиском «Шёнрайха»? Не раскаются ли позже Воронцов и Самиев в своем упрямстве? Вот уже минометчики молча, по-деловому хоронят своего мудреца — Антоныча. Как жил, так и умер: спокойно, просто. Война есть война... Не все умирают с блеском. Антоныча скосила пуля, когда он задержался возле одного из своих убитых новичков, чтобы взять его минометную трубу. Труба... Тысячи таких труб не стоят одного Антоныча! Но разве он мог примириться с тем, что она достанется зрагу?.. Минутой позже Сагайда уже тащил через дамбу окровавленного Антоныча вместе с трубой. Теперь его хоронят. Черныш и Сагайда берутся за края палатки, опускают тело в пустой окоп. Хаецкий смотрит на их работу неистовым взглядом.

— Тяжело, товарищ Хаецкий?

— Ой, товарищ замполит... Так тяжело, как будто всю землю на плечах держишь...

— А нужно... Потому что больше некому.

Воронцов проходит дальше. Отовсюду глядят на него изнуренные, до неузнаваемости почерневшие лица. Родные, близкие ему почти кровной близостью. О каждом бойце Воронцов думает, каждому он хотел бы сберечь жизнь. Как? Что такое безошибочно? Не переоцениваешь ли ты своих людей? Правильно ли ты определил запасы их душевных сил? Майор уверен, что самый лучший полк любой другой армии мира не удержался бы на этой проклятой дамбе в таких условиях. Но ведь его полк — советский. К нему нужно подходить с другой мерой. С новой мерой.

— Знамя несут! — неожиданно послышались в нескольких местах радостные голоса. — Знамя!.. Знамя!..

Словно целительный ток пробежал по утомленным лицам. Раненые поднялись, стали на колени. Все смотрели в сторону леса. Оттуда выходили, направляясь напрямик через поле, полковые знаменосцы.

— Воронцов! — позвал майора командир полка. Он стоял под насыпью, поднявшись на носки, сердитый, нервный. Замполит подошел к нему. — Ты видишь? — Самиев порывистым движением указал на знаменосцев. — Ты видишь, до чего додумались, головы? Ты видишь, куда они идут? Ну покажу же я им, ч-чертям!

— Это я за ними послал, — медленно произнес замполит.

— Что? — Самиев весь съежился, стал колючим, неприятным. — Ты? Ты? Ты? — начал он бешеной скороговоркой.

— Я знал, что ты не станешь возражать, — спокойно продолжал Воронцов, словно не замечая гнева хозяина. — Надо людей поддержать. Видишь: совсем замучились, гаснут.

— Воронцов, я тебя не понимаю! — крикнул академик и петушком отскочил на шаг от замполита. Потом опять впился глазами в знаменосцев, нетерпеливо поскрипывая на месте сапогами. Но чем ближе подходили знаменосцы, тем заметнее успокаивался командир полка. Затихал, остывал на глазах. Стиснутые кулаки постепенно разжимались.

Знаменосцы пересекали поле. Изрытое, порыжевшее, пережженное, оно местами было еще затянато клубами седоватобурого дыма. Знаменосцы уверенно продвигались сквозь эти клочковатые клубы, ныряя и вновь появляясь в них, будто двигались на огромных высотах, среди туч.

Дамба притихла в напряженном торжественном ожидании. Светлели опечаленные лица, разрисованные высохшими ручьями черного пота. В погасших глазах вспыхнули огоньки, живые, решительные, бодрые.

Маковей, вернувшись с линии, опять стоял в своем окопе. Он одним из первых заметил знаменосцев, когда они только появились на опушке. Сейчас Маковей уже не думал о том, будет ли приказ уходить отсюда. Разве теперь это возможно? Ему стало вдруг совершенно ясно, что отсюда можно сниматься только вперед, или героем погибнуть здесь, отстаивая знамя. И даже эта страшная мысль сейчас не пугала и не смущала его. Ему было радостно чувствовать в себе готовность идти на все. И он смотрел на знамя сияющими восторженными глазами.

Привыкнув видеть святыню полка в голове колонны, телефонист надеялся и на этот раз увидеть за знаменосцами колонну боевого подкрепления. И странным казалось, что она, эта колонна, не вынырнула из лесу за знаменосцами. Однако она была! Взволнованный Маковей в радостном порыве как бы наяву увидел ее. Увидел всех, кого привык встречать под знаменами на Родине, на бурных демонстрациях, на всенародных праздниках: отцы и матери, сестры и одноклассницы, пионеры

и учительницы — все они будто в самом деле шли сейчас за знаменосцами, спешили на помощь Маковой. Чужой глаз не мог их заметить. Они видны были только ему, приднепровскому соловейке, и его верным товарищам.

— Видишь, Хома?

— Вижу.

«Значит, и ему видно», — радостно подумал Маковой.

Знамя все ближе и ближе. Уже ясно видит командир полка Васю Багирова, его скуластое напряженное лицо, на котором еще сохранился загар сталинградского солнца. Уже видны командиру полка шершавые узловатые руки башкира, крепко стиснувшие древко. Уже вспыхнул над чехлом пятилучный огонек золотого венчика, согревая своим светом сердитого, измотанного за день Самиева. И потемневшее, как волошский орех, лицо академика прояснилось. Предчувствие катастрофы быстро исчезало, воздух светлел, тесный пятак плацдарма раздался вширь, стал просторным. Даже дышалось легче. Положение казалось уже не таким безнадежным, как до сих пор.

— Посмотри, Воронцов, как он идет, как он идет! — следя за знаменосцем, восторженно воскликнул Самиев. — С каким достоинством! Даю слово, есть что-то величественное в его походке!

Самиеву казалось уже, что не Воронцов вопреки его воле послал гонца за знаменем, а что это сделал лично он, хозяин. И когда знаменосцы приблизились к нему, неся перед собой святыню полка, Самиев мгновенно как бы вырос, выпрямился и отдал честь энергичным, вдохновенным жестом. И все бойцы и офицеры, мимо которых, чеканя шаг, проходили знаменосцы, тоже будто подрастали и, молчаливые, всё же напоминали собой вдохновенных трибунов.

«Вот она, та сила, — думал Воронцов, — которая делает каждого из нас способным без колебаний выйти на единоборство с вражескими танками».

#### 14

Как и надо было ожидать, шестую контратаку начали танки. Они выползли из широкой котловины, тянувшейся перед дамбой, и, выстроившись в ряд, открыли сумасшедший орудийный огонь. Стояли несколько минут на пригорке, захлебываясь вспышками, дергаясь всеми своими стальными мускулами, как на привязи. Потом, не прекращая огня, с грохотом двинулись на дамбу в лоб. Рябые, как гадюки, они еще сохраняли на броне следы неслинявшей зимней окраски. Утром таких здесь не было — видимо, только что прибыли, поспешно переброшенные с какого-нибудь другого участка фронта.

За танками, пригибаясь, высыпали табуны эсэсовцев. Брели, стреляя наугад, выпуская в ясное небо ракеты, словно им было темно среди этого белого весеннего дня.

Дамба молчала. Высоко над нею в сопровождении юрких «ястребков» плыли на запад тяжелые бомбардировщики. Плыли спокойно, уверенно, как в далекое будущее. Они не могли повлиять сейчас на судьбу защитников дамбы, однако после их перелета окопникам стало легче. Может быть, потому, что плацдарм в небе был шире, чем на земле: самолеты гордо понесли на своих крыльях красные звезды на запад.

Дамба молчала. Бронбойщики замерли возле своих ПТР. Хаецкий положил руку на связанные в пучок гранаты, лежавшие перед ним на бруствере. Маковой, по примеру старшины, приготовил и себе связку. Ему казалось, что танки идут прямо на него и что полковое знамя стоит

под дамбой именно за его, Маковей, спиной. А Хаецкому между тем казалось, что знамя стоит как раз за ним, за Хаецким, а не за кем-нибудь другим. Каждый боец, застывший в своем окопе на дамбе, считал лично себя защитником знамени.

Танки двигались, тяжело покачиваясь, тускло лоснясь боками, будто из воды выбирались на сушу доисторические земноводные чудовища. А за ними вихрились огни ракет, в бессильной злобе соревнуясь с весенним богатством солнца.

Маковей уже не видел ни солнца в небе, ни плацдарма, увитого дымами, ни австрийской станции, мрачно маячившей вдаль. Весь мир перед ним сосредоточился в этих гроыхающих стальных машинах, надвигавшихся на него. За машинами уже слышалось воинственное пьяное гоготанье наступающих гитлеровцев.

Дамба грозно молчала. Даже раненые сдерживали стоны, вслушиваясь в нарастающий железный скрежет. Знаменосцы окаменели внизу под насыпью, в глубоком — по грудь — окопе. Знамя стояло между ними посредине, как солдат.

Неожиданно, в момент, когда одна из машин, обходя подбитый утром бронетранспортер, повернулась боком к насыпи, ударила первая бронебойка. Выстрел ее в мощном тяжелом грохоте танков прозвучал бледно, тонко, почти нежно. Но машина сразу вспыхнула. Это было настолько неожиданно, что вражеская пехота на некоторое время оторопела. Но три других танка, не останавливаясь, лезли вперед, и эсэсовцы, придя в себя, еще с большим остервенением кинулись за ними.

Теперь уже по всей дамбе захлопали бронебойки. Задыхаясь долгими очередями, ударили станкачи. За спиной у бойцов дружно зачаккали минометы.

Один из танков шел прямо на Маковей и Хаецкого.

Свирепо подгребая под себя землю, дыша угарным зноем, он неуклонно приближается, вот он уже взбирается на самую дамбу. Еще минута — и он приплюснет Маковей к земле, перевалится через насыпь и, перемалывая раненых, пойдет прямо на знаменосцев. Нет, он не пойдет на них, он ни за что не пройдет здесь! Маковей бросится на него с гранатами, бросится всем своим телом, лишь бы только он взорвался. Уже по танку бьют товарищи. Уже вся земля вокруг него вспыхивает взрывами, гремит, дымится. Хома уперся подбородком в бруствер, впился своим сразу озверевшим взглядом в машину, держит наготове тяжелую полупудовую связку гранат. Еще немного... еще... еще...

И Маковей не дышит. Еще... еще... еще...

Как будто сговорившись, Хома и Маковей метают одновременно. Есть! Но проходят нестерпимо долгие секунды на грани жизни и смерти, пока под жирным закопченным брюхом машины ударяет громовой взрыв. Танк вздрогнул всем своим телом, дернулся на одной гусенице и, неуклюже накренившись, застыл. Казалось, толкни его сейчас рукой — и он впереворот покатится вниз.

Пулеметчики секли по вражеской пехоте, меняя ленту за лентой. Вода закипала в станкачах. Из-под насыпи с самой короткой дистанции залпами били минометы, обдавая горячим пламенем бойцов. Мины густо ложились по всей ложине, табуны немцев растерянно шаракались среди взрывов.

Неожиданно слева, на другом краю насыпи, заглушая трескучую пальбу, прокатилось могучее горячее «ура». Маковей, меняя диск, глянул туда и сам закричал изо всех сил: на самой дамбе, охваченные жирным пламенем, неподвижно стояли еще два танка. Горящие, они были сейчас видны всему плацдарму. Маковей вдруг почувствовал, что



ему становится легко, просторно, свободно. В это время у него за спиной зазвучали радостные голоса минометчиков:

— Иптап идет!

— С казачьей переправы!

— В атаку!

Маковей не разобрал, кто первый подал эту команду: Самиев или Воронцов, бежавшие по дамбе с автоматами в руках... Казалось, она родилась сама собой и полетела вдоль насыпи.

— В атаку! В атаку!

И как бы в ответ на этот призыв весь плацдарм загремел канонадой. Выскакивая из окопа, Маковей оглянулся и на миг застыл, пораженный: седое поле до самого леса мигало множеством орудийных вспышек.

Иптап!

Это был действительно он. Разворачиваясь с ходу, иптаповцы открыли массированный огонь по танкам, клином рвавшимся к реке. До сих пор их едва сдерживали полковые сорокапятники.

Маковей, передав аппарат напарнику, прыгнул с насыпи в гущу атаки. Среди атакующих уже бежали Черныш и Сагайда, бежали рядом братья Блаженко, бежали Ягодка и Хаецкий, кругом бежали свои, свои, свои...

— Не давай им удрать, не давай! — буйно гремел Хома, делая саженные прыжки.

Бросая убитых и раненых, изредка отстреливаясь на бегу, немцы удирали в лощину. За холмами на западе авиация уже бомбила ближайшие вражеские тылы.

## 15

Гибель Ивана Антоновича была для роты горькой неожиданностью. Сложилось так, что рота беспокоилась за него меньше, чем за других. И не потому, что Антоныча мало ценили. Наоборот, он пользовался среди бойцов гораздо большим уважением, чем, скажем, неуравновешенный, временами совсем нестерпимый, лейтенант Сагайда. И несмотря на это, Сагайду, особенно во время боя, оберегали внимательнее, нежели Кармазина. Странность этих отношений объяснялась, возможно, тем, что бойцы были глубоко убеждены в безошибочности и правильности каждого шага Ивана Антоновича. На вспыльчивого Сагайду иногда «находило» такое, что он, забывая о всякой осторожности, мог вслепую полезть на рожон. С Кармазиным этого никогда не случалось. Осторожный, рассудительный, вдумчивый, он в самые критические минуты не терял спокойствия и самообладания. Никто не помнил, чтобы он при каких бы то ни было обстоятельствах изменил своей степенной походке и пустился бегом, как другие. Даже во время последнего боя, когда подразделение, спасаясь от танков, ветром летели за дамбу, Кармазин в своей плащпалатке бежал солидной рысцой.

Он был скромный работяга войны, честный, всегда уравновешенный. Именно поэтому он никогда не вызывал опасений за свою особу, все были уверены, что кто-кто, а он «дотянет»...

Иван Антонович и сам охотно поддерживал общую уверенность в том, что с ним никакой беды приключиться не может, что он увидит конец войны. Когда Сагайда перетащил его на своей спине через дамбу, никому не верилось, что это лежит, заплывая кровью, Иван Антонович. И когда его засыпали землей, бойцам еще некоторое время ка-

залось, что Ивана Антоновича не похоронили, а просто он ушел из роты по служебным делам, временно передав командование Чернышу.

У Черныша и Сагайды были равные звания, и вначале минометчики не знали, кто из них будет назначен командиром роты. Однако бойцы, не сговариваясь, стали сразу же обращаться к Чернышу, как к командиру роты. В первые минуты ему было неловко перед Сагайдой. Но Сагайда, заметив это, сам начал неприятный разговор.

— Принимай роту, Женька, — предложил он мрачно.

— Почему не ты?

В самом деле, почему не он? Ведь у него, Сагайды, фронтовой стаж значительно больший, чем у Черныша. В то время, когда Черныш еще порхал где-то курсантом, Сагайду уже заметали в окопе суровые донские снега. Черныш не перемесил и половины той фронтовой грязи, какую перемесил Сагайда. Все это было так. Но Сагайда не позволял себе закрывать глаза на то, что Черныш «хоть и поздно встал, зато много взял». Знания его были более глубокие, чем у Сагайды, решения более гибкие и дальновидные. «У тебя мысль имеет ровный, анкерный ход, — не раз говорил Сагайда Чернышу. — А у меня все как-то налетами, с приливами и отливами».

Методом скоростной прицельной стрельбы из миномета, который недавно предложил Черныш, уже заинтересовалось высшее командование. Этот метод давал возможность взять от родного оружия значительно больше, чем предусматривалось нормативами. Воюя, командуя, Черныш непрерывно учился, из каждого боя делал поучительные выводы, словно и на войне оставался курсантом. Сагайда же полагаясь, главным образом, на огонь своего сердца, и хотя сердце у него всегда kloкотало и рвалось в бой, этого было, конечно, недостаточно... И вот теперь он должен уступить первенство. Это было обидно, но Сагайда не дал разгуляться своему самолюбию. Речь шла об интересах дела, а в таких случаях он умел быть беспощадным не только к другим, но и к себе. По существу, он сам виноват, и нечего теперь лезть в бутылку. Надувшись не на Черныша, а на самого себя, Сагайда ответил, как думал:

— Ты сам знаешь, почему не я. У тебя больше данных, тебе и поле деятельности шире. И не ломайся!

Вскоре Чернышу передали из штаба официальный приказ: именно он назначается командиром роты.

Прошло несколько дней. Морава уже стала для гвардейцев глубоким тылом. Плацдарм теперь не воспринимался как плацдарм — он был необъятно широк! Пересекая с упорными боями восточную Австрию, полки постепенно приближались к австро-чешской границе. Здесь бои приобрели своеобразный характер. В большинстве это были ночные короткие атаки, молниеносные штурмы укрепленных высот и дорфов.

Каменные, мрачные дорфы... Они лежали, словно зарывшись в землю, отгороженные один от другого валами крутых холмов с обширными виноградниками на склонах. Перебираться через голые высоты приходилось большей частью ночью, сквозь перекрестные струи пулеметных очередей. Стегало огнем отовсюду. Засады, западни, минные поля...

В глубоких долинах пылали населенные пункты. На окраинах сел, среди виноградников, ровной линией выстраивались приземистые бетонированные бункеры. В мирное время в этих бункерах хранилось вино.

Теперь они служили удобными убежищами для эсэсовских банд. Виноградные лозы против бункерных пещер были скошены пулеметами.

После нескольких дней тяжелого наступления полк Самиева оказался в нефтеносном Цистерсдорфском районе Австрии.

## 16

Батальоны штурмовали большую железнодорожную станцию, раскинувшуюся на голом плоскогорье, утыканном на десятки километров нефтяными вышками. Было под вечер. Еще до начала боя ударом авиации были разрушены все пути, ведущие от станции на запад, и она сразу превратилась в огромный тупик, замкнутый со всех сторон. Десятки пузатых цистерн с горючим, сгрудившись на путях, гулко лопались, сгорая в собственном огне. То в одном, то в другом месте рвались начиненные боеприпасами вагоны. Несколько паровозов еще кряхтели на тупиках, фыркая белым паром. Вся станция корчилась в огне: горели крыши амбаров, корежились на ветру, из края в край валил дым. Покоробленные сухие поля на подступах к станции вихрились взрывами, бушевали седыми заметами поднятой ветром пыли. Среди этих заметов короткими перебежками наступала пехота.

Хома со своим громоздким транспортом стоял, замаскировавшись, в одном из оврагов, в километре от станции. Может, и здесь пробивалась из земли молодая зелень, может, и здесь весна заявляла о себе, но Хома не замечал ее. Ему казалось, что опять возвращается ненастная осень. Ветер разгуливался, собирался дождь. Низко над фронтом нависли темные косматые тучи, стремительно летя против ветра. Потемнели посадки, пригибаясь к дорогам. Нефтяные вышки, четко очерченные днем, сейчас едва маячили на близких и далеких холмах. Только станция горела все ярче, грохотала, билась среди поля гигантскими черно-багровыми крыльями дыма.

Поле жалобно стонало, нагоняя на Хому тоскливые думы. Вспоминался родной дом, жена, вспоминалось все то, до боли влекущее, что могло осуществиться только после войны. Это была одна из тех минут, когда солдату чего-то остро недостает, когда сердце у него вдруг защежит, и он неожиданно почувствует, как далеко зашел, как трудно вернуться назад, какие холодные дали отделяют его от родного края. В такие минуты Хому неукротимо тянуло к своим огневицам. С ними на переднем крае, в самом сердце боя, он чувствовал себя увереннее и безопасней, чем в безопасном необстреливаемом овраге. Но здесь он был без них, без своих огневиц. Поэтому, как только стало известно, что первые подразделения ворвались на территорию станции, Хома сел на коня и махнул ездовым:

— За мной!

На станции еще все трещало и дышало жаром, когда Хаецкий во главе своего обоза ринулся через переезд. Колеса подпрыгивали на покореженных рельсах, лошади путались в оборванных телеграфных проводах, а ездовые гнали все быстрее. Обгоняя один другого, они с разгона влетели в пристанционный поселок, как в огненную просеку. Обвалившиеся стены, снесенные крыши, изломанные заборы... Вся улица изрыта свежими воронками, на дне которых еще белеет устойчивый дым. Храпят чуткие кони, вдыхая ноздрями тяжелый смрад тлеющего тряпья, горелой сажки, газа недавно разорвавшихся мин. Ветер с шумом раздувает пламя, и оно бьет жаркими клочьями из дверей пустых гулких пакгаузов. Слышно, как раскаленные гвозди, срываясь с железных покореженных кровель, словно осколки, свистят в небо.

Пехота, заняв первые кварталы, уже вела бой где-то в центре, но пули еще жужжали вдоль улиц и переулков. Хаецкий, развернувшись на перекрестке, кинулся на северную окраину, куда, как ему казалось, углубились и его огневики. Проехав узким, изломанным переулком и не встретив однополчан, Хома из осторожности остановил повозки и, передав коня ездовым, отправился пешком искать своих.

Все больше темнело, стал накрапывать дождь. Нигде никого не видно. Окна домов, мимо которых пробегал Хома, смотрели на него темными провалами. Может, потому, что, пробежав улочку из конца в конец, он не встретил никого из своих, — все окружающее особенно остро пахло на него чужбиной... Мелкий дождь, усиливаясь, неприятно бил ему в лицо.

На краю улочки Хома остановился. Дальше тянулся пустырь, загроможенный разбитыми машинами и тракторами. «Вот бы добыть разрешение и послать один домой! — подумал мимоходом Хома. — Какая радость была бы в колхозе! Хаецкий с фронта трактор прислал! А то жинки лопатами землю копают...»

За пустырем виднелись длинные серые пакгаузы. «Склады, — мелькнуло у Хома. — Может быть, с овсом? Хорошо, если с овсом! Набрал бы для коней!» У одной двери суетилось несколько фигур. Как будто рвались внутрь, высаживали ее прикладами. Наверное, разведчики. Хома через пустырь разогнался к ним. И вдруг со всего разбега дернулся на месте, присел и, прыгнув в ближайшую воронку, выбросил автомат вперед.

У сарая были немцы.

Только сейчас Хома понял, что они не высаживали дверь, а, наоборот, забивали ее, чем-то обливая сверху. У одного в руке блеснул огонек, и пламя лизнуло массивную дверь. В тот же миг Хаецкий выпустил очередь из автомата. Двое или трое сразу упали, остальные, пригибаясь, бросились наутек. Хома наводил автомат на каждого в отдельности и скашивал короткой уверенной очередью. Последнего пуля догнала уже на углу длинного сарая. Выскочив из воронки, Хаецкий кинулся вперед. Уже прыгая по ступенькам, он услышал, как внутри сарая ревмя-ревут, кричат, стонут многочисленные людские голоса. Десятки кулаков бьют в дверь, заложенную снаружи толстым ломом. Пламя уже подбиралось по двери к самой крыше. Перевернув автомат, Хома ударил прикладом по огромному металлическому замку. Внутри сразу притихли, но в следующую секунду закричали с еще большей силой — дико, страшно, нечеловечески. Хаецкий подскакивал к горячей двери, бил и снова отскакивал. Уже тлел на нем рукав, уже потрескался приклад, а замок всё не поддавался. Хаецкий оглянулся вокруг, ища глазами что-нибудь более солидное, чем приклад. Обломок рельса!.. Он был такой тяжелый, что при других обстоятельствах Хаецкий, конечно, ни за что не поднял бы его. Но сейчас силы его умножились, и он, схватив стальной обломок, размахнулся им, синевя от натуги. Горели обожженные руки и будто прирастали мясом к железу. Из всех сил ударил по замку. Замок раскрылся. Едва Хома успел выбить его из петли, как дверь с грохотом распахнулась, и из сарая повалила плотная кричащая толпа. Мимо Хома замелькали смертельно бледные, искаженные ужасом лица мужчин и женщин. Словно мертвецы встали из гробов. Застывшие, неподвижные глаза смотрели прямо перед собой. Не задерживаясь, люди бежали сквозь пламя, стучали деревянными колодками по ступеням, рассыпались по пустырю, кидались наобум — кто куда. Хома пытался остановить их, но они не замечали его.

Лавируя между тракторами и изувеченными машинами, не останавливаясь, не оглядываясь, втянув головы в плечи, будто ожидая выстрела в спину, они бежали в серые, тихие сумерки поля.

Только какая-то слабенькая девушка, похожая в своих шароварах на лыжницу, остановилась, услышав голос Хома, взглянула на него мгновенно выросшими большими глазами и припала к нему, забилась, затрепетала.

— Наши! — обессиленно заплакала она. — Наши, наши!

Хома бережно оторвал ее от себя и только сейчас, при свете пылающего сарая, заметил у девушки на рукаве желтую нашивку с коротким словом: Ost.

Хома не знал значения этого чужого слова, но сразу почувствовал в нем что-то позорное, унижительное, как клеймо. Схватил нашивку, сорвал ее и гневно швырнул под ноги.

— Сестра! — волнуясь, сказал он. — Далекo ж я тебя встретил, сестра!

Девушка посмотрела на свой изодранный рукав, потом на Хома, потом опять на рукав. Глаза ее, еще полные дрожащих слез, вдруг наполнились ярким светом, и она закричала:

— Бронислава! Радомир! Ян!

Кое-кто из бежавших неуверенно начал оглядываться, потом останавливался и, заметив советского солдата, бросался к нему, как к защитнику. Через минуту Хома обступили люди и прижимались к нему, запыхавшиеся, возбужденные и растерянные.

Рабы, невольники... Истощенные, бледные, будто годами не видели солнца... В беретах, в фуражках, в кепках, простоволосые... Блестящими, как после болезни, глазами смотрели они на него со всех сторон. Говорили на разных языках, тянулись к нему руками. Перепуганные взгляды их находили опору в этом загорелом, обожженном стужами лице, в этой темной тугой шее, облитой сиянием близкого зарева. А Хома, веселый и радостный, поворачивался среди них своими широкими плечами, срывал с рукавов желтые нашивки и отбрасывал их прочь.

— Отныне вы свободны!

— Свободны! — это слово повторялось на многих языках. — Свободны! Свободны!..

— Навсегда свободны!

У одного не было нашивки.

— Это француз, — объяснила Хоме землячка. — Мосье Жан... У них не было нашивок.

Старик француз закивал бородой, взволнованно залепетал:

— Же ву, же ву...

— Живу, говоришь? — Хаецкий приветливо хлопнул его по плечу. — Живи на здоровье, го-го-го!.. И больше не попадайся людоедам в лапы!

Невольники наперебой обращались к нему на разных языках. Хаецкий понимал далеко не всё, но одно он постиг: это он вернул этим людям самое дорогое, самое прекрасное — жизнь и свободу. Сознание значительности этой минуты наполнило его счастливой гордостью. Это он дал им нынешний ветреный вечер, и эти широкие дороги в родные края, и звонкий завтрашний день. Сегодня их несчастья должны кончиться навсегда. Сколько людских надежд и мечтаний задохнулось бы дымом в этом сарае, погибло бы под пылающей крышей!.. Когда-нибудь комиссии и строгие эксперты откопали бы обугленные кости. Но разве откопаешь думки, разве воскресишь мечты, нетерпеливо-

рвущиеся вдаль, туда, где люди мысленно встречаются со своими семьями и друзьями, ласкают давно не виденных детей...

Освобожденные взволнованно, беспорядочно рассказывали о себе. Они работали недалеко отсюда на нефтяных промыслах. Когда фронт неожиданно приблизился, немцы согнали их на станцию, устроив на скорую руку транзитный лагерь в этих сараях. Охрана лагеря ждала со дня на день вагонов, чтобы увести невольников дальше на запад, на другие работы. Но когда события развернулись с молниеносной быстротой и стало ясно, что ни один вагон уже не выйдет за стрелку, расвирепевшие эсэсовцы заперли барак на здоровенный замок и подожгли.

Среди освобожденных больше всего было чехов и поляков, несколько русских девушек и украинок, несколько французов и даже один араб, неизвестно где захваченный немцами. Услышав про «арапа», Хома захотел непременно на него посмотреть. Все стали звать Моххамеда. Но он уже исчез, перемахнув через насыпь, в глухое поле.

— Скажите, куда же нам теперь? — спрашивали Хому девушки.

Подолянин указал на восток широким властным жестом:

— Идите! До самого Владивостока путь вам открыт!

— Но ведь где-то должен быть комендант?

— Комендант? Я для вас комендант! Я вам говорю: топайте!

Девушки плакали. Достали свои паспорта и просили Хому сделать в них пометки. Это были страшные паспорта рабынь, паспорта новейшего рабовладельчества: «Arbeitskarte». В каждой карточке — фотография владелицы с большой деревянной табличкой на груди. На табличке — шестизначный номер. И тут же рядом — фиолетовый оттиск пальцев. Надписи повторялись на двенадцати языках: русском, украинском, чешском, английском, французском... Для всех народов были заготовлены арбайтскарты!

Хома не читал. Повернувшись к пылающему бараку, он огрызком толстого карандаша выдавливал через всю арбайтскарту: освобожден, освобождена, освобожден, освобождена...

Протянула карту и девушка, первой пришедшая в себя среди общей паники.

— Как тебя звать, сестричка? — спросил Хома, особенно старательно выводя на ее карте свою резолюцию.

— Зина, — ответила девушка.

— Кто ж тебя дома ждет? Мама? Папа?

— Нет никого. Всех растеряла за войну. Один братишка где-то в армии...

— К кому же ты вернешься?

— Как к кому? К нам, домой. У меня сейчас там все родные! Как перейду границу, буду обнимать каждого, кого ни встречу...

— Какая ж ты худенькая, аж светишься...

Девушка смутилась, словно в этом было для нее что-то постыдное.

— Поправлюсь... Наберусь сил...

— Набирайся, сестричка, набирайся... Счастливой тебе дороги!

Хома спешил, бой уже откатился за поселок, окутанный вечерними сумерками да багровыми заревами пожаров. У него не было времени расспросить Зину подробнее, он даже не узнал ее фамилии. А если бы спросил, она ответила бы: Сагайда.

Объяснив освобожденным, как им лучше всего выбраться за линию фронта, Хома кинулся разыскивать своих огневииков.

Он нашел их уже ночью на западной окраине. Гордый своим поступком, долго рассказывал товарищам о лагере, о землячках, о францу-

зах и «арапе», кинувшемся куда-то наобум, вслепую, так что не могли его дозваться.

— Где ни побегает, всё равно к нашим придет, — рассуждали товарищи.

— Известное дело, придет... Все дороги к нашим ведут...

— А его, бедняжку, наверное, где-то арапенята тоже высматривают, ждут...

— А почему же нет? Человек есть человек...

Сагайда, накрывшись плащпалаткой, не вмешивался в разговор, сидел задумчивый и молчаливый. Сестра Зина не выходила из головы. «Освобождаем же мы многих, — думал он, — может быть, в эту минуту кто-нибудь освобождает и мою сестричку, мою Зинку».

Долго еще потом шли по Австрии, и почти во всех деревнях встречи своих земляков и землячек, работавших у бюргеров. Девушки рассказывали, как добрели толстые бюргерши по мере приближения советских войск.

— Когда вы были на Тиссе, моя хозяйка перестала драться и дала мне платье. Когда стали на Мораве, она прибавила мне кружку кофе. А когда вы вступили в Австрию, так начала угощать вином...

— Где она сейчас, старая волчица?

— Бросила всё хозяйство и спряталась где-то в бункере.

— А ты отсюда попадешь домой?

— С закрытыми глазами!

— И не заблудишься?

— Нет.

Сагайда, встречая освобожденных девушек, жадно вглядывался в их лица, надеясь встретить среди них сестру, свою щебетунью Зинку, звонкое свое счастьечко.

А она, его счастьечко, в это время мелко стучала каблуками по пыльным шляхам на восток, вдоль дорфов и бункеров, и вглядывалась из-под косынки в каждого встречного военного, стараясь найти среди них своего Володьку.

Для нее здесь все были, как братья, а для него там все были, как сестры.

## 17

В свободные часы Хома со своими ездовыми разбирал положение на фронтах. Для этого он доставал из полевой сумки пачку самых различных карт, вырванных из чужих атласов и учебников. Обложившись ими и потирая руки точь-в-точь, как начальник штаба, Хома говорил:

— А теперь, Иона, разберемся.

Иона-бессарабец пользовался особым вниманием Хома. Подолянин твердо помнил, как, принимая новичка в ездовые, он поклялся сделать из него человека. И надо сказать, бессарабец оправдывал надежды своего учителя. Хозяйственный, работающий и — когда надо — на удивление храбрый, он выполнял свои обязанности безукоризненно.

А между тем Иона, как и Ягодка, был совсем темный человек. Пробатрачив полжизни в имениях румынских землевладельцев, он и сейчас еще не совсем свыкся с новым положением и в обществе «восточников» болезненно ощущал свою отсталость. Всякий раз, когда приходилось расписываться в боекомплекте за мины, его бросало в жар. Иона расписывался с большим трудом. Поэтому обращение Хома к нему звучало участливо и в то же время несколько комично. Разберемся... На это приглашение Хома Иона поддавался довольно

туго: сам дракула<sup>1</sup> не разберется в тех картах, где уж ему, Ионе, со своим бато́гом! Действительно, отпечатанные в разное время и на разных языках — немецком, венгерском, румынском — эти карты представляли даже для Хо́мы темный лес. Однако Хома, откусив зубами соломинку, дерзко пускался в этот лес, измеряя масштабы до Берлина. С какого-то момента измерение расстояния до Берлина утратило шуточный оттенок и воспринималось вполне серьезно.

— Сколько? — спрашивали у Хо́мы ездовые. А он, круто выгибая смуглую шею, заглядывал в карту, как в яму.

— Уже немного, чорт его дери!

— Двести? Триста?

— Смотря куда пойдем, — уклонялся Хома от прямого ответа. — Может, нам и совсем не придется там побывать: видите, над Берлином навис 1-ый Украинский...

— А мы как?

— На нашу долю тоже работы хватит, — успокаивал Хома товарищей. — Мы их с юга за жабры возьмем! Думаете, им отсюда не больно? Думаете, дарма Гитлер за эту Австрию держится, как чорт за грешную душу? А-а, качался б ты под осиновой веткой вместе с твоими геббельсами и геббельсенятами! Все слышали, что майор Воронцов говорил давеча? Немцы, говорит, называли Австрию своей южной крепостью. Одолеем ее — откроем настежь двери во всю Неме́тчину, в самое настоящее бомбоубежище фашизма. Это сюда Гитлер эвакуировал свои военные заводы! Это ж сюда удирали фашистские крысы из Восточной Пруссии, из Силезии и Померании! Видишь, Иона, Померанию?

— Где? — Иона доверчиво заглядывает в карту.

— Вот она кругом, — Хома накрывает ладонью Германию. — Где фашизм, там ему и помирие́ние! Мы на всё их гнездо бьём с юга. Пересечем вот этот кусок Австрии, а тогда, наверное, выйдем на Прагу. Освободим братьев — и дальше на запад. Эй, беда тебе, враже! Не ждал, верно, Гитлер, что так сложится. Держал этот закуток, как самое безопасное место, а мы уже и отсюда в ворота гремим!

— Сдавались бы — и всё, — говорили ездовые. — Разве им до сих пор не ясно, к чему дело идет?

— Заартачились! Пока ему автомат к горлу не приставишь, рук не подымет...

— А некоторые уже переодеваются! Казаков одного по глазам узнал. Стоит в толпе, во всем гражданском, и уже белая повязка на рукаве. Обыкновенный себе австрияка. А Казаков ему автомат к груди: хенде хох, дескать. И что ж вы думаете? Оказалось — под штатским у него и штаны офицерские, и китель...

— Вот и верь их белым повязкам!

— Сейчас даже фашисты на своих воротах белые флаги вывесили.

— Знаем их. Сегодня идем с Островским мимо одного такого дома, флаг над ним белеет, а зашли внутрь — нет никого. В чем дело? Потом уже бюргерская наймычка все рассказала. Тут, говорит, фашист жил. Как увидел, что невыдержка, вывесил белый флаг и бумаги все сжег. А в последнюю минуту все-таки удрал. Нервы не выдержали.

— Рабочие вышли с красными повязками, видели?

— А с какими же им выходить? И наймычки бюргерские тоже все с красными...

<sup>1</sup> Чорт (рум.).



— Вот так и я когда-то выходил, — похвастал Иона. — Это когда вы первый раз пришли в Бессарабию. Бегу с товарищами до шляху, а вы едете машинами и спиваете. «Браты!» — кричим...

— Трудовые люди везде братья между собой. Вот и тут... Сразу узнаешь — когда на тебя фашист глянет, а когда честный рабочий человек.

— По виду узнаешь: идут истощенные, похудевшие, а глаза так и светятся нам навстречу...

## 18

Со дня на день ждали окончания войны. В Берлине над рейхстагом уже реял красный флаг. Из конца в конец трещала фашистская империя, падала в пропасть на глазах у народов. Первоклассная империалистическая армия уже перестала быть единым целым. Теперь она больше напоминала моторизованные огромные банды, мечущиеся по всей Европе под уничтожающими ударами советских войск. Казалось, вот-вот наступит час развязки, и самые мощные радиостанции мира поздравят, наконец, человечество с триумфом Справедливости.

А между тем орудия гремели на сотни километров, в городах клочкотали уличные бои, грандиозные строения взлетали на воздух, весенние поля покрывались тысячами свежих окопов. Лилась кровь; как и раньше, ходили в жаркие атаки по нескольку раз в сутки.

Сейчас это давалось особенно трудно. Все уже чувствовали, как, приближаясь, торжественно шумит Победа, все жили, заглядывая в завтра — в большое, сияющее, сказочно-прекрасное завтра, стоящее на пороге.

Что будет завтра? Неужто и в самом деле настанет день без пожаров, без канонад, без крови и убийств? Неудержимо хотелось дожить до этого дня и хотя бы мгновение — хотя бы одно мгновение! — побыть в нем...

Для самиевского полка это «завтра» скрывалось где-то за рекой со взорванными мостами, за голыми возвышенностями противоположного берега, за фортификационными сооружениями, тянувшимися сплошной линией мрачных укреплений. Австрийско-чешская граница... Водный рубеж, прострелянный врагом вдоль и поперек. Сегодня полки подошли к нему.

Войска сосредотачивались вдоль реки в многочисленных складках местности, в рощах и перелесках. Наверное, никогда еще этот глухой пограничный уголок австрийской земли не видел столько людей и техники. Земля оседала под такой непривычной тяжестью! Стягиваясь в ударный кулак, уплотняясь, полки готовились к решительному штурму.

Все подступы к реке противник устилал огнем. Земля переднего края выгорела от снарядов, почернела, вымерла. Однако по ночам пехота ползла и ползла к берегу, залегая в камышах, нацеливаясь на запад тысячами глаз.

Евгений Черныш окопался со своими людьми в одном из крутых оврагов невдалеке от реки. Тут же остановились и минометные роты двух соседних батальонов. Начальник артиллерии полка приказал на этот раз свести все минометные роты воедино, чтобы испытать метод скоростной стрельбы, предложенный Чернышом. Около десятка ствольов стали рядом. Это была роскошь, какую полк сейчас мог себе позволить. Уже не надо было растягивать огневые средства на километры по фронту, прикрывая наиболее уязвимые места. Сегодня орудиям и минометам было тесно.

На время артподготовки Чернышу пришлось быть старшим, командовать объединенным огнем всех трех минрот. Сагайда в шутку окрестил его «капельмейстером сводного оркестра». Но Черныш сейчас был глух к шуткам Сагайды. Он с готовностью принял на себя обязанности старшего, чувствуя, что они ему под силу. Но волнение не покидало его на протяжении всего дня. Ответственность, возложенная на него, как бы натянула все его мускулы и нервы.

Огневая позиция была почти готова. Черныш расположил ее по самому дну оврага, защищенного от противника крутым холмом. В круглых сырых лужах-ячейках стояли минометы всех трех рот. Объединенные в одну батарею, выстроенные в строгий ряд, они имели сейчас грозный, хищный вид.

Расчеты работали дружно. Проверяли механизмы, ставили вехи, прокладывали последние ходы сообщений. Слева к огневой примыкал лес, и стройный молодой дубняк косяком заходил оттуда на самую огневую. Группа самых высоких деревьев, как нарочно, оказалась против взвода Сагайды. Надо было валить деревья, расширяя сектор обстрела, создавая перед каждым минометным стволом широкие ворота на запад. В другой раз Сагайда, безусловно, надулся бы на Черныша и стал бы доказывать, что тот по дружбе отвел ему самый худший участок на огневой. Но сегодня Сагайда принял это, как должное. Черныш поставил его на первый взвод, которым раньше сам командовал. Это было почетно и льстило самолюбию Сагайды. Ведь неспроста Черныш передал свое любимое детище именно ему, а не молодому офицеру Маркевичу, который накануне прибыл в роту из резерва. Маркевич принял от Сагайды второй взвод, «самый легкий», вышколенный лучше других.

— Садись на готовое и смотри не отпусти гайку, — поучал Сагайда Маркевича, передавая ему взвод. — С такими гренадерами тебе и море по колено. А я не гонюсь за легким хлебом, пойду на первый, к молодым гражданам...

— Я тоже не ишу легкого хлеба, — обиженно заметил на это Маркевич.

— Не ищешь, согласен, но если дадут — бери. Потому что так нужно. Значит, считают, что мой хребет крепче твоего. Тебе, видишь, прогалину Черныш выделил, а я должен лес корчевать.

— Могу вам помочь, — предложил Маркевич.

— Если можешь — давай, быстрее разделаемся.

На том и сошлись. Сейчас бойцы обоих взводов дружно наступали на дубняк. Сагайда, раскрасневшись, тоже носился с топором по огневой и молодецки набрасывался на деревья.

А на склоне холма всё глубже зарывались в землю ординарцы, телефонисты, наблюдатели соседних батарей. Даже Маковейчик, который всегда избегал земляных работ, сегодня натер себе честные мозоли. Конечно, вместо того, чтобы копаться в этой тяжелой австрийской земле, парень с большим удовольствием прошелся бы на руках по огневой, поборолся с товарищами или, закинув голову, махнул бы в весенний лес, который высится рядом. Как там должно быть прекрасно! Озера, птицы, песни!.. Гудит весна в лесу, заглядывает в тесный, пронизанный сыростью окоп Маковея, зовет-вызывает: бросай лопату, хлопец, выпорхни из своей норы на свет божий, махнем степями-лесами! Покажу тебе свои чудеса, напою тебя березовым соком, улыбнусь тебе синими подснежниками!..

— Прочь, не мешай мне! — кричит Маковей соседу-связисту, который напрашивается к нему в напарники. — Дай-ка развернуться!

— Да ты уж и так вымахал по грудь...

— А что же? Может, я последний окоп рою, для истории его оставлю!

— Давай на пару...

— А этого не хотел? Ишь какой ласый на дурницу! Видишь мои мозоли?

— Вижу... Тоже исторические?

— Тоже!

В это время с КП батальона, запыхавшись, прибежал Шовкун. Лишь только он влетел на огневую, как все поняли, что сейчас услышат радостную новость. Она светилась в теплом размякшем взгляде санитаря.

— Ясногорская вернулась! — крикнул Шовкун сияя. — Уже в тылах батальона... Сегодня будет здесь!

Ясногорская! Шовкун кричал всей роте, а смотрел почему-то на Черныша. И все бойцы, как сговорившись, посмотрели на Черныша. Лейтенант покраснел и, хмурясь, бросил офицерам:

— Пошли пристреливаться.

## 19

Забравшись с командирами рот на вершину холма перед огневой, Черныш терпеливо вел пристрелку. Как всегда в таких случаях, бил только один миномет. Сегодня честь пристреливать цель выпала расчету Дениса Блаженко. Стоя внизу и держа в руке дефицитную дымовую мину, Блаженко смотрел оттуда на офицеров так, словно ждал сигнала вызвать землетрясение. Но Черныш не спешил с командами. После каждого выстрела наступала длинная пауза — офицеры, не торопясь, разглядывали цель, советовались, вели подсчеты.

День стоял ясный, прозрачный, с далекой видимостью. Трепетный воздух мягко струился, как бы подмывая своими волнистыми потоками высоты на том берегу, блиндажи, далекие деревья. Всё плыло куда-то и в то же время оставалось на месте. Фронт притих, как перед бурей, лишь изредка кое-где лениво ухали пушки. Черныш знал, что завтра они заговорят иначе — сегодня артиллерия еще только примеряется, работая с притворной бессистемностью и скупостью, чтобы не вызвать подозрений противника.

Все мысли Черныша сейчас невольно связывались с Ясногорской; всё, что он делал, уже как будто посвящалось ей. Наверное, Шура и не догадывается, как ее приезд отражается на чьей-то деятельности, на чих-то настроениях... Вернулась!.. Неужели она и в самом деле к часу на час может появиться здесь? Иногда Чернышу это казалось мало вероятным. Когда выдавалась свободная минута, он поглядывал с холма на дорогу, тянущуюся вдоль леса к селу, в полковые и батальонные тылы. При этом каждый раз он смущался, подозревая, что соседи-офицеры догадываются, почему ему не сидится возле них. А они, озабоченные пристрелкой, не замечали его волнения.

Дорога, которой должна была приехать Ясногорская, жила нормальной фронтовой жизнью. В направлении передовой двигались группы бойцов; проскакал верхом начальник штаба с несколькими помощниками и ординарами; выползла на опушку артиллерийская кухня, запряженная знаменитым верблюдом, одним на всю дивизию, который дошел сюда от самой Волги; вот из-за поворота вылетает на своем конике Хаецкий, за ним одна за другой вытягиваются повозки, груженные боеприпасами. Может быть, Шура приедет с ними? Но на повозках, кроме ездовых, никого нет. Что ж это такое? Где она так долго

задержалась? Хома грозит кому-то плеткой, сбивает верблюда с дороги... Еще кто-то едет... А ее нет. Нет... Нет...

— Ну и жара, — жалуется Чернышу один из его товарищей, капитан Засядько, расстегивая воротник. — Сюда бы сейчас ведро пива-холоднячка!

— Толстиков уже и без пива клюет, — улыбаясь, кивнул Черныш на своего правого соседа, который, уткнув голову в руки, упорно боролся с навалившейся дремотой.

Они только что кончили пристрелку и, удовлетворенные результатами, лежали втроем на вершухе холма, от нечего делать перебрасываясь вялыми фразами. Давала себя знать усталость последних дней. Не хотелось подниматься, трудно было даже повернуть разморенное теплой истомой тело. Солнце припекало. Воронки, еще утром жирно черневшие на поле, сейчас посерели, высохли. Черныш, положив голову на планшет, закрыл глаза...

— Прекрасная, — слышит он поблизости. О ком это? Конечно, о ней. Сегодня все думают о ней, все ждут ее.

— Кто прекрасная, капитан?

— Позиция, говорю, прекрасная, — поясняет Засядько. — И до противника рукой подать, и укрыта хорошо.

— Да, да, прекрасная, — тихо соглашается Черныш, думая о Ясногорской. — Прекрасная... Прекрасная...

— Стоп! — капитан хлопнул себя рукой по шее. — Кажется, капнуло! Еще! И еще! Толстиков, проснись!

— Что такое?

— Дождь!

Офицеры, оживившись, как ребята, вытянули ладони перед собой, радостно глядя в небо. Высокие тучки были почти незаметны, таяли в бледной синеве. А между тем дождь усиливался, падая, казалось бы, с чистого неба. Зашумел над лесом, приближался тысячным хрустальным шорохом, легко позванивая в вышине.

Черныш лег навзничь, подставил обветренное лицо под приятные удары капель.

— Вы видели такое: солнце и дождь!

— Слепой дождь!

— Почему слепой? Наоборот, ясноглазый!

Всё гуще и гуще осыпало руки, лицо. От каждой капли радостная дрожь пробегала по всему телу. Уже вокруг, над лесом и над холмистыми полями, засверкали мириады блестящих жемчужных нитей. Словно небо, играя, весело стреляло бесчисленными тонкими очередями и каждая капля-пуля, проносясь в этой очереди, сверкала, слепя глаза. Чернышу казалось, что после этого весеннего дождя всё сразу буйно зазеленеет, зацветет. Припомнил, как в прошлом году в Трансильвании, изнемогая в горах от зноя, бойцы с жадностью высматривали тучи... Реки остались внизу, ручейки остались внизу... Воды, воды! А небо было безводным, жестоко-голубым. Потом однажды показалась на горизонте дождевая туча. Будто сама Родина, услышав мольбы бойцов, послала им издалека свой подарок. Расстелив на горячих камнях плащпалатки, бойцы собирали в них долгожданную влагу. Потом делили. Черныш поделился с Брянским... Какой это был животворящий, незабываемый напиток!

Дождь усиливался. Никто и не думал прятаться от него. Слышно, как на огневой щебечет Маковейчик:

Дождик, дождик, припусти  
 На бабины капусты,  
 На дедово сено,  
 Чтоб позеленело!..

— Маковой, где та капуста? Где то сено? Глянь, австрийская земля кругом!

— Все равно, пусть и она зеленеет!

Черныш, шурясь, улыбался щедрому небу. Гадал, где застанет этот дождь Ясногорскую: в санроте или по дороге сюда. А она в это время уже соскочила с коня на его огневой. Ординарец комбата, гоня своему хозяину «порожняком» оседланного коня, по пути прихватил Ясногорскую.

Весь мир засиял. Солнце светило сквозь серебристую мглу, дождь становился мельче и гуще. Вдруг небо над головой заиграло. Мелодично, сильно, свежо. Впервые в этом году загремел гром. Как будто заговорили где-то высоко за голубыми тучами дивизионы РС. Раскатилось, разлеглось — широко, привольно... И сразу всей природе вздохнулось легче, будто мир обновился, помолодел. Наверно, не было в эту минуту в войсках ни одного человека, который не взглянул бы зачарованно в разбуженное синее небо и не подумал: весна!

«Весна», — с наслаждением подумал и Черныш, вдыхая посвежевший воздух. Но что это? Вздрогнув, он порывисто поднялся на колени. С огневой, вместе с радостной разноголосицей солдатских басов, неожиданно донесся девичий голос.

В то же мгновенье он увидел Ясногорскую.

Она стояла, окруженная бойцами, и о чем-то весело говорила, глядя вверх. Черныш не знал: смотрит она на него или на пронизанную солнцем серебристую пряжу дождя, неудержимо падавшую с высот.

— Гвардии лейтенант! — крикнули снизу бойцы. — Гвардии лейтенант!

— Тебя касается, — подмигнул Чернышу Засядько. — А может, тебя, Толстиков?

Толстиков благодушно улыбался, разглядывая Ясногорскую.

— О, как она цветет!..

Придерживая рукой бинокль, Черныш стал быстро спускаться по косогору. Прыгал через чьи-то окопы, осыпая в них землю. В окопах не было никого. Все собрались внизу, как на митинг.

Спускаясь, Черныш смотрел как будто себе под ноги, а между тем видел только ее, долгожданную. Приближаясь, видел мелькнувший на ее лице радостный испуг. Она показалась ему выше, чем была. Будто выпрямилась, стала стройнее, моложе. Для Черныша уже не существовало ни дождя, ни веселой толпы огневигов, существовали только ее глаза, которые, приближаясь, вдруг заблестели, а ее длинные ресницы задрожали. Она еще говорила с бойцами и смеялась, но Черныш не слышал ее слов, да и сама она, наверное, не слышала их. Глаза ее тянулись к нему, о чем-то спрашивая его и в то же время что-то говоря ему.

Бойцы торжественно расступились, давая лейтенанту дорогу и глядя то на него, то на Ясногорскую. Черныш поздоровался, твердо выговаривая привычные слова воинского приветствия; вернее, они сами сказали, он их не слышал. Ясногорская подала ему руку, румянец покрыл ее щеки.

За спиной Шуры стоял Сагайда, улыбаясь до ушей. «Чего он?» — удивился Черныш и пробежал взглядом по другим. Все смотрели на него доброжелательно и подбадривающе. «Мы всё знаем, — говорили

их взгляды, — и всё понимаем... И мы даже рады за вас, если уж на то пошло»...

Черныш почувствовал себя легко, как бывает всегда в обществе самых близких друзей и единомышленников. Ему хотелось благодарить каждого из присутствующих за это ощущение.

— Как хорошо загремело! — улыбаясь, медленно говорила Шура. — Даже странно, откуда этот гром? Небо как будто чистое, и вдруг так загремело! — Она взглянула на небо. И Черныш взглянул. И все подняли головы. — А лес какой стал, посмотрите! Как он зазеленел сразу! Как будто горит под солнцем зелеными огнями, даже зеленоватый дымок над ним вьется. — Она показывала на лес и глазами, и рукой, вся тянулась к нему. Черныш одновременно видел и зеленоватый дымок над лесом, и Шуру, которая тоже как будто окутывалась этим дымком.

Она стояла в новых сапожках на высоких каблуках, в темнозеленом армейском платье, плотно облегавшем ее фигуру. Платье было сделано со вкусом и явно шло ей. Не измятое, выглаженное, свежее... Видно было, что она надела его недавно. «Возможно, даже перед тем, как итти сюда», — мимоходом отметил Евгений, и Шура, перехватив этот взгляд Черныша, поняла его именно так. Но не смутилась и не застыдилась, а весело, даже с вызовом, ответила на него. «Да, я готовилась, — говорили ее глаза, — я хотела явиться сюда красивой и не стыжусь этого, и все это ради тебя».

— А Шовкун уже глаза проглядел, высматривая, — говорил Черныш, счастливо любясь Шовкуном, красневшим, как девушка. «Но я высматривал тебя гораздо больше, чем Шовкун, — скрывалось за этими словами. — Я начал тебя ждать с той самой минуты, когда мы расстались... Я хотел бы коврами устлать дорогу, по которой ты приближалась к нам... Разве ты не слышишь, как всё во мне поет: тебе, тебе!»

«Слышу, слышу! Я издали слышала тебя и летела к тебе!»

«И где ты пролетала, там леса зеленели, а небо над ними гремело молодым громом! Слепой голый дождик бежал впереди и кропил перед тобой пыльные фронтовые шляхи... Ты и сама, как тот солнечный летучий дождик, откуда-то прилетевший и озаривший всё вокруг! Взгляни, как парует земля, как дымятся леса! Опьянеть можно от этого!»

«Разве ты еще не опьянел? Я уже опьянела! Смотри»...

Смеясь, Шура схватила голову Маковея, который как раз пробежал мимо и попался ей под руку.

— Маковейчик! Как я соскучилась по тебе, — щебетала она ему и в то же время ласково смотрела на Черныша. — Мне даже в госпитале слышались твои песенки... О, какой же ты большой стал! И какой хорошенький! Дай я тебя поцелую! Тебе не стыдно? — И она целовала Маковея в обе щеки, а счастливыми смеющимися глазами, как заговорщица, смотрела на Черныша.

«Еще, еще», — уговаривал ее Черныш влюбленным взглядом. Весь мир бешено прыгал перед ним в зеленом тумане.

— Почему вы так смотрите на меня, Шовкун? — настойчиво допрашивала Шура своего санитара, идя с ним принимать взвод. — Вы не узнаете меня? Да, у вас, пожалуй, есть основания... Сегодня я сама себя не узнаю.

— Что ж тут такого, — деликатно возражал Шовкун. — Столько не виделись, и вдруг опять вместе... Это с каждым бывает...

Бывает! Значит, что-то между ними было? И все это заметили, и все поняли? Ужас! Но что именно было? Короткое рукопожатие, невинный разговор на огневой, несколько взглядов... О, эти взгляды! Разве их можно было скрыть? Разве они не высказали всё? Что — всё? Не было никакого «всё»! И не будет его, не будет!

Неужели это может произойти так естественно и просто? А что если оно уже произошло? Страшно представить себе, страшно подумать...

— Не смотрите, не смотрите на меня, Шовкун! Это я просто отвыкла... Мне тут еще страшно, и я дрожу... Но я не боюсь. Наоборот, мне очень, очень хорошо!

В госпитале Ясногорская не раз представляла себе встречу с Евгением. Она ждала этой встречи, тайком мечтала о ней, заранее готовила Евгению много упреков... Почему так быстро забыл? Почему так редко писал? Редко, лаконично и сухо... Но разве на него можно сердиться за это? При встрече все упреки как-то вылетели у нее из головы. Все заготовленное пошло кувырком, повернулось иначе...

А его писем ей нехватало в госпитале. Не раз Шура ловила себя на том, что ждет их, и даже отчаявшись, теряя надежду, все-таки ждет. Ей уже было мало того, что писали другие однополчане, ей хотелось, чтобы писал он, Черныш.

Особенно, когда стала поправляться, когда вышла из палаты и увидела вокруг неудержимую весну. Песни, недопетые когда-то, опять просыпались в природе, волновали Шуру, трубили в громкие трубы... Кого-то до боли нехватало, сорвалась бы и полетела куда-то.

«Я не люблю, не люблю Черныша, — уверяла себя Шура по дороге в полк. — Это только потому, что он был другом Юрася, что он чем-то напоминает мне Юрку... Только поэтому! И я ему в глаза скажу об этом!»

А когда стояла с Евгением на огневой, то ничего не сказала. Что-то сильное, властное диктовало ей другие слова, взгляды, жесты.

— Шовкун, я очень плохо вела себя на огневой?

— Вы такое скажете, ей-богу!.. Да разве вы можете плохо? Мы только радовались, глядя на вас...

— А у меня, поверите, даже дух захватило, когда я услышала этот гром! Давно я не слыхала такого... Будто маленькая, стою где-то в поле под синей тучей и слышу впервые гром...

## 21

Санитарный взвод стоял в лесу неподалеку от минометчиков. Тут же рядом расположился и КП Чумаченко.

Евгению все еще не верилось, что Шура сейчас в нескольких минутах пути от него. Когда она скрылась в дымящейся чаще леса и мокрая сверкающая зелень, покачиваясь, сомкнулась за ее спиной, Чернышу на мгновение показалось, что Шуры совсем и не было на огневой, что все это ему померещилось. Но оглянувшись вокруг, он увидел, как на всем еще лежит как бы праздничный блеск, принесенный ею сюда. На посвежевших лицах людей, на оружии, на всей природе...

Уходя на КП, Шура пообещала, что через час всё устроит, «вступит в права» и потом придет к минометчикам обедать. Ради такого случая Хома привез на огневую бюргерских уток, уверяя, что они дикие.

Прошел час, а Шуры не было. Уже вечерело, а она все не приходила. Наконец, Черныш не выдержал.

— Побудь тут за меня, Володька, — смущаясь, обратился он к Сагайде. — Я схожу...

— Крой, — сочувственно буркнул Сагайда. — Будет порядок...

На полпути к санзводу Черныш встретил Шуру с санитарями. Солнце приближалось к закату, и косые лучи пересекали лесную тропу. В густых вершинах нависали косматые сумерки, а внизу на голых стволах ярко горели огни заката. Ясногорская шла, склонив голову, и не сразу заметила Черныша. Лицо ее было озабоченно и серьезно. Будто и не она днем так счастливо смеялась и щебетала на огневой. Будто уже спрятала всё, чем так щедро красовалась днем перед бойцами его роты, перед ним.

— Шура! — впервые сегодня Евгений назвал ее по имени.

Ясногорская, словно проснувшись, взглянула на него. И прежде чем она улыбнулась, Евгений успел уловить выражение горькой боли в ее глазах.

— Видишь, — сказала она тихо и растерянно, — а я как раз сейчас думала зайти к вам... Иду в боевые порядки.

— Но там ведь есть твои люди... Ты могла бы и не спешить.

— В эту ночь нужно. Пополнение придет.

Шура сошла со стезжки и, пропуская своих санитаров, деловито оглядывала их.

— Шовкун, зачем вы эти носилки взяли? — заметила она. — Там ведь, кажется, есть более легкие...

— Но эти крепче, — с готовностью остановился Шовкун. — А, может, за теми сбегать? Так я в секунду!

— Идите уж, идите, — махнула рукой Ясногорская.

И даже в этом жесте Евгений угадал едва сдерживаемую боль, которой Шура сейчас как бы отгораживалась от него. Что случилось? Откуда взялось это отчуждение, неожиданно возникшее между ними? А оно возникло, Евгений это чувствовал, холодея, как перед неминуемой опасностью. Днем, на людях, ему, оказывается, легче было найти общий язык с Шурой, чем сейчас с глазу на глаз, здесь, в лесу. Тогда все в ней предназначалось ему: каждое движение, горячий взгляд, ласковое слово и даже то, что слышалось за словом... И вот сейчас все это угасло, заслонилось чем-то другим, может быть даже этими носилками — не видеть бы их никогда!

— О чем ты задумался, Женья? Пойдем.

Они пошли по тропинке за санитарями.

— Ты имеешь представление о нашей передовой? — глухо спросил Черныш.

— Имею, — вздохнула Ясногорская. — Рассказывали.

Под передовой подразумевалась пехота. Она лежала за холмом вдоль реки. До берега отсюда было несколько сот метров, но этот путь считался смертельно далеким. Для того, чтобы попасть в боевые порядки, надо было проскочить по голому склону, обращенному к противнику. Немецкие снайперы не спускали с него глаз, охотясь за каждым, кто появлялся в этой зоне. Ненавистный горб уже стоил батальону нескольких бойцов. Во избежание излишних потерь Чумаченко приказал в дальнейшем «открывать навигацию» только с наступлением темноты. Боеприпасы, продукты, газеты, письма — всё это отныне перебрасывалось в боевые порядки только ночью. Раненых отсюда выносили тоже только ночью. И несмотря на это, были потери почти после каждого рейса. Накануне, перед рассветом, старшины притащили к КП красивого капитана, работника дивизионной газеты. Черныш видел его,



окровавленного, холодного. Разве можно знать, не приташат ли завтра так же и Шуру на КП?

— Если б можно было пойти вместо тебя, Шура... Если бы я только имел возможность...

— О, Женя, Женя... Если бы нам было дано заменять собой других... Я тоже пошла бы...

Вместо кого? Черныш не спросил, догадываясь, кого она имела в виду. Конечно, Брянского!

— Почему ты не сменила погоны на полевые? — заметил он погодя. — Будут блестеть при ракетах.

— В самом деле, — покорно согласилась Шура. Она была сейчас необычно покорная и мягкая. — Я совсем о них забыла. — Кажется, у меня здесь в сумке есть полевые.

Порывшись на ходу в своей набитой пакетами сумке, она вынула полевые погоны и остановилась.

— Пристегни, пожалуйста.

Евгений, сдерживая дыхание, коснулся ее плеча. Впервые в жизни он касался этого плеча, теплого и нежного. Медленно снял узкие белые погоны — один, затем другой — и приладил на их место полевые.

— Готово?

— Готово.

— Спасибо...

На какое-то мгновение руки Черныша, помимо его воли, задержались на ее плече. Шура будто не почувствовала этого.

— Женя, — едва слышно прошептала она, доверчиво глядя на Евгения, как тогда, под Будапештом, когда, уже раненная, лежала на повозке посреди окованной гололедицей степи. — Скажи мне, Женя, скажи... — На глазах у нее вдруг заблестели крупные слезы: — Ведь это плохо, что мы вот так... что между нами вот такое...

Они одновременно подумали об Юрии. Брянский как бы сошел сюда с далеких Трансильванских гор, встал между ними и смотрел на них обоих. Они молчали, обращаясь мысленно к нему, спрашивая у него совета, проверяя свою совесть, как проверяют дорогу по неподвижной звезде.

— Я все время думал об этом, — нахмурился Черныш. — И если ты хочешь знать мое мнение...

— Не надо, Женя, не надо, — энергично перебила его Ясногорская. — Не будем сейчас об этом... Идем!

Они пошли по тропинке, не касаясь друг друга.

— Ты боишься этого разговора, Шура?

— Не боюсь, я ничего не боюсь, но... позже, после!

— Когда — после? Когда? Назови мне этот день...

— Женя, зачем?

— Назови, чтоб я ждал, чтоб я дожил, даже если... погибну.

— Не говори так, не нужно... Ты знаешь, какой день я имею в виду. Тот, когда все уже кончится, когда наступит, наконец, новая жизнь.

— Это уже так близко! — обрадовался Черныш.

— Тогда, мне кажется, все станет другим, — говорила Шура, постепенно вдохновляясь собственными мечтами. — Тогда все можно будет решать по-новому... И, может быть, то, что сейчас кажется неосуществимым, тогда станет естественным и возможным. Ведь мы станем жить совсем в другой атмосфере, по другую сторону смерти, крови, болей и кошмаров... Как ты думаешь, друг мой? Неужели же люди не почувствуют себя... заново рожденными?

— Я тебя понимаю, Шура. Мне и самому тот день представляется не только большой исторической датой. Это, конечно, будет нечто значительно большее. Ибо там будут возникать все начала, там будет только будущее, там все человечество будет ему присягать...

Черныш не договорил. Знакомый вибрирующий посвист снаряда рассек вечерний неподвижный воздух. Сверканьем и треском взвихрилась лесная чаща. Шура инстинктивно схватила Черныша за руку, и они ускорили шаг, оглядываясь на каждый взрыв, раздававшийся сзади. Поверху за ними гнались горячие осколки, прошивая потемневшую зелень, гулко постукивая в ветвях.

Наконец, они вырвались из-под обстрела и вышли на опушку. Вид огневой и близких окопов сразу успокоил их.

Высокое небо колосилось последними заревами. Шовкун уже взбирался с санитарями по крутому косогору. Внизу на огневых спокойными группами стояли минометчики, слушая чью-то грустную песню. Среди этих австрийских оврагов она воспринималась особенно остро.

Ой зійди, зійди, ясен місяцю,  
Як млинове коло...  
Ой вийди, вийди, серце-дівчино,  
Та промов до мене слово...

То невидимый Маковей, свернувшись где-то в сером окопе, дал волю своему сердцу.

## 22

Всю ночь прибывали войска. Дорога от ближайшего тылового села до переднего края была забита танками, тягачами, автомашинами. Постепенно всё это рассасывалось по придорожным рощам и оврагам. Командиры батарей отчаянно спорили за каждый клочок земли: не хватало места для огневых.

В полночь у овражка, обжитого минометчиками, загудели тяжелые танки. Хома, который расположился на ночь со своим транспортом вблизи огневых, ястребом накинулся на танкистов. Наверное, из-за собственного участка он не ругался бы с таким азартом, как сейчас из-за этой ночной опушки, где была его стоянка. Метался с кнутом перед машинами, тщетно пытаясь перекричать ворчанье моторов.

— Цоб держи, цоб! — кричал он изо всех сил невидимым механикам, — дышло сломалось!

Водители не обращали внимания на Хому, лошади шарахались в темноте, дышла трещали.

— А-а, чтоб тебя!..

Танки выстроились вдоль опушки там, где было задумано. Хаецкий, оттесненный со всем своим хозяйством в колючую чащу, в свою очередь вытеснил в глубь леса несколько артиллерийских передков и чью-то кухню. Устроившись на новом месте, Хома быстро успокоился и примирился с судьбой.

Через некоторое время он уже снова прохаживался возле заглушенных машин, спокойно постукивал по ним кнутовищем и допытывался у танкистов, какова толщина брони. Потом, разлегшись с измазанными водителями возле танков и забыв про все обиды и несправедливости, растолковывал новоприбывшим, с кем они ныне вступили в контакт.

Слушая Хому, можно было подумать, что гвардейский стрелковый жолк, с которым сейчас танкистам выпало счастье действовать совместно, не имеет себе равного. Выходило так, что он состоит сплошь из ис-

ключительных людей, из отборных героев-богатырей. Командует этим полком решительный и грозный таджик-академик Самиев. Полковую разведку каждую ночь водит на невероятные задания знаменитый «волк» Казаков, полный кавалер ордена Славы... Единственный на всю дивизию полный кавалер! У полкового знамени стоит герой Сталинграда и Будапешта старшина Багиров. Про этого, наверное, все слышали. Не слышали? Стыд и срам! Да это же он из-под земли штурмовал отель «Европу»!.. И про Хаецкого тоже не слышали? И про Воронцова? О, люди! Герой Советского Союза майор Воронцов — замполит в этом богатырском полку. На нем, говоря правду, все держится. Сила, голова! Ему уже за сорок, у него сын в армии, а поглядите на этого мужика: вот это, скажете, сила, этот поведет и выведет!.. Если ты плохой вояка, так он тебя в бараний рог скрутит, а если ты честно выполняешь свою миссию, от него тебе и почет и хвала.

— Зарубите себе это на лбу, не задирайте нос, бо здесь такой народ!..

Казалось, всё в этом необычайном полку должно было ошеломить самоуверенных танкистов. Было от чего притти в восторг! Ведь в эту ночь неутомимые полковые разведчики шныряют уже на пятой иностранной границе. Через пять кордонов, сквозь тысячу боев пройти — это вам шутка, что ли?

А между тем механики-водители, по очереди угощаясь из конистры и угощая Хому, слушали его без особого удивления. Они как будто и не представляли себе этот полк иным. Днепр? Альпы? Штурм Будапешта и знаменитая битва на Гроне? Хорошо, но что же здесь особенного? Полк, как полк.

Когда же Хома слишком уж разошелся, всхваляя свои минометы, кто-то осадил его спокойной шуткой:

— Довольно тебе, друже, про свои чихалки... Пей.

— Чихалки?! А где вы были, когда эти чихалки в Трансильвании по-над тучами грохотали? Когда мы с вьюками к чорту на рога протрапались? Не эти ли чихалки тогда вам дорогу протапывали? Безводье и жара, аж слюна во рту скипалась... Коней побросали, шинели кинули, а минометов не бросили... Шли и шли, аж горы дрожали от наших залпов! Где вы тогда были, я вас спрашиваю?

Танкисты с великодушным спокойствием рассказывали Хоме, где они были. При этом неожиданно выяснилось, что за их бригадой лежит путь не менее славный, чем за полком Хома. Командует ею гвардии майор Молоков. Хорошо знают Балканы, сколько фашистов перемололи эти зубастые уральские гусеницы! Потом битва на Балатоне. Потом рейды в промышленном районе Вены. А сейчас бригада прибыла сюда для последнего штурма. Круглые сутки мчались на полном газу, чтобы успеть... Завтра танки первыми будут форсировать эту австрийско-чешскую реку. Не дожидаясь мостов, наглухо задраив люки, боевые машины пойдут по дну под водой.

«Так вот какая это бригада. Тоже, выходит, богатырская!» — думал Хома, постепенно проникаясь уважением к своим прокопченным собеседникам. Он даже почувствовал радость оттого, что другие части армии были такими же замечательными, как и его родной полк.

Танкисты лежали звездой, голова к голове, между их темными лицами нашлось место и для гвардейских усов Хома. Подолянин теперь и не пытался оглушить собеседников подвигами своего полка. Он был захвачен другим. «Братцы, неужели же это и в самом деле последний штурм? Неужели же через несколько месяцев он, живой, неуби-

тый Хома, будет шагать домой полями своего родного Подолья? Гейгей, если б так случилось! Он наклонился бы и поцеловал пыль родного шляха!..»

Возвращаясь к своим, Хома столкнулся в темноте с Маковеем. Хлопец, присев по-восточному, налаживал кабель.

— Слышал, Маковей? Танкисты поговаривают, что завтра выйдем на последний штурм. На последний, понимаешь? А там — мир.

— И верится мне, и не верится, Хома, — признался телефонист, зачищая зубами конец провода. — Не могу даже представить себя не на земле, а на подушках, не в походе, а на одном месте. Мне кажется, что я уже весь век буду солдатом.

— Это добре, — похвалил Хаецкий. — Гвардейская жилка тебе всюду пригодится. Скажи, к примеру, ты мог бы телефонизировать нам весь район? От колхоза к колхозу, от бригады к бригаде?

— А почему же нет? Конечно, мог бы. Только где ты столько аппаратов и кабеля наберешь?

— Ого, об этом, Маковей, не беспокойся. Разве мало ваших аппаратов освободится после войны? А кабеля? Все обратится на мир!

— Но я, наверное, останусь в армии.

— Конечно, тебе еще служить, как медному котелку. Надо же будет кому-то и на границах стоять.

— Если бы только женатому, — засмеялся Маковей. — После войны, наверно, все поженятся.

Несмотря на поздний час, войска продолжали прибывать. Шли люди, двигалась техника. Вдоль леса до самого села гудели во тьме моторы. Близость чего-то большого, необычайного возбуждала бойцов. Мало кто спал в эту ночь.

Высланные политотделом мощные громкоговорящие станции остановились среди войск, загадочные и молчаливые. Прямо с поля надвигались машины с громоздкими понтонами и останавливались около минометчиков. Понтонеры громко переругивались в темноте, передавая и принимая команды. Хома, оставив Маковея, не замедлил подойти к ним со своими советами.

А Маковей, наладив линию, возвращался в свой окоп, веселый и довольный. Мурлыкал какую-то песенку, улыбался своим мечтам. Из головы не выходила Ясногорская. Шутя приласкав парня днем, она и не догадывалась, какой след оставила в его сердце, какую молодую неутраченную бурю вызвала! Маковей, конечно, понимал, что то была только девичья шутка, но надежда на что-то серьезное начинала теплиться на дне его встревоженной души. Тлела, согревала, разгоралась.

«Ведь может случиться, — думал Маковей, уже сидя у себя в окопе, — что она присмотрится ко мне внимательнее, и я ей понравлюсь... Не так, как до сих пор нравился, а как-то совсем иначе... Всякие чудеса бывают на свете!»

Мысли его все время тянулись к боевым порядкам полка. Где-то там, освещаемая ракетами, готовая к штурму, лежит под огнем пехота. Где-то там Ясногорская, ползая в прибрежных росистых шелюгах, перевязывает пехотинцев. Маковей хотел бы сейчас быть на месте одного из них, в самом остром полка, направленного на запад... Пусть бы Ясногорская, склонившись над ним, перевязывала ему горячую рану... «Потерпи, Маковей, потерпи, — скажет она ему. — Сейчас я прикажу отправить тебя в медсанбат»... Но он на это только гордо усмехнется. Как? Перед общей атакой, перед штурмом пойти кантоваться по тылам? «Спасибо, но я никуда не пойду отсюда в такой решающий момент.

Я остаюсь тут». Ясногорская в восторге от его мужественного поступка, она кладет ему руку на плечо, заглядывает, пораженная, в его глаза: «Так вот ты какой, Маковейчик!.. Ты, оказывается, герой!»

Вот тогда он, наконец, откроется ей. Скажет все, что думает. Даст волю своей нежности, своей любви. И Ясногорская приласкает его, как днем. «Маковей, любимый, я, оказывается, совсем мало знала тебя, считала мальчишкой. Теперь я о тебе другого мнения. Теперь я тебя люблю». И раны его заживут сразу, и он встанет на ноги, веселый, здоровый, счастливый.

Скажет: «Что хочешь, я всё для тебя сделаю».

Она скажет: «Возьми меня на руки и неси по белому свету».

И он возьмет ее, легкую, как ласточку, и понесет. Она будет говорить: сделай еще то, сделай это — и он все исполнит, потому что все сможет. Горы будет способен сдвинуть с места.

— Ты спишь, Маковей? Или просто дремлешь?

Вспугнув грезы Маковея, гвардии лейтенант Черныш прыгает на дно окопа. Сам черный, а глаза под сведенными бровями весело поблескивают.

— Спишь, говорю?

— Нет, это я так...

— Царица полей подает голос?

— Подает.

— Как там у них?

— Пополнение принимают, всю ночь возятся. Замполит с хозяином боевые порядки проверяют.

— Ну а мы пока что давай закурим по одной...

Усевшись на дне тесного окопа, перепутавшись ногами, они старательно крутят цыгарки. Маковей ждет от лейтенанта еще одного вопроса, самого главного. И после напряженной паузы Черныш задает его, этот вопрос, попадаясь на крючок к Маковею.

— Меня оттуда никто не вызывал?

Маковей набирает в грудь воздуха и торжественно отвечает:

— Никто!

Черныш жадно тянет цыгарку.

Теперь Маковею все ясно. Да, собственно говоря, разве еще днем не видно было, к чему все клонится? Его обостренный взгляд отмечал тончайшие нюансы в поведении Ясногорской и Черныша. Когда она стояла на огневой и радостно болтала, ловя в протянутые ладони мелкий солнечный дождик, Маковей заметил, как тревожно перебегал ее взгляд по людям, ища кого-то. Потом, когда подошел Черныш, Маковей понял, кого она искала. У всех на глазах она стала будто еще лучше, еще красивей, чем была. А когда они говорили между собой о первом громе и о лесе, вспыхнувшем после дождя зеленым сиянием, Маковею казалось, что они разговаривают не о том громе, который только что прокатился, и не о лесе, вымытом дождем и зазеленевшем вблизи, а о другом громе, более прекрасном, редчайшем — его слышали только они двое. Это была уже тайна для всех! Маковею хотелось увидеть все, что видели они, постичь очарование их тайны, к которой они, весело сговорившись, никого не пускали.

С ревнивым вниманием следил Маковей за Чернышом, сидевшим в задумчивости против него. Парень хотел понять, за что Шура отметила и избрала именно этого человека, худощавого лейтенанта Черныша, а не кого-нибудь другого. Почему она после Брянского, стольких обойдя, стольким дав отпор, остановилась именно на нем? За черные брови, за

ясные очи? Но ведь и Сперанский был, как нарисованный. За отвагу? Но ведь и Сперанский был храбрый! Нет, здесь что-то совсем другое... Наверное, в нем есть как раз то, чего она искала в жизни. Что-то от Брянского!

Избранник... С нежной завистью Маковой разглядывал Черныша. Тайно ревновал его к Ясногорской, но, даже ревнуя, не испытывал к лейтенанту неприязни. То, что Ясногорская полюбила Черныша, еще больше возвышало любимого командира в глазах Маковой. К присущим лейтенанту достоинствам прибавилось еще одно — особенное, исключительное. Его отблеск остался на Черныше после того золотого дождика и синего грома. Сияющие взгляды Шуры до сих пор еще сверкали на нем, очаровывая Макову. «Странно, что я раньше не замечал, какой он и в самом деле особенный, — волновался телефонист, думая о своем командире. — Ведь он самый лучший офицер в нашем батальоне, сейчас мне это ясно. Правда, стрелковыми ротами командуют тоже храбрые, опытные, прекрасные люди... Но наш Чернышок все-таки самый лучший. Если уж Ясногорская отдала ему предпочтение, значит, он особенный. Интересно, что же в нем особенное? — терялся Маковой в догадках. — Как приобрести это особенное? Как его найти? Разве я тоже не могу иметь то редкое, что мило ей?».

Он смотрел на крепкие плечи лейтенанта и украдкой поводил своими. Замечал при свете цыгарки острую борозду на смуглом лбу лейтенанта и хмурился, чтобы у него тоже появилась такая же. Если бы можно было перенять все чувства и мысли лейтенанта, то он, Маковой, конечно, сделал бы это. «Я тоже добьюсь всего, что ей мило, — убеждал себя взволнованный парень. — Буду справедливым ко всем, буду честным, храбрым, образованным! Обо мне хозяин тоже будет говорить, что я неутомимо дерзаю, совершенствуюсь, ищу новых методов и нахожу их... Тогда подойдем к ней вместе: мы оба вот какие, мы сравнялись — выбирай!»

Черныш, затоптав цыгарку, встал и прислушался. Маковой спрятал свой погасший окурок за манжет пилотки. Шум на передовой постепенно стихал. Лишь изредка кое-где постукивали контрольные пулеметы. На огневой братья Блаженко степенно рассказывали кому-то о февральских боях за Гроном.

— Может быть, меня будут спрашивать, — предупредил Черныш Макову, — я буду в окопе у Сагайды. Только гляди не засни. Лучше уж потихоньку пой.

— Хорошо, я буду петь.. Но все равно всего не перепою до утра.

— Завтра допоешь. Когда снимемся... вперед.

Легко подтянувшись на руках, Черныш выскочил из окопа. Навстречу ему с пригорка спускалось несколько бойцов. Один из них сдержанно стонал и все время просил воды.

— Откуда? — остановил их Черныш.

— С передовой. Раненые.

Все оказались незнакомыми, из свежего пополнения, вчера только прибывшего в полк.

— Быстро вы...

— Окопаться не дал... Как чесанул по всему берегу... Сейчас уже лучше, все окопались...

— Кто вас перевязывал?

— Там одна девушка, спасибо ей... Намучилась с нами...

— А она... а ей... ничего?

— Ничего... жива-здорова... Нас вот на весь батальон только четверо.

— Воды... ох, воды, — тянул скрючившийся высокий юноша, которого товарищи поддерживали под руки. Черныш крикнул своим вниз: у кого есть вода? На его зов первыми явились братья Блаженко, на ходу отстегивая алюминиевые фляги. Раненый оживился, потянулся всем телом к ним навстречу. Денис зубами открутил пробку.

— Куда ранило? — спохватился Черныш.

За раненого ответили другие:

— В живот.

Братья Блаженко выжидающе смотрели на лейтенанта.

— Ведите!—с неожиданной строгостью скомандовал Черныш легко раненым, державшим юношу под руки. — Санитарные подводы внизу налево!

— Мы знаем...

— Роман, проводите их!

— Братцы... Один глоток... Сгораю... Каплю, братцы, — жалобно умолял пехотинец, на ходу оборачиваясь к братьям Блаженко. Но они уже накрепко завинтили свои фляги.

## 23

Половина шестого.

Солнце только что взошло, стремительно поднимаясь из-за леса. Черныш с офицерами-минометчиками стоял на холме перед огневой и, поглядывая то и дело вперед, делал в блокноте какие-то заметки. Сейчас он напомнил прилежного студента, записывающего в лаборатории сложные и важные процессы.

Невдалеке торчал Хома, сквозь трофейный бинокль разглядывая вражеские позиции. Пожалуй, впервые за всю войну подолынин стоял вот так, не маскируясь, и никто уже не кричал на него за это: до начала артподготовки оставались считанные минуты. Правду говоря, самому Хоме было как-то непривычно стоять открыто, не маскируясь. Как будто он вышел перед людьми совсем голый, в чем мать родила. У него деревянели ноги, настойчиво хотелось присесть. Но офицеры стояли, спокойно выпрямившись, и Хома, черт его дери, тоже мог так постоять. Противник не стрелял, наверное сэкономил снаряды.

В бинокль Хома отчетливо видел вражеский передний край, проволочные заграждения, которые в несколько рядов тянулись вдоль берега, словно за ним сразу начинался огромный концентрационный лагерь. Вдоль высот — причудливые зигзаги траншей, вкопанные в землю самоходки, едва заметные доты и блиндажи, обложенные дерном. Возле одной землянки сушилось солдатское рванье, небрежно брошенное на траву.

«Мы вот вам высушим!», — подумал Хома, опуская бинокль на грудь.

Довольным взглядом он окинул позиции своих войск.

Теперь война уже не казалась ему, как под румынскими дотами, непонятным страшилищем, в котором трудно разобраться. Боевые порядки войск со всеми приводными ремнями к ним, со всеми шестернями и винтиками сейчас воспринимались Хомой, как одно неразрывное целое, устроенное чертовски мудро, и он уже сам, как механик, мог охватить — и на глаз, и на слух — всю эту хорошо налаженную, тяжелую и грозную машинерию.

Притаившись в складках местности, густо зеленеют окрашенными стволами батареи. На опушках застыли тяжелые танки, в овраге выстроились понтоны. По другую сторону шоссе, среди австрийских бункеров, где расположился штаб полка, стоят наготове лошади связных и ждет громкоговорительная станция, как микрофон у гигантской трибуны. Она готова к тому, чтобы в любую минуту передать войскам историческое сообщение о капитуляции фашизма. Хома чувствует себя так, словно и сам он стоит сейчас на высокой трибуне. Ему кажется, что и это предполье, запруженное вооруженными войсками, залитое утренним солнцем, сейчас поднято над землей, как гигантская трибуна с лесами и оврагами, с огневыми позициями и стрелковыми ячейками. Поднято и хорошо видно всем державам!

Настороженная грозная тишина царит вокруг. Залегла на извилистых берегах пехота, спокойная, уверенная в себе, готовая ко всему. В балках и оврагах стоят артиллеристы и минометчики. Они прошли с боями полмира и сейчас стали на последнем рубеже. Тишина. Слышно даже, как звенят жаворонки, повиснув высокими колокольцами над нейтральной зоной.

Слушай, Хома! Смотри, Хома! Не часто такое случается в жизни! Каждое слово команды, каждая отсчитанная часами секунда навсегда врезается в твою память. Ты уже никогда не сможешь забыть этих всадников, галопом скачущих от штаба во все концы, группу танкистов на опушке, окруживших своего комбата, который указывает им боевые маршруты. Все запоминай, Хома, потому что это уже история! Не та история, которая дремлет где-то на страницах книг, а та, что проходит через твои собственные руки! Ты ведь слышишь, как она близко, как она дышит рядом, ты можешь заглянуть ей прямо в глаза. Когда-то ты только от людей слышал о знаменитом колесе истории, а сейчас можешь собственноручно пощупать его, как щупал накануне каток уральского танка!

Величие нарастающих событий и сознание того, что эти невероятные события в какой-то мере зависят непосредственно от него, переполняли Хому неизведанной доселе гордостью. Удивительное ощущение — он, простой подолянин, взошел на трибуну, такую высокую, на какую до него никто еще не поднимался, — это ощущение не покидало его все утро. Если б он мог — воскресил бы всю родню, до самого далекого колена! Пусть бы его деды и бабки глянули на Хомку, который родился в темной хате и вырос под печью! Разве смогли бы они узнать в нем оборванного подпаса, который ковылял за чужим скотом на чужих лугах. Э, да разве они способны это понять? Сейчас он стоит у всех на виду, проходит в параде перед всеми народами. В разных землях знают его и стар и мал. Издали узнают по гвардейской походке, по знаменитой пилотке с бессмертной звездой.

Тишина в войсках.

Жаворонки над войсками.

И вот, наконец, 6.00.

С окраины села, из-за спины Хаецкого, упиваясь собственной музыкой, заиграли длинную очередь гвардейские минометы. Рванулись наискось в небо огненные реактивные снаряды Бодрый, сильный гром прокатился от края до края. Не успел он исчезнуть за ясным небосклоном, как заговорило все широченное предполье, вспыхнув до самых дальних флангов огненными языками выстрелов. Высота вибрировала, звенела невидимыми струнами. Тонны раскаленного металла, вырвавшись из сотен жерл, стремительно прошумели на запад.



Минометы, вверенные Чернышу, присоединились к общему грохоту. И он сам, как наэлектризованный, включился в эту единую силу, которая бушевала вокруг. С этой минуты он не думал ни о себе, ни о Ясногорской. Искал глазами плывущую в дыму цель, не замечая кроме нее ничего и никого. И бойцы, и офицеры, стоявшие внизу на своих местах, тоже не замечая его, на лету подхватывали брошенные сверху, с холма, команды, как бы существуя в эти минуты только для этих команд.

— Огонь!

— Огонь!

— Огонь!

Хома, обливаясь потом, таскал с подносчиками тяжелые ящики к раскаленным минометам. Походя громко стыдил Ягодку, который до сих пор прикрывал ухо, опуская мину в ствол. Ягодка сегодня впервые стоял заряжающим.

«Катюши» непрерывно играли и слева и справа, десятки батарей били одновременно. Грохотал бог войны, заглушая все вокруг. Хлопающие удары минометов, гулкие выстрелы сорокапятков терялись в тяжелых вздохах крепостных орудий-гигантов. Разнокалиберные голоса батарей вскоре слились в сплошной железный гул.

Через несколько минут над полками прошла на запад авиация. Казалось, что самолеты идут беззвучно, немыми силуэтами, выключив моторы. Гул эскадрилий заглушался гулом наземной артиллерии. Лишь громовые взрывы фугасок по ту сторону реки свидетельствовали о том, что и на самолетах в унисон с сердцами наземных войск бьются напряженные сердца летчиков.

Пехота, до сих пор скрытно лежавшая на берегу, поднялась во весь рост, окутанная тучами дыма. По остаткам взорванного моста, по шатким фермам, торчавшим из воды, — на ту сторону, на ту сторону! Разведчики Казакова кинулись вплавь.

Огненная буря начала откатываться, переносясь в немецкие тылы. Черныша вызвали на провод. Говорил начальник артиллерии. Оказывается, он все время из боевых порядков следил за результатами скоростной стрельбы по методу Черныша, сегодня впервые примененной массово. Сделав несколько замечаний специального характера, начерт поздравил Черныша с успехом его боевого эксперимента.

Тем временем на опушках взревели танки и, разметав зелень маскировки, ринулись со всех сторон к реке. Покачиваясь, поплыли через поле понтоны. Артиллерия постепенно стихала, огни взрывов все реже возникали в сплошном море дыма, затянувшего вражеские позиции. Стала слышна истерическая стрельба оживающих вражеских пулеметов и автоматических пушек, бессистемно разбросанных на высотах.

— Весело сыграно! — кричал Чернышу раскрасневшийся Сагайда.— Роскошно!

В самом деле, из всех артподготовок сегодняшняя, организованная с таким блеском, была, пожалуй, самой радостной и поистине праздничной.

«Прекрасный, может быть, заключительный аккорд наших великих боев», — подумал Черныш и, откинув упавший на лоб потный чуб, подал команду выючиться.

Танки, в разных местах достигнув берега, один за другим входили в воду все глубже и глубже. Сотни глаз страстно следили за этим героическим переходом танков по дну чужой реки.

— Если останутся хоть на секунду, моторы зальет водой,—с тревогой в голосе объяснял товарищам Хома.

Но ни один не остановился! Поднимая вокруг себя сиянье вздыбленных волн, машины уже уверенно выбирались на противоположный берег.

## 24

Войска уходили вперед. Вскоре все опустело: окопы, леса, многочисленные стоянки батарей...

Хаецкий, сидя в седле, давал последние указания бессарабцу Ионе, которого оставлял на огневой в роли своеобразного «ликвидкома».

— Смотри мне, не забудь выправить у них бумажку, — поучал Хома ездового. — А как все закончишь, тогда догоняй нас по указкам.

Речь шла о порожней таре, которая горой лежала на огневой; ее надо было сдать в боепитание, получив соответствующую «бумажку», то есть расписку. В такой бурный, почти праздничный день, когда наступающие войска уже неудержимо шли вперед, Ионе совсем не хотелось расставаться с товарищами, связываться с этими пустыми ящиками. Подумаешь, сокровища! Кто о них спросит? Кому они нужны в такой сумагохе? Не такое война списывала, спешит и это...

Иона не скрывал от старшины своего презрения к этой таре.

— Махнуть бы на нее рукой — только и делов!

Однако Хома неколебимо стоял на своем. Как это — махнуть рукой? Что значит — война спешит? Против такой бесхозяйственности протестовало все его существо. Конечно, в такую пору людям не до пустых ящиков. Может быть, и в самом деле никто не обратит внимания на то, что он оставил свою тару где-то в поле без присмотра. А потом и вовсе забудется, перемелется... Где пьют, мол, там и льют!

Но Хома не хотел проливать ни капли.

— Плохой тот старшина, Иона, который хоть гвоздь разбазарит в этих чужих землях. Дома нам все пригодится. Я брошу, и пятый, и десятый — вот тебе и эшелон! Тысяча вагонов наберется! Прикинь, сколько сюда лесу пошло да сколько столяров работало, чтобы все это нам приготовить. Прикинь, наконец, сколько «огурцов» завод опять упакует в эту тару!

— Довольно уже паковать, — благодушно возразил бессарабец, — война вот-вот кончается.

— О, человек! — воскликнул Хома, укоризненно качая головой. — А Япония? Ты про нее забыл?

Иона молча принялся швырять на повозку ящики, срывая на них свою злость. Автомат болтался у него на шее.

— Скинь автомат, на время работы разрешаю, — смиловился подолянин, поудобнее усаживаясь в седле. Иона не принял милости.

— Пусть тот скидает, кому он тяжелый.

— А тебе нет?

— Мне родное оружие никогда не тяжелое.

— Ов-ва! Ну, вижу, из тебя человек выйдет!

Свистнув нагайкой, Хома помчался догонять своих. Разыскал их уже за рекой, среди множества разных подразделений, которые, перебравшись по только что настиланному мосту, на некоторое время смешались и слились в одну огромную, возбужденную, шумливую армаду. Развернувшись по всему подгорью, войска сплошными массами двигались на высоты. Оставленный противником укрепленный район скалился разорванным бетоном, зиял мертвыми дырами амбразур. Стальные кол-

паки дотов рассыпались вконец, потрескавшись под ударами, как хрупкие колокола. Разрушенные траншеи, распотрошенные блиндажи, свежие воронки — все здесь еще дышало горячей яростью недавней канонады.

Хоме припомнились первые бои под румынскими дотами и то пыльное голубое утро, когда они после большой грозы взбирались за Брянским на отвоеванную высоту. Тогда мир тоже ширился, на глазах становился просторней. И такая же просторная тишина господствовала вокруг, и такие же сложные вражеские укрепления лежали у ног. Но в то время доты оставались почти целыми, приходилось их выкорчевывать из земли взрывчаткой. А теперь они с первого удара трескались, разваливались... «Да, не шутка это, — думал Хаецкий, оглядывая огромные развалины. — То, чего в Пашканях еще ни один снаряд не брал, сейчас потрескалось, как тот кавун. Сталь не та или бетон другой? Нет, не в этом дело... Крепнет гвардейская техника, а гвардейцы — и того больше! Вот причина всему... Сейчас глянешь: пушку от земли не видно, а она «тигра» бьет...»

Хома с любовью смотрел на подразделения, поднимавшиеся по косогору. Пушки, транспорты, кухни путались между пехотой. Как всегда бывает при наступлении, количество всадников быстро возрастало. Комбаты, адъютанты, старшины сели на лошадей. Даже гвардии майор Воронцов, которого привыкли всегда видеть пешим, сейчас был на коне. «Значит, дорога предстоит далекая», — подумал Хаецкий, взглянув на майора. Это был верный сигнал! Весь полк знал, что замполит садится на коня только в далеких горячих маршах.

Черныш вел роту все выше и выше по изрытому воронками склону среди густого переплетения разбитых траншей. Он знал, что скоро встретит Ясногорскую и что на марше они будут вместе — может быть, день, может быть, два, может быть, и три — ему хотелось, чтобы этот марш никогда не кончился... Ноги ступают легко, тело налило силой, веселый шум стоит вокруг. Глаза бойцов еще горят вдохновением боя, чувство окрыленности охватывает войска. Все выше и выше...

На бетонном укреплении, из которого в разные стороны торчали рваные железные прутья, стоит группа девушек полковой санроты. Среди них Ясногорская.

— Вот твои «самоварники» идут! — весело толкнула Шуру одна из девушек, которую в свое время Хаецкий прозвал вертихвосткой. На сапожках у нее и сейчас поблескивали шпоры, большие и нелепые. — Смотри, как Чернышок впился в тебя глазами. Смотри, он краснеет. О, умереть можно!

Черныш, приблизившись, подал Ясногорской руку, и она легко спрыгнула на землю.

— А я вас тут уже с полчаса поджидаю, — откровенно говорила Шура, шагая рядом с Евгением. — Сколько здесь сегодня народу проходит! Как будто война сейчас только начинается!

— Ты знаешь, меня тоже это поразило. Подумать — столько жертв, столько потерь, а приближаемся к финишу более сильными, чем стартовали. По крайней мере я не помню, чтобы в нашем «хозяйстве» было когда-нибудь больше активных штыков, чем сейчас... Как это получается? Мудро, очень мудро...

Вражеские трупы, скрюченные, изорванные, валялись по всему склону. Ясногорская брезгливо обходила их.

— Обрати внимание, Шура, — спокойно говорил Черныш, — почти все лежат головой на запад, а ногами на восток.

— Удирали, — определил Сагайда. — Не удрали!

— Интересно, кто они? — задумалась Шура. — Может быть, среди них как раз те, что начинали войну, те, что под гром своих барабанов выходили в сорок первом через Бранденбургские ворота на восток? Как они тогда шли! С жадными взглядами, с засученными по локоть рукавами. Как мясники. Теперь они утихомирились, теперь им уже ничего не надо. Отныне человечество, наверное, никогда не будет знать войн, — закончила Ясногорская радостно.

— Вот этот тип безусловно считал себя созданным для господства над народами, — говорил Сагайда, проходя мимо убитого немца в изорванном офицерском мундире. — Я думаю, сидя где-нибудь в мягком кресле с сигарой в зубах, он представлял себя господином мира. Долго ли? Взять и бросить в мясорубку миллион или десять миллионов простого народа... Пусть гниют в окопах, пусть валяются в госпиталях, а ему что? Ему тепло, ему спокойно, ему подай на тарелке весь мир! Где гарантии, что со временем не вынырнет откуда-нибудь новое чудовище, какой-нибудь новый Гитлер?

— Не выйдет, — категорически возразил Черныш. — Народы поуменьли. Теперь они не позволят обманывать себя. Да и кто отважится после такой науки претендовать на мировое господство? Какой маньяк пойдет на это? Мир, по-моему, наступит теперь на долгие столетия, а то и на тысячелетия.

— Ого, как ты размахнулся, — удивленно заметил Сагайда.

— Ты не согласен?

— Я лично не против... Но, друже, всем свой ум не вставишь.

— Можно подумать, — засмеялась Шура, — что вы собираетесь жить по меньшей мере тысячелетие!

— А ты меньше? — горячо взглянул на нее Черныш.

— Нет, нет... Наоборот, еще больше... Мне кажется, что я никогда не умру...

Разговаривая, они шли все время в гору. Солнце уже пригревало их спины, мягко ложилось на плечи, и они, взбираясь все выше, поднимали и его на своих плечах, как приятную легкую ношу.

Вошли на гребень высоты, и мир выступил из своих прежних берегов, разлился широким ясным океаном. Черныш вспомнил другие высоты — первую, румынскую, где остался Гай, и другую, трансильванскую, высокую, как грандиозный обелиск... Как бы он хотел, чтобы все, кого он оставил на пути, были здесь! Не нужно ему ни чинов, ни орденов, ни славы, ни любви — лишь бы только встали те, далекие и прекрасные... Разве не им принадлежит все, что сейчас сбывается? Разве не для них легли вдали сероватыми коврами дорожные асфальты? Пусть бы шли они рядом! Пусть были бы здесь... Звал всех, но никто не приходил. Сколько прошло с тех пор... О, как это далеко, как давно это было...

На высоте посреди окопов остановился «виллис» командира дивизии. Стоя в машине, генерал что-то энергично говорил командирам полков, которые слушали его, вытянувшись в седлах. Самиев был среди них самый маленький, зато лошадь у него была выше, чем у других.

Генерал, видимо, был чем-то недоволен. Его как будто не касалась та общая радость, то повышенное, почти хмельное настроение, которое господствовало сейчас в войсках. Он, комдив, будто и не замечал того, что противник только что сбит со своих позиций, что танки, обогнав пехоту, уже рейдуют за десятки километров впереди, что, наконец, победа близка. В такое время и генералу полагалось бы повеселиться

вместе со всеми, пошутить так, как он умел: невзирая на ранг. Но сейчас, видимо, было еще не время... Генерал стоял в машине возбужденный, побагровевший и почти с раздражением отдавал приказы командирам полков. Кое-кто, настроившись перед тем на довольно благодушный лад, при взгляде на генерала понимал, что впереди предстоят и бои, и трудности, и опасности.

Противник, удирая, бросил немало своей техники и боеприпасов. По всей высоте тсрчал из земли перемятый, искалеченный металл, деформированное тяжелое оружие.

— Будет трофейщикам работы, — переговаривались бойцы, — собирают.

— Смотрите, зенитка! — кричал Маковей товарищам, надеясь таким нехитрым способом привлечь внимание Ясногорской. Шура, шагая между Чернышом и Сагайдой, оглянулась на миг, увидела Маковея и приветливо кивнула ему. Но сразу же опять оживленно заговорила с офицерами.

— Цела-целехонька! — не унимался Маковей, похлопывая ладонью теплую, нагретую солнцем пушку.—Еще и заряжена!—Однако Ясногорская на этот раз даже не слыхала его.

Пушка стояла в круглой яме-ячейке, уставив свой длинный хобот в голубую высоту весеннего неба. Телефонист еще что-то кричал, но Ясногорская не оглядывалась.

Тогда парень, недолго думая, припал к механизму пушки...

Прозвучал выстрел. Одинокий и потому удивительно резкий среди этой огромной тишины. Пролетел далеко над полями, и эхо еще долго перекачивалось в берегах, в лесах и оврагах. Тысячи людей на мгновение застыли, удивленно прислушиваясь. Казалось, что это прозвучал последний выстрел на земле. В высокой синеве распускался белый цветок взрыва. Наверное, этот цветок виден был с дальних чешских селений на западе, едва проступавших из сплошных садов.

— Что ты делаешь? — спохватившись, накинулись на Маковея командиры.

— Я хотел дострелить вон туда, — смеясь, показывал озорник рукой в небо.

— Куда?

— В синеву... В стратосферу!

В конце концов парень и сам не знал, для чего он выстрелил. Может быть, для нее, для Шуры Ясногорской? А может, он салютовал тому счастливому времени, которое, приближаясь издалика, уже чуть слышно трубило навстречу людям, добывающим мир.

Полки, стянувшись в колонны, летели вперед. Рассекая горячие, разомлевшие от зноя поля, навстречу бежал асфальт, сплошь политый свежей водой. Празднично одетые чехи и чешки неумоимо поливали его с утра до вечера, чтобы не пылила дорога, чтобы не падала пыль на о с в о б о д и т е л е й.

Чистые, красивые сёла и городки, утопающие в молодой зелени, подняли над домами красные советские и трехцветные национальные флаги, которые трепетали, словно вымпелы множества кораблей в огромной гавани. Весь мир стал сразу необычайно ярким и пестрым. Сквозь вдохновенный людской гул безостановочно проходили войска.

— Наздар! — единой грудью восклицала освобожденная Чехия. — Наздар! Наздар! Наздар!

— Ать жие Сталин!

— Ать жие Руда Армата!

Триумфальные арки возникали на пути полков, словно вырастали из плодородной чешской земли.

Хома Хаецкий пролетал под этими радужными арками одним из первых. Грива его коня уже третий день расцвечена пахучей сиренью, автомат обвит цветами и лентами. Его украшали белые худенькие руки освобожденных сестер, лица которых подолянин даже не успевал запомнить.

Наступал всемирный праздник, которому, казалось, не будет конца. У каждого двора на чисто вымытых скамейках стояли ведра с холодной водой и хмельной брагой, а возле дворов побогаче — бидоны с молоком и бочки с пивом. Радостный, энергичный народ без усталости угощал желанных гостей. Среди машин и лошадей храбро сновали ребятишки с полными ведрами, наперебой протягивая каждому кружку, наполненную от души — до самых краев!.. И какое счастье светилось в ясных детских глазах, когда боец, наклонившись с седла, брал кружку и, улыбаясь, пил добрыми солдатскими глотками.

— Я обпиваюсь в эти дни, — хвалился Хома перед товарищами. — Не могу никому отказать, у каждого пью.

Всякий раз, угощаясь, он успевал перекинуться с чехами хоть несколькими словами. Прежде всего интересовался, давно ли прошли здесь немцы.

— Час назад... Полчаса назад... — отвечали чехи, мрачней при одном лишь напоминании об оккупантах.

— Чудно! Чудно мне, братцы! Когда вы успели столько флагов изготовить, да еще и вывесить?!

— О, пан товарищ! Прапоры у нас готовы еще с сорокового года, — дружно признавались чехи. — Шесть лет мы ждали этого благословенного дня. Мы знали, что вы нас не забыли, что вы придете и Ческословенска будет!

— Уже есть! — вытирая усы, говорил Хаецкий с таким видом, будто тут же передавал Чехословакию в руки своим собеседникам. — Держите крепко, бо дорого стоит!

Чехи отвечали хором, словно присягали:

— Пан товарищ, будем, как вы!

Полк Самиева в этом наступлении делал по полсотни и больше километров в сутки, однако ни один боец не отстал. Все подразделения были на колесах. Автоматчики на велосипедах и мотоциклах мчались вперед, на крутых виражах припадая почти к самой земле. В повозках тесно сидели усыпанные цветами пехотинцы, выставив во все стороны примкнутые штыки, и от этого повозки были похожи на больших катящихся ежей. В голове колонны неслись конница и полковая артиллерия, готовые по первой команде вступить в бой.

Несколько раз в сутки вспыхивали короткие, молниеносные стычки с вражескими заслонами, после чего дорога снова становилась свободной, и полк опять сжимал крылья своих боевых батальонов, словно птица в стремительном полете. Главные механизированные силы немцев бежали на Прагу, остальные, не поспевая за ними, сворачивали с основных магистралей, рассыпались по лугам-берегам, зарывались в стога сена, волками бродили в лесах, собираясь в бандитские шайки. Там за ними охотились неутомимые чешские партизаны. Трудно было

палачам избежать суда в эти дни, когда, как судьи, над ними поднялись целые народы!

Как-то в полдень полк приближался к большому чешскому городу, выросшему на горизонте лесом заводских труб. После веселых белых поселков, которые то и дело кокетливо вытягивались вдоль шоссе, панорама индустриального города, за долгие годы насквозь прокопченного и усыпанного заводской сажой, показалась Хоме необычной для этого края. «Такая маленькая страна, и такие крепкие заводы! — с восторгом думал Хома, проникаясь еще большим уважением к чехам. — Жилистый народ, такой, как и мы!»

Немцев в городе уже не было, но следы их еще не выветрились: темные городские окраины мрачно полыхали огромными пожарами. Горели длинные заводские корпуса, пылало круглое железнодорожное депо с проломленным черепом крыши. Некоторые строения уже совсем сравнялись с землей, превращенные силой взрыва в сплошные развалины. Стены уцелевших построек снизу доверху были изрезаны причудливыми зигзагами трещин. Отряды черных, мокрых рабочих, вооруженных брандспойтами, пытались тушить пожары, но их усилия не давали почти никаких результатов. Все вокруг дышало удушливым жаром.

«Когда они успели учинить такой погром?» — гневно думал Хаецкий о немцах, подъезжая к бетонному заводскому забору, покосившемуся от удара воздушной волны. Близкое пожарище пахнуло ему в лицо, словно южный суховец.

Едва Хома остановил коня, как его окружили измазанные, возбужденные рабочие. От них Хома узнал, что заводы были разбомблены всего лишь час назад, и сделали это не немцы, а «летающие крепости». Это от их бомб зияют между цехами воронки, на дне которых выступила подпочвенная вода — ею пользовались сейчас рабочие, из брандспойтов заливавшие пламя.

В первый момент Хома был искренно восхищен такой работой авиации союзников. «Молодцы, вот так давно бы надо!..» Но рабочие вскорее погасили его восторги. Оказалось, американцы налетели на заводы, когда немцев здесь уже не было.

— Выходит, промахнулись, — с сожалением сказал Хома. — Не рассчитали.

Рабочие держались другого мнения. Видимо, этот налет их не только не восхищал, но даже вызывал возмущение, хотя они и старались сдерживать его, как могли. Хома уловил в их голосах горькие нотки. В чем дело? Можно допустить, что летчики ошиблись, войдя в азарт. Но почему рабочие так беспокоятся об этих предприятиях? Разве мало жил вытянули из них капиталисты, разве мало за свою жизнь эти рабочие наглотались сажи ради чужих прибылей?! Пусть горит!

В беседе, однако, выяснилось, что дело не так просто, как на первый взгляд казалось Хоме. Далеко не так, товарищ! Терпеливее других втолковывал это Хоме простоволосый, коренастый юноша в промокшей от пота майке. Его грязная, огрубевшая в работе рука спокойно лежала на седле Хомы. Тугие жилы вздулись на ней, синевя, как реки на карте. «Тоже двужильный», — сразу окрестил чеха подолянин, считавший себя двужильным.

Юноша, как и многие чехи, довольно свободно говорил по-русски.

— Правду сказал советский товарищ — эти заводы из нас жилы вытягивали. Было так, вытягивали. Но не все вытянули, для себя кое-что осталось. — Юноша весело взглянул на Хому. — И сажи наглотата-

лись вволю. Да, это правда. Но отныне говорим: довольно! Хозяева фирмы, господа акционеры, удрали доживать свой век где-нибудь в швейцарских виллах. Все это мает стать людovým, народным. Все будет конфисковано. Вся Ческословенска отныне есть хозяин тотем заводам.

Не зря рабочие тушили пожары. И не зря чехи в претензии к панам американам за их запоздалые бомбы.

— Они и на фронте выше всего ставят свой бизнес, — мрачно сказал кто-то в толпе рабочих.

Хома не понял слова «бизнес», однако не стал расспрашивать у чехов, что это за зверь. Лучше он после спросит у своего замполита. Сейчас, выслушавшая сдержанные жалобы рабочих, Хома чувствовал себя довольно неловко. Впервые ему, дерзкому, острому на язык подолянину, не хватало слов для ответа. Он, как солдат, хотел бы взять на себя всю ответственность за действия союзников, но в данном случае он этого сделать не мог. Но и хулить американцев ему не позволяло собственное достоинство, достоинство честного союзника. И тут возле разгромленных пылающих заводов Хома впервые серьезно насторожился, пытаясь постичь не совсем понятные ему действия «летающих крепостей».

«Как же быть с вами? — колебался он. Что вам сказать на это?»

— Мы разберемся, — пообещал он наконец, имея в виду прежде всего себя и Воронцова, и сердито дал шпоры коню.

Хома догнал майора Воронцова уже за городом, когда полк, прогремев сквозь тысячеголосый гомон центральных площадей, просверкав серпами-подковами сквозь бурю музыки и цветов, вышел на асфальтовую загородную дорогу. Леса и холмы, как живые, расступались перед полком, а дорога, залитая солнцем, сама стелилась-разворачивалась вдаль.

Майор ехал по обочине и читал на ходу письмо. Сгорбившись в седле, углубившись в чтение, он в этот момент мало чем напоминал строгого командира. Он водил прищуренными глазами по сторонам, время от времени хмурясь или улыбаясь.

Это была непривычная для него улыбка, нежно-интимная, почти ласковая, «без агитации», как определил ее Хома. Майору, видимо, нелегко было разбирать мелкий почерк, и Хома с сочувствием подумал, что будь это где-нибудь дома, за столом, Воронцов, наверное, вооружился бы надежными очками.

— Как там поживает ваша жена, товарищ гвардии майор? — спросил Хома, вежливо откозыряв. — Бригадир не обижают? Дает соломы для хаты?

— У нас там соломы нет, товарищ Хаецкий, — улыбнулся Воронцов, аккуратно складывая письмо. — У нас тайга кругом, на сотни верст... Да и письмо не от жены, кстати. Сын пишет.

— А-а, сын... Тот, что в армии?

— Тот... Коля. Самый старший мой.

— На каком он сейчас?

— На 1-м Украинском. Был под Берлином, а сейчас, надо думать, уже в Берлине. Если, конечно... жив, — глухо произнес майор последнее слово. — Он уже танковой ротой командовал...

Хаецкому казалось странным, что рядом едет не просто Герой Советского Союза с майорской звездой на погонах, а пожилой человек, отец, у которого уже взрослый сын, и он волнуется о сыне так же, как и другие люди. Больше того, как и другие, он порой беззащитен, подвержен боли, нуждается в поддержке и внимании. Разве не беззащитен



он сейчас, когда судьба его сына, может быть, зависит только от случайного попадания или промаха вражеского артиллериста? Чем он может сейчас защитить себя от тучи тревожных мыслей? Чем может в эти минуты помочь себе — так же, как помогает каждому человеку в полку?

— Не волнуйтесь, товарищ гвардии майор, не очень переживайте, — смущенно утешал замполита Хома. — Все будет в порядке с вашим сыном... Броню наших танков нелегко пробить.

Некоторое время Воронцов ехал, не отвечая Хоме, беспомощно моргая на солнце рыжими ресницами. Потом порывисто повернулся к Хаецкому.

— Нелегко, говорите, пробить? Не пробьет, говорите? — оживившись, спрашивал он, словно советовался, почувствовав неожиданную поддержку. — В конце концов, это правильно. Как никак, они всё же в машинах, не то, что мы, голая пехота, царица полей...

— Жив, жив будет, товарищ замполит, — еще решительнее уверял Хома.

— Знаете, я тоже так думаю... Ведь уже полгода провоевал благополучно, а тут каких-нибудь несколько дней — и конец.

Воронцов посветлел, выпрямился в седле и снова стал тем крепким, подтянутым Воронцовым, которого Хома привык ежедневно видеть в полку.

Они как раз въезжали на невысокий холм. Отпустив поводья, дали свободу вспотевшим лошадям. Однако лошади не воспользовались поблажкой и торопились вперед, стремясь быстрее одолеть крутизну и выбраться на ровное место.

— Оказывается, товарищ гвардии майор, те заводы разбомбили не немцы, а паны американцы, — заговорил, наконец, Хома о том, что грызло его всю дорогу. — Налетели в последний час и трахнули! Как, по-вашему, это у них бизнес или не бизнес?

Воронцов удивленно посмотрел на Хому.

— Где вы это слово поймали?

— Оно давно при мне, — спокойно соврал подолянин. — За плечами его не носить... Только до сих пор не очень понимаю, что оно должно означать. Гешефт?

— Что-то вроде этого, — ответил Воронцов, сразу мрачней. — Все заокеанские капиталисты на бизнесе держатся.

— Держатся?.. Ну и пусть себе держатся, пока не сорвутся... Но, патку мий, при чем же тут чешские заводы? Разве они уже стали косткой кому-то поперек горла?

— Может быть и стали, товарищ Хаецкий...

— Как же так?

— Очень просто. Представьте себе: кончится война, империалистические хищники снова примутся за свое. Очевидно, опять развернется борьба между соперниками, между конкурентами. Тогда и эти чешские заводы могут стать для кого-нибудь помехой. Почему же не расправиться с ними заранее, тем более в такой горячке, когда под видом военных действий можно безнаказанно учинить настоящий погром своим будущим соперникам? Почему не сделать на этом, как говорят, бизнес?..

Слова замполита направили мысли Хаецкого в неожиданное русло. До сих пор он, как и многие его товарищи, представлял себе послевоенный мир иллюзорно, в какой-то туманности, видел его как бы через золотую дымку близкой победы, сквозь цветы и музыку, сквозь пьяня-

шую радость последних дней войны. Там должна начаться жизнь, совсем непохожая на прежнюю, там общечеловеческое счастье забьет миллионами живительных источников, там праздникам не будет конца — ведь все люди станут, наконец, настоящими людьми! После того, что народы пережили, что увидели, — не может быть иначе!

И вдруг Воронцов своей спокойной твердой рукой как бы приподнял эту туманную дымку, и Хома на миг увидел в далекой глубине послевоенного бытия мир, охваченный тревогами, неугасающей враждой, холодным расчетом...

Все это было для Хома настолько неожиданным, что он невольно положил руку на свой автомат, как перед близкой опасностью. Краем глаза Воронцов заметил этот инстинктивный солдатский жест.

— Теперь вы поняли, что такое бизнес?

— Уразумел.

— Но нервничать из-за этого не стоит. Пан бизнес молодец против овец... а против дружного фронта народов он ничего не сделает.

Речь замполита прервал востовой, мчавшийся галопом от головы колонны.

Майора срочно вызывал командир полка.

Хаецкий остался один со своими мыслями. Около часа ехал он, глубоко задумавшись, ни с кем не заговаривая. Пробегал суровым взглядом по войскам. Подразделения, доукомплектованные в последнее время, шли сомкнутыми рядами.

Распространяя аппетитные запахи, тряслись жирные горячие кухни. Обед давно готов, но приказа раздавать его не было. «Перетомится все в котлах, — пожалел мимоходом Хаецкий, угадывая по запаху, что находится в том или ином котле. — Кажется, опять не будет «остановки»...

— О чем задумался, земляче? — Кто-то с налету сзади огрел лошадь Хома. — Гони, не давай мочиться!

Это Казаков. На взмыленном рысаке, с гранатами и флягой на боку.

— Слышал, Хома? В Праге восстание, народ дерется на баррикадах!

Хома насторожился, как птица.

— Ты откуда знаешь?

— Знаю! Вот тут, в лесничестве, чехи рассказали... Пражская радиостанция уже в руках патриотов. Все время передает: «Руда Армата, на помощь, Руда Армата, на помощь»... Красная Армия, на помощь, Красная Армия, на помощь...

— Так это к ним мы так спешим сейчас? — оживился подолянин. — Замполита зачем-то позвали к хозяину. И комбатов тоже. Глянь, там уже переходят на гвардейский аллюр!

— Видно, услышали. Услышали!

Казаков рванулся дальше, на скаку выкрикивая во весь голос:

— Прага восстала!.. В Праге баррикады!.. На помощь братьям! На выручку!

Хаецкий гикнул и дал шпоры коню. Скорее, скорей бы! Прага тянулась к нему, звала его издали хором живых человеческих голосов.

«На помощь!» Этот трагический клич восставшего города заслонил собой все мысли и интересы Хома. Уж он ни о чем не думал, ничего не слышал, кроме призыва, обращенного лично к нему: «на помощь, Хома, на помощь!» Ведь это ему кричали, его звали, с той же силой, как недавно звали его невольники через пылающие двери пакгауза на австрийской станции.

Распалившись, Хома гневно кричал на скаку и людям, и лошадям, и моторам:

— Быстрее, быстрее! Иначе — им хана! Если мы не выручим, то не выручит никто!

Шоссе бурлило. Кухни тряслись с нетронутыми, перетомившимися борщами. Полк заметно набирал темп.

## 26

Все были охвачены мыслью о восставшей Праге.

Для Казакова чешская столица была не просто стратегическим пунктом, важным военным объектом или «узлом дорог». Прага для него была прежде всего гордым, непокорившимся городом. Казакову рисовались улицы в задымленных баррикадах, задыхающиеся, залитые кровью братья-повстанцы, женщины и дети с кошелками патронов... Как не спешить к ним на выручку, как не вцепиться в отступающих немцев, чтобы оттянуть их на себя от Праги? Казаков смотрел на это, как на свое личное дело, обычное и естественное. Точно так же он бросился бы на улице защищать ребенка от бешеной собаки или кинулся бы в реку спасать утопающего. Действия полка были направлены именно к этой цели, и поэтому приказ, отданный полку, казался Казакову его собственным приказом.

Если бы Казакова спросили, где кончаются его сугубо служебные, официальные дела и где начинаются дела личные, он только пожал бы плечами. В полку уже давно все стало его личным делом. Однополчане были его кровной родней, оружие — профессией, знамя — семейной святыней.

В бою Казакову приходилось действовать большей частью самостоятельно, и он, не колеблясь, принимал нужные решения на свой страх и риск. При этом его не пугало, что он может ошибиться, споткнуться, хотя за малейший промах ему пришлось бы расплачиваться первым, и может быть, даже собственной головой. Казаков беспощадно гнал из разведки людей, пытавшихся на каждый свой шаг получить санкцию начальства, чтобы потом, в случае неудачи, иметь оправдание. К таким типам Казаков относился с презрением. Сам он всегда был готов отвечать не только за себя, но и за действия всей части. Раньше, когда полк еще, бывало, терпел поражения, проигрывая отдельные бои, Казаков обвинял в этом в первую очередь себя и готов был нести на себе позор проигранного боя. Зато теперь он принимал приветствия гостеприимных чехов непосредственно в свой адрес, не переносил их на кого-нибудь старшего. Он был ухом и глазом полка и понимал это почти буквально.

Выходя в разведку, Казаков отрекался от всего, сразу возвышался над простыми смертными и чувствовал себя богом. Боевое задание никогда не казалось ему тяжелым, скорее оно было для него благословением и пропуском в царство желанных подвигов. Он чувствовал, что ведет разведку не только от себя, но и от имени того нового мира, который послал его вперед, поддерживая своего отчаянного посланца во всех его мытарствах.

Может быть, поэтому Казакову все удавалось, всюду ему сопутствовала гвардейская удача.

Подчиняясь дисциплине, Казаков, конечно, выполнил бы любой приказ командира, даже тот, который был бы ему не по душе. Но тогда гнал ли бы он так немилосердно своего коня, как сейчас, мчась

на Прагу? Несся бы он так нетерпеливо за врагом, по-ястребиному сидя в седле, подавшись всем корпусом вперед?

В этой войне все приказы, все задания, даже самые сложные, приходились Казакову по душе потому, что вели к единой ясной цели, к которой сам он неудержимо стремился.

Сейчас он так же не жалел ни себя, ни коня, ни своих ребят. Призыв изнемогающей Праги неотступно звенел у него в ушах.

Ночью немцы неожиданно оказали упорное сопротивление. На нескольких километрах по фронту разгорелся тяжелый бой с участием танков и самоходок. Все полки дивизии вынуждены были развернуться в боевые порядки. Офицеры водили пехоту в неоднократные ночные атаки. И Казаков водил свою братву, выкрикивая в темноту ночи: «Даешь Злату Прагу!»

Лишь перед рассветом удалось сломить противника, и полки, зачехлив теплые стволы пушек, снова двинулись вперед.

Полк Самиева в колонне дивизии шел головным, и Казаков, вылетев на рассвете со своими разведчиками вперед по звонкой автостраде, надеялся, что окажется на ней первым. Но автострада была уже освоена: незадолго до того по ней пронеслись на Прагу «тридцатьчетверки». Казакова мучила ревность пехотинца, он ощущал себя чуть ли не обозником и незаслуженно упрекал коня, который никак не мог стать «тридцатьчетверкой». А танкисты, взяв пальму первенства, оставили на автостраде, словно в упрек разведчикам, свежие следы своей работы: разбитую немецкую артиллерию, дотлевающие в кюветах машины, толпы фрицев, которых конвоиры-чехи гнали по обочинам автострады. Пленные брели молча, понуро, намокшие по пояс в росистой траве.

Казаков, завидуя танкистам, был, однако, искренно доволен тем, что они так быстро двинулись вперед.

— Хоть и отбивают наш хлеб, зато помочь Праге успеют, — утешал он своих «волков». — Не дадут братанам задохнуться!..

— А, может, там уже союзники? — высказал предположение Славик, самый молодой среди разведчиков — хозяин даже не называл его «волком», а только «волчонком».

— Могут, конечно, и они поспеть, если нажмут на все педали, — согласился толстоший ефрейтор Павлюга. — Союзникам, кажется, ближе, чем нам...

Казаков покосился на Павлюгу своим зеленоватым глазом.

— На союзников надейся, а сам не плошай. Ясно?

— Ясно.

— Аллюр три креста!

Перебрасываясь на скаку словами, разведчики в то же время внимательно осматривали местность. Впереди им ничто не угрожало, там уже действовали танки. Опасность могла появиться только с флангов, слева или справа. Туда, конечно, танкисты не имели возможности сворачивать, оставляя эти просторы пехоте. Но и на флангах никакой видимой опасности не было.

Все больше светало. Тугой ветерок шекотал свежестью разгоряченные лица разведчиков. В предчувствии солнца заволновались в низинах белые туманы. Холодноватая даль еще мягко синела, но все вокруг уже прояснялось, приобретало естественные, завершенные формы. Восток расцветал высоким венком рассвета. Вон далеко справа, между лесными массивами, загорелись на горных вершинах голые камни. Обновленные солнцем вершины сразу как бы приблизились к разведчикам. Вот и слева, перебегая в волнистых полях от села к селу, солнце окрасило

маковки церквей, высокие деревья, пропеллеры ветродвигателей на пригорках. Раскинутые в равнинном раздолье вёски и фермы забелели фасадами, радостно заиграли навстречу солнцу светлыми стеклами. А оно, могучее светило, все больше заполняло собой мир, все дальше бросало световые стрелы из-за кряжистых спин разведчиков, ударяя ими вверх и в стороны. Оно опережало полки, выставляя на их пути свои утренние румяные вехи. Разведчики шли на галопе по этим вехам солнца — вперед, вперед...

Изредка оглядываясь, разведчики видели полк. Он двигался колонной, подминая под себя автостраду, которая словно на волнах то прогибалась в долинах, то поднималась на невысоких пригорках. На расстоянии полк казался серым, одноцветным: серые люди, серые лошади, серые пушки... Едва заметное, как тонкая антенна, древко знамени все время покачивалось над головами всадников. Знамя, как всегда на марше, было в чехле.

Справа над автострадой нависали леса, насквозь промытые росой, пропахшие свежей зеленью. Спускаясь с далеких гор синими оползнями, а ближе — крутыми зелеными обвалами, они дружно останавливались у дороги, как бы советуясь: перешагнуть ленту автострады и спуститься в поле, или остаться на месте.

Пока полковая колонна была на виду у разведчиков, они скакали уверенно и беззаботно. Но вот уже четверть часа, как полк, скрывшись за поворотом леса, не показывался. Казаков обладал острым чувством расстояния, и по его расчетам, полк, идя заданным темпом, уже должен был выйти из леса, огибая его. Но блестящая изогнутая дуга автострады оставалась безлюдной.

Казаков, настороженно съездившись в своем седле, приказал товарищам пустить коней шагом. В лесах, уже залитых солнцем, стояла зеленая тишина. Она не нравилась Казакову, он чувствовал в ней что-то коварное. Как на грех — никто не попадался на пути, ни военные, ни штатские. Далеко слева вставал на горизонте легкий белый дым — горели какие-то скирды. Прислушавшись, Казаков отчетливо уловил редкие постукивания пулеметов, тонко долетавшие издали. Лошади ступали медленно, разведчики с возрастающей тревогой поглядывали назад.

— Что это значит? — первый не выдержал Славик, раскрасневшийся от скачки. — Почему их до сих пор не видно?

Павлюга поднялся на стремянах и, оглянувшись, подтвердил:

— Не видно.

— Может, «привалились»? — мрачно предположил Архангельский, широкоплечий, коренастый, издали в седле напоминавший беркута. — А может быть, и в самом деле что-нибудь случилось?

Товарищи подозрительно смотрели в зеленую стену незнакомых лесов.

Проехали с километр, до следующего поворота, и Казаков дал, наконец, команду остановиться.

— Подождем, — пояснил он, сдерживая раздражение. Такие остановки его всегда нервировали.

Соскочили с лошадей, разминая затекшие ноги.

— Ручаюсь головой, что с ними ничего плохого не случилось, — уверял Павка Македон, весельчак и красавец, задушевный друг Казакова. — Вы же знаете, как мое сердце в таких случаях сигнализирует! Безошибочно!

Казаков не раз убеждался в том, что павкино сердце, действительно, обладает удивительной способностью угадывать на расстоянии беду или удачу полка.

— Просто какая-нибудь очередная заминка, — весело убеждал Македон.

— Ну, уж если твое сердце сигналист, — махнул рукой Казаков, — то загорай, братва! Может, скорее появятся на горизонте.

Пользуясь случаем, Архангельский пошел обследовать подбитый невдалеке немецкий броневик. Павлюга, вынув из кармана плитку пивных дрожжей, принялся кормить ими своего скакуна, угощаясь заодно и сам. Тем временем Казаков и Македон, скинув пилотки, расстегнувшись сколько можно было, пошли к ближайшему дубу умываться. Умывались они своим давним разведческим способом: с дерева. Трясли густо покрытые листьями ветки, осыпая себя густой росой, свежая на глазах, брыкаясь и балуясь под ветвистым зеленым душем. Вскоре к ним присоединился и Славик, соблазненный этой богатырской купелью. Македон, вскидывая мокрым черным чубом, уверял, что росяная купель, особенно на восходе солнца, придает разведчику силу и красоту.

В это время они услышали неистовую беспорядочную стрельбу где-то позади себя за лесным полуостровом. Не было сомнения, что эта стрельба имеет прямую связь с задержкой полка.

— Бой! — выкрикнул Казаков темнея. — Вы слышите, бой!

Разведчики стремглав кинулись к лошадям. Как всегда в таких случаях, им казалось, что в полку внезапно случилась какая-то трагедия и надо спешить в полк как можно скорее. На бегу Казаков метнул уничтожающий взгляд на Македона и свирепо схватил своего рысака за храп.

Уже поставив ногу в стремя, Казаков вдруг задержался. Товарищи тоже застыли возле лошадей. Стрельба была необычная. Она нарастала, стремительно приближаясь. Такого удивительного летучего боя разведчики не слышали за всю историю полка. Они привыкли к заземленным огненным рубежам, к продвижению вперед шаг за шагом, они знали, что даже победоносная пехотная атака не может перемещаться в пространстве с такой неимоверной быстротой. Это было нечто большее, чем атака.

Держа настороженных лошадей в поводу, разведчики устремили взгляды на дорогу. Веки у Казакова нервно подергивались. Стрельба слышалась все ближе, все громче.

И вот из-за леса вылетели, наконец, маленькие силуэты первых всадников, за ними показалась голова колонны — и разведчики ахнули! Полк выглядел необычно, он был какой-то обновленный, торжественный, озаренный. Над колонной, развеваясь в полете, ярко пламенело полковое знамя. Впервые за долгие месяцы боев с него был снят чехол. Почему? По какому поводу? Разведчики переглянулись, не веря своим глазам, будто испугавшись догадки, осенившей их всех одновременно. Неужели наступила, наконец, та минута? Никто не мог промолвить ни слова: перехватило дыхание, на секунду нехватало воздуха, как на поднебесной высоте, куда словно вынесло их сейчас неестественной силой.

А полк приближался, и развернутое знамя пылало прекрасным пламенем.

Вся колонна весело палила в небо из карабинов и автоматов, стреляла из чего попало, безумствуя в неудержимом радостном экстазе. Взлетали солдатские пилотки, мелькали на солнце белые голуби листовок: всадники подхватывали их на лету.

Разведчики бросились друг другу в объятия.

— Победа, товарищи!

— Победа!

— Победа!

Они поздравляли друг друга, произнося это великое и еще не совсем привычное слово. Каким безопасным, надежным, просторным сразу стал мир! Уже смерть не угрожает тебе на каждом шагу, уже ты заговорен от ран и увечья, уже расступились перед тобой стены в прекрасное, светлое будущее. Такое огромное солнце еще никогда не светило тебе. Такое глубокое синее небо еще никогда не высылось над тобой. Такая всеобъемлющая, всепроникающая весна еще никогда не ступала по земле. Каждым своим стебельком, каждой выпрямившейся веткой она посылает тебе свой зеленый салют.

Переполненные счастьем до краев, наэлектризованные его хмельной, сладкой силой, разведчики снова сели на лошадей.

— А теперь... куда? — спросил Павлюга Казакова.

Лошадь сами поворачивали назад, ржали навстречу полку. Словно спохватившись, Казаков дернул повод и направил своего рысака снова на запад. Разведчики пригнулись в седлах, глубже натянули пилотки, чтобы не сбило их ветром.

— Вперед! — крикнул Казаков. — На Прагу!

Он еще не знал, что на рассвете в Прагу с другой стороны вступили советские части, посланные Сталиным.

А полк, вызванивая на автостраде, уже спускался в зеленую, до краев налитую утренним солнцем долину. Вдохновенно стрелял в небо многочисленным оружием, не целясь, не готовясь, не стремясь кого-нибудь убить. Тот — и не тот, чем-то прежний — и уже чем-то будущий. Обновленный, торжественный, озаренный...

## 27

— Передайте по колонне, — скомандовал Самиев офицерам, ехавшим за ним, — прекратить стрельбу, беречь боеприпасы.

Когда этот приказ, гася на своем пути стрельбу, докатился, наконец, до Маковей, парень удивился. Наверно, недоразумение? Может быть, кто-то в горячке перепутал приказ? Но товарищи уже ставили оружие на предохранители, и Маковей сделал то же самое, сразу возвращаясь к реальной действительности.

Известие о победе вначале оглушило парня. Ему казалось, что отныне люди должны руководствоваться в жизни совсем иными правилами, чем до сих пор. Могут снять с себя всякие ограничения, забыть обо всем будничном, заговорить другим языком. Ведь сегодня все вокруг было иным, неповторимым, фантастически прекрасным...

Началось это утром на восходе солнца. Известие о победе догнало полк на марше, и взволнованный, побледневший Самиев, вырвавшись вперед, к знаменосцам, на лету скомандовал им:

— Знамя из чехла!

Взглядом, полным счастья и готовности, Вася Багиров принял команду, ловким движением сорвал огрубевший, как солдатская ладонь, чехол, и шелковое багряное пламя вырвалось из-под него, упруго залопотав на ветру.

Полк ответил на это всеобщим салютом.

Маковей и стрелял, и плакал, и смеялся, не слыша ни себя, ни других. Тут же посреди дороги возник короткий летучий митинг, бойцы на ходу соскакивали с седел, что-то радостно крича друг другу, теряя

свои выгоревшие под всеми солнцами пилотки, крепко обнимаясь и целуясь. Маковей тоже целовали счастливые люди, и он кого-то целовал, кого-то поздравлял, возбужденный, взволнованный, влюбленный во всех и во всё. Как-то невзначай увидел сквозь бурлящую толпу Черныша и Ясногорскую. Они тоже поцеловались, видимо впервые, долгим и крепким поцелуем, до горячего опьянения, на людях, при всех. И никто этому не удивился, и Маковей не вскрикнул — сегодня все было можно, все разрешалось, потому что все самое лучшее в мире начиналось с этой минуты... Однако Шура тут же почему-то заплакала, закрыв лицо белыми руками. А Маковей в жгучем неистовстве повис на шее своего коня, возле которой не раз грелся в жестокие морозы и вьюги, под детски сладко мечтая о таком вот весеннем солнечном утре, как сегодня... А Шура стояла, закрыв лицо руками.

Маковей обнял коня, как друга, и горячо поцеловал его в бархатную, теплую шею. Конь удивленно и нежно косил на него сверху своим большим ясным глазом.

А майор Воронцов с трубочкой бумаг в руке уже стоял перед брйцами на оружейном лафете. Глаза его в пучках золотых морщин какое-то мгновенье моргали, словно привыкая к солнцу, потом вдруг глянули на гвардейцев и заблестели славными, добрыми, отеческими слезами. И все сразу увидели, какой он сейчас богатый и безгранично щедрый, вот этот их родной майор Воронцов.

А он, оглядев и поздравив всех, торжественно и непривычно молодо скомандовал:

— Слушай! Читаю обращение товарища Сталина!

Полк выпрямился, застыл. Стало слышно, как без усталости звенит мелкая мошкара, столбами вставая над головами бойцов. Облепляла напряженные лица, нахально лезла в глаза, но из сотен людей ни один не пошевелился. Ни единая жилка не дернулась на закаленных солдатских лицах.

«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимы лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, — не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеяться великое знамя свободы народов и мира между народами».

После короткого митинга полк снова двинулся вперед, салютуя на скаку, не только не уменьшив темп марша, а еще сильнее прищпорив коней. Вот тогда разведчики и услышали буйную, летучую, быстро нарастающую стрельбу.

И вдруг: «Прекратить стрельбу, беречь боеприпасы!»

Эта команда хозяина, обдав Маковей боевым холодком, как бы вернула ему утраченное на время ощущение реальности, вывела его из самозабвения, из того зеленого сна, в котором он летел, салютуя лесам, лугам, небу, солнцу. Маковей понял, что с приходом праздника большое наступление не может остановиться, оно должно продолжаться, пока на пути еще есть враги.

А они были. Немецко-фашистские войска из группы генерал-фельдмаршала Шернера отказались капитулировать и поспешно отступали на запад. Их надо было привести в чувство. Эта задача выпала на долю армий 2-го Украинского фронта, в составе которого шел и полк Самнева.



Кроме высшего начальства, никто не знал маршрута полка, но все почему-то думали, что идут на Прагу. Может быть, потому, что каждый сердцем был там, с восставшими чешскими патриотами.

По дороге Маковей то и дело поглядывал на Ясногорскую. Она ехала вся в лентах и венках, ритмично покачивавшихся на ее груди. И сама она была, как цветок. Такой она стала, проехав первый городок, встретившийся на пути полка после митинга. Население, бурной радостью встречая полк, Ясногорскую приветствовало с особой нежностью. Чешские девушки заплели ей косы, убрали ее цветами, как невесту. Девушка-воин, она вызывала в их сердцах особенно горячий восторг.

Иногда Маковей стыдливо гарцовал на коне перед Шурой, а она задумчиво улыбалась ему из-под венка. Иногда он ехал следом за ней, как верный ее оруженосец, желая и боясь услышать, о чем говорила Шура с Чернышом. Но опасения его были напрасны: они разговаривали не о себе. Они вели беседу о марше, о Праге, о победе, читали мелодичные стихи. Маковей слышал, как Шура взволнованно читала наизусть:

И вечный бой!  
Покой нам только снится...

Подхватив эти слова, Маковей ускакал, напевая их на собственный импровизированный мотив.

А леса зеленели удивительно мирно, а сѣла мелькали приветливо, а шоссе уходило вдаль, сверкая, как солнечная дорога в полдень на море. Далекие удары орудий на флангах уже не вызывали представления о крови и смерти, в их глухом добродушном громе кадровикам слышались учебные выстрелы на летних лагерных полигонах. Полковое знамя то ныряло красной птицей в тенистую чащу леса, то вновь вырывалось на просторы, залитые душистым солнцем, высоко развеваясь в прозрачных степных ветрах. И даже когда знамя скрывалось за изгибом леса, все чувствовали его там, впереди себя.

Все было сегодня поразительно новым, необычным, праздничным. И воинственные гвардейские лозунги звучали для бойцов по-иному. Вот приближаются к Маковею две доски в виде икса, прибитые на перекрестке: «Добьем фашистского зверя!»

Добьем... Кто-то уже приложил к лозунгу руку, зачеркнув первое слово и размашисто написав сверху: «Добили!»

Неужели доби́ли?

Маковей видит разгоряченного Сагайду, который, осадив своего вороного на перекрестке, задержался на секунду перед иксом, как перед непонятным дорожным указателем.

— Неужели доби́ли, Маковей? — догоняя телефониста, кричит Сагайда. — Неужели мы с тобой уже едем... в мир?

Сбив на затылок свою черную кубанку, он оглядывается с таким видом, будто только что пришел в себя.

Маковей напевает:

— Едем, гвардии лейтенант, едем, едем...

— А клены какие пышные, Маковей! А дубы! И листва на дубах... И небо над нами синее... Небо, Маковей, ты видишь? Чистое, как до войны!..

— А вон кирха в долине виднеется. И село выплывает из-за горизонта! Да какое белое! Интересно, как оно называется? Кто там живет?

— Может быть, то Гринава плывет к нам из-за горизонта? Спешит на великий праздник. — Сагайда, широко улыбаясь, машет вдаль рукой. — Быстрее, Гринава, полный вперед!

— Вы еще не забыли ее, лейтенант?

— Кого? Ее? Вовек не забуду!

— Представляете, что там делается сегодня? А что у нас дома делается! А в Будапеште!.. Езус-Мария, что только делается сейчас на белом свете! Мне сейчас хочется всюду побывать! Всюду сразу: и дома, и здесь, и на Дунае! Всех обнять, всех поздравить! Даже обидно, что ты... неделимый! Если б как солнце! Вы знаете, я сейчас люблю... всё! А вы?

— Я? — Сагайда красивым жестом отбросил за ухо свой растрепанный зуб. Все тело его дышало жаром. — Я роздал бы себя всем... Я воскресил бы погибших... Если бы сейчас все наши встали! Если бы они дожили, Маковой...!

— А вы сами думали дожить до этого дня, лейтенант? Помните, как вас бронегранспортеры окружили в замке? Я вас уже тогда похоронил было...

— Я тебя, Маковой, тоже не раз хоронил, когда ты побежишь, бывало, на линию... Вообще, мы с тобой дожили, наверно, чисто случайно. Ведь на каждого из нас горы металла выпущены — давно могло где-нибудь долбануть... Но главное не в этом... Главное, что наступило то, к чему мы с тобой стремились. И наступило совсем не случайно... Непроизводимо!

— Конечно, если б не я, так другой кто-нибудь сидел бы сейчас в моем седле. Потому что полк всегда будет... Но как же хорошо! Смотрите, сколько народу валит...

У края автострады шумит пестрая ярмарка. Из окружающих сел узкими полевыми дорогами тянутся и тянутся к шоссе хлебоборбы. Босоногие дети, аккуратные матери, веселые хозяева... На велосипедах, на шкáпах, на волах, пешком... Спешат посмотреть на серые толпы пленных, спешат приветствовать яркозеленые, как май, колонны победителей.

— Взгляните, гвардии лейтенант, вон какой-то чех в очках нашего Ягодку обнимает... По щекам гладит, прижимает, как родного сына... А у Хаецкого маленькое чешеня в седле... И второго мальчонку взял... Смотрите, как смеются и хватают его за усы... И нисколько не боятся...

— Вот тут, в этом, и весь секрет, Маковой. — Сагайда задумался, свесив обе ноги на правое крыло седла. — В этом именно наша великая сила и наше великое счастье.

— В чем?

— В том, что не завоевателями, а друзьями приходим мы к народам. В том, что путь наших армий не был отмечен ни виселицами, ни концлагерями, ни фабриками смерти... В скольких хатах за нас молились! Из скольких окон нас выглядывали! За это, Маковой, стоило гнить в окопах и умирать в атаках. Откровенно говоря, он был прав...

— Кто — он?

— Брянский. Это он однажды весной сказал мне в белом садике... Мы с ним пили молоко... Не только, говорит, ненависть, а прежде всего любовь двигает наши армии вперед. Горячая братская любовь ко всем трудящимся людям на земле. Это он так сказал мне...

Сагайда, расстегнув воротник, медленно поглаживал свою волосатую вспотевшую грудь. Потом, словно о чем-то вспомнив, достал из

бокового кармана блокнот, перелистал его, все время улыбаясь сам себе с добродушной таинственностью.

— Узнаешь? — вдруг повернулся он к Маковею, бережно вынимая из блокнота своими толстыми пальцами что-то похожее на фигурный вензель из синего тонкого фарфора.

Маковей узнал с трудом: Сагайда держал в руке засушенный нэбовый ключ.

В предобеденную пору полк встретил несколько машин с надписями на бортах: ĀSR<sup>1</sup>. Хозяева машин, энергичные симпатичные юноши, оказались участниками пражского восстания. Бойцы обступили своих братьев по оружию.

— Куда? Откуда?

— На Братиславу, из Праги!

Они везут братьям в Словакии сообщение о том, что Злата Прага уже свободна: сегодня ее освободили советские танкисты.

— Как это произошло?

Произошло это на рассвете. Озверевшие фашисты еще тиранили многотрадную Прагу, расстреливая на площадях ее лучших сынов; еще выпущенные фашистами гранаты взрывались в подвалах Панкраца, разрывая беззащитных женщин, детей и стариков; еще пулеметные очереди решетили окна «Людового дома»; еще вооруженные до зубов бандиты шли на штурм баррикад, гоня впереди себя заложников, — еще все это было, когда в горячий стрекот уличных боев неожиданно ворвался могучий и решающий голос советских моторов. Сплошными потоками, на максимальной скорости танки влетели в чешскую столицу с северо-запада, со стороны Берлина, и с юго-востока от города Брно. Неслыханный по темпу, несравненный по героизму многотрадный марш танкистов Рыбалко, Лелюшенко, Кравченко достиг своей цели: Прага была спасена от разрушения, а жители ее — от уничтожения. Из тяжелых фугасок, дремавших под влтавскими мостами и под фундаментами города, в последнее мгновение были вынуты запалы. Сотни тысяч неугомонившихся фашистов были зажаты в железное кольцо сталинскими бронетанковыми армиями.

— Воля Сталина, воля советского народа выполнена, — радостно рассказывали чехи. — Прага жива, Прага цветет!..

У Маковея сразу отлегло от сердца. Свободна!.. Спасена!.. Уже слышался ему праздничный гомон славянской столицы, лопотанье высоких флагов, музыка, и солнце, и цветы на площадях. Пролетев на коне мимо Ясногорской и Черныша, Маковей обрадовал и их счастливой новостью.

— Прага освобождена! Танкисты-рыбалковцы вступили в нее с севера!

Теперь уже, казалось, можно было не спешить. Теперь уже можно было, расседлав коней, пустить их на луг, почистить оружие и залить маслом стволы — щедро, надолго. Теперь уже можно было заняться и самим собой. Рассупониться, освободиться от солдатских ремней, побриться, выкупаться, попеть на досуге... Вдали заманчиво синели на лугах озера, зовут, зазывают Маковея своей свежей влагой! В этот день небо как бы рассыпилось, огромными пластами осело на землю, засинело на ней всюду.

— Хома, — кричал телефонист Хаецкому, поровнявшись с ним, — ты видишь, какие озера?

<sup>1</sup> ĀSR — Чехословацкая республика.

— Вижу, Маковей, синие!

— Не я ли вам говорил, что в этот день все реки на свете станут такими!.. И Дунай, и Морава, и Днепро, и Волга!.. Правда, как льны цветут? Скинуть бы с себя все и поболтаться в тех льнах!..

— Помолчи, я тебе говорю! — неожиданно гаркнул подолянин на парня. — Слышишь, команду передают!

Команда налетела, ударила, как гром среди ясного неба:

— Танки справа!

Это было девятого мая, в полдень.

## 28

Полк как раз входил по автострате в широкую раздольную равнину. Насыпь дороги пересекала ее. Справа в равнину на многие километры врезались леса, обступившие ее с двух сторон, тянувшиеся зелеными ярусами далеко в горы. А слева от автостраты все поле пылало на солнце красными маками.

Красные маки!.. До самого горизонта пылали они на широком травянистом русле, которое, разворачиваясь, плавно переходило в ровные луга. Далеко за лугами, за мелькающими озерами белело какое-то село с высокой ребристой башней костела. Казалось, война совсем обошла этот тихий, как оранжерея, уголок чешской земли. И вот в этой большой оранжерее, наполненной теплыми легкими запахами разомлевших цветов и трав, внезапно свалилось на бойцов грозное предупреждение:

— Танки справа!

Казаков первым подлетел к командиру полка и угрожающе рапортовал, будто своему подчиненному. Самиев, выслушивая разведчика, тут же отдавал офицерам боевые приказы. Рота автоматчиков, бросив у дороги свои велосипеды и мотоциклы, метнулась в лес — в засаду. Стрелковые подразделения батальонов, пулеметные роты и взводы бронешойников тоже одни за другими исчезали в лесу, занимая боевые порядки вдоль долины, по которой, глухо грохоча, где-то двигались к автострате вражеские танки. Остальные подразделения полка с пушками и минометами, с лошадьми и повозками, со всем сложным боевым хозяйством ринулись с высокой насыпи влево, заполняя собой всю буйно цветущую просторную долину. Полк молниеносно превратился из мирного, походного, в ошестинившийся, жёстко деловой. Вдоль автостраты, которая на случай боя могла служить бойцам противотанковым барьером, стали артиллеристы и минометчики.

Уже сняты чехлы с минометов и орудий. Уже горячие гонцы полетели в дивизию. Уже в цементной трубе, проложенной под шоссе, врачи развернули медпункт. Люди притихли в привычном молчаливом напряжении.

А может быть, обойдется без боя?

Маковей, набив патронами обоймы, лежал у самой бровки шоссе рядом с Хаецким и другими однополчанами. Он следил за противником. Хома, сопя, ковырял на склоне насыпи ячейку, похожую на канаву. Механизированная вражеская колонна, выползая из глубины леса, двигалась посредине балки прямо на Маковея. Она была еще далеко, урчала глухо, но этот зловещий гул рвал Маковею сердце. Неестественно страшно было ждать взрывов, стонов и чьей-то крови в этот день. Жутко было ощущать, как смертельная опасность, приближаясь с каждой секундой, словно грабит тебя, проглатывает огромный цветущий мир, синеву озер, красные маки, рушит высокое, только что воздвигнутое здание праздника. Еще несколько минут назад бойцы слышали золотой

благовест над землей, слышали праздничный, охватывающий материк шум народов. И все это должно затихнуть перед мрачной силой, которая быстро выползает из леса сюда, к автостраде!

Уже невооруженным глазом видно: два средних танка впереди, за ними несколько бронетранспортеров, а дальше — вереница черных крытых автомашин.

Колонна не сделала еще ни одного выстрела.

— Может быть, это и не немцы? — обратился Маковей к Хаецкому, который удобно улегся в своей канаве.

— А кто ж, по-твоему?

— Может быть, это союзники вышли нам навстречу? Видишь, не стреляют.

— До союзников — еще боже мой...

— Чего там — боже мой! Ведь у них тоже все механизировано... Они могут за сутки передвинуться знаешь на сколько?

— Знаю... С каких пор скачут, да никак не доскачут...

— Неужели ж немцы? — Маковей не хотел верить собственным глазам. — Почему ж тогда они не стреляют? Ведь они видят наших лошадей...

Маковей оглянулся. Лошади, брошенные пехотинцами на произвол, разбрелись по долине и спокойно паслись. Оседланная гнедая кобылица Ясногорской, подняв голову, тихо ржала. А буланый Маковей медленно переступал ногами, рядом с конем Сагайды пощипывая траву, по колени бродя в красных маках. Конь Черныша бил копытом землю. Маковей отыскал глазами Черныша. Лейтенант стоял на цыпочках возле насыпи перед своими, готовыми к бою, минометами. Седая женщина, врач санроты, о чем-то спрашивала его, вытирая руки, а он сквозь зубы отвечал ей. Возможно, врач спрашивала его о Ясногорской. Шура вместе с пехотой Чумаченко была где-то в лесу, по ту сторону автострады.

— На погибель их несет, — заметил Хаецкий, внимательно следя за молчаливым движением колонны. — Наберется не меньше полка.

— Они, наверно, надеются, что мы их не тронем, пропустим без боя, — соображал телефонист. — Где-то, видно, задержались, а теперь спешат на асфальт.

— Асфальты теперь не для них. Им остались только болота да чащи лесные.

— А может быть, идут сдаваться? — утешал себя Маковей, сиюсь разгадать намерения вражеской колонны.

То, над чем он ломал себе голову, командиру полка было понятно с самого начала. Окинув взглядом «колбасу» (как мысленно называл Самиев колонну), он сразу определил ее характер, огневые средства, тактические возможности. Опытный глаз без труда мог заметить, что эта громоздкая неаккуратная колонна, растянувшись на километр или больше того, не представляет собой постоянной боевой единицы, что сформировалась она наспех из остатков разных, где-то разгромленных, частей. По характеру движения колонны легко было определить, что она уже не чувствует на себе твердой руки единого командования. Только этим и можно было объяснить хаотические заторы, то и дело возникавшие в результате своеволия водителей. Огневые средства колонны, возможно, даже сильнее, чем у полка Самиева. Но сейчас это не могло быть решающим. Сейчас действовали другие факторы, более значительные, нежели количественное соотношение стволов. И разное моральное состояние личного состава, и разный уровень дисциплинированности, и даже леса, обступившие балку, ограничивавшие врагу возможность маневра, — все это отметил и учел подполковник Самиев.

Замаскировавшись с офицерами на опушке, он «читал», всесторонне определяя, механизированную толпу врага. Ясно, она спешит вырваться на автостраду, чтобы податься к американцам. Захваченные в последнее время пленные откровенно заявляли, что, удирая к американцам, эсэсовские головорезы надеются получить у них отпущение всех своих преступлений. Ведь они не успели пройти с огнем и виселицами по заокеанским штатам, они еще только мечтали об этом. Их надеждам помешал Сталинград. Сейчас «колбаса» тоже, видимо, спешит вырваться на большую дорогу, чтобы устремиться на запад. Конечно, дело может обойтись и без боя. Если колонна согласится капитулировать, Самиев примет капитуляцию. Обезоружит, направит в тыл. А может быть, гитлеровцы и в самом деле надеются, что он их пропустит, не тронув? Тогда они его, конечно, тоже не тронут. Но для Самиева такой вариант был неприемлем. Честь советского офицера не позволяла ему уступать фашистам дорогу, уклоняться от опасности.

Следя за колонной, Самиев ждал сигнала капитуляции. Вот-вот взвьется над передней машиной белое полотнище... Ведь им уже ясно видно, что дорога перехвачена, занята советскими войсками. Несколько броневиков и «виллисов», обгоняя колонну, мчатся по балке. Тупорылые, как бульдоги, они рыскают у самого леса, словно обнюхивая его.

Не командование ли колонны едет капитулировать?

Вдруг передний броневик с ходу стеганул по опушке. К нему присоединились другие. Танки наводили хоботы орудий прямо на автостраду.

Самиев, подскочив, как на пружинах, энергично махнул кулаком офицерам-артиллеристам: давай!

Пушки рывкнули. Лошади, пасшиеся в долине, подняли головы, наострили уши и сразу стали похожи на диких.

## 29

Над всей долиной стоял дым. Не оранжерею, не теплицу, а огромную свежую воронку напоминала она теперь. Воздух нагрелся, погустел. Иссеченная металлом зелень опушек заметно поредела. Там, где еще полчаса назад двигалась грозная колонна, теперь в беспорядке догорали разбитые машины. Черные остовы их оголялись металлическими костями, оседали, тлели.

А в лесах, на восток и на запад от балки, еще трещали выстрелы. В бой вступали подразделения других полков, прибывших на помощь Самиеву. Как теперь выяснилось, механизированная вражеская колонна, которую только что разгромили самиевцы, была лишь передовым отрядом потрепанного эсэсовского корпуса, пробивавшегося лесами к автостраде. После разгрома своего авангарда гитлеровцы, бросая в панике технику и тяжелое оружие, массами ринулись в леса. Сбиваясь в отдельные большие и малые группы, они искали там спасенья. Но всюду их встречали огнем гвардейские засады.

— Всех на аркан! — скороговоркой частил Самиев, высылая свои подразделения наперерез отступающим. — Чтоб не улизнул ни один!

Закинутый аркан стягивался все туже. Бой, распавшись на несколько мелких стычек, догорал в лесах отдельными пожарами.

Черныш, оставив у минометов одних наводчиков, повел свою роту на подмогу пехгинцам. Ему хотелось попасть в восточную часть леса: там действовал батальон Чумаченко, где-то там была и Шура. Но Самиев бросил минометчиков вместе с полковыми артиллеристами и ротой связи совсем в другую сторону — в западный сектор леса.

Эсэсовцы защищались упорно, сдавались неохотно. Некоторые, не бросая оружия, торопливо натягивали в кустах гражданскую одежду, срывали с себя награды и знаки отличия. На протяжении часа минометчикам несколько раз приходилось пускать в ход гранаты, итти врукопашную. Уже были ранены Иона-бессарабец, ординарец Черныша Гафизов и командир 2-го взвода Маркевич. Однако, несмотря на потери, настроение у бойцов было повышено-боевое. Кто-то пустил слух, что среди эсэсовских недобитков шныряют, маскируясь под рядовых, известные военные преступники, и Хома хвалился, что собственноручно поймает хоть какого-нибудь завалившего Геббельса. Но как назло ему попадались одни только ефрейторы и обер-ефрейторы.

После короткого жаркого боя минометчики возвращались из леса триумфаторами. Они гнали впереди себя пленных, в десять раз больше, чем было в роте бойцов. Эсэсовцы топали в своей обвисшей опозоренной униформе, опустив глаза в землю, тупо покорившись своей судьбе. Потные, оборванные, как сборище истощенных лесных бродяг. Особенно повезло на этот раз Маковею: ему удалось захватить живьем генерала, когда тот, сопя, в кустах натягивал на свою прусскую лапу чешский эlegantный туфель. Он так и не успел обуться и ковылял перед Маковеем босой, в тесных гражданских штанах. Артиллеристы шутя предлагали Маковею обмен: давали ему за босого генерала двух оберстов с железными крестами. Маковей уже согласился было на обмен. Но братья Блаженко отсоветовали:

— Не надо, Маковей, не меняйся. Веди своего люцифера сам. Благодарность получишь от хозяина.

— Но ведь он босой, — беспокоился телефонист. — Туфли не лезают, а сапоги где-то пропали, пока я его обыскивал. Как в воду канули. Кто взял?

— Не волнуйся, Тимофеич, — успокоил телефониста Хаецкий. — У меня тоже один босой... Чорт его знает, где он чоботы потерял...

— Так у тебя ж ефрейтор...

— Это он только на вид ефрейтор, — объяснил подолынин. — А ты перелицуй его, посмотри, что у него там под сподом. Я уверен, что это не простая штучка! Видишь, как он нежно ступает босыми пятками по сухим кочкам? На пальчиках! По-моему, это какой-то переодетый Кох, а может быть даже Гудериан. Вихвиль яр война? — обратился Хаецкий к своему босоногому пленнику, топавшему в толпе. Тот, оглянувшись, молча поднял четыре растопыренных пальца.

— Четыре года! — воскликнул Хома. — Так ты, значит, все прошел, халамидник! По-первах, наверно, хорошо было итти, задрав голову, зеньками весь мир зажирая! Направо: «матка, яйки!», налево: «матка, млеко!..» Когда шел к нам, не думал про такой аминь! Думал, что на слабых нарвался, ведь они, дескать, войны не хотят. А как растревожил, так и сам не рад! Приходится босиком скакать по колючей чешской земле. Скакай, скакай, волоцюга, перемерешь голыми пятками мир, узнаешь, какой он широкий! Не влезет ни в чью глотку!

— Что ты их агитируешь? — упрекал Хому Денис, шагая рядом с Чернышом. — Ты же видишь, они еще в себя не пришли.

— Разве я агитирую? — возражал Хаецкий. — Я только объясняю, какая она есть, наша правда! Не трогаешь нас — мы смиренные и мирные, затронешь — пеняй на себя.

На австраде уже снова было людно. Со всех концов леса возвращались подразделения, возбужденные, распалившиеся, бодрые. Как будто не из утомительного боя выходили, а только сейчас собирались

в бой. Гнали косяками пленных, несли какие-то трофеи, волочили по земле фашистские знамена. Оседланные лошади, еще с налитыми кровью глазами, испуганно метались по долине, вырывались на шоссе. Уздечки в цветах, гривы в лентах... Маковой узнал среди них и лошадь Шуры. Запаленно храпя, она летела без своего всадника вдоль шоссе, и седло на ней, повернувшись на подпругах, сползло вниз, болталось на животе.

Передав генерала братьям Блаженко и сразу же забыв о нем, Маковой кинулся ловить шуриноного коня. Сагайда и Черныш побежали к нему на подмогу. Но дрожащий, встревоженный конь не дался им в руки: опалив ловцов горячим дыханием, он проскочил между ними и, звонко выстукивая подковами, помчался вперед, вдоль автострады.

Внизу, возле виадука, медсанбатовские машины забирали раненых. «Как их много! — вздрогнул Маковой. — Лежат на дороге, выходят из леса... И, кажется, большинство из нашего батальона. Даже комбата Чумаченко офицеры ведут под руки. Без фуражки он совсем седой... А кого-то несут на плащпалатке... А кому-то уже копают край дороги могилу... И Шовкун идет с забинтованной головой... Что ж это такое?»

Шовкун, заметив минометчиков, быстро пошел к ним навстречу. Приблизжался, позванивая медалями, забрызганными яркой, еще свежей кровью. Маковой стало страшно: глаза Шовкуна были полны слез.

На этом обрывалось последнее ясное восприятие Маковой. Дальше все уже пошло кошмарной коловертью, пролетали в сознании только отдельные, болезненно яркие обрывки окружающего. Мир наполнился угаром, как огромная душегубка.

На рябой трофейной палатке автоматчики несли Ясногорскую.

— Он выстрелил ей в спину из-за дерева, когда она перевязывала комбата... Двумя разрывными подряд...

«Кто он? Почему из-за дерева? Почему в спину?» — думал телефонист, слушая суматошный гомон вокруг, куда-то торопясь за товарищами, пугаясь в крепкой, прибитой траве. Не заметил, как очутился в тесной толпе, и, ступая ногой в ногу с другими, молча побрел за палаткой. С каждым шагом сознание его проваливалось в удушливый мрак. А перед ним между солдатскими пропотевшими спинами ритмично плыла поднятая палатка, проплывала в туманную безвестность — сквозь бесконечный угар, сквозь конское ржанье, сквозь команды, уже звучавшие где-то на опушках, будто ничего и не случилось.

А на палатке лежит навзничь какая-то не знакомая Маковой девушка. Растрепанная, спокойная, в изорванных венках, в измятых погонах. Не она! Плывет и плывет, покачиваясь, словно на волнах тумана. Голова бессильно клонится набок, а чья-то рука, загорелая, исцарапанная до крови, время от времени поправляет ее. Кто это? Чья это загорелая рука с разбитым компасом на запястье? Лейтенант Черныш. Простоволосый, сгорбленный, перетянутый накрест через спину пропотевшими ремнями... Бредет рядом с палаткой, то и дело спотыкается, отставив назад острые локти, словно толкает впереди себя что-то каторжно тяжелое.

Нет, это действительно она лежит, раскинувшись устало и неудобно, в венках, которые забыла снять перед боем!.. Нет венков, нет цветов — одни лишь стебли, оборванные, залитые кровью...

Лежит, как живая, неестественно белая, спокойная. Смотрит на Маковой удивленным, неподвижным, раз навсегда остановившимся взглядом. Вот-вот шевельнутся полуоткрытые губы, оживут в тонкой улыб-



ке, а рука сожмется, чтоб подняться... «Поднимись, улыбнись, вздохни! На, возьми мою силу, мою кровь, мое дыхание!»

Перешли автостраду, побрели среди пылающих маков, остановились на склоне долины, край дороги. Яма была уже готова. Возле нее, прикрытые, лежали погибшие в этом бою. Ясногорскую положили рядом с ними и тоже прикрыли палаткой до самых глаз. Похоронная команда счищала с лопат сырую землю. Этот железный скрежет обжигал Маковея. Парень словно только сейчас постиг все, что произошло. «Яма! Яма!!!» В ужасе отшатнулся от нее, кинулся прочь, отбежал на несколько шагов, упал лицом в примятую густую траву. Дав себе волю, заплакал, зарыдал, уткнувшись в спутанные зеленые космы, удивительно похожие на девичьи распущенные косы-косички...

Зачем, зачем это произошло? Почему он выстрелил ей в спину двумя рывками подряд? Кто этот он и где он сейчас? Поймали ли его, уничтожили?

«Маковей, возьми меня на руки и понеси по белому свету!.. Пронеси в ту даль, где уже нет войн, где их никогда не будет, где гремит музыка свободы»...

А может быть он, тот, что стрелял из-за дерева, еще бродит где-то в лесах, подкрадывается тайком к золотым городам, с ненавистью прислушивается к радостному гомону народов?

«Маковей, сделай для меня то, сделай для меня это...»

«Встань, и я все сделаю! Живи, и я все сумею!»

«Разыщи того, кто стрелял из-за дерева! Покарай, засуди его, уничтожь. Тогда я оживу и приду к тебе и всюду буду твоей спутницей...»

Маковей поднял на ноги троекратный салют, которым полк провожал в братскую могилу Ясногорскую и ее товарищей.

Уже было произнесено прощальное слово, уже люди разбегались по своим местам, выполняя команды, снова собираясь в дорогу. Вот пропал краснеющий Сагайда, вот пробежал пригнувшись Черныш, неловко тыча пистолет в кобуру и не попадая в нее. У дороги, среди пылающих маков, остался свежий холмик земли с маленьким граненым обелиском; пятиконечная звезда венчала его.

От влажной могилы еще шел пар, она дышала из-под обелиска дрожащим прозрачным маревом. Огромное солнце, согревавшее в этот день далекую трансильванскую сопку, грело своими щедрыми лучами и эту пирамидку свежей парной земли, черную, внезапно выросшую у дороги на расстоянии пушечного выстрела от Праги.

Будет так: под вечер из окружающих сел придут на поле боя чехи и чешки. Они найдут братскую могилу погибших, любовно обложат ее красными маками. Молча, как в немой присяге, всю ночь будут стоять они над ней со свечами в руках. И то, о чем передумают чешские девушки в эту майскую ночь, уже не забудут они никогда. Никакая жара не высушит цветы на могиле: ежедневно сменяемые, они всегда будут живыми.

А еще позднее в истории полка под датой 9 мая 1945 года появится лаконичная запись:

«Бой в Долине красных маков».

Команда «строиться» вывела Маковея из минутного забытья. Он сразу вспомнил, что у него есть автомат № 805, что у него есть конь по кличке «Мудрый», что где-то на повозке лежат его аппараты и мотки красного кабеля.

Где же «Мудрый»?

«Мудрого» подвел к нему Роман Блаженко. Сам поправил седло, сам подтянул подпругу.

Когда полк двинулся своим привычным порядком в прежнем направлении, к Маковею подъехал Черныш. Потемневший, заросший, сразу постаревший. Крепко, словно навсегда, сжаты губы. Сухой антрацитовый блеск в запавших глазах. Голова опущена на грудь, плечи остро подняты, словно лежат за ними сложенные крылья...

С километр ехали молча, колено к колену. И это суровое молчание сближало их. Потом как-то невзначай переглянулись покрасневшими скорбными глазами.

«Маковей, это ты рядом со мной?»

«Это я, лейтенант».

И оба вдруг поняли, что отныне будут до боли близки и дороги друг другу, еще ближе и дороже, чем раньше.

Всю дорогу их видели рядом.

В первом же поселке, через который проходил полк после боя, минометчики увидели шуриного коня. Он стоял на площади среди громкоговорителей, высоко подняв голову, окруженный чехами и чешками. Сбруя на нем уже была в порядке, седло на месте. Радостные, шумливые, как птенцы, ребятишки толпились вокруг коня, наперебой хватались за стремяна, просили отцов, чтобы посадили в седло. Взрослые подсаживали их по очереди. Каждую минуту в седле появлялся, счастливо оглядываясь вокруг, новый светловолосый всадник или юная храбрая всадница. Вся залитая солнцем, площадь звенела звонким детским щебетом.

### 30

Тем временем чешская красавица-столица шумела радостным праздником.

Злата Прага...

В этот день она была действительно золотой. Словно все предыдущие вёсны, украденные у нее оккупантами, сейчас возвращались к ней с утроенной звонкостью, роскошью солнца, полководьем музыки.

Шумные человеческие реки затопили пражские сады, улицы, площади. Торжественно выстроилась вдоль проспектов зеленая стража каштанов — почетная стража весны.

Стоит на Староместском майдане врезанный в века Ян Гус, осматривает свой старинный град. Еще никогда этот славянский город не был таким молодым и солнечным. Еще никогда такой счастливый шум не клокотал здесь от края до края...

Стоят на Карловом мосту гигантские фигуры двенадцати апостолов, смотрят на ярко разукрашенные набережные, на спокойные воды синей Влтавы. Сегодня Влтава не хмурится ни одной тучкой, потому что не хмурится небо над ней. Уже не падает тень на Злату Уличку, узкое и извилистое убежище средневековых мечтателей-алхимиков... Сегодня она стала по-настоящему золотой, не в мечтах, а наяву. Сегодня она как будто стала шире и выпрямилась, вышла в залитые солнцем проспекты.

Стоят на проспекте имени Сталина десятки тысяч пражцев, еще бледных от хронического недоедания, буйно опьяневших от чистого

воздуха свободы. Прекрасный проспект, которому народ сегодня дал имя освободителя, очищаясь от баррикад, становится просторнее, вытягивается вдаль, убегает куда-то за город, будто к самому солнцу. Прага звенит, поет, празднует победу...

— Итти по ней, итти по великой магистрали Сталина!

Все радиостанции транслируют советские марши. Сквозь гром оваций, сквозь неутихающее на протяжении километров тысячеголосое «наздар!» проходят танки победителей. Украшенные зеленью, усыпанные цветами, они проплывают сквозь человеческое море, как огромные живые клумбы. А на танке в замасленном шлеме с развернутым знаменем в руке стоит добродушный русский парняга, улыбаясь народу своей широкой уверенной улыбкой:

— Порядок в танковых частях!

Так вот он какой, боец армии Сталина... Десятилетиями на него клеветали. Десятилетиями народам мира говорили о нем неправду. Теперь он, услышав призыв изнемогающей Праги, пришел сюда железным маршем, высоко выпрямился на своей расцвеченной машине, и народы могут, наконец, посмотреть на него вблизи. Озаренный сиянием Сталинграда, вооруженный посланец молодого мира, он стал для них надежным образцом, показав, как надо защищать свою свободу и честь, как надо карать врагов человечества. Великий справедливеец, собственной грудью он защитил народы мира от разбойничьего потопа.

Теперь он стоит на танке, гордо держа в руке знамя своей Отчизны. Багряная тень шелка ложится на юношеское лицо, переливается в умных глазах, перевидавших многое, вобравших в себя полмира...

Танк пролетает Вацлавским наместьем, и тысячи поднятых рук рвутся вперед за знаменосцем. Они хотели бы поднять его вместе с танком и понести, как свою надежду, через весь город. И очень скоро произойдет именно так: на городской площади свободные руки воздвигнут высокий пьедестал и водрузят на нем этот советский обстрелянный танк, отлитый из уральской победоносной стали...

Злата Прага...

Никогда еще не была она такой золотой. Поэзия свободы, солнечная гроза революций слышалась в ее триумфальном клёкоте.

В скромный домик на Гибернской улице, где когда-то состоялась Пражская партийная конференция, в комнату, где тридцать три года назад бывал великий Ленин, шли и шли делегации воинских частей. Днепровские и Трансильванские, Берлинские и Будапештские, Белградские и Братиславские полки и дивизии посылали сюда своих представителей. Густо загоровшие, бывалые воины в орденах и медалях, с венками и флагами в руках поднимались за проводниками-чехами на четвертый этаж, на высокий командный пункт гениального стратега революции. Несли ему великий сталинский рапорт, докладывали об исполнении его заветов. Задумчивые, притихшие, с пилотками в руках стояли среди венков и знамен, разглядывая отсюда самые далекие горизонты истории, свое прошлое и свое будущее. И эта скромная сумеречная комната, полная музейного торжественного холодка, казалась им вознесенной над миром выше дворцов, выше небоскребов.

Посланцы Сталина, освободители Праги, они отчитывались перед Ильичем самым появлением своим здесь, в этой комнате, которую когда-то так ревностно разыскивали шпики царской охранки и австро-венгерской жандармерии. Отчитывались перед ним великой победой. За окном раскрывалась панорама свободного города, плывущего в потоке солнца, в мареве знамен. Везде и всюду плещутся они на балконах домов, на крышах и на башнях, касаясь множеством крыльев тонкой голубизны небосвода. Трехцветные чехословацкие и рядом с ними, как их старшие братья, — красные советские с серпом и молотом. Вот он, триумфальный поход ленинизма, воплощенный материально, видимый и ощущаемый уже всей планетой!

Одной из первых в этот день комнату Ленина посетила группа танкистов. В книге впечатлений танкисты оставили свою короткую запись, которая заканчивалась рядом подписей на полстраницы. Среди других стояла подпись и гвардии лейтенанта Николая Воронцова. Молодой офицер-танкист, сын замполита Воронцова, оставляя свою запись, конечно, не знал, что через несколько часов ее прочтут разведчики самиевского полка и привезут майору радостную весть о сыне.

Полк вступил в Прагу под вечер. На рысях проходил по людным рабочим окраинам, получив новое боевое задание, направляясь дальше на запад.

Рабочие разбирали последние баррикады, поднимали опрокинутые трамваи. Женщины и дети с криками и проклятьями гнали за город толпы растрепанных, одичавших посадников-швабов. Чтоб не смердело фашистским духом в золотой Праге! Чтоб не гнездилась здесь опостылевшая тевтонская агентура!.. А по крышам и чердакам дружно сновали рабочие подростки в новых фуражках народной милиции. Упорно выискивали одиноких фашистских крыс, насквозь прочесывали родные окраины, радостно кричали сверху:

— Наздар!

Мостовая звенит.

Летят и летят ряды озаренных солнцем лиц, обветренных и загоревших, закаленных стужами и зноем. Летят, впервые увиденные Прагой и уже навеки родные ей... Видит она в большой гвардейской колонне и сурово настороженного Васю Багирова, с древком в руках, и возбужденного Казакова, и майора Воронцова, который оглядывает бойцов, словно спрашивая самого себя: который из них ему дороже, который для него самый родной? И каждого ласкает теплым взглядом, и каждым гордится, и каждого чувствует сыном... А рядом скачет маленький горячий Самнев на высоком коне... А дальше — играет золотыми погонами новый комбат, заменивший Чумаченко... Едут Черныш с Маковеем, оба задумчивые, оба грозно нахмуренные. За ними, плечо к плечу, двигаются Сагайда и Ягодка. Дальше высятся братья Блаженко, Роман и Денис, как два отлитых бронзовых гиганта. Мчится на своем резвом жеребчике Хома Хаецкий, решительно поводя усами, зачарованно осматривая Прагу. Строго покрикивает, закинув голову, обращаясь к молодой чешской милиции:

— Ищите по всем щелям, по всем дымарям!.. Не давайте им вить гнезда! Выводите их на площади и судите великим судом! Чтоб знали,

какая доля разбойников ждет! Чтоб заказали всем внукам и правнукам — до десятого колена!..

Рота за рогой проходит полк, гремит и звенит по пражской мостовой. Ряды уже заполнены, по ним уже не видно, чего стоили полку Плацдарм и Долина красных маков, Альпы и тысячи других боев. Проходит он, сдерживая в себе свои большие боли и радости, неся в себе непоколебимые свои присяги и мечты.

Рядовой и обычный, похожий на тысячи других полков, проходящих здесь в этот день.

Монолитной сомкнутой колонной при развернутом знамени, лицом к солнцу...

Таким пройдет он через всю Прагу, высекая на стенах чешской столицы свои знаменитые указки. Таким пройдет он за город — в золотое море далеких незнакомых дорог.

Испытанный всем.

Готовый ко всему.

*Перевел с украинского Лев Шапиро.*



---

---

# ПОД СТАРЫМ ВЯЗОМ

*Повесть*

А. МИТРОФАНОВ



*Глава 1*

## Ветер поет прощальную песню

**Б**ыл ветренный июньский день, когда я решил отправиться в свое необычайное путешествие.

Пора, пора!

Прощальным взглядом я окинул просторный двор с его деревьями, дружной семьей толпившимися посредине. Только старый вяз, готовый вот-вот повалиться под бременем сучьев, рос одиноко, в углу двора, милый моему сердцу старый вяз с кривым стволом, под которым я так любил сидеть по вечерам. Когда я снова увижу его?..

Женя и Алеша сидели рядом со мной на нашей ветхой скрипучей скамейке. Они только что поссорились. Это было мне не в диковину — они то и дело «цапались», по выражению Алеши. Я часто журил их за это. Но сейчас — с каким удовольствием сейчас я вник бы в их вздорную ссору и помирил бы ребят! Пусть я втрое старше каждого из них — ведь они пришли проводить меня в далекий путь, они были последними из жителей дорогой мне земли, которых я вижу.

Я давно жил в этом доме и знал Женю и Алешу еще совсем малышами. Как-то, проходя по двору, я разрушил даже, нечаянно конечно, затейливую постройку из песка и щепок, которую Алеша не спеша соорудил под старым вязом. Это на время испортило наши добрососедские отношения. Однажды в мою комнату — я жил в первом этаже — залетел большой разноцветный мяч, и я, с минуту полюбовавшись им, вернул мяч через окно семилетней девочке со смешной челкой на лбу. Ребята росли и росли — вместе со старым вязом... Но дерево росло незаметно. Часто, когда оно было одето листвою, я смотрел на него. Лениво разбредалась над моей головой ветви, чтобы опять, нехотя, мешая друг другу, толпиться вместе. Конечно, вершина вяза стремилась год от году занять все больше места в небе — но разве считаешь, сколько новых листочков прибавилось в его шумящей кроне? А Женя и Алеша уже стали заговаривать со мной, потом на груди у каждого — у Алеши раньше, у Жени позже — вспыхнул алый галстук. Это уж не новый листик у вяза, этого нельзя не заметить! Ребята занимали все больше места в жизни, шумевшей вокруг них. Мы подружились. О чем только не переговорили мы, сидя под старым вязом.

— Эй, ты! — закинув голову, крикнула Женя ветру, который путал ее черные, коротко подстриженные волосы.

И она стала насвистывать, лукаво поглядывая на Алешу: не хочешь разговаривать со мной, так я буду болтать с ветром!

Дело в том, что Женя была чересчур смешлива, и это не нравилось Алеше. А сам Алеша — хотя он и был всего на год старше Жени — был мальчиком суровым и солидным. Он даже о своих веснушках говорил с достоинством, и размеренным голосом пояснял причины их возникновения на его круглом лице с толстым, добродушным носом.

Ветер принялся подметать двор, но сделал это только наполовину, со всей силой набросился на деревья. Они встретили его грудью. В шуме их листья чувствовались сила и важность. Они собирались расти еще не одно десятилетие. Их крепкие корни глубоко ушли в теплую почву, обходя камушки, не тревожа своим медленным ростом копошившихся во тьме земляных червей, — те кропотливо прокладывали извилистые ходы, не подозревая о шумящих в небе вершинах деревьев, о чистых и глубоких речках и об острых крючках с наживкой, на которые попадает рыба, снующая в этих речках.

А ветер напирал изо всех сил и несколько раз пытался засвистеть, словно его сердил важный, широкий шум листьев. Деревья шумели еще сильнее, и небо, казалось, кипело в беснующейся листве.

И время вместе с ветром мчалось вперед. Шум деревьев торопил меня.

Пора, пора!

Какие приключения, какие опасности ждут впереди, в этой мрачной стране, куда я отправляюсь через какие-нибудь четверть часа?

Меня ждали опасности особого рода.

Я достоверно знал, что в стране, в которую я должен буду скоро углубиться, живет и правит народом коварное и злое племя. Я знал дикарские обычаи этого племени.

Правда, все правда, что говорили об этой стране, сокрушаясь и негодуя.

Странные и страшные дела происходили там...

Кроме того, в силу некоторых причин (о них — позже) я был лишен всякой возможности сношения с остальным миром. Радиоволна, посланная с любой точки земного шара, не нашла бы меня, если б даже я и позаботился захватить с собой приемник. Ни письмо, ни телеграмма не могли дойти до меня. Мне не суждено было, как другим путешественникам — отчаявшимся, затерянным на пустынном берегу, — увидеть вдруг дымок парохода, который спешит им на помощь, разрезая морские волны. Мне нечего было и думать об этом! Я буду лишен даже возможности прибегнуть к старинному средству мореплавателей, потерпевших кораблекрушение, — написать записку, вложить ее в бутылку, и бросить бутылку в море, в надежде на то, что случайно ее подберет какое-нибудь судно.

Заго я имел перед другими путешественниками неоспоримое преимущество.

Всем известно, как долго и тщательно — месяцы, а то и годы — снаряжаются экспедиции в далекие страны.

Мне не надо было заботиться о снаряжении, составлять список вещей, запастись пресной водой. Я собирался отправиться в далекий путь налегке. На мне были кремового цвета рубашка и легкие брюки, купленные недавно в универсаме. Обут я был в парусиновые туфли защитного цвета. В левом кармане брюк лежала расческа, в правом — карандаш и записная книжка. Вот и все. Я не собирался возиться с собачьей упряжкой, примеривать меховые сапоги или проверять компас и рулевое управление корабля.

... Течение моих мыслей прервано было спором, возникшим между Женей и ее суровым другом. Дело заключалось, как я мог понять, в следующем.

Двери квартир, в которых проживали Алеша и Женя — он в № 21, она в № 22, — выходили на одну площадку.

Сегодня рано утром Женя с сумкой в руках — она успела побывать на рынке — подымалась по лестнице, когда открылась дверь и на площадке второго этажа показался Алеша. Он сделал два шага вперед, увидел Женю, успел даже произнести «привет» и протянуть ей руку, но споткнулся, упал и, пересчитав ребрами четыре ступеньки, приподнялся и растерянно сел на пятой.

Нелепые домыслы Жени по поводу этого незначительного происшествия выводили Алешу из себя. Женя утверждала, что он упал нарочно, чтоб испугать ее.

— Чудачка, — покачивая головой, говорил Алеша. — Зачем, скажи пожалуйста, мне понадобилось тебя... испугать? Если ты будешь приставать ко мне с разными глупостями, дело кончится тем, — он вздохнул, — что я перестану заниматься вместе с тобой английским...

Экие пустяки! И все же я вмешался в этот нелепый спор.

Женя слушала мои доводы в пользу примирения, наморщив нос, словно собиралась чихнуть. Ее разбирал смех, но она сдерживала себя.

Алеша уже не сердился, он благодушно поглядывал по сторонам, но Женя все испортила. Она крепилась, крепилась изо всех сил, но — мрачный вид Алеши и этот толстый, добродушный нос — как удержаться от смеха!

А старый вяз — на него как раз налетел буйный порыв ветра — шумел всей массой своей листвы.

— Видели чудачку? — снисходительно усмехнувшись, спросил меня Алеша.

А я дышал — и не мог надышаться воздухом страны, с которой должен был сейчас проститься. Я завидовал задорному веселью Жени и алешиной солидности.

— Пора, — сказал я, взглянув на часы.

## Глава 2

### Ветер готов наполнить паруса

Да, ветер бил мне в лицо, готовый с такою же яростью, с какой он бушевал в листве, наполнить паруса любого корабля и гнать его все дальше и дальше, по вспененным волнам.

Но никакого корабля и никаких парусов не было. Я ведь уже говорил, что путешествие мое будет во всех отношениях необычайным.

Мы поднялись со скамейки и прошли к сквозной чугунной ограде, которой был обнесен наш двор. Машина дожидалась меня под старым вязом, в углу, который образовывали ограда и примыкавший слева к нашему двору серый особняк с громадными итальянскими окнами.

— Где же она? — воскликнули в один голос Женя и Алеша.

— Вот здесь, — показал я рукой.

Лицо Жени было еще озарено весельем.

— Я вижу ее, — сказала она.

— Вот еще, — ворчливо возразил Алеша, — а я не вижу.

Несмотря на кажущуюся противоречивость этих суждений, ты, читатель, понял бы обоих — и Женю и Алешу, — если бы был в эту минуту рядом с ними, под шумящей листвой, и глядел во все глаза на то



место, где стояла машина. Нет, «стояла» — это не то слово. Она трепетала, как солнечные пятна, напряженно пытающиеся собраться вместе, уплотниться.

Всем известна сумасшедшая скорость — 300.000 километров в секунду, с которой свет устремляется в пространство, встречающее его с ледяным спокойствием: ведь оно бесконечно. Так вот, скорость моей машины почти достигала скорости света. Многие рычажки машины, при первом прикосновении вступающие в действие — одни молниеносно, другие медленно, как бы задумчиво, — были во много раз тоньше самого тонкого волоска. Все существующие на земле приборы и машины казались грубыми рядом с этой. Не будет преувеличением сказать, что взаимоотношение ее частей во время работы, рождение движения в ней, было сложно и неуловимо, как рождение мысли в человеческом мозгу.

Про то, что мы видели, стоя под старым вязом, можно было сказать: машины еще нет, но вот-вот она будет. Или, с равным приближением к истине: уже есть, намечается, но начинает тут же не быть.

Недаром неугомонная Женья вскричала:

— Я вижу, вижу!

А честный Алеша, который всегда говорил правду, с сокрушением сказал:

— А я — нет!

И он даже рассердился немножко, как сердиться, наверное, и ты, читатель. Но — терпение! Пока я предпочитаю не распространяться слишком подробно о своей машине.

Я справился у ребят, передали ли они моей жене записку, в которой я предупреждал, что некоторое время буду отсутствовать. Они отвечали утвердительно.

Тут Женья, покачав головой, заметила, что я не побрился. Конечно, это было досадное упущение — но что ж теперь делать! (Скоро я убедился, что совершенно напрасно сокрушался по этому поводу.) Гораздо досадней было, что я не удосужился зайти к врачу, чтобы вставить два передних верхних зуба, которых у меня нехватало, отчего я иногда слегка шепелявил.

Но теперь уже поздно думать об этом.

Пора, пора!

Я сделал шаг вперед и очутился на том месте, где была машина.

Передо мной все еще была знакомая улица, и я видел сквозь решетку ограды, как сновали взад и вперед прохожие, мчались автомобили, с шумом, напоминающим шум листья, катились троллейбусы. Прошел знакомый мне кандидат технических наук из соседнего дома.

И еще: старый вяз накренился под ветром, как тонущая лодка, и в щели между сучьями извилистыми струями хлынула июньская синева.

Синева, синева...

Она начала тускнеть, тускнеть все больше. Деревья на середине двора сдвинулись и поплыли в охваченном дрожью, посеревшем, как в дождик, воздухе.

Я отвернулся и стал смотреть перед собой.

Вперед! Смелее вперед!

Вперед? Я не мог не покачать головой.

В моих обстоятельствах было бы точнее употребить совсем противоположное слово: «назад!». Но смешно как-то восклицать, подбадривая себя: «Смелее... назад!»

Итак, я смотрел прямо перед собой.

Конечно — этого надо было ожидать — все, что я видел — воздух, люди, дома, — претерпело те же изменения, которые я обнаружил, когда обернулся, чтобы посмотреть в последний раз на Женю и ее друга.

Потом все стало струиться — это похоже было на мельканье киноленты, и в этом струящемся потоке меркли одни и возникали другие формы — намеки на предметы, фигуры людей, какие-то неуклюже движущиеся массы — может быть, дома?

Происходило то, что и должно было происходить. Страны, которую я покинул, уже не было, а та, в которую я мчался, еще не возникла.

Я сам, все мое существо переставало быть тем, чем оно только что было, но еще не превратилось, вместе с зыблящимся передо мной, пытавшимся возникнуть миром, в то, во что оно должно было — вот-вот, сейчас, через минуту — превратиться.

Воспоминания о недавнем прошлом, как я ни силился удержать их сопротивляющимся рассудком, покидали меня. Возникла память о другом, пережитом здесь, здесь, в этой стране, которая скоро откроется передо мной.

Между тем, фигуры людей и предметы, которые я различал уже в дрожащей полумгле — словно смотрел на них сквозь плохое, с «сучками», волнистое стекло в быстро несущемся вагоне трамвая, — становились все определенной.

### Глава 3

#### Загадочные буквы. Подарок

В воздухе стали мелькать большие буквы. Некоторые из них были позолочены. Они слагались в колеблющиеся, непонятные слова: «...едушк...», «...чичк...», «...трак...» и уже совсем нелепое, повторившееся дважды «Бла... Бла...».

Потом воображаемый вагон остановился. Стекло стало прозрачным.

Странный шум слышался со всех сторон. То дребезжали извозчичьи пролетки. Стоя твердыми ногами на пыльном клочке земли, я мог смотреть, смотреть во все глаза.

И хотя картина, открывшаяся передо мной, была необычайной — я не разинул рта от изумления, что было бы вполне извинительно при других обстоятельствах.

Чего мне изумляться, когда я один из жителей этой страны, и, кажется, не первый год. Разумеется, не первый год, потому что уже успел нажить воспоминания, смутно копошившиеся в моем мозгу.

Самым новеньким было воспоминание, связанное с синяком под глазом. Мне трудно было моргать. Я только что с кем-то подрался, кому-то насовал под бока, но и мне, как видно, порядком досталось.

Я потрогал синяк и злобно сплюнул в пыль.

Передо мною лежала московская улица. Не та ли, которую я недавно покинул? Только теперь ее не покрывал свежесполитый асфальт, в котором отражается июньское небо. Она была замощена булыжником. На противоположной стороне улицы помещалось несколько магазинов, украшенных большими вывесками. Почти каждая отрасль торговли была представлена двумя-тремя магазинами, принадлежавшими разным, соперничавшим друг с другом хозяевам.

На левом углу ютилась «Колониальная торговля Дедушкина», на правом ждала покупателей «Колониальная торговля Генералова». Снабжавшие москвичей молочными продуктами «Чичкин» и «Бландова сыновья» торговали бок о бок. И две булочных почти рядышком: «Филиппов» и «Чуев».

Филипповская вывеска была больше, и на ней, кроме фамилии владельца, красовалась над огромной позолоченной деревянной медалью надпись, тоже позолоченными буквами: «Поставщик Двора Его Императорского Величества».

Только учреждение под желто-зеленой вывеской «Трактир» существовало в единственном числе.

Трактир помещался во втором этаже неказистого здания. Крутая замызганная лестница, которая вела туда, была вся на виду.

Толпа прохожих, заполнявшая тротуары, освещенная беспощадными лучами солнца, была... как бы выразиться поточнее — толпа эта вызывала ощущение духоты.

Застегнутые до горла рубахи, запахнутые сюртуки... Навстречу мне, переходя улицу, шел человек в черном котелке, с грудью, защищенной, как панцирем, твердой белой манишкой. Такие, туго накрахмаленные манишки, надо полагать, служили хорошей защитой от солнца и свежего воздуха.

Извозчики, то и дело проезжавшие на своих скрипучих пролетках по булыжной мостовой, восседали на козлах, наглухо, до пят запакованные в синие армяки. У каждого на голове было нечто вроде цилиндра.

Только от фигуры ломового, сидевшего в нескольких шагах от меня на краю своей подводы и обдиравшего воблу, веяло некоторой вольностью. Его одежда была в дырах, могучая грудь обнажена.

Но и он старался спрятать получше свое тело, хотя и тщетно. Из его пиджака лезли лохмотья ваты, на плечи наброшен был рыжий мешок, на голове — ватный, вылинявший картуз.

И мне захотелось быть таким же здоровяком. И мне захотелось всблы...

В толпе часто попадались пьяные.

В подворотне того дома, где помещался трактир, какой-то человек в синем пиджаке, запрокинув голову, сосал водку из маленькой бутылочки. Его бородатое лицо выражало блаженство.

Котелки, фуражки и шляпы всякого рода шарахались от него в стороны.

Из-за угла медлительно выехала бочка на колесах, которую тащила понурая лошадка. На козлах сидел человек в зеленой куртке, с зеленой фуражкой на голове, в белом фартуке. Сзади из бочки текли на мостовую, как из разбитой лейки, жидкие струйки воды.

Человек в зеленой куртке неизвестно зачем проехал вдоль улицы. Очевидно, он полагал, что поливает мостовую, надеялся хоть несколько прибить пыль.

Пыли не убавилось, но там, где пролились на мостовую скудные струи, умытый булыжник стал разноцветным и веселым.

Впрочем, теперь я ничему не удивлялся. Все это было в порядке вещей — пьяные, невозмутимый поливальщик, пыль...

На мне, кроме ситцевой синей рубашки, красовались штаны из бумажной материи неопределенного цвета. Пяткам моим было приятно, они попирали нагретую солнцем пыль. Я был бос, зато на голове моей, как у всех добрых людей, красовался картуз.

Я запустил руку в правый карман штанов и извлек оттуда — вместо записной книжки — несколько предметов. Среди них были:

Комочек тонкой резины, прикрепленный к деревянной свистульке. Стоило мне подуть в свистульку, как комочек превращался в пузатого чортика, с нарисованным лиловой краской лицом. Брови чортика стерлись, отчего лицо его имело жалостное выражение — очевидно, я не первый день таскал его в кармане.

Ключ, который наверняка не открывал никаких сундуков с сокровищами.

Листок, вырванный «с мясом» из тетрадки, на котором, разгладив его, я прочел следующее четверостишие:

Я — пират, я — сын свободы,  
Я, как конь, несуся вдаль.  
Мне товарищ — моря воды,  
Пистолет, кинжал и сталь.

Стручок акации.

Вы спросите: а это зачем? Не беспокойтесь, я-то прекрасно знал — зачем!

И, наконец, серебряный рубль.

Итак, я очутился в Российской империи — об этом красноречиво свидетельствовали и фйлипповская медаль, и надпись на монете, извлеченной мной в числе прочих предметов из кармана.

Я даже знал, на что и где можно истратить этот рубль — целое богатство для такого мальчика, как я. Но монета не принадлежала мне. Струйский (о нем речь впереди) велел отдать ее нашей квартирной хозяйке.

Был тысяча девятьсот двенадцатый год, июнь месяц.

И мне было немногим больше двенадцати лет отроду.

...Кстати, чтоб не забыть. Российская империя, едва я появился в ее пределах, сделала мне маленький подарок: два верхних передних зуба. Когда я отправился в свое путешествие, они, как читатель уже знает, отсутствовали.

Теперь они были на месте, среди других, крепких и белых зубов.

Уж что правда — то правда.

## Глава 4

### Подвал

Предметы, издающие вой, писк, свист и другие негармоничные звуки, всегда пользовались предпочтением у мальчиков всех эпох и народов.

Я не составлял исключения из этого правила. Так как мой подержанный чортик, если его надуть, пищал, вздыхая, очень слабо, я решил прибегнуть к стручку.

Приложив стручок к губам, я изо всех сил дунул в него. Стручок не пищал, не выл, не свистел — он пронзительно верещал. Звук получился резкий и противный. Он не ласкал слуха, о нет.

Так я оповестил о себе свой двор, но никто не откликнулся другим, таким же противным звуком. Стало быть, Ленька Хорек сидит почему-то дома.

Двор наш был большой, пыльный и унылый. Правда, посредине росло несколько деревьев. Сейчас, когда я взглянул на них, они показались мне невзрачнее, чем всегда. Со стороны улицы, которую я только что описал, забор был совсем разрушен. Двор глядел на улицу, улица глядела на него. Впрочем, глядеть было не на что, и прохожие проходили мимо нашего двора, вовсе не проявляя интереса к облупленным стенам одноэтажных флигельков с подвалами и полуподвалами, нескладно расставленных по сторонам двора. На веревках, протянутых между деревьями, водосточными трубами и флигельками, шевелилось просыхавшее на легком ветерке белье.

На левой стороне двора, к которой примыкал соседний особняк—серый, с большими окнами, — забор сохранился, или его возвели заново, чтобы проложить границу между обитателями наших флигельков с подвалами и полуподвалами и людьми, занимавшими особняк. Там жила семья домовладельца, Левашова-сына. Стекла особняка поблескивали сквозь листву большого вяза, который рос в стороне от остальных деревьев. В его корявый ствол не был загнан ни один гвоздь, чтобы прикрепить новую веревку для белья. Больше того, одинокое дерево и чахлые цветочки, прозябавшие вокруг него, были обнесены палисадником. Очевидно, о дереве заботились. Его густая листва должна была, по возможности, скрыть от взоров Левашова-сына и его близких наш жалкий двор.

Я открыл калитку палисадника, за которым у старого вяза я стоял до этой минуты, глаза на улицу, и пересек двор.

Подойдя к одному из флигелей, я остановился перед входом в подвал.

Впрочем, «входа» никакого не было. Тьма смотрела на меня. Она казалась крошечной, потому что вокруг пылал июньский полдень.

Я безбоязненно шагнул вперед и стал спускаться по разваливающимся каменным ступеням. Запахло плесенью, снизу послышалось какое-то глухое бормотанье. Тьма наполнилась огненными пятнами — это солнечный полдень, из которого я ушел, чтобы спуститься в свое жилище, напоминал о себе. Под моими босыми ногами хрустела кирпичная крошка и куски отвалившейся штукатурки.

Я преодолел несколько ступеней. Теперь надо было повернуть направо, но прежде чем сделать это, я подвинулся к левой стене и нащупал дощатую дверцу.

За этой дверцей, в каморке, похожей на чулан, жил Бебеев, человек лет пятидесяти, с жесткими, правильными чертами лица и легкой, серебряной, расчесанной на две стороны бородой. Бебеев был когда-то богачом. Но более могущественная фирма, которой он дерзнул стать поперек дороги, навалилась на его «дело» и раздавила его, оставив Бебеева нищим.

Бебеева не любили на нашем дворе. При всяком удобном случае он старался разрушить надежды обитателей двора на то, что их жизнь хоть немножко улучшится, что можно будет хоть вздохнуть посвободней. Он не умел мечтать и издевался над людьми, которые осмеливались строить планы о лучшем будущем. Холодный и замкнутый, он жестко подчеркивал незыблемость устоев, на которых покоится существующий порядок вещей. И это было страшно и убедительно, потому что Бебеев и к себе относился без малейшего снисхождения. О своем разорении он говорил даже с каким-то удовольствием, будто бедствие, постигшее его, подтверждало мудрость законов, правящих людьми. Он повторял при этом все одни и те же пословицы:

— На то и щука в море, чтоб карась не дремал. Кто зевает, тот воду хлебает. Москва слезам не верит.

И опустив руки по швам перед всемогущим законом, он словно видел своими твердыми, серыми глазами его железные параграфы, начертанные в воздухе, и почти весело заключал:

— Борьба за существование. Что ты сделаешь?

Каждый мальчишка нашего двора, если ему случалось очутиться возле конуры Бебеева, считал своим долгом вывести его из себя.

Дело это было нехитрое. Надувшись от старания, я принялся яростно стучать в дощатую дверцу кулаками. Я напирал на доски плечом, будто собирался ворваться в конуру.

Тотчас же я с удовлетворением отметил, что старания мои не пропали даром. Бебеев заворочался, закричал, проклял меня, опять закричал и опять проклял меня, и отца моего, и мать мою, и всех родственников и свойственников моих.

Я повернул в темноте направо — на этом повороте всегда падал мой отец, если возвращался домой нетрезвым, — спустился еще на четыре ступени ниже, нащупал и открыл дверь.

Подвальные жильцы шумели и разговаривали в своих каморках. Проходя по кургузому коридорчику, я заглянул в большую комнату, благо дверь в нее была распахнута настежь.

У самой двери, с трудом отвоевав себе кончик стола, быстро писал что-то на папиросной коробке худой, с вечно бегающими глазами Струйский. Перед самым его лицом, словно стараясь выжить Струйского и с этого свободного клочка стола, яростно работала швейная машинка. Над ней склонилась сердитая на вид чернобровая девица. Пестрая материя, мешая Струйскому заполнять неровными, мелкими буквами поверхность папиросной коробки, ползла и ползла из-под бешено строчившей иглы.

У стены лежал на кровати человек, укрытый до пояса синим байковым одеялом.

Две молодые женщины, одна светлорыжая, другая черноволосая, готовились что-то варить или печь и гремели на другом столе, приткнувшемся в углу, противнем, ножами и мисками. Им мешал еще один жилец: стоя на четвереньках, он старался достать из-под стола большое суковатое полено.

И еще тесней было в комнате оттого, что низенькая, с толстым лицом женщина таскала за волосы девочку, стоявшую на коленях у стола со швейной машинкой. Лицо девочки было, пожалуй, красиво, с маленькой родинкой над верхней губой. Волосы черные, коротко подстриженные — на ее счастье. Направо, налево и налево-направо дергалась упрямая девчонкина голова под наказующей ее рукою.

Вдруг острая злоба, как стрела, пронзила меня.

Нельзя бить Женю! Тело мое напряглось, пальцы сжались в кулаки.

Но тут же и разжались. Где это и когда я слышал, что Женьку, сироту, ничью девочку, нельзя бить? Что ей сделается? Не первый раз: встанет, отряхнется, как кошка, и пойдет...

## Глава 5

### В тесноте, да не в обиде. Отец

Несмотря на тесноту, в большой комнате господствовали чистота и порядок. «В тесноте, да не в обиде», — любила повторять, вздыхая, квартирная хозяйка, вдова Клюева.

Обитатели ее выработали твердые правила общежития и строго их придерживались.

Да иначе и нельзя было. Попробовал бы Струйский, когда ему случилось декламировать стихи или просто распространяться на излюбленную тему о «чистой поэзии», — попробовал бы он, в припадке красноречия, покинуть место, предназначенное ему во время дневного пребывания его в большой комнате, и пройтись раз-другой из угла в угол: он непременно помешал бы кому-нибудь донести ложку до рта, уронил бы какую-нибудь посудину, помешал бы белошвейке Зое вертеть ручку машинки — словом, его слишком вольным движениям воспротивились бы и люди и вещи.

Посторонний человек, входя в эту комнату, двигался с опаской, словно он попал в машинное отделение, где его со всех сторон обступили работающие шатуны, рычаги и колесики, назначения которых он не знает. Да и сами жильцы — вставая, садясь, обедая, лавируя по комнате, пробираясь на кухню, — проделывали, день за днем, почти одни и те же движения. И это было не так уж трудно — люди привыкли, притерлись друг к другу. Струйский, например, вставая со своей койки, почти инстинктивно поджимал ноги, иначе ему пришлось бы весьма неделикатно толкнуть пятками в спину скромного Камышина: тот как раз в это время пил чай, примостившись на уголке стола.

Струйский, любивший все элегантно, спал на патентованной раскладной койке. Утром он складывал ее и засовывал под кровать белошвейки Зои — туда, и только туда, больше ее негде было приткнуть. Одеяло из верблюжьей шерсти — Струйский хотел укрываться именно одеялом из верблюжьей шерсти, и никаким другим — он скатывал и втискивал между столиком, принадлежащим официанту Полузайцеву, и стеной — там, и только там было для него место.

При входе в комнату, у левой стены, стояла запрошенная по-солдатски койка. Ею пользовались по очереди Гулевич и Камышин, работавшие на краскотерочном заводе. Один работал в дневной смене, другой — в ночной. По воскресеньям Камышин уходил ночевать к тетке. Сегодня они сошлись в большой комнате вместе, благодаря случайности: Камышин поранил себе палец машиной, и хозяин отпустил его домой.

За этим ложем стояла широкая деревянная кровать, задернутая веселым ситцевым пологом; похожие на резеду цветочки резво разбегались по розовому фону. На этой кровати ютились работницы с табачной фабрики «Дукат» — Маруся Рыженькая и Маруся Черненкокая.

Обе Маруси отходили ко сну последними, чтобы шопотом обменяться новостями. Девушки зажигали маленькую пятилинейную лампочку и скрывались за пологом. В комнате было темно, и розовый полог мягко светился, как волшебный шатер. Сквозь ткань, как маленькое ночное солнце, просвечивало пятно лампы. Слышался шелест и шопот. Девушкам было о чем поговорить. У Маруси Черненкокой был жених, работавший в пекарне Филиппова. По праздникам он возникал на пороге большой комнаты и ждал там, с большим пакетом сдобы в руках, пока Маруся оденется. Они вместе шли пить чай к родителям пекаря. А ее светловолосая подруга всего неделю назад познакомилась на вечеринке с бойким наладчиком станков с завода «Добров, Набольтц».

Зоя Любанская, белошвейка, была собственницей зингеровской машинки. Свою узкую девическую кровать она загоразживала на ночь «японской» ширмой. Утром ширма отправлялась под кровать, вслед за патентованной койкой Струйского.

Напротив Гулевича и Камышина гостеприимная Клюева устроила своего дальнего родственника, официанта Полузайцева. Он был скуп, имел деньжонки и постоянно боялся, что его ограбят. Именно поэтому он поселился в столь многоядной комнате. Он боялся снять отдельную каморку — ему все казалось, что как-нибудь ночью он окажется один на один с грабителем, который, подобрав ключ, войдет к нему в комнату и хриплым, злодейским голосом потребует денег. Полузайцев выписывал «Московский листок», но прочитывал в нем только «Отдел происшествий». Он вставал поздно и завтракал обедками изысканных блюд, которые приносил из ресторана в банке из-под паюсной икры. Он не разговаривал с остальными жильцами, и когда платил Клюевой три рубля за свой угол, страдальческие складки вокруг его желчного рта обозначались резче и глубже.

Иногда, правда, очень редко, тому или иному жильцу — скажем, в «день его ангела» — предоставлялась, с согласия остальных, вся комната, чтобы он мог позвать гостей и отпраздновать свои именины. В этом случае другие жильцы разбредались кто куда: один шел «прошвырнуться» на Тверской бульвар, другой отсиживал положенное время на скамейке под вязом, а третий, коли он был понапористей, мог присоединиться к компании именинника.

Женя, собственно, не жила в большой комнате, а только ночевала в ней. Днем она мыла пол в кухне, протирала окна или бегала по лавкам, обслуживая Ключеву и ее многочисленных жильцов, а если выдавался свободный часок, играла на дворе со мной и моим приятелем, Ленькой Хорьком. На ночь она располагалась возле ситцевого шатра обеих Марусь, постелив на полу какую-то ветошь.

Да, в большой комнате надо было рассчитывать каждое движение, каждый шаг. Беда, коли вспыхнет между жильцами ссора! В эти минуты рушились все неписанные правила. Налетевшая ссора переворачивала все вверх дном. Смирный Камышин, вернувшийся с работы, замирал на пороге, не решаясь войти. Любанская испуганно переставала вертеть ручку швейной машинки. Вечером Струйский долго не мог найти своего одеяла из верблюжьей шерсти, а остальные жильцы находили свои ложки, кастрюли и миски в самых неожиданных местах.

Егор Феоктистыч, мой отец, относился чуть свысока к обитателям большой комнаты. Мы снимали плохонькую, но все же отдельную каморку. Отец с гордостью говорил про себя, что он один из лучших военных портных в Российской империи. И это не было простым хвастовством. Двери самых первоклассных фирм были открыты перед ним. Отец работал и у Сурина на Тверской, и в Экономическом обществе офицеров на Воздвиженке.

Он умел, как никто другой, «подвачить» мундир, сделать накладку, там стянуть, здесь распустить — и офицер, «имеющий фигуру», выглядел в сшитом отцом мундире настоящим львом, худой казался полнее, а толстяк становился почти стройным.

Отец зарабатывал неплохо. Но над ним всегда тяготели долги, и, кроме того, он посылал часть заработка старикам, доживавшим век возле Тулы, в деревне Красные Выселки. «Но это бы еще туда-сюда», как говорила мать. Отец частенько запивал — вот в чем была причина нашей бедности. А мать с тех пор, как она слегла, не могла поддерживать порядка в семье.

Перед тем, как загулять, отец становился молчаливым. Он по два раза в неделю ходил в баню и часто менял рубашки. Он сурово смотрел куда-то мимо людей, словно видел то страшное, что ему предстоит вскоре пережить, словно готовился к какому-то обряду, который — хочешь не хочешь — надо непременно выполнить.

Отец полагал, что деньги — недостаточная награда за труд, ведь он считал себя артистом своего дела.

Хозяева позволяли отцу присутствовать на примерке — его острый глаз мгновенно схватывал малейшую морщинку на мундире. Особенно мучительна для отца была вторая примерка — после нее заказчик забирал мундир и уходил, быть может навсегда. Стоя на коленях, отец любовно обдергивал мундир на офицере, подымался, трогал толстыми, но чуткими, как у музыканта, пальцами его плечи, нежно касался дрожащими ладонями подваченной груди, ощущая на мгновение холодок сверкающих пуговиц с орлами. Потом долго смотрел вслед заказчику, которого он сделал красивей, — это ли не благород-



ная работа! Но никто не говорил с ним о его работе так, как ему хотелось бы. Никто не понимал, что отец — художник своего дела.

Я иногда заходил к нему в мастерскую. Пол был усеян обрезками материи. Я с удовольствием вдыхал уютный запах горячего сукна — кто-нибудь из мастеров проглаживал мундир сквозь влажную тряпку, нажимая на большой, позвякивающий утюг с деревянной ручкой. Отец, плечистый и грузный, сидел на катке, поджав босые ноги, и делал стежок за стежком, поматывая в такт курчавой головой. Так шил он и шил день за днем — стежок за стежком, стежок за стежком, — и в его сильном теле постепенно накапливалось нетерпение, злорада, желание бросить все это к дьяволу. А тут как раз и подходила полочка.

Пьяный, отец ходил по улицам, гордо откинув голову и заложив правую руку за отворот пиджака. Он косился на разноцветные шары в аптеке — они сегодня светили и ему, — останавливался как вкопанный, когда, обдав его грязью, пролетал на дутых шинах лихач — и отец мог нанять лихача, и он мог поцаревать сегодня! Не уступая никому дороги, он шел в трактир. Возле трактира всегда толкались несколько оборванцев. Они расступались, увидев отца. «Загулял Егор Феоктистыч», — говорили они друг другу, одни с почтением, другие с нескрываемым злорадством.

Если я увязывался за отцом, он заказывал мне московскую селянку — самое дорогое блюдо. Трактирный хор, во главе с запевалой Савкой, жившем на нашем дворе, полукругом обступал наш столик. Громовым голосом отец приказывал спеть свою любимую песню — «Кари глазки, где вы скрылись». Песня стоила рубль, но отец бросал певцам смятую трешку.

Савка считал ниже своего достоинства наклоняться и поднимать с покрытого опилками пола деньги. Он тоже был человек гордый и говорил, что если б ему немножко подучиться и поставить голос как следует, он мог бы петь в императорских театрах. Отец вставал, опираясь ладонью на край стола, и смотрел поощему Савке в глаза. Савка заливалась соловьем. Когда он брал самую высокую ноту, его черные брови сходились вместе. Он не опускал глаз перед отцом. Так они стояли с минуту — Савка и отец — грозя один другому глазами, словно мерясь: у кого судьба горше, кто несчастней?

Потом отец бросался к Савке и обнимал его.

Может быть, потому, что отец только подчинялся жизни, а не строил ее, он в эти гулевые дни любил приказать, настоять на своем, хоть на улице сломать установленный порядок, проорав во все горло песню, хоть в трактире, наперекор кому-то, заказать сыну селянку и, презирая хозяина — Сурина, который трясся над каждой копеечкой, бросить хору целую трешницу.

О Струйском, который тоже иногда «наступал на пробку», отец говорил с презрением и называл его танцором и акробатом.

— Этот-то зачем пьет? Знаем мы этих танцоров и акробатов! Баловство, идиотничанье — так я считаю. Его образовали, он в театр ходит, на нем шляпа, он не нам чета. К чему я с десяти лет приучен? Что мне дано? Одно мне утешение — она, водка. Кто он — этот С-струйский? Савка — это певец! — Отец закрывал глаза, вспоминая, как берет Савка самую высокую ноту. — Я — мастер. Сурин — паук, хозяин. А С-струйский — холуй, форменный холуй. Он с ними, с хозяевами. Ты смеешься, Шура, когда он распускает язык, а я скорблю, скорблю, Шура: не поможет мне его словесность. Не смейся, Шура, сын, не смейся — тяжело мне жить на свете.

Отец горько жаловался на то, что его не научили грамоте. Он завидовал мне — я мог читать Пушкина, и даже сам пробовал кропать стишки. Иногда отец пускался рассказывать всякие нелепые истории о великом поэте, важно подбирая слова и хмуря брови, словно и он тоже приобщался к книжной премудрости, но заметив, что я усмехаюсь, конфузился и вздыхал, подперев щеку кулаком.

Не знаю, давно ли отец перестал верить в бога, но он не верил в него. Во всяком случае, он не венчался со своей Варюшей (так звали мою мать) в церкви. Он не выставял своего неверия напоказ, не хватался им, как это делал Струйский. Он не верил твердо, с достоинством. Тщетно мать упрашивала его, пока она еще жива, повенчаться, отец ни за что не соглашался.

Отец начинал пить дома. Выпив первый стакан и закусив кусочком рубца с луком, он, поглядывая на мать, принимался обычно рассказывать о днях своей молодости.

Молодость его цвела-нецвела в хибаре у Горбатого моста, куда он спешил после двенадцатичасового рабочего дня. По праздникам — трактир, гулянье в Марьиной роще, балаганы («Пятачок за вход — небольшой расход!» — кричали зазывалы в драных трико). Потом, как полагается, обзавелся гармоникой, дрался — стенка на стенку — на москварецком льду, иногда ему удавалось сбить с ног кого-нибудь из противников, а иногда и самому случалось получить крепкий удар сплеча — тогда, как полагалось, он приседал на корточки, зажимая варежкой разбитый нос. Ну, а в свое время обзавелся семьей, остепенился, трактир посещал реже, раз в год водил свою Варюшу в цирк Соломонского.

— Эх, Варюша, милая, — отец повертывался к матери, лежавшей на койке, и выпивал второй стакан водки. — Эх, Шура, сын мой. Живи, живи, читай Александра Сергеевича, господина Пушкина. А я... Эх!

... Но чего ж это я стою и глазею на обитателей большой комнаты? Пойду-ка к себе, посмотрю, что там подельывают отец и мать. Может быть, отцу удалось опохмелиться, и он сидит, довольный и веселый, а мать, быть может, хоть на минутку перестала стонать, креститься и жаловаться на боль в ноге.

Кроме того, мне надо было вымыть пол — ведь завтра воскресенье. Заботы о чистоте нашего жилища лежали на мне. Когда отец запивал, мне приходилось и стирать — этому делу терпеливо учила меня Женя. В коридоре я чуть не наткнулся на Крамаренко, безработного столяра: сидя на койке, он мрачно смотрел перед собою. Захватив стоявшее у двери ведро с водой и большую рыжую тряпку, я вошел в узкую и тесную каморку, которую наша квартирная хозяйка именовала комнатой. Но нельзя было не согласиться с моим отцом, утверждавшим, что в комнате этой «не распляшешься».

Пол глухо застонал под моими ногами, когда я вошел, — так ветхи были доски. Между столом, комодом и кроватями оставалось ровно столько места, чтобы на нем могли стоять три-четыре человека.

Все было непрочно в этой комнате, начиная с кроватей, представлявших собою шаткие козлы с положенными на них жидкими досками и тюфяками, со всем старанием застланными «чем бог послал». Только решетка, которой было забрано окно, вершков на десять выступавшее над тротуаром, была хоть и ржавая, но крепкая.

У стола стояли две некрашенных табуретки — одна моя, другая, по-солидней — отцовская. Мать уже второй год не вставала с койки, тщетно дожидаясь, пока Попечительство о бедных устроит ее в больницу при Матросской богадельне.

Ее болезнь соседки называли «костоедом». Сама мать поясняла, что она, моя полы, застудила правую ступню, ступня распухла, и тогда в нее пробрался загадочный «волос» — и принялся точить и точить ее. Под одеялом угадывалась эта огромная, распухшая ступня, укутанная в тряпье.

Нельзя сказать, чтобы этот маленький мирок, где даже вещи имели — по выражению отца — только «одну видимость» и где терпеливо умирала и не могла умереть мать, — нельзя сказать, чтобы он особенно удручал меня. Я к нему привык.

## Глава 6

### «Богат и славен Кочубей...»

Егор Феоктистыч, отец, грузный мужчина с круглыми и словно ватными плечами и мясистым лицом, украшенным редкими усиками, сидел на табурете и смотрел на мать. Он всегда был настроен философски, благодушно — дескать, пил, пью и буду пить, что с этим поделаешь... Но сейчас горевал с похмелья, подперев щеку огромным кулаком.

Мать тоже смотрела на отца с робким уважением к этому здоровому человеку, который мог сидеть, двигаться, попадать по пьяному делу в полицейский участок, где его иногда и бивали — и вот скоро, наверное, пойдет к знакомому портняге — вдвоем легче «схлопотать насчет опохмелки».

Мать слабым голосом завела старую песню всех женщин нашего двора, мужа которых пили. В ней упоминались — в тысяча первый раз! — «добрые люди», которые и в рот проклятой водки не берут, и единственный сын, то есть я, и выражалось удивление по поводу того, как вмещается в утробу отца столько вина, и как его лихо-манка не заберет...

Под конец она заплакала.

Отец привык к ее сетованиям. Голова матери — плакала она или молилась — покоилась на подушке почти всегда в одном и том же положении — ей трудно было ее поворачивать. Отец знал, что, наплакавшись всласть, мать с трудом выпростает руку из-под одеяла, потянется за платком под подушку — и не сможет дотянуться.

Он достал из-под подушки платок и вытер матери лицо. Вдруг он спросил:

— Ты что, Варюша?

Глаза матери были широко раскрыты. В них застыл испуг. Уже три дня она чутко прислушивалась к чему-то — и вот сейчас услышала.

Теперь услышали и мы. Кто-то спускался по лестнице, ведущей в подвал, охая на каждой ступеньке. Я сразу догадался, кто это пробирается к нам. Будучи еще здоровой, мать выхлопотала пособие в пять рублей. Московское Попечительство о бедных выдавало это пособие раз в месяц «престарелым и одиноким женщинам». Беда в том, что мать только по паспорту числилась одинокой. Кто-то с нашего двора — от скуки, должно быть, — донес, что у матери есть муж, правда «незаконный», и что он работает в Экономическом обществе офицеров, — и вот теперь одна из попечительниц шла с ревизией.

Я знал эту богатую даму. Из-за нее получил я во дворе ненавистную мне кличку — «милый мальчик».

Опухшее лицо отца осветилось молнией мысли. Он встал на четвереньки, потом лег на пол и полез под койку. Ему было трудно поместить там свое грузное тело, он ворочался и чертыхался. Я проворно

расправил одеяло и опустил край его до самого пола — и как раз в эту секунду вошла попечительница.

— Здравствуй, мальчик, — нежно сказала она мне и, присев на табурет, еще нежнее, с состраданием обратилась к матери:

— Здравствуйте, Варвара Яковлевна.

Старой даме приятно было, что она запомнила имя и отчество бедной, простой женщины.

Чтобы не видеть ее противного лица, я взял со стола книжку и стал перелистывать ее.

— Что ты читаешь, мальчик? Прочти мне что-нибудь, милый мальчик.

Я прочел первые строки, которые попались мне на глаза:

Богат и славен Кочубей,  
Его поля необозримы.  
Там табуны его коней  
Пасутся вольны, нехранимы.

— В больницу вас скоро устроят, Варвара Яковлевна, — сказала попечительница. — А мальчика вашего, — она посмотрела на меня, — куда-нибудь тоже пристроим. Я вам, Варвара Яковлевна, фунтик сухариков принесла, ванильных...

Я ненавидел в эту минуту попечительницу, а заодно с ней и Кочубея — за то, что он был богат и славен. Меня разбирало желание вынуть из кармана рубль, вложить попечительнице в руку и сказать при этом: «Катись отсюда колбаской».

Но я не сказал.

Перед нашим окном то и дело мелькали ноги прохожих.

Я вздрогнул и сжал кулак в кармане: взор попечительницы, благостно озиравшей комнату, остановился на отцовской койке.

Я тоже посмотрел туда.

Рука отца высунулась из-под края одеяла. А луч солнца, так редко проникавший через запыленное окно подвала, нашел эту руку и остановился на ней. Это была большая, рабочая, исколотая иглой рука. По ней ползали мухи, но она не шевелилась.

Попечительница поджала губы. Она хорошо поняла, в чем дело, но решила снизить, простить, не заметить.

А мне было горько смотреть на эту руку: нет-нет, а она иногда приласкает, приголубит меня. Ах, как мне было горько!

И я забыл, совсем забыл в эту минуту, что «я — пират, я — сын свободы».

Где уж там! Семья пирата, который «как конь несется вдаль», не получает ежемесячного пособия в пять рублей от Попечительства о бедных...

Ах, если бы рубль, который лежал у меня в кармане, принадлежал мне! Я погладил бы эту отцовскую руку, когда попечительница уйдет, я помог бы выбраться отцу из-под койки, я дал бы ему двугривенный и сказал: «Иди, папа, иди. Иди, опохмелись».

## Глава 7

### Люди странных профессий

Прежде чем начать рассказывать о событиях, которые развернутся в дальнейшей, я должен познакомить читателя с некоторыми жителями нашего двора, тем более, что они будут принимать немаловажное участие в этих событиях.

Не многие, конечно, получали пособие от Попечительства о бедных. Одни работали, другие не работали и перебивались «с хлеба на квас». А иные изловчились и хитрили, чтобы добыть себе хоть малую толику деньжишек на пропитание.

Способы, к которым прибегали при этом, были весьма разнообразны. Велика человеческая изобретательность!

Бебеев покупал дрянной фруктовый чай, освобождал его от обертки и, смешав с какими-то листочками и корешками, упаковывал в новую обертку, отпечатанную по его заказу в захудалой типографии.

С утра Бебеева можно было видеть с цыбиками этого чая на углу двух оживленных улиц. Любопытный прохожий брал из рук Бебеева цыбик, вертел его, нюхал, подносил к глазам.

На цыбике была следующая надпись:

#### Чай

*из набора трав Смоленской губернии, Сычевского уезда.*

**Просьба не смешивать с китайским**

Последняя фраза подчеркнута. Прохожий был ошеломлен вкрадчивой наглостью этой просьбы. Ни много ни мало — Бебеев бросил вызов знаменитым во всей империи чайным фирмам «Перлов» и «Высоцкий», которые ворочали миллионами рублей и ввозили чай через Кяхту из самого Китая!

Больше того: Бебеев настойчиво просил, чтоб его чай, чай из набора трав, чего доброго, не смешали бы с презренной китайской травкой.

Чай покупали...

Более скромный путь к некоторому достатку избрала вдова Клюева, та самая, которая таскала за волосы Женьку.

Клюева снимала за одиннадцать рублей в месяц тот подвал, в котором ютилась и наша семья. Она сдавала под жилью углы, койки, полууглы и полукойки, местечко на полатах, в коридоре, у водопроводной раковины.

Скромный путь Клюевой был усеян терниями. Вдова не знала ни минуты покоя, пребывая в состоянии непрерывной лихорадочной деятельности.

Посудите сами — дел-то сколько!

Ей приходилось улаживать многочисленные конфликты между жильцами. Один спал беспокойно и дрался во сне со своим соседом по койке. Другой пригласил гостя, который осмелился разложить закуску на чужом столике и, пробираясь на кухню, нечаянно толкнул Струйского, склонившегося над своими писаниями, и тем самым нарушил его вдохновение.

Кроме того, Клюева постоянно искала, высматривала местечко, куда можно положить, устроить, втиснуть — хотя бы он и скорчился, как говорится, в три погребели — какого-нибудь нового жильца.

Немало времени отнимало у нее и получение с жильцов трешниц, рублей и полтинников: к каждому нужен был особый подход. Безработного Крамаренко вдова, прежде чем начать с ним разговор о деньгах, хватала за плечи, восклицая: «Разбойник!» Другого поджидала у ворот, когда он возвращался с получкой. Иных улещала, жалуясь на бедность.

Самое дешевое место, на кухне, у водопроводной раковины, занимал косноязычный Никон Маркелыч, старый солдат, неизвестно на какие средства существовавший.

Днем он встревал в ссоры между жильцами, слонялся по двору — и «раскидывал шатры свои», как выражался Струйский, только поздно вечером.

Койка, на которой спал Никон Маркелыч, была коротка для него. Голова приходилась под раковинной, а ноги, когда Маркелыч вытягивал их, загораживали вход на кухню. Жилец, которому приходилось, по тем или иным причинам, наведываться в это место после десяти часов вечера, когда Маркелыч отходил ко сну, упирался ему в пятки и, словно перед ним лежал не живой человек, а охапка дров, нажимал изо всей силы, и Маркелыч покорно подбирал ноги.

Я уже несколько раз упоминал поэта Струйского. Он стоит того.

Слово «поэт», как и многие другие слова, не было известно клюевским жильцам. Об этом своем высоком звании им когда-то объявил сам Струйский, гордо вздернув голову. Впрочем, он тут же поник и почти плача — он был нетрезв — пояснил, что не достоин этого высокого звания. Богатые купили его, чтобы он расхваливал на всю империю их товары.

Струйский зарабатывал хорошие деньги и мог бы жить совсем неплохо, если б не водка, «утешавшая его и сокрушавшая», как он сам любил повторять.

Он не всегда ютился в углу: это был его «скромный приют», «кусочек крыши над головой на случай крушения». Обычно он занимал номер в меблированных комнатах «Полтава» в Марьиной роще.

Струйский говорил всем, кто хотел его слушать, что он — дерево, которое растет не в ту сторону, криво и безобразно. При этом Струйский поднимал руки и изгибался всем телом, показывая, как криво растет дерево. Затем он отпрядывал назад и плевал на воображаемое дерево: «тьфу, тьфу!».

Струйский писал стихи и прозу, рекламирующие изделия различных фирм.

Он был изобретателен, об этом свидетельствует хотя бы надпись на обертке бебеевского чая — ее ведь Струйский придумал. Это Струйский сочинил броскую фразу во славу папиросных гильз фабриканта Катыка. Над крышами домов, на загородных заборах — везде, везде читали москвичи эту фразу, категорически утверждавшую: «А все-таки нет лучше гильз Катыка».

Струйский создал имя сапожному крему «Эклипс», воспевая его в таких виршах, украшенных соответствующими картинками:

Крем «Эклипс» блестит так ярко,  
Что даже солнцу стало жарко.  
И вот под зонтик дождевой  
Оно укрыло облик свой.

Он говорил, что придуманный им номер, красовавшийся на этикетке какого-то одеколona, — некое магическое число, которое врезывается в память на всю жизнь. Он утверждал, что в последние свои минуты, на смертном одре, умирающий вспомнит номер этого одеколona, мелькавший изо дня в день на последней полосе газет: 4 711.

— Четыре тысячи семьсот одиннадцать, — повторял он, устремив на собеседника гипнотизирующий взор. — Вслушайтесь: тут есть ритм, обаяние, дьявольское наваждение какое-то. Четыре тысячи семьсот одиннадцать. Ага, запомнили!

Струйский имел привычку — в порыве рекламного вдохновения, налетавшего на него, как буря, исписывать своим бисерным почерком папиросные и спичечные коробки, лоскутки бумаги, даже катушки. Он го-

ворил, что слова, написанные на разных предметах, сочетаются в неожиданные, подчас весьма хлесткие фразы. Знаменитое изречение о гильзах родилось, по словам Струйского, из слов «гильзы Катыка», уместившихся на конфетной бумажке, и слов «все-таки», которые он написал, а зачем — забыл, на ногте своего большого пальца.

Но этот метод работы причинял Струйскому немало неудобств. Спички кто-нибудь брал, чтобы зажечь керосинку, ту или иную бумажку смахивали нечаянно на пол.

Тогда Струйский принимался искать утерянные слова. Из углов, с коек, из коридора — отовсюду, где ютились клюевские жильцы, его спрашивали:

— Что вы потеряли, господин Струйский?

— Отдай слово! — просил Струйский у Камышина, собиравшегося закурить.

— Какое слово, господин Струйский?

— Слово! Ты держишь его в руке.

— Да это спичечная коробка.

— Там слово.

— Да нет тут никакого слова, господин Струйский.

Женя шарила там и тут и, наконец, подавала стихотворцу катушку из-под ниток:

— Вот оно, ваше слово, под кровать закатилось. Вы уж на катушках стали писать.

Иногда Струйский поднимал бунт во славу чистой поэзии.

Это было настоящим развлечением для всех жильцов, особенно для меня и Жени.

— Люди! Есть удивительные слова, чудесные рифмы, — радостно говорил он. — Ну-с, попробуем. — Он морщил лоб. — Ага! Слушайте:

И вдруг раздался злобный крик:

«Иди к...»

— Могущество слов: некто собирается послать кого-то к чорту. Факт прискорбный, но мелкий. А я мысленно прерываю этого воображенного мною некто — и создаю великолепную рифму: «Крик — иди к...». Свежо? Хлестко? Нет, шалишь, я не совсем влип-с в этот «Эклипс». Вот вам и еще рифма — пожалуйста!

Мы с Женей заливались смехом.

— Могущество слов! — Он тыкал меня пальцем в грудь: — Внимай мне.

— Я внимаю, — отвечал я.

— Мы, дядя Струйский, внимаем, — говорила и Женя, оглядываясь, не идет ли Клюева.

— Хочешь, — спрашивал меня Струйский, — я изобрету тебе пышное имя и длинный титул? Отныне ты, допустим, будешь не Шурка, а граф Шур-Шурецкий...

И вдруг он приходил в ярость.

— Все ложь и суета! Покиньте меня! Летите отсюда! Вон!

Мы убежали, а Струйский посылал нам вослед, как самое страшное ругательство:

— Четыре тысячи семьсот одиннадцать!

Струйский каялся и сокрушался о своей «погибшей душе» часто и с удовольствием. Пуская пьяную слезу, он гладил свое плечо и бормотал: «Запутался ты, Струйский, заблудился в трех соснах, бедняга». Как-то, когда на него нашло покаянное настроение и он, ударив себя

кулаком в грудь, воскликнул: «Подлец ты, Струйский!», слесарь Попеляев, земляк моей матери, зашедший в подвал навестить ее, сказал:

— А любите вы этого подлнца, господин Струйский...

Жил еще на нашем дворе профессиональный нищий, прозванный Замирайло.

Многие из обитателей того мира, в котором я очутился — босиком, но зато с двумя новыми зубами, — были зачастую жестоки. Не один Бебеев любил употреблять древнюю поговорку: «Человек человеку волк». Но иногда они, как бы испугавшись самих себя, спохватывались и спешили расплатиться за эту жестокость мелкой разменной монетой — жалостью.

Вот на этой-то потребности посокрушаться, расчувствоваться, пустить слезу и пожалеть, совершив до этого что-нибудь пакостное, «играл» Замирайло.

Нищих было много, и надо было изобрести что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы привлечь внимание сердобольных людей.

Подобно Бебееву, Замирайло избрал ареной своей деятельности оживленные улицы. Он отправлялся на промысел, одетый с иголки, помахивая бамбуковой тросточкой. На нем была новая студенческая тужурка, с горевшими, как жар, пуговицами, студенческая фуражка, хорошо выглаженные диагональные брюки и начищенные до блеска (быть может, кремом «Эклипс») штиблеты.

Дойдя до знакомого одноэтажного домика — он почему-то был необитаем, — Замирайло оглядывал окружающую домик чугунную решетку, словно хотел убедиться, на месте ли она. Затем он прислонился к решетке спиной, склонял голову на левое плечо, закрывал глаза — и замирал.

Как ошеломляла любопытных просьба Бебеева не смешивать его чай из набора трав с китайским, так удивляла их эта неподвижная фигура, возникшая, неведомо откуда и почему, среди московской сутолоки.

Прохожий останавливался возле Замирайло и, озадаченный, начинал доискиваться причины, по какой этот человек — не то студент, не то бес его знает кто — торчит здесь.

«Что с ним такое приключилось? И почему, скажите на милость, на нем студенческая фуражка?»

Чем больше задавал себе вопросов прохожий, тем больше мучился, не в силах проникнуть в тайну нищего, ноги которого были обуты в такие ослепительные штиблеты.

«Хоть бы пошевелился, произнес слово какое-нибудь. И к чему тросточка? О каком неведомом несчастье все это свидетельствует? К чему зывает?»

Но Замирайло молчал. Его круглое, пухлое, очень бледное лицо с черными усиками, подстриженными щеточкой, было неподвижно. Он походил на кота, прикинувшегося мертвым. Трость неподвижно висела на кисти левой руки.

Чтобы отвязаться от назойливых мыслей, прохожий совал в карман его тужурки медную или серебряную монетку.

Разумеется, Замирайло приходилось давать кое-кому взятки, чтобы его не беспокоили.

Вечером, после «работы», Замирайло любил заходить к Струйскому. Некоторое время он стоял перед ним столбом, склонив голову набок, передразнивая сам себя, а потом пускался в пляс, выкидывая затейливые коленца.

Нас — Женьку и меня — всегда восхищало это буйно веселое воскресение из мертвых.



Но остальные жильцы хмуро поглядывали на Замирайло. В их глазах он был всего-навсего тунеедец, пусть и ловкий. Им и в голову не приходило подать ему копейку или две даже в получку, хотя они не скупились на пятаки для Жени.

Я мог бы рассказать еще о других обитателях нашего дома, но мне пора начать повествование о тех событиях, свидетелями и участниками которых невольно стали я и приятель мой, Ленька Хорек.

## Глава 8 Ничья Женья

Едва попечительница стала выбираться из подвала на свет дневной, как до слуха моего донеслись снаружи дикие звуки. Ленька — а кто ж это мог еще быть — свистел, что есть мочи в стручок, вызывая меня на двор и в то же время, по особой моей просьбе, приветствуя этой музыкой старую даму-попечительницу. Я не мог судить, сидя в своей конуре, рассердилась ли она, обругала ли Леньку, — одно скажу: стручок верещал хорошо, то есть особенно противно, со всякими модуляциями и вариациями.

Отец вышел из дома, едва попечительница скрылась за воротами. Я вымыл пол, вскипятил для матери чай и поспешил во двор.

Ленька и я горячо приветствовали друг друга.

— А, Хорек! Хорюшка!

— А, милый мальчик! Поцеловала тебя в щечку попечительница?

И тут же сообщил, что почтенная дама изволила назвать его «орясинной».

Ленька был худ, гибок, пролазлив — настоящий хорь. Он и минуты не мог постоять на месте. Потирал руки, щурился, плевался, потом вдруг принимался скакать на одной ноге, обхватив другую рукой и разглядывая свою пятку: не вонзилась ли в нее заноза. Иногда он запрокидывал голову и произносил: «П-пфа!»

Нельзя было не согласиться с вдовой Ключевой, объяснявшей ленькину манеру держаться — тем, что ему «дурная голова покою не дает».

Ленька постоянно томился желанием что-нибудь «сделать». «Да сделаем же что-нибудь такое!» — просили его светлые, нетерпеливые глаза. Он готов был ввязаться в любую проделку, отправиться — сию секунду — куда угодно, участвовать в опасном и не опасном, неясном или мудром предприятии — стоило только намекнуть.

Звонкий голос позвал нас из-под старого вяза:

— Ленька! Шурка! О-эй!

Трудно было верить, чтоб маленький рот Жени, украшенный родинкой над верхней губой, мог так вопить. Женья ждала нас возле палисадника, на скамейке, сооруженной Маркелычем из двух поленьев и треснувшей гладильной доски.

Соблюдая достоинство, мы, как бы нехотя, уселись рядом с ней.

...Нельзя сказать, чтоб Жене, ничьей Жене, жилось хорошо. Ключева заставляла ее и полы мыть, и сто раз на дню бегать в лавочку, и свечку в церкви ставить великомученице Фелицате, которую вдова считала своей покровительницей: самой вдове некогда было молиться, жильцы дожимали. Кормили Женью плохо и попрекали каждым куском.

Но она не унывала.

Пошлет ее Ключева за лимоном (она любила до страсти пить чай с лимоном). Женья возвращается из лавки, и вдова, осмотрев лимон, сердито спрашивает:

— Почему лимон тощий?

Женя дерзко отвечала:

— Не из рощи, а от Дедушкина.

Жильцы смеялись.

Клюева принималась ее бить, приговаривая:

— Маленькая какая, а упрямая. Учишь, учишь ее, а она хоть бы слезу пролила. Да ты что — из дерева, что ли?

Назло вдове, раздобыв как-то пяточок, Женя пошла в парикмахерскую и остриглась покороче.

Однако образование Женя получала совсем недурное. Струйский научил ее читать и писать, давал ей книги и рассказывал ей всякие истории. Женя была умной девочкой и сама научилась рассказывать разные небылицы и сказки. Мы с Ленькой любили ее слушать. Правда, в ее сказках королевны развешивали белье для просушки, а Иван-царевич, проскакав сотню верст на сером волке, не гнушался пересесть с него в вагон трамвая, но это делало ее сказки еще милее для нас.

— А я сейчас целую копченую селедку съела, — похвасталась Женя. — Струйский дал... Он пить перестал и собирается в «Полтаву».

И она с уважением посмотрела на свои руки, будто они только что держали нечто хрупкое и драгоценное, а не копченую селедку.

На Жене было платье с огромными нелепыми цветами, один из которых закрывал ее левое плечо и переползал на грудь. «Его из кроватной занавески Клюева сшила», — поясняла Женька. Зато на ногах ее красовались новые ботинки — подарок все того же Струйского.

Наконец-то он расщедрился! Надо сказать, что Струйский, разбрасывавший деньги направо и налево, пока он не успевал их пропить — об этом знали все у нас во дворе, — почему-то проявлял скупость, когда дело доходило до того, чтоб купить Жене обновку. Может быть, он не хотел ее баловать? Или боялся Клюевой? Я много раз замечал, что если та заставляла его читающим Жене книжку, он терялся, словно его уличили в чем-то недозволенном.

И перед Женей — это перед девочкой-то! — он тоже как-то робел. Если он обращался со мной бесцеремонно, дразнил меня и даровал мне всякие титулы, вроде графа Шур-Шурецкого, то к Жене, даже будучи во хмелю, редко приставал с шутками, да и прозвища ей давал нежные: «Дитя природы и нужды» или «Золушка».

...Итак мы сидели втроем под старым вязом и молчали.

Ленька нетерпеливо смотрел в лицо Жене. Хоть бы поссориться с ней, что ли, от нечего делать!..

— Эх ты, ничья Женька! — начал он поддразнивать ее.

Женя бойко ответила:

— Да уж лучше я буду ничья, чем чья. Вот ты — чей, а достается тебе не меньше моего. Кто бы уж говорил...

Святая правда: если меня, единственного сына, отец и пальцем не трогал, то Леньке, у которого было несколько братишек и сестренок — мал-мала меньше, — приходилось часто пробовать ремня и получать подзатыльники.

Ссоры не получилось. Да и что им было, по совести говоря, делить? Разве что колотушки, которые перепадали на долю каждого?

— Замирайло вышел, — сказала Женя. — Что-то он поздно сегодня.

Замирайло показался на крыльце флигеля, в котором он обитал, и сошел по ступенькам, поигрывая бамбуковой тросточкой. Он подмигнул нам и направился к воротам — на другой стороне двора были ветхие ворота, еле державшиеся на ржавых петлях. Чем ближе он подходил к воротам, тем нежнее ступал ногами, обутыми в щеголь-

ские штилеты, тем плавнее взмахивал тросточкой. Напоследок он обернулся и показал нам свое, ставшее необычайно серьезным, даже скорбным, лицо с усиками щеточкой, закрыл глаза и склонил голову набок — точь-в-точь кот, притворившийся мертвым! — и, резко повернувшись, зашагал дальше.

— Настоящий кот, — хохотала Женя, припадая то к моему плечу, то к ленькиному.

Дружить с девчонкой считалось недостойным для мальчишек делом, но мы дружили с Женей. Стоило пройти кому-нибудь из нас мимо соседнего дома, как мальчишки начинали выкрикивать:

Девичий угодник, бабий воротник!  
Эх, да, ух — девичий угодник, бабий воротник!

Но нам было все равно, из-за чего драться с ними. А драться, так или иначе, надо было. Так уж полагалось: не мы первые, не мы последние, как любила, жалуясь на свою бедность, говорить моя мать. А отец, которого нередко били городовые в участке, подтверждал: «Без драки не проживешь на этом свете».

Дружба наша с Женей началась с того, что в один прекрасный день мы подошли к ней, когда она, сидя на скамейке возле палисадника, играла в камушки. Хорек босой ногой смахнул камушки со скамейки, и мы, приговаривая: «Их ты! Елки с палкой!» — поколотили Женю.

Женя не пыталась ни царапаться, ни кричать пока мы награждали ее тумачами. Она только покачивалась из стороны в сторону, сохраняя на лице равнодушно-упрямое выражение. Это удивило нас, но мы, отступив от нее со сжатыми кулаками, злорадно ждали: вот сейчас разревется.

Но Женя опустила на колени и стала искать сброшенные Ленькой камушки. Четыре были уже на ее маленькой ладони, и она посматривала изредка на них, но пятого она не могла найти, сколько ни искала.

И тогда нам стало жалко ее.

А она все шарила другой ладонью в песке, все всматривалась, все искала, и нелепый цветок на ее плече шевелился как живой.

И нам стало еще больше жалко Женю, и мы почувствовали, что жалеть ее нам приятно. Быть может, на этом свете, как и без драки, без жалости не проживешь?..

Женя сообщила нам новости о всех жильцах, опекаемых Клюевой, и о самой вдове. Потом поднялась со скамейки и, вздохнув, сказала, что вдова посылает ее получить старый долг у какой-то дальней родственницы, при чем наказала не уходить до тех пор, пока не отдадут деньги — два рубля сорок пять копеек.

— Уж очень не хочется мне итти. Прогуляться-то хорошо, ну а вдруг не получу я эти два рубля... да еще сорок пять копеек. Проводите меня хоть до уголка, все мне веселее будет, а?

Мы вышли из ворот вместе с Женей и проводили ее до угла. Когда мы возвращались обратно, из подворотни на другой стороне улицы раздался пронзительный свист. Там толпились враги — мальчишки с соседнего двора. Видимо, они собирались как следует вздуть нас.

Конечно, мы могли бы дать стрекача. Ведь нас было двое, а соседских мальчишек, не считая мелкоты, увязавшейся за настоящими бойцами, не меньше десятка. Но мы решили принять бой.

И он развернулся по всем установленным правилам.

Первый этап. Чтобы показать свое согласие принять бой, мы сделали несколько шагов по булыжной мостовой по направлению к подворотне, где поджидал нас противник.

Второй. Мелкота высыпала нам навстречу. Она должна была раздражить нас, раззадорить. Впереди был мальчуган в огромном картузе, почти закрывавшем его лицо. Из-за околыша виднелось только пунцовое ухо.

Обладатель картуза крикнул:

— Хорь-хорище, вор-ворище! Хорюка! Хорек поганый! Хорюга-ворюга!

Голос у него был плаксивый, в нем звучала смертельная обида, будто и в самом деле Ленька похитил у его семьи все ее достояние, лишил ее последнего куска хлеба.

Другие задиралы стали хором срамить и хаять меня:

К попечительше пошел,  
Там пятерочку нашел,  
У-у! А! Ох! Ух!

Пронзительный свист, потом:

Десятый угодник,  
Да! Эх! Да! — бабий воротник!

Третий. По правилам, мы должны были притвориться, что глубоко уязвлены насмешками, и броситься на малышей. Мы так и сделали. Я затопал ногами на свору, обступившую меня, а Ленька турнул мальчугана с пунцовым ухом, торчавшим из-за околыша.

Четвертый этап. Ур-ра! Враги бросились на нас, громко вопрошая с притворным возмущением:

— За что маленьких бьешь?  
— Нашли с кем сладить!  
— Связался чорт с младенцем!

Издав военный клич московских мальчишек того времени: «Пошла! Понес!», мы ринулись на противника.

Драка продолжалась не больше минуты. Мы пробились сквозь строй врагов и, понеся некоторый урон, с достоинством отбыли на свой двор.

На правой ленькиной щеке горела свежая ссадина. Мне не повезло больше: моя рубашка была порвана на плече.

## Глава 9

### Грек

Ленькина мать позвала его обедать, и я остался один.

Я вынул из кармана чортика и надул его. Он издох, не издав даже слабого писка.

В ворота вошел Бебеев, должно быть успевший распродать доверчивым москвичам свой товар. Лицо его было жестко, глаза словно читали непреложные буквы железного закона, управлявшего жизнью.

Он спустился в подвал, а я, от нечего делать, стал припоминать все, что мне говорили о Бебееве Струйский и другие.

Все удивлялись, что Бебеев, вот уже который год, каждое воскресенье ходит в гости к своему могущественному разорителю М. А. Кушину, которого все за глаза величали кашеем.

И сам М. А. Кушин принимал его, поил чаем — настоящим, китайским — и насмехался над ним и над его «торговлишкой». Должно быть, это доставляло ему удовольствие.

Но Бебеев не обижался и пил чашку за чашкой, в меру потел и терпеливо выслушивая насмешки. Он находил это в порядке вещей.

Когда он возвращался домой, на лице его выражалось явное удовлетворение.

Он говорил про самого себя соседям:

— Попался, который кусался. Знай край, да не падай.

Может быть, он не так уж просто, за-здорово живешь, ходил на эти чаепития? Может быть, он ждал, добивался чего-нибудь?

Но чего мог ждать Бебеев от человека, сделавшего его нищим?

«Это темное дело, — говорили у нас на дворе. — Кто их там знает. Одна лавочка — когда-нибудь разберутся, если вконец не запутаются».

И это была правда — и «миллионщик» Кушин, и Левашов-сын, и Бебеев верили в один закон, поклонялись и служили, каждый по-своему, одному божеству — богатству. Пусть сокровища Кушина, как я слышал, были непомерны, а Бебеев сейчас имел только дюжину цыбиков чая — да и тот был не настоящий, — люди эти были одной породы.

Размышляя таким образом о не совсем понятных мне вещах, я слышал по двору, поглядывая на водосточные трубы, ржавые суставы которых лезли вкривь и вкось по облупленной стене, но так и не добирались до крыши. Я сосчитал, сколько шагов от той стороны двора, где висят на ржавых петлях ворота, до той, где, закрывая от Левашова-сына вид на наши лачуги, рос в палисаднике одинокий вяз.

Но тут во двор пожаловало развлечение в виде пожилого грека, обвешанного кругом, с головы до пят, туфлями и губками. Грек шел, и вместе с ним двигался его магазин. Губки и туфли почти касались земли.

Так уж давно повелось. Старье покупали татары, расхаживавшие по дворам с полосатыми мешками. Мешки обязательно были полосатые, и полосы на них — синие или красные. Китайцы-разносчики торговали шелком, ситцами и «китайкой» (нас это забавляло и смешило: «китаец китайку продает»). А греки — и только греки — торговали губками и войлочными туфлями. Таков был обычай.

И у нас, у мальчишек, был свой обычай: мы старались всячески обидеть, оскорбить этих людей, оглашавших наши дворы своими кликами. За что? Да так, ни за что.

Мы просто подражали некоторым обитателям нашего двора. Замирайло смотрел свысока на людей, которые говорили между собой на непонятном для него языке. Бебеев подписывался на какую-то газетку, в которой всех нерусских называли «инородцами», чужаками. Даже вдова Клюева, увидев китайца или грека, зашедших на наш двор, приосанивалась. Покупая кусок материи у китайца, она старалась обмануть его, обсчитать, действуя глупо и нагло, будто имела дело с несмышленым ребенком.

Китайцу никак не могло нравиться, что его дразнили и спрашивали, зачем он продал свою китайку и своих детей — потому-то мы и дразнили его. Татары «не уважали» свинины — и нам нравилось приводить их в ярость, показывая им сложенное из подола рубахи «свиное ухо». А с греками мы поступали подчас и совсем жестоко.

Грек заунывно пропел надтреснутым баритоном:

— Э, губки! Э, туфли!

И голова его, торчавшая из кучи губок и туфель, повернулась направо и налево, озирая двор.

Я подкрался к греку сзади и дернул книзу гирлянду губок и туфель. То ли бечевка, скреплявшая их, была непрочной, то ли я дернул слишком сильно — губки и туфли одна за другой стали падать на землю.

Плечам грека стало непривычно легко. Он быстро обернулся, заметил меня — и рысцей припустился за мной по двору, роняя губки, а заодно уж и туфли.

Стараясь заманить грека в ту часть двора, где развешано было белье, чтобы там ускользнуть от своего преследователя, я пробежал слишком близко от одного из деревьев, задел за вбитый в него гвоздь и разорвал рубашку до пояса.

Нам обоим не повезло — и мне и греку: он растерял свой товар, я порвал рубашку и стоял перед ним полуголый, потный и запыхавшийся (грек, оказывается, умел бегать)

Должно быть, он хорошо понимал, что значило для мальчишки с нашего двора порвать рубашку.

— Хе! — воскликнул он беззлобно и приказал мне: — Подбирай, э, туфли, подбирай, э, губки!

И вот я стал носиться по двору и проворно подбирать губки и туфли. Я даже сбегал домой и принес большой конец бечевки, захватив кстати ломоть хлеба: я успел проголодаться.

Мы сели у входа в подвал, и я помог греку связать губки и туфли. Когда мы покончили с этим, грек вынул из кармана сверток. В нем оказался кусок вареного мяса.

— Твой хлеб, мой мяса, — сказал грек своим надтреснутым голосом и, взяв у меня из рук хлеб, разделил его пополам. На каждую половинку он положил кусочек мяса. Одну он взял себе, другую протянул мне.

Мы сидели и дружно жевали. Грек был загорелый, носатый, щеки его обросли черной щетиной. Я был беден, да и он был не богат. Оба мы проголодались. Время от времени я поглаживал свое голое плечо и глядел на свисавший с него ситцевый лоскут. И грек посматривал на свои туфли и губки, часть которых, когда он сел, расположилась грудой на земле, а одна пара туфель стояла носок к носку, будто предлагая мне вдеть в них мои босые ноги.

— Э, губки, э, туфли, — прокричал грек на прощанье.

Мы расстались друзьями.

Я опять остался один, и опять стал бродить по двору, ожидая Леньку.

Проходя мимо палисадника, я заметил в тени вяза какой-то предмет, которого там раньше не было. Я нагнулся, навалившись грудью на калитку. То была туфля, которой мы с греком не заметили и не подобрали — войлочная, без задника, большая туфля. Как это она ухитрилась залететь в палисадник?..

Я открыл калитку, поднял туфлю и побрел к подвалу.

У входа в подвал стояла вдова Клюева, а перед ней — я протер глаза — сам хозяин, сам Левашов-сын с его тяжелым, словно набитым жесткой мочалой животом в брелоках и каменной головой без шеи, с маленькими, но выпученными глазками и толстыми, плотно сжатыми губами, которые, казалось, никогда не раскрывались, чтобы произнести какое-нибудь слово.

Но они раскрылись, они произнесли.

— Так-с, Фелицата Георгиевна, — сказал Левашов-сын. — Значит, договорились, что пока... Одним словом...

Он назвал Ключеву по имени-отчеству, о которых и сама-то она, наверное, забыла! Больше того, он узнал о ее маленькой, вполне прощительной слабости, ибо, сунув руку в карман пиджака, достал лимон и ткнул его в лицо Ключевой.

Вдова ушла, но на смену ей поднялся по ступенькам Бебеев. При виде его Левашов-сын доказал, что он может улыбаться — по крайней мере, сделать попытку улыбнуться. Он первый протянул руку Бебееву и заискивающе спросил:

— Значит, как я понимаю, Модест Алексеич намекнул...

— Не намекнули, — жестоко возразил Бебеев. — Почти прямо сказали. Но вы сами понимаете — может быть, это только их капризы. Надо выждать. Торопиться не к чему. Ваше от вас, в случае чего, не уйдет. Ну, а вдруг они капризничают? Они это любят. Характер их вам знаком, вы ведь все-таки их племянник.

— Знаком, — смиренно согласился Левашов-сын.

— А пока — молчок.

— Пока молчок. У вас там, милостивый государь... — Левашов-сын поперхнулся этим «милостивым государем» и закашлялся... — У вас там... в чуланчике... пахнет этим, знаете, набором трав... Сычевского... Смоленского... Может быть я, как домовладелец, мог бы предоставить...

— Это все ничего, — сказал Бебеев, с каким-то удовлетворением выслушав слова о том, что в его чуланчике «пахнет». — Я ведь имею от вас расписочку, которая обеспечивает мне долю в этом... предприятии. Я знаю, для чего стараюсь. Я своего не упущу, зубами вцеплюсь. Будем ждать, что окончательно изъявит старик. Я-таки добился своего, расшевелил Модеста Алексеича. Семь лет, семь лет я к нему похаживал, я его слушал...

Лица собеседников приняла благоговейное выражение, словно старик был рядом и должен был сейчас произнести те важные и веские слова, которых они от него ждали.

Так впервые — вспомним этот день! — я услышал, как на нашем дворе громко, во всеулышание, говорили о Кушине, старике. Об М. А. Кушине, мрачном и всеильном, ради которого Левашов-сын разорился на лимон для Ключевой и узнал ее имя-отчество, разговаривал с Бебеевым и заискивал перед ним. Об М. А. Кушине, преславном и могущественном, который позже простер тяжелую свою руку над некоторыми обитателями нашего двора, ждали они этого или не ждали, хотели или не хотели.

## Глава 10

### Мурцовка

Да, посещение вдовы Левашовым-сыном крайне изумило меня. И было чему удивляться.

Целая пропасть отделяла нас от богатых.

Нечего и говорить об одежде. Невозможно было представить себе, что моя мать, даже когда она была молода, украсила бы свою голову шляпой. Как поразил бы обитателей нашего двора мой отец, если б ему вздумалось купить цветы и пронести букет через двор в наш подвал!

Правда, стихотворец Струйский надевал запасную фетровую шляпу, когда терял спяна соломенную шляпу канотье, но ведь Струйский был не чета нам — он служил Катьку и прославлял крем «Эклипс» и одеколон № 4711.

Кстати, шляпа канотье была весьма примечательной шляпой. У нее были твердые прямые поля и мелкое, плоское доньшко. Немудрено и трезвому потерять такую шляпу — она еле держалась на голове, хотя и оставляла на лбу красную полосу. К канотье был прикреплен черный шелковый шнурок, другой конец которого можно было прикрепить к пуговице пиджака.

«По Сеньке и шапка», — как говорила пословица. Когда однажды Маркелыч, шутки ради, одолжил у Струйского канотье и важно вошел в большую комнату, один из жильцов чуть не свалился с кровати от смеха.

Как-то нам в руки попалось ресторанное меню, и мы с Ленькой читали его, как интересную книгу. Названия некоторых блюд были таинственны и благозвучны, как имена героев синемаатографа: «антрекот», «груша мельба», «салат оливье», «де-беф». Некоторые звучали смешно, например: «котлеты де-воляй». Иные заставляли вспоминать об островах в лазурном море: «эскалоп африкэн», «масседуан»...

Признаюсь, мне казалось, что если я отведаю этих блюд, у меня и движения будут другие, и думать я буду по-другому, и походка моя изменится.

Главным орудием во время еды нам служила ложка. Если на дне миски оставалось немного супа, мы бережно сливали остаток в ложку и отправляли в рот. А Левашов-сын и подобные ему считали хорошим тоном оставлять часть кушанья на тарелке. Богатые солили свою необыкновенную пищу с кончика ножа, а мы — шепотью. Богатые строго журили своих детей, если те оскверняли свои уста нашими лакомствами: вяленой воблой, жареной колбасой или грубо раскрашенным черствым пряником.

Правда, два раза в год — на Пасху и на Рождество — мы здорово наедались. А однажды загулявший отец принес в подвал целый фунт роскошной клубники «Виктория». Но мы ели ее по ягодке, медленно и торжественно, решили продлить наслаждение до утра — а за ночь она прокисла.

Ни одному из обитателей нашего двора не пришла бы сумасбродная мысль покупать диетические булочки у «Бертельса» или зайти в кофейню Филиппова и заказать там стакан чаю. Моего отца не пустили бы в «Метрополь» и другие рестораны для богатых. Когда я, с гривенником в кармане, зашел в магазин под вывеской «Блигкен и Робинсон» на Тверской, чтобы купить конфету, хорошенькая продащица в белом фартучке — она понравилась мне сразу, как только я вошел в магазин — наклонилась ко мне и прошептала: «Пошел вон отсюда, мальчик. Иди в колониальную лавочку».

Мы с Ленькой окончили трехклассное городское училище. Мы любили читать и были смышленными мальчиками. Но если бы мы попробовали заикнуться о том, что хотим учиться и дальше, наши родители просто подумали бы, что мы спятили.

Как я уже говорил, значение слова «поэт» открыл нам Струйский. Многих слов «из того мира» мы не понимали, а иные расшифровывали по-своему. «Химиками» мы звали жуликов и пройдох. «Смазать по физике» — это значило ударить кого-нибудь по лицу.

Иной была и музыка, которой мы развлекались.

К нам во двор часто заглядывали шарманщики со своим музыкальным ящиком на деревянной ноге. Уперев эту ногу в землю, они вертели ручку, угощая нас модными мелодиями: «Гай-да, тройка» или «Матчиш я танцовала с одним нахалом».

Загулявший человек мог заказать за рубль песню трактирному хору.



Скажу, впрочем, что мне очень нравилось, когда, бывало, пройдет по нашей улице, направляясь в баню, рота солдат и лихо «оторвет» песню. А Савка, наш раскудряв-кудрявый черноглазый Савка, тенор из трактирного хора, пел так хорошо, что под окнами трактира собирались толпы народа, чтоб его послушать.

Мать встретила меня давно знакомой жалобой:

— Ох, намоталась я, настрадалась я! Ох, отдохнуть бы мне... Сынок, Шура!..

Отец бросил пить и шил одежду для военных в мастерской Экономического общества офицеров. Но до полочки было еще далеко, и у нас не было ни копейки.

Я быстренько — привычное дело! — соорудил «мурцовку». Налил в миску воды, накрошил луку и черного хлеба, бережно уронил в воду несколько капель постного масла из пузырька.

Потом я вдел нитку в иголку, снял рваную рубашку и положил ее на койку матери. Мать, едва шевеля пальцами, делала стежок за стежком, поглядывая на рубашку, лежавшую под самым ее подбородком. Я следил, как рубашка в ее слабых руках шевелится на одеяле. Починив ее, она попробовала перекусить нитку, но не дотащила рубашки и до подбородка.

— Руки-то, — говорила она с недоумением, — руки-то не поднимаются. А раньше-то...

— Ничего, мама, давай я сам перекушу.

Я наклонился над матерью, погладил ее руку и перекусил нитку. Мать потянулась рукой к моей голове, должно быть приласкать меня хотела, но не смогла дотянуться. Только взгляд ее, перед тем выразивший страдание, стал ласковым.

Я похлебал мурцовки, приготовил для матери чай и поспешил во двор.

## Глава 11

### Женя видела сад

Хорек и Женя ждали меня под вязом, и мы уселись на нашей излюбленной скамейке.

Мне было хорошо. Мальчишкам с соседнего двора не удалось нас отколотить так, как они того хотели, войлочную туфлю я спрятал под подушку, чтобы при случае вернуть греку. Рядом сидел верный друг Ленька, так тесно прижавшись ко мне, что я ощущал своей щекой слабое тепло его расцарапанной щеки. По другую сторону сидела Женя.

С улицы доносилось дребезжанье пролетов. Трактирные завсегда таи кричали и переругивались, пробуя наладить песню.

День сиял. Сохло на легком ветерке развешанное по всему двору белье.

— Греков не надо дразнить, — сказал я неожиданно.

Женя была погружена в глубокую задумчивость. Ленька стал проявлять нетерпение. Он бил пятками в землю, снимал свой картуз и, повертев в руках, небрежно насовывал на самый затылок.

Женя посмотрела на него, посмотрела на меня.

— Я видела сад, — сказала она, словно просыпаясь.

— Видела сад, — повторили мы, и Ленька надел картуз как следует, приготовившись слушать какую-нибудь новую историю с принцами и трамваями.

— Это не сказка, — продолжала Женя. — Я получила долг — два сорок пять — и потихоньку пошла домой, и все выбирала незнакомые переулки: куда мне было спешить-то? Поварскую прошла, свернула в переулок, вышла на Собачью площадку. Булку купила. Квасу грушевого выпила кружку.

Да, это не походило на сказку.

— Квасу выпила и опять пошла. И вдруг — сад, большой, как лес. Ворота распахнуты, и во дворе деревья, песчаные дорожки — песок какой-то яркий, красный — и клумбы с цветами. Я смотрела, смотрела — и вдруг схватилась, разжала кулак. Смотрю на ладонь — денег нет, я их потеряла — два рубля и сорок пять копеек, а ворота закрылись.

Мы все-таки не понимали, почему так поразил Женю сад, в котором было столько деревьев, что он походил на лес. И она и мы бывали ведь в Сокольниках и на Воробьевых горах.

— Вот вернулась я и сказала Ключевой, что потеряла деньги...

Женя вздохнула. И мы вздохнули вслед за ней; здоровую, должно быть, таску задала ей вдова.

Но Женя вздохнула не потому. Нет, Ключева не тронула ее и пальцем. И это озадачило Женю.

— «Бог с ними, с деньгами», так Ключева сказала. «Будем жить — еще наживем». Потом говорит: «С сегодняшнего дня будешь жить у меня в комнате и спать будешь не на полу, а на постели».

Теперь и мы с Ленькой забеспокоились. Что все это значит? Что случилось с Ключевой?

Но Женя совсем удивила нас.

— Я узнала этот сад. Я почти припомнила, как называются желтые цветы, которые там растут. Я и раньше вспоминала этот сад, только мне казалось, что я видела его во сне, или Струйский мне читал про него. Теперь я знаю, что это не сон. Пройти Поварскую, Собачью площадку и... сад есть! Хотите смеяться, хотите нет — а я в нем гуляла когда-то, я в нем жила. Не всегда я была в подвале. И у меня была мать. Я вспомнила это, когда закрылись ворота. Но прежде чем они закрылись, я разглядела за деревьями... Я разглядела дом. Я знаю — там жил старик.

Я вздрогнул: второй раз за этот день я слышал про старика.

— Старик был злой — уж кому и знать-то это, как не мне. Моя мать боялась его. И я боялась — когда он приходил, я прятала голову ей в колени. Не знаю, за что невзлюбил старик мою мать. Он кричал на нее, топал ногами.

— Где же она, твоя мать? — сказал Ленька. — Ты складнее ври.

— Не знаю... Может быть, она умерла? Потом помню, что мы ушли из сада, каких-то людей помню, и мать немного помню.

День подходил к концу. Дребезжали пролетки, в трактире запел Савка, прохожие останавливались, чтобы послушать его.

А над трактиром плыло высокое облако, освещенное лучами заходящего солнца. Я смотрел на него и думал, что оно плывет в поднебесье и видит с высоты моря, степи и леса.

Облако, облако! Сердце мое летит за тобой, подальше, подальше от нашего двора.

Женя сказала:

— Я опять туда пойду. Я припомню, как назывались цветы, и может быть, еще что-нибудь припомню. Сад есть. Я гуляла в этом саду.

Вкрадчивый голос сказал за нашими спинами:

— Сад есть. И это истинная правда, что вы гуляли в этом саду. Какая память! Скажите на милость — как вы все это помните. Какая светлая — о, да! — какая светлая память!

Мы все трое разом обернулись и увидели Иринарха Иринарховича, управляющего домом и помощника Левашова-сына. И даже больше, чем помощника.

Ведь иногда жильцы начинали ворчать, намекали на то, что пора бы починить прохудившиеся потолки, покрасить стены. Тут-то и выходил, вернее — прокрадывался вперед, благожелательнейший Иринарх Иринархович, готовый выслушать любую просьбу, утешить, затушевать трудности, терпеливо капнуть каплю меда в бочку дегтя. И лицо его становилось ласково-терпеливым, движения — бережными. «Капля, да, всего одна капля, но — мед!» — как бы говорил Иринарх Иринархович.

Иринарх Иринархович, так сказать, перекидывал жердочку через пропасть, отделявшую богатых от других людей, и, балансируя руками в накрахмаленных манжетах, показывал, в назидание сомневающимся, что можно не торопясь, потихонечку перейти с одной стороны пропасти на другую.

Левашов-сын одевался богаче Иринарха Иринарховича, но одежда на нем сидела мешком: будто кто-то насмех напялил ее на его неуклюжую фигуру. Серый же, слегка поношенный костюм Иринарха Иринарховича сидел на его владельце как нельзя лучше. Соответственно — Левашов-сын имел золотые часы, а Иринарх Иринархович — серебряные. Но каким движением вынимал он их из жилетного кармашка, когда у него осведомлялись о времени! «Десять сорок пять», — говорил он с таким видом, будто сейчас, в десять сорок пять, случится что-то умиленное и утешительное.

Склонившись в поклоне перед Женей — нас он как бы не замечал, — Иринарх Иринархович пребывал несколько секунд в некотором затруднении: он не имел случая прежде беседовать с Женей и не знал, как ему к ней обратиться. Но по лицу его было видно, что он выйдет из этого затруднения, и выйдет приятнейшим образом. Он нежно ловил в воздухе двумя пальцами порхающее перед ним слово и, наконец, поймал его — осторожно, чтоб не помять ему крылышек.

— Барышня, — сказал Иринарх Иринархович, — маленькая барышня с нашего двора, которая рассказывает сказки... и не подозревает, что в жизни тоже случаются удивительнейшие истории. Вот!

Мы знали, что его послал Левашов-сын. Это за него проделывал Иринарх Иринархович те движения и проявлял те чувства, которые должен был проделать и проявить его хозяин. Но где уж ему! Посмотрел бы он, как, не глядя на меня, Иринарх Иринархович ласковым движением приказал мне встать, и опустил на скамейку, рядом с Женей, соломенную шляпку, украшенную алым бантиком, таким воздушным и пухлым, что боязно было до него дотронуться: растает.

— Она вам будет к лицу, дитя мое. Носите ее. Ничего еще неизвестно в точности, но вас ждет что-то хорошее, маленькая барышня. Вот.

Произнеся это второе «вот», Иринарх Иринархович полез в карман пиджака и движением более плавным, чем то, которым он доставал часы, извлек оттуда горсть серебра и положил в руку Женю, бормоча:

— Пока. Это пока, на карманные расходы. На всякие там...

Он приподнял свою белую летнюю фуражку и удалился, оставив нас в совершенном изумлении. Больше нас обоих была потрясена

Женя: казалось, даже ее ноги в новых башмаках и нелепые цветы на ее платье выражали изумление.

Придя в себя, она посмотрела на серебро на своей ладони и ссыпала его блестящей струей в шляпку. Потом ей захотелось примерить шляпку — что с ней поделаешь, все же девчонка! — и она стала выбирать монеты со дна шляпки кончиками пальцев, словно боялась обжечься.

Покончив с этим, она встала, надела шляпку, зажала деньги в кулак, медленно пересекла двор, постояла перед входом в подвал, потом стала так же медленно спускаться по ступенькам во тьму. Ступенька за ступенькой, все ниже и ниже — пока шляпка не растаяла во мгле.

Из подвала вышел Маркелыч и стал слоняться по двору, томясь бездельем. Еще много времени оставалось до той минуты, когда горемычный солдат мог «раскинуть шатры свои».

Следом за ним показался Струйский, с узелком в руках. Он собирался начать трезвую жизнь и отправлялся в «Полтаву».

А мы с Хорьком сидели на скамейке и смотрели в темноту подвала, где только что растаяла соломенная шляпка, перекочевавшая из ласковых рук Иринарха Иринарховича на нечесаную голову нашей Жени.

...А может быть — не нашей?

## Глава 12

### Дары богатых

Иринарха Иринарховича не дразнили из-за Жени «девичьим угодиником». Он не дрался из-за нее с мальчишками. И он не знал ни одной истории из тех, что рассказывала нам Женя.

А мы знали их множество!

Конечно, мы с Ленькой не верили в волшебниц и волшебство. Но нам нравилось слушать о королях, ездивших на трамвайных буферах, о Золушке, которую мачеха таскала за волосы в темном подвале. В свои истории Женя вовлекала себя и нас с Ленькой, нашу и соседние улицы, наш двор и наши деревья.

Нам это было приятно. Ведь и наш двор хотел как-то заявить о себе окружающему миру — хотя бы только извозчикам на дребезжавших пролетках и равнодушным прохожим.

Не потому ли так надменно пел Савка, не потому ли так заливался, что хотел сказать толпе, собиравшейся послушать его, что и мы плачем и веселимся, что и нам не чуждо «разгулье удалое и сердечная тоска»?

Не о том ли шумели деревья нашего двора, прося о чем-то, шепча что-то запыленной листвой вылинявшему городскому небу?..

Зачем приходил Иринарх Иринархович? Что ему нужно от нашей — пока еще нашей! — Жени?

Не нравились нам эти дары богатых. Богатые что-то замыслили, что-то собирались сделать. Они многое могут. Вчера отец шопотом сказал матери, что где-то далеко, на какой-то реке Лене, они этой весной стреляли в рабочих. Об этом он слышал от слесаря Попеляева.

И я припомнил разговор между тремя рабочими, менявшими рельсы и делавшими что-то со стрелкой на трамвайных путях против синематографа «Волшебные грезы». Я услышал этот разговор нечаянно, рассматривая афишу, на которой индеец обгонял на диком скакуне поезд, окутанный лиловым дымом. Холщевая сумка с инструментами лежала

на мостовой, и то один, то другой из рабочих иногда запускал в нее руку.

— Вот так-то, брат, — сказал рабочий, самый старший, с козлиной бородкой, загибающейся к кадыку. — Раз-два — и открыли огонь... Дай-ка ключ. — Он опустился на одно колено и принял ключ из рук совсем молодого, безусого парня.

Прошел, позванивая, вагон трамвая. Рабочий с бородкой ждал с ключом в руке, пока он пройдет, потом стал завинчивать какую-то гайку.

— Одних убитых... — он работал и работал ключом, все быстрее, потому что в конце улицы опять показался вагон. — Одних убитых... — трамвайные трели слышались уже совсем близко, он с усилием дотянул ключом гайку и сказал сквозь сжатые зубы, словно простонал: — ...сто девяносто семь человек... Прими. — Не глядя на парня, он рывком протянул ему ключ.

Вагон прошел, колеса лязгали на стыках рельс. Теперь и парень опустился на колени, и они достали из холщевой сумки еще какой-то инструмент. Железо застучало о железо. Пыль неслась над мостовой — был конец мая.

Третий рабочий — огромный, косая сажень в плечах, стоял рядом. Мне показалось, что он пережидает, пока его товарищи перестанут завинчивать да отвинчивать, чтобы одним махом выполнить какую-то особо тяжелую работу — перенести к путям новый рельс, что ли: он лежал рядом у тротуара.

Прошла дама, метя подолом асфальт. Проехал на пролетке, уткнув шашку между колен, военный. Франт в котелке, с крысиной мордой, последовал за дамой. Их обогнал, отдуваясь, жирный человек в полотняной панамке на голове.

Головы работавших сблизились, и я не понял, кто из них сказал:

— И раненых... около двухсот. Свинцом... В народ-то... В самую, брат, гущу...

Я долго не мог забыть этого разговора. Да, богатые могут причинить людям много зла.

Чего они хотели от Жени? Зачем убивали людей на далекой реке?..

В течение ближайшей недели произошло не мало событий. Самым незначительным из них было то, что Струйский опять «наступил на пробку», то есть начал пить, но пребывал пока в номерах «Полтава».

Беев перестал торговать чаем из набора трав и не удивлял больше любопытных своей просьбой не смешивать его целебный напиток с китайской травкой.

Добрейший Иринарх Иринархович несколько раз посетил наш подвал, и как-то даже упал, споткнувшись на том самом месте, где всегда спотыкался и падал мой отец, возвращаясь домой в нетрезвом виде.

Я был свидетелем того, как Иринарх Иринархович потерял равновесие и, ползая на четвереньках в темноте, разыскивал свою белую фуражку и просил меня принести спички.

Но я не принес ему спичек — пусть ползает.

Дело в том, что с каждым новым его посещением Женя менялась и все дальше уходила от нас. Ее не били. Куда там — Клюева сама стелила ей постель в своей комнате. Ей принесли два новых платья — «вуалевое да маркизетовое», как сообщала вдова.

В пятницу Женя выбежала во двор в шляпке и новом платье. Мы с Ленкой играли в «чижика».

— Примете меня? — спросила она, нерешительно остановившись возле нас.

Мы с Ленькой переглянулись: никогда раньше она не спрашивала нас о том, примем ли мы ее в игру, а без спроса ввязывалась в нее, да еще толкая нас иногда локтями. Никогда раньше она так не робела.

Мы ее приняли. «Чижик» порхал по двору, кувыряясь в солнечных лучах, Женя запыхалась, сняла шляпку и стала опять нашей прежней Женей, сорванцом-девчонкой.

Потом она пропадала целый день и вышла в субботу в другом, тоже новом платье, совсем робкая, совсем смущенная.

У нас в это утро было много хлопот: мы добывали бумагу, клей, мочало и суровые нитки, собираясь смастерить змей и запустить его в поднебесье. Мы и не заметили, как Женя подошла к нам и, присев на корточки, следила за нашей работой.

Только когда она слабым, срывающимся голоском стала подавать нам робкие советы, ибо научилась у нас понимать кое-что в змеях, мы подняли головы и посмотрели на нее.

В былое время Ленька поссорился бы с ней, потом они помирились бы... Но сейчас он только сказал ей:

— Ты... Отзынь немножко в сторонку.

И Женя, все больше робея, отошла немножко в сторонку. Солнце просвечивало ее белое платье. Худенькая фигурка Жени была словно в облаке, которое светилось и готово было унести ее с нашего двора.

Хорек молчал. Я хмуро возился со змеем.

Тогда Женя опять подошла к нам, опустила на корточки и, стыдась, словно она от нас откупалась, дала нам по серебряной монетке.

Потом выпрямилась и сказала:

— Пойду...

И ушла от нас, неуверенно ступая.

Ленька опрокинул банку с клеем и сердито плюнул на нее.

Я вынул из кармана монетку — это был двугривенный. Он лежал на моей ладони новенький, с рубчиками по краям. Наверное и у Леньки был такой же.

Я испытал желание отшвырнуть далеко в сторону эту монетку. Разумеется, Ленька тотчас сделал бы то же самое. Я смутно ощущал, что, оставляя монету у себя, я изменяю чему-то. И мне стало больно. Я вспомнил попечительницу, слезинку, повисшую у матери на подбородке, руку отца, по которой ползали мухи.

Ленька следил за мной, затаив дыхание.

Но я не бросил монетки: ведь на нее можно было купить у Дедушкина чегыре больших копченых селедки. А мы с матерью уже целую неделю пробавлялись мурцовкой.

Не сговариваясь, мы поднялись на ноги и через минуту очутились за воротами. Жесткие, презрительные слова теснились в наших сердцах, но мы не решались их вымолвить.

— Мадам Фру-фру, — сказал, наконец, с трудом Ленька.

— Да, чистенько стала ходить, — сказал я.

Никогда мы так не озоровали, как в этот субботний день.

Солнце уже склонялось к закату, когда мы с Ленькой, вдоволь набегавшись и натворив разных дел, услышали пронзительный свист. Мальчишки с соседнего двора вызывали нас померяться силами.

Мы с Ленькой всеми правдами и неправдами собрали с десятков «своих» мальчишек и поспешили к чугунным резным воротам.

Нашими противниками командовал на этот раз приземистый, краснолицый подросток, прозванный кратко и выразительно: «Мясо». Кулаки у него были не по летам тяжелые.

Мы едва выслушали заповку задира: «Девичий угодник», «Хорь-хорище» — и ринулись на врага. Мы с Ленькой дрались напористо, с ожесточением, воодушевляя своим примером других ребят.

Когда драка кончилась, я подошел к предводителю.

— Соткнемся, что ли?

— Давай соткнемся.

И мы соткнулись один на один. Мальчишки обступили нас полукругом. Поединок кончился вничью. Я тяжело дышал, но был счастлив: обычно «Мясо» всегда побивал меня.

«Мясо» пожал мне руку и с уважением сказал:

— Подними картуз-то и морду вытри. Ишь какой ты парень-то настыристый...

### Глава 13

#### Праздник

Когда я вернулся домой, отец уже спал. Потревожив Маркелыча, я вскипятил на кухне чайник, налил матери стакан чаю и поставил на табуретку, стоявшую возле ее кровати. Потом положил матери на грудь, поверх одеяла, кусок ситного.

Прежде чем приступить к еде, мать помолилась, глядя на икону у углу. Креститься матери было трудно.

Я со скукой слушал знакомые слова.

— Господи! — бормотала мать. — Пречистая мать божия, владычица! Спаси и сохрани.

Отец давно разъяснил мне, что бога выдумали сами люди.

На нашем дворе то и дело было слышно: «слава богу», «бог с тобой», «бог милостив», «бог подаст». И даже когда лукавили, не обходились без имени божьего: «бог-то бог, да не будь и сам плох».

Я любил Пасху и Рождество, потому что мог в эти дни наестся досыта. Я не любил ходить в церковь к обедне или всенощной, потому что там было душно и скучно. В синем от ладана воздухе перед ликами святых воровато плавали огоньки свечей, не в силах разгореться ярче. Церкви это было выгодно: после церковной службы особый человек собирал свечки, которые не успели догореть во славу божью. Воск — те же деньги.

Бывало, когда она еще не слегла, мать заставляла меня останавливаться на улице, перед образами святых, которые висели за стеклом у ворот почти каждой церкви, снимать шапку и креститься.

И я снимал шапку и крестился: чего ж, рука от этого не отсохнет.

Святой Егорий Победоносец был мне даже симпатичен. Сидя на коне, он поражал копьём дракона. Кроме того, отец носил имя этого святого. Но меня смущало то, что храброму Егорию поклоняются робкие, богомольные старушки. И потом — что это за дракон? Я не читал и не слышал о драконах. Довольно было с меня львов Сахары.

Была ночь. Уже перестали ходить трамваи, и реже звучали шаги у нашего окна, забранного решеткой. Москва засыпала. Реже и реже дребезжали пролетки.

И где-то там, за Спиридоновкой и Собачьей площадкой, спал или бодрствовал М. А. Кушин, могущественный М. А. Кушин...

Склонив голову набок, я смотрел, как ест мать. Это была для нее трудная работа. Ее пальцы двигались, как у часовщика, которого я видел за витриной магазина собирающим из мельчайших колесиков часовой механизм. Дрожая, подбирались ее пальцы к хлебу и отламывали кусочек. Долго вела мать руку с этим кусочком, прежде чем донести

ее до рта. И все-таки она время от времени складывала пальцы в щепоть и криво, не доводя их до лба, крестилась:

— Господи всемилостивый! Владыко!

Нет, напрасно мечтал я о путешествиях в неведомые страны, откуда, казалось мне, приходили белоснежные облака, проплывавшие над трактором и таявшие в синеве. Не уйти мне с нашего двора, не уйти из этой комнатухи, где стонет и молится мать. Хоть бы в больницу ее скорее взяли — и то слава богу!.. Львы Сахары могут спокойно разгуливать по пустыне, оглашая ее победным рычаньем. Они не дождутся от меня меткой пули...

А на другой день было воскресенье, и ленькин отец справлял свои именины.

Под деревьями были поставлены два стола. Белье в этом углу двора сняли, и самые веревки отвязали на время — чтоб было просторней, чтоб было где разгуляться.

Столы застелили белыми скатертями. И на нашем дворе стало весело. Отец Леньки, высокий, костлявый мужчина, пронес через двор огромный кипящий самовар и поставил его на стол. Пар бил белой струей в листву деревьев. Тень от сучьев бродила, ползала по столам, среди пирогов и бутылок.

Савка сидел рядом с именинником и пел:

Придет весна, настанет лето,  
В полях цветочки расцветут —  
А мне, бедняжке, в это время  
В железо ноги закуют.

И все были ему душевно признательны за то, что он пел сегодня у нас во дворе. И верили, пустив пьяную слезу: да, истинно, настало лето, и в полях расцвели цветочки, а неумолимый кузнец, который закует нам ноги в железо, не к каждому придет...

Под звуки савкиной песни вышла из подвала Женя и, побродив по двору, послушав Савку, подошла к нам.

Мы с Ленькой съели много пирогов, выпили по рюмке портвейна, не забыли про солонину с хреном и белый хлеб. Мы посмотрели на Женю сытыми глазами.

— Шура, Леня, — прошептала Женя, обняв нас за плечи. — Они показали мне маму. И меня показали. Вот они — мы.

И она сунула нам в руки карточку. На ней были сфотографированы девочка лет пяти, в белом платьице, с длинными волосами, в которые вплетена была лента, и высокая молодая женщина с высокой прической, положившая девочке руку на плечо.

Значит, он был, заколдованный сад. Значит, и правда, Женя гуляла в этом саду...

Придет цырульник с бритвой острой...

убедительно полупропел, полусказал Савка и вдруг, подняв руки к пыльной листве, сокрушил и поверг в отчаяние сердца слушателей, зазвенев во весь голос:

...Обреет правый мой висок.  
Я буду вид иметь ужасный  
От головы до самых ног.

Именинник уронил кусок пирога на землю, обнял Савку и поцеловал. Савка прервал песню и озирает стол: что бы выбрать в награду за песню.



Именинник налил ему полный стакан портвейна, а Савка тем временем выбрал огурчик и потянулся к нему. Все смотрели с благоговением на его лицо, по которому блуждала тень от листы.

Сблизив головы, мы с Ленькой рассматривали карточку. Да, это Женя, когда она была совсем маленькой, и ее мать. Все верно, все правда. Только почему-то фотография с одного края обрезана, и сделано это очень небрежно: у женщины с высокой прической нехватало почти всей левой руки — на снимке осталось только плечо с пышным пухом рукава.

— Что мне делать? — спрашивала Женя. — Как мне быть? Они едят мне переехать в их дом... И хотят повести меня показывать самому Кушину... Ай-яй-яй, мальчики!..

Она, как взрослая, покачала головой и залилась слезами.

Тут во двор вошла девчонка. Она была белобрыса, несколько позволяя разглядеть платок с черными старушечьими горошинами, которым она по-деревенски повязала голову. У девчонки был большой рот, выцветшие брови — такие редкие, будто кто-то пытался их совсем выщипать — и до отчаянности храбрые, серые глаза. На ней было короткое платье, имевшее такой вид, будто она мимоходом сдернула его с веревки, проходя по двору, и, не погладив, быстренько надела. На ногах девчонки были огромные «коты».

Она бодро пересекла двор и подошла не к кому-нибудь, а прямо к нам. Может быть, ее привлекли самовар и пироги.

Весь вид ее свидетельствовал о том, что она не даст себя в обиду.

— Иде издесь тетка Клюева? — с веселой угрозой спросила она.

Мы рассказали ей, как пройти к вдове, и через минуту девчонка, гремя «котами», спустилась по ступенькам подвала и исчезла во тьме.

Мы с Ленькой ждали. Так и есть: она споткнулась и упала на роковом повороте. Послышался смех, девчонка встретила первое препятствие, но это, видимо, нисколько ее не утратило.

Но ах как празднично выглядел сегодня наш двор! В листву била струя пара. Самовар долили, ленкина мать принесла целый совок раскаленных углей и, роняя искры, всыпала их в трубу. И в нашем дворе пировали! И над нашим двором синело июньское небо!

И как залиvisto, как звонко жаловался Савка на то, что его схватили, заковали ноги в железо, всячески измываются над ним — а подруга, а подруга-то его, той нет дела до несчастного. Ну что ж.

Ты будешь петь и веселиться  
И позабудешь про меня,  
А я в тюрьме свой век томиться —  
Но не забуду я тебя.

На верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвал, показалась белобрыса девчонка. Она с удовольствием послушала песню, потом, зажав в кулак деньги, потрусила через двор, миновала ворота и побежала за лимоном для Клюевой в колониальную лавку Дедушкина — по тем старым стёжкам-дорожкам, которые были исхожены вдоль и поперек нашей Женей.

...А на другой день Левашов-сын и его слуги увели Женю за чугунные резные ворота, в серый особняк с большими окнами, перед которыми старый вяз распростер свои сучья, чтобы Левашовы не видели нашего двора.

Глава 14  
Белобрыска

Дела шли день ото дня все хуже.

Отец сказал мне как-то, вернувшись с работы:

— Довольно тебе шалтобайничать. О деле подумать пора.

И ленькин отец, словно сговоришься с моим, объявил сыну:

— Догуливаешь последние денечки.

Словом, нас собирались определить в «мальчики». Леньку — в кондитерский магазин Прохоровой, на Арбате, против Большого Афанасьевского переулка, а меня в трактир — не тот, что расположился на другой стороне нашей улицы, а в большое, с органом «заведение» Васильева, торговавшего чаем и водкой на бойком месте, у Брянского вокзала.

Итак, мы с Ленькой скоро должны были присоединиться к многочисленной армии московских «мальчиков», если можно назвать армией этих подростков — затурканных, остриженных под машинку, втиснутых в дешевые серые курточки.

Мы стали приглядываться к этим существам с хмурым сочувствием: ведь скоро мы наравне с ними будем получать подзатыльники (уж в этом-то сомневаться не приходилось).

«Мальчики»...

Один из них шествовал по мостовой, обвешанный картонными коробками, пугаясь извозчиков и неловко оглядываясь назад на какую-нибудь неотступно следующую за ними лошадиную морду. Другие спешили к заказчику с парой новых сапог, некоторые — самые затурканные, в особо тесных и коротких куртках, с особенно тусклыми пуговицами — открывали и закрывали двери в магазинах, пропуская покупателей.

Одного «мальчика» мы долго и озабоченно наблюдали через открытую дверь скорняжной мастерской. Он стоял на коленях в углу — должно быть туда его поставили в наказание за что-то. На нем был грязный фартук, ноги были обуты в рваные калоши. Время от времени скорняк подходил к нему и тыкал в лицо шкурку какого-то неведомого нам зверька, приговаривая: «Испортит товар, каторжник». Двух других «мальчиков» на наших глазах выталкивали — и не могли никак вытолкнуть — из дверей конки, в которых они прочно застряли с пружинным матрасом.

Мальчишки эти почти никогда не вступали в драку, хотя мы и пробовали дразнить и задирать их. С ужасом мы замечали, что и баловаться-то они почти разучились.

Скоро, скоро мы с Ленькой будем носиться туда и сюда, как Белобрыска, напутствуемые словами: «Одна нога здесь, другая — там».

Ну, а Белобрыска — такое мы ей дали прозвище — не унывала. Много раз на дню она возникала из подвального мрака, чтобы развеять белье, или сбежать к Дедушкину, или вытрясти золу из самовара — да мало ли еще зачем, — и опять скрывалась в подвале.

Сама Ключева, с уважением глядя на свою тяжелую, разбухшую от стирки ладонь, говорила:

— Из этой девки слезу тоже не вышибешь.

Мы с Ленькой придумали, как дразнить эту несокрушимую девчонку.

Когда она топала мимо нас в своих громких «с разговорцем» башмаках, Ленька тоненько заводил:

— Бело-бело-бело...

А я коротко отрезал:

— ...брысь!

И мы еще раз повторяли, уже вместе:

— Бело-бело-бело... брысь!

«Коты» переставали «разговаривать». Белобрыска останавливалась, обрадованная тем, что ее пробуют обидеть какие-то босоногие мальчишки, а она вот сейчас даст им отпор.

— Фигушка вам, — с удовольствием произносила она и, прыснув в кулак, убегала.

Мы подружались с ней из любопытства: как это могло появиться на нашем дворе существо, довольное всем на свете. Потом нам вздумалось научить ее читать. Когда мы сообщили ей об этом нашей намерении, Белобрыска спросила:

— А что вы мне подарите?

Тщетно убеждали мы Белобрыску — Ленька плевался и чуть не плакал от злости, — что мы делаем ей одолжение, что это она должна благодарить нас за то, что мы урываем из нашего драгоценного времени часок-другой, чтобы приобщить ее к знанию. Белобрыска слушала нас и время от времени раздражалась торжествующим смехом: как же, позволит она потешаться над собой босоногим мальчишкам! И на лице ее было такое выражение, будто она вот-вот скажет: «фигушка вам».

Наконец, она нехотя сдалась:

— Ладно уж, учите...

...Приехала карета, чтоб увезти мать в Матросскую больницу.

— Прощай, Варварушка, — сказал отец, стоя перед каретой с непокрытой головой. — Выздоровливай.

Он отпросился с работы, чтобы проводить свою Варварушку.

— Прощай, Егорушка, — отвечала мать. — Не пей.

И карета уехала. В подвале стало еще скучнее.

Было жарко. Ленька что-то долго не выходил, Белобрыску услали куда-то. Прошел к воротам Замираило, помахивая бамбуковой тросточкой. У ворот он обернулся, подмигнул мне, и я нехотя усмехнулся. Томясь бездельем, слонялся по двору Маркелыч. Неподвижно висело тяжелое мокрое белье, оттягивая веревки почти до земли.

Во двор заявился Иринарх Иринархович, и к нему тотчас же привязался Маркелыч, обрадовавшийся случаю перекинуться словом-другим с живым человеком. Я уж знал: они говорили о ремонте, ни о чем другом Иринарх Иринархович не говорил с Маркелычем. Еще в прошлом году наш вкрадчивый управляющий намекнул, что Левашов-сын подумывает о том, чтобы починить крыши, сменить ржавые водосточные трубы, вставить кое-где стекла и, быть может, покрасить флигель. Это был один из утешительных обманов Иринарха Иринарховича.

Во всяком случае, сейчас Иринарх Иринархович в сопровождении старого солдата обходил двор, постукивая согнутым пальцем по водосточным трубам, терпеливо пролезал под веревки с бельем, останавливался и задира голову, рассматривая стены, заглянул даже в наш подвал, пошатал даже рукой столб, оставшийся от забора. Он играл в эту игру вдумчиво и серьезно.

Я стал смотреть на улицу. По крутой каменной лестнице, ведущей в трактир, взбирались, обнявшись, двое парней. Пролетки, проезжая, вздымали колесами пыль.

Что же еще надеялся я там увидеть?

Правда, два дня назад улицу, и особенно владельцев галантерейных магазинов нашего и соседних кварталов, поразило неожиданное проис-

шествие Над пустовавшим доселе помещением под трактором появилась наглая и победоносная вывеска. На куске белого полотна было написано смелой и размашистой кистью:

«А. И. Мишин.

Пожалуйста к нам! У нас тысяча дюжин мужских сорочек! Только две недели! Спешная распродажа! Небывалая дешевка! Спешите видеть, чтобы верить!»

Но мне-то что в этой тысяче дюжин?..

Стали возвращаться с работы и проходить по улице слесаря, плотники, каменщики, монтеры, типографщики, текстильщики.

Я смотрел на них и думал: «Как же могли там, на Лене, стрелять в них? Как можно выстрелить вот в этого пожилого, коренастого человека в синей блузе, с куском ситного подмышкой, — и он споткнется, выронит ситный на мостовую, и сам упадет в кровь и пыль? Как могут богатые убивать людей?»

Человек в синей блузе завернул на наш двор. Как же я сразу не узнал его: это был Попеляев. Проходя мимо старого вяза, он поправил ситный подмышкой и ободряюще улыбнулся мне: живы будем — не померем.

Мне всегда приходило в голову, когда я встречал Попеляева, что он знает что-то большое и важное. Недаром у нас во дворе уважали его, хотя Клюева и шептала боязливо, завидев коренастую фигуру слесаря, что он человек беспокойный, баламут и забастовщик. Попеляев и теперь бастовал — вот уже целый месяц. Он ходил в широких синих штанах из «чортовой кожи» и такой же блузе — и мне казалось, что эта одежда очень ловко сидит на нем и очень ему к лицу. Он был словно солдат какой-то неведомой мне армии, отлучавшийся по временам на наш двор. Его глаза, серые с синевой, смотрели уверенно и чуть насмешливо. «Такого не выгонят из магазина Блигкен и Робинсон», — думал я.

Но самое странное заключалось не в этом, и даже не в том, что городской на перекрестке, козырявший моему отцу, когда тот был трезвым, опасливо поглядывал на Попеляева. Струйский, сам Струйский, поэт, рекламных дел мастер, Струйский, с его патентованной койкой и шляпой канотье, знавший, казалось, все, что делается на свете, читавший газеты и небрежно разбрасывавший деньги в номерах «Полтава», — побаивался Попеляева и, как бы против своей воли, как бы нехотя, отзывался о нем с уважением.

Попеляев не бранил Струйского «танцором» и «акробатом», как мой отец, он наблюдал его с презрительным спокойствием. Разговаривая с ним, Струйский увядал и старался выбирать слова простые и понятные, что не всегда ему удавалось.

«Так что же знает Попеляев? — думал я. — Жалко ему, что ли, хоть намекнуть мне об этом?» Струйский поведал нам с Ленкой о морях и океанах, о далеких островах и удивительных путешествиях. Но должно быть то, что знает Попеляев, еще удивительней! Хотя бы потому, что он таит свою правду про себя и не рассказывает о ней первому встречному, как Струйский, который то и дело произносит или выкрикивает — с кривляниями или слезами — слова, слова, слова!..

Но так велика была правда, которую, казалось мне, не хотел открывать людям Попеляев, что они, только догадываясь о ней, уважали Попеляева и даже любили его.

## Глава 15

## Гроза

Над трактиром выросла иссиня-темная туча, и во дворе у нас поднялся переполох: хозяйки, а вместе с ними, конечно, и Белобрыска, бросились снимать белье.

Поднялся ветер, закружились облака пыли, и в них бесновались бумажки и сорванные ветром листья. Вяз порывался всей листвой то на улицу, то во двор, стараясь сломать палисадник.

Белобрыска боролась с голубой рубашкой, один рукав которой облепил ее руку, другой норовил захлестнуться вокруг шеи.

И вдруг ветер стих.

Рубашка в руках Белобрыски вяло повисла. Она была очень длинная и почти касалась подолом земли. Бумажки и листья плавно опускались вниз, пыль медленно оседала в тишине, — и тут хлынул ливень.

Колченогие водосточные трубы, не в силах принять полагающуюся на их долю воду, хлещущую с помрачневших небес, фыркали, чихали и отплевывались, содрогаясь всеми своими железными суставами.

Перед подвалом сразу вспухла большая лужа, вода подумала-подумала — и пустила струйку через порог, потом медленно стала стекать со ступеньки на ступеньку.

Сверкнула несколько раз подряд молния, загрохотал гром.

Мы с Ленькой, понятно, были на дворе — вместе с озоровавшей грозой, которая разгоняла прохожих по подъездам и подворотням.

Мы кричали и пели, бегая по двору. Каждый особенно сильный удар грома мы встречали и провожали пронзительным свистом.

Стало темно. Деревья пили воду, чтобы расти и в этом году, и в будущем, и через десятки лет — если не случится большой бури и если хозяйки не будут слишком часто вбивать в них гвозди, к которым привязывают веревки для белья.

При свете молний видно было, что теплые лужи покрылись рыжими пузырями, словно собирались закипеть.

Вдруг сквозь раскаты грома мы услышали знакомое:

— Эй-я! О-эй!

Только в грозу... Только в грозу, с молнией и громом, под неистовый шум ливня, это было возможно: Женя, простоволосая, в облепившем ее худенькое тело лиловом платье, бежала к нам по лужам, готовым закипеть.

Подбежав к вязу — мы как раз остановились под ним, чтобы передохнуть, — она нагнулась и мокрыми пальцами поправила подвязку на чулке. Волосы свесились ей на лоб. Сиреневая подвязка мгновенно потемнела.

— Ребята! — выпрямившись, вскричала Женя, жадно вглядываясь в наши, умытые ливнем, лица. — Пойдемте ко мне. Сегодня — день моего рождения. Они разрешили мне пригласить вас, я их попросила.

Она так и сказала — ко мне. И она теперь знала день своего рождения

Тут на дворе появилась высокая пожилая дама, в шляпе с гнездышком, в котором сидела птичка.

Подобрав платье, она подвигалась по лужам к нам, бормоча испуганно:

— Божё милостивый! Женя! Боже! Женя!

В другое время мы не решились бы пойти к Левашову-сыну. Но сейчас все казалось возможным. Вспыхивали, перегоняя друг друга,

молнии, гремел гром, все взрослые попрятались, и мы были предоставлены самим себе. А дама была не в счет.

Края ее шляпы гнулись под струями дождя, птичка в гнездышке шевелилась: вот-вот зачирикает.

Дама бормотала, словно заклиная фыркающие трубы, деревья, которые пили воду, и готовые закипеть лужи, на которых лопались пузыри: — Боже-жене-жене-боже.

Женя схватила нас за руки и тащила за собой. Да мы и не очень упирались: что-то случится, что-то случится! Скорее — пока льет ливень и гремит гроза.

Мы пробежали по пустынной улице, весело сверкавшей умытым булыжником, и дальше — через калитку в чугунных резных воротах, к серому особняку.

В гости к Жене! Сегодня, сейчас, в грозу, мы верили, что этот особняк — женин.

Когда горничная в накрахмаленной наколке и фартучке с нагрудником открыла нам тяжелую дверь, мы услышали позади, в шуме дождя: — Боже-жене-жене-боже...

И вслед за этим бормотаньем — ослепительная молния и удар грома, от которого задребезжали стекла.

По пяти ступенькам, покрытым узким ковриком, мы поднялись в коридор, большой, как комната, и освещенный электричеством.

Женя попросила нас минуточку обождать и скрылась вместе с дамой за дверью комнаты, выходящей в коридор. Мы с Ленькой переглянулись. Из-за двери доносились причитания дамы и смех Жени.

Минут через десять дверь распахнулась, и они показались на пороге. Женя была теперь в белом платье.

Она шепнула мне на ухо:

— Я нарочно долго переодевалась, чтоб вы обсохли немножко. — И добавила: — Скоро — если вы мне друзья — я подам вам знак. Когда я покажусь в окне — а вы на него посматривайте — значит, меня повезут показывать этому... как его... Кушину. Я б не поехала, да они говорят, что от этого кому-то будет плохо... Маме, быть может?..

Женя и старая дама пошли по коридору, а мы с Ленькой, робея, последовали за ними. Дойдя до двери, Женя толкнула ее:

— Входите.

Столовая была огромной комнатой. И окна были большие. Одно — то самое, под которым рос старый вяз, выходило на двор, другое, полужадрнутое занавесью — на улицу. Но так как левашовский особняк отступал в глубь двора, вид этой улицы не слишком оскорблял взоры его обитателей.

Левашов-сын сидел за круглым, богато убранным столом, покрытым бахромчатой скатертью в синих узорах, и смотрел на свое громоздкое пузо, похожее на тюфяк.

Левашов-сын встал, и пузо пошло к нам — на коротких, но крепких ногах. Он положил руку с перстнем на безымянном пальце на голову Жени, но тут же отнял ее. Очевидно, он попробовал приласкать Женю.

Мы сели за стол. Я старался охватить одним взглядом все его великолепие, но взор мой заблудился среди цветов, приборов, графинов, блюд — и опять цветов, и еще графинов, бутылок, вазочек и рюмок. Нам с Ленькой никогда не приходилось видеть такого богатого стола — разве что в синемаатографе. Но там все предметы были серыми, моросили на экране, как дождь, а здесь все сверкало, сияло, блестяло, краснело, желтело. Красивые рюмки и графины посылали

друг другу цветные лучики, играли друг в друге отсветами, стараясь стать еще красивее.

— Хо-хо, поедим, — шепнул мне на ухо Ленька.

О, еще бы!

Левашов-сын тупо сказал, хотя мы уже сидели за столом:

— Садитесь, мальчики.

Мы сидели рядом с Женей. Надо сказать, что наши рубашки и штаны еще не успели высохнуть. Я положил свои босые ноги на перекладину стола.

Женя была веселая и часто смеялась. Я обнаружил, что Левашов-сын, этот нескладный, неповоротливый человек, чувствует себя за столом, как рыба в воде. Он почти добродушно взирал на нас — ведь и мы ели, и мы разделяли его наслаждение вкусной, хорошо приготовленной пищей.

Когда он наполнил наши рюмки густым, как мед, вином, из соседней комнаты вышла женщина в красивом платье и сама красивая: матовое лицо, блестящие, будто лакированные волосы и огромные, черные, лениво о чем-то замечтавшиеся глаза. Она шла по столовой, словно никого не видя, и я подумал, что так, замечтавшись, она пройдет мимо нас — и исчезнет.

Но она остановилась возле Жени, мягко и чуть-чуть нагнулась, потерлась щекой о женину щеку и сказала поощрительно:

— Проказница-мартышка.

Эта умела приласкать, хоть и небрежно, мимоходом.

Дама, сидевшая на другом конце стола, произнесла свое «боже-же-не» — на этот раз с умилением.

Гроза стала утихать.

Благоухали цветы, успевая иногда уронить лепесток на осторожно двигавшиеся над скатертью руки Левашова, звенели приборы и тарелки, касались друг друга певучими краями рюмки, смеялась то и дело Женя, жадно, но деликатно ела дама на другом конце стола, мы с Ленькой дружно набивали рты, небрежно отведывала то или другое блюдо мечтательная супруга Левашова-сына.

Мы трое, присутствовавшие на этом пиршестве — Женя, Ленька и я, — только еще начинали жить. Многие казалось нам возможным. Может быть, мы были глупее взрослых, сидевших вместе с нами за столом, а может быть — кто знает! — и мудрее, много мудрее.

Почему бы мальчишкам, вроде нас с Ленькой, не есть всегда хорошо и досыта? Мы были, как я сказал, в самом начале жизненного пути, нас еще не запугали, мы еще не прониклись должным уважением к железным законам, и мы спрашивали, и сердца наши были чисты, и глаза ясно смотрели вперед: «почему?».

Почему Жене всегда не носить красивые платья и не менять их... ну, скажем, раз в полгода? Что плохого в том, если Женя приведет к себе в гости, в просторную комнату, двух мальчишек — и не только в грозу, под блеск молний и раскаты грома — и усадит их за стол, подкрытый скатертью с синими узорами?

Что в этом незаконного? Может быть, так и должно быть?

Но Левашов-сын, подносящий как раз в эту минуту ко рту кусок мяса и почти благожелательно взиравший на нас, Левашов-сын, умудренный житейским опытом, знал, что это не так.

Совсем не так.

Он позволял пока своенравной Жене капризничать и делать кое-что по-своему. Пусть она играет в хозяйку, принимающую мальчишек, и ду-

мает, что ей не придется расплачиваться за свой звонкий смех, за платья и еду.

Но все эти вещи поведут на нее наступление, возьмут ее в плен — так полагал Левашов-сын, — изменят ее походку, манеру говорить, даже есть и смеяться. Изменят мало-помалу — Левашов был уверен в этом — ее душу.

И тогда между нами и Женей вырастет зияющая пропасть.

Левашов-сын охотно позволил нам с Ленкой сидеть вместе с ним за столом и разделить с ним хлеб-соль. Это его даже забавляло. Он полагал, умудренный жизнью, что видит конец нашего пути. Он видел людей, которые прошли этот долгий путь — таких, как моя мать, проливавшая слезы у сырой стены, прислушиваясь к тому, что делает с ее распухшей ногой проклятый «волос». Таких, как мой отец, которому пришлось из-за пяти рублей прятаться от попечительницы.

Но Левашов ничего не знал. Он не мог знать конца нашего пути. Он не предвидел, как и когда окончится его собственный жизненный путь. Пусть фаянсовый соусник, который он — вот сейчас — взял пухлой рукой, был прочен и в нем была густая подливка, приготовленная по его вкусу. Пусть стол, уставленный яствами, за которым он сидел, расставив локти, как хозяин, массивен и тяжел, так что его трудно сдвинуть одному человеку. Пусть Левашов думал, что добротные, умело сделанные вещи, заполнившие его дом, будут долго служить ему — они были более непрочны, чем вещи в моей подвальной конуре, про которые отец говорил, что они «имеют одну лишь видимость».

Дубовая дверь его особняка запиралась двумя поворотами ключа. Затем накладывался крюк. Сверх того, дверь охраняла стальная цепочка. Но никакие запоры не могли спасти Левашова-сына от того, что ждало его впереди. Кусок встал бы у него поперек горла, если б он знал, что водопроводчик, которого впустили в особняк с черного хода, чтобы починить кран на кухне, — богаче его; что простоволосая девочка, играющая в пыли у его ног, когда он важно идет по двору — навстречу своему неизбежному концу! — богаче его. Это их — а не его — ждали шахты, рудники, заводы и фабрики, которыми владел М. А. Кушин и другие. Это для них рос под окнами его особняка старый вяз.

Ешь Левашов, ешь, любуйся, как густая подливка лениво льется на твою тарелку и бутылки выстроились перед тобой на столе. Орошай свою пищу вином, сухим и полусухим, красным и белым — до поры до времени. Проверь и сегодня, перед тем как отправишься спать, крепко ли замкнута дубовая дверь. Не забудь про крюк и стальную цепочку. Бурчи себе под нос, отходя ко сну, что с бунтовщиками на Лене надо было расправиться твердой рукой. Унижай тех, кто не имеет столько денег, как ты, криви душой и притворяйся, что нежно любишь вот эту девчонку Женю, что сидит против тебя рядом с босоногими мальчишками, пресмыкайся перед М. А. Кушиным. Скоро, скоро выстрел с «Авроры» возвестит в один октябрьский день, что с Левашовыми и Кушиными покончено раз и навсегда. И тогда, может быть, ты подумаешь — и это будет правильная мысль, Левашов-сын, — что не так уж далек конец пути всех Кушиных и Левашовых во всем мире...

Левашов почувствовал на себе мой пристальный взгляд и поднял голову.

— Ты что так воззрился на меня? — почти благодушно спросил он, вытирая губы салфеткой. Стул затрещал под ним. — Привидение я, что ли? Дайте-ка, я плесну вам еще немного вина.



К концу обеда явился Иринарх Иринархович. Сделав два екрадчи-вых шага по направлению к столу, он замер, как бы от восхищения перед представившейся ему картиной, а потом стал плавно оживать: на губах его возникла улыбка — не сразу, нет, она возникла постепенно, делая его лицо все более лучезарным. Он пожал свою левую руку правой, остановил признательный взор на лицах Левашова-сына и его супруги и наклонил голову, приветствуя нас с таким видом, будто теперь, увидев нас в гостях у Левашова, он может спокойно умереть.

Затем он обратил свой ласковый взор на огромное окно, выходящее на наш двор. Иринарх Иринархович словно призывал всех, кто был в столовой, проникнуться мыслью, что вот и дождь кончился, и гроза прошла. Светит на радость всем солнышко, светит — и освещает наш убогий двор, и нищих мальчишек за столом у богатых, и угрюмого Левашова-сына, и его супругу, томную и ласковую до поры до времени, которая не спускает внимательных глаз со смеющейся Жени.

## Глава 16

### По Тверской-Ямской, вдоль по Питерской...

Надо сказать, что за последнее время меня начали считать несколько странным мальчиком.

Общее мнение обо мне нашего двора выразил горемыка Маркелыч, добродушно заявивший:

— Эх ты, чортушка не нашего царя, не нашего бога!

Клюева передавала соседкам со слов моего отца, как я надерзил старшему врачу Матросской больницы, когда в первый раз навестил мать и привез ей цыбик чаю и полфунта сахару.

Старший врач сказал мне:

— Вот и пристроили твою родительницу, мальчик. Пользуем старуху всякими снадобьями, кормим, поим...

Доктор считался добряком, у него была рыжая, редкая борода и пенсне на носу. Он ждал от меня слов благодарности, хотя, разумеется, мог превосходно обойтись и без них.

Я сказал с презрением:

— Что ж тут такого? Она всю жизнь работала на вас, пока не свалилась. Мы с ней опухли от мурцовки. Да и сюда приходится возить чай и сахар. И она не старуха — ей только сорок семь исполнилось на Варвару Великомученицу. Это из-за вас она старуха.

И, сказав так, я испытал гордое и великое чувство, которое испытывает каждый человек, который говорит правду...

В эти дни мне представился случай вернуть греку туфлю, подобранную мною в палисаднике. Но я не сделал этого потому, что между нами произошел примечательный разговор, удививший грека, а меня заставивший забыть о туфле.

Я сидел на излюбленной скамейке под вязом, прислонившись к палисаднику. Запрокинув голову, следил я за игрой света в листве, когда услышал знакомое: «Э, туфли, э, губки». Грек кричал негромко, должно быть устал. Обойдя двор, он подсел ко мне. Я посмотрел на него и протянул ему руку. Грек пожал ее.

— Плохо, — сказал грек, покачая головой.

Словно тяжелый камень, упало это «плохо». Оно показалось мне полным глубокого значения. Какие-то слова теснились в моей груди, подступали к моим губам. «Нет, совсем не плохо, вовсе не плохо!» — родилась во мне пламенная мысль. Я хотел в чем-то уверить грека, но

еще не нашел необходимых слов. Но я чувствовал, что найду, найду их, и во все глаза смотрел на грека.

Его курчавые волосы, выбившиеся из-под помятой шляпы, были покрыты пылью, но сейчас мне и в голову не приходило, что это пыль нашего двора, московская пыль. Грек вошел во двор через сломанные ворота, обойдя перед тем много других дворов и двориков, но я знал, прислушиваясь к его хриплому дыханию, что он спасался от погони. И вдруг мне почудилось, что пыль сражения лежала на нем. Я огляделся по сторонам. Казалось, в воздухе только что отгремели выстрелы. И тут неожиданно для себя я произнес странные слова.

...— Брат, — сказал я. — Мы всей душой с вами. Народ сильнее этих собак. Народ победит. Маркос, как лев, дерется в горах. Иди к нему — он тебя примет.

— Маркос, — произнес грек. — Это греческое имя, мальчик.

— Он как лев дерется за свободу, — повторил я с мальчишеской горячностью и вскочил на ноги.

— Свобода, — повторил грек вслед за мной.

Глаза его на мгновение сверкнули. Потом он посмотрел на меня, опять покачал головой, встал и побрел к воротам. Я проследил за ним взглядом, пока он не скрылся за ними...

Снова видел я лишь ступени, ведущие в подвальный сумрак, колченогие водосточные трубы, снова вспомнил, что мать увезли в Матросскую богадельню и ей там нехватает чаю и сахару.

Печальный взглас грека, предлагавшего свой товар, донесся с соседнего двора. С того двора, где жили мальчишки, с которыми мы воевали. Я встал и пошел в подвал — пора было готовить обед, скоро отец придет с работы. Со странным чувством — будто то не мой дом, не мое жилище, шел я в свою комнатушку и словно сквозь сон узнавал знакомые узоры рваных обоев, ключьями висевших по стенам коридорчика.

Мысль о посещении Кушина, вместе с Женей и Левашовым, зародилась сначала в моей голове. Когда я поделился этой мыслью с Ленькой, он пришел в восторг и стал потирать руки.

Приняв решение во что бы то ни стало познакомиться с его величеством Кушиным (так пышно величал его Струйский), мы с Ленькой развеселились и стали петь и болтать всякий вздор.

И как раз в эту минуту мы увидели сквозь ветви старого вяза Женю, которая стояла в большом окне особняка. Она подала нам условленный знак, подняв руку с растопыренными пальцами к лицу и делая ею сверху вниз такое движение, будто расчесывала невидимую бороду...

На другой день, в пять часов пополудни, от чугунных резных ворот отбыл экипаж, в котором восседали Левашов-сын и Бебеев. Лица их выражали хитрость, жестокость и в то же время — как это ни странно — умиление.

Вслед за ними тронулся и второй извозчик, увозя супругу Левашова, Женю и милейшего Иринарха Иринарховича.

Вместе с ними отбыли и мы с Ленькой, пристроившись сзади, на рессорах пролетки.

Понятно, что Левашов-сын нанял простых извозчиков нарочно. Он знал, что Модест Алексеевич Кушин любит, когда перед ним проявляют смирение.

Колеса подпрыгивали на булыжной мостовой, а мы беспокойно смотрели по сторонам. Мы опасались, что соседские мальчишки заметят

нас и крикнул, как это принято было делать в подобных случаях: «Эй, извозчик, — сзади!»

Но пролетка благополучно завернула за угол, довольно долго колесила по переулкам и выехала на большую улицу.

Приятно было катиться так, вместе с другими экипажами, держась то за рессоры, то друг за друга, под звонки трамваев и колокола конки — со всей улицей, которая шла, ехала, катилась вместе с нами или мчалась навстречу нам.

Перед глазами проносились церкви и трактиры, прохожие, зеркальные витрины, вывески, вывески, вывески. И среди них — особенно часто мелькали черные буквы на белых, блестящих изразцах — «Чичкин», и золотые, на синем фоне — «Бландова сыновья».

Богатые, угнетая нас, в то же время постоянно воевали между собой, стараясь приумножить свои богатства. Те, кто был похитрей, позворотливей, побогаче, не задумываясь, пускали в ход все средства, чтобы пустить помиру своего соперника. Так разорен был семь лет назад Бебеев.

Московские вывески в какой-то степени отражали эту войну.

Но если против Филиппова, продававшего москвичам хлеб и булки, осмеливались целой кучкой выступать другие владельцы булочных — Савостьянов, Титов, Чуев, Казаков, то «Чичкин» и «Бландова сыновья» воевали только между собой. Каждый москвич знал: если перед ним возникла бландовская вывеска — на другом углу улицы, на противоположной ее стороне, а то и рядом, была непременно вывеска, возвещавшая, что Чичкин следует за своими противниками по пятам.

Были вывески смешные — большей частью они принадлежали мелкоте, стремившейся во что бы то ни стало выбраться «в люди». Такие вывески встречались чаще всего в переулках. Толкнув Леньку в бок, я показал ему на одну, привлекающую мое внимание, — на ней был изображен тигр, пытавшийся растерзать когтями ботинок. Той же краской, какой нанесены были полосы на туловище тигра, было крупно выведено: «Не разорвешь!» и фамилия владельца магазинчика обуви.

Еще больше поразила меня надпись белой краской на запыленном окне какого-то заведения: «Здесь есть».

...Колеса пролетки мягко катились по деревянным торцам — мы выехали на Страстную площадь.

Близ Никитских ворот городской погрозил нам ножнами своей шапки — москвичи называли ее «селедкой». Мы, для вида, соскочили на мостовую и пробежали несколько шагов, потом догнали пролетку и опять пристроились сзади.

Пролетка повернула направо, потом налево, замедлила ход и, наконец, остановилась.

— Здесь есть, — сказал я Леньке, вспомнив загадочную вывеску.

— А? — удивился Ленька.

— Слезай, приехали, — сказал я.

Прежде чем слезть, мы выждали некоторое время. Потом соскочили на мостовую и, заметив подходящую подворотню, спрятались в ней.

## Глава 17

### Его величество М. А. Кушин

Левашов-сын и его свита стояли на тротуаре, переговариваясь благоговейным шопотом. Даже верная наша Женя (пока еще наша, пока еще верная!) робко молчала, проникнувшись торжественностью минуты.

Арбат, Поварская, Собачья площадка и переулки, соединявшие их, считались аристократическим районом.

Тишина, царившая в переулке, который избрал для своего жительства Кушин, поддерживала священный трепет, охвативший Левашова и других при виде массивных ворот, обе половинки которых представляли собой тонко откованные решетки, украшенные железными цветами. Седой слуга в зеленой ливрее открыл перед гостями тяжелую железную калитку.

Процессия, во главе с Левашовым-сыном, двинулась вперед. У каждого было на лице такое выражение, будто он входил в церковь и нес зажженную свечку в руках, чтобы поставить ее перед образом и преклонить колени. Женя была явно подавлена.

Едва закрылась калитка, мы с Ленькой стали думать и гадать, как проникнуть через ограду, которой были обнесены владения Кушина.

Ограда, не особенно высокая, была сложена из маленьких, золотистого цвета кирпичиков с обводом из какого-то светлого камня внизу и вверху ограды. Мы не заметили в ней ни одного выступа, ни одной выщербины.

Из-за ограды виднелись верхушки деревьев, круглые и плотные, как шары: должно быть старик нарочно приказал их так подстричь, чтоб ни одна ветка, протянувшись из-за ограды в переулок, не обрадовала взор случайного прохожего.

Нечего было и думать преодолеть ограду с той стороны переулка, где были ворота — за ними мог находиться седой привратник.

Тогда мы решили обследовать другую сторону ограды, выходящую в совсем уж глухой переулок. Там, между булыжниками, даже пробивалась трава.

Но и тут — гладкая стена, ничего, что могло бы послужить опорой для ноги. Мы отступили от стены, оглядели ее всю целиком, потом прокрались вдоль нее, чуть ли не обнюхивая мягко поблескивавшие кирпичики.

В конце переулка стоял маленький домик, наполовину выбеленный. К стене его была приставлена забрызганная мелом лесенка. Но мы не рискнули воспользоваться ею: вдруг маляр заявится белить другую половину домика?

Пришлось прибегнуть к старому, испытанному способу. Ленька уперся руками в ограду, а я вскарабкался ему на плечи. Но когда мои босые пятки утвердились на этой зыбкой основе, мы оба в ту же секунду сообразили, что этот способ не годится: один из нас так или иначе вынужден был остаться внизу.

Вот оказия! Мы ходили по мостовой и озирались, словно кто-нибудь мог помочь нам в нашем дерзком предприятии.

Вдруг меня осенила блестящая мысль.

— Пусть лесенка остается на месте, — сказал я. — Так никто ничего не заподозрит. Мы попадем в сад через крышу.

С завидным проворством мы — сначала я, потом Ленька — взобрались по лесенке на крышу домика. Расчеты мои оправдались: она примыкала к ограде с той ее стороны, которая выходила на улицу — тоже, впрочем, тихую и пустынную.

Нагретая солнцем крыша гремела под нашими ногами. Ленька первым проник во владения Кушина, спустившись по стволу одного из подстриженных деревьев. Я, не мешкая, последовал за ним, тем более, что кто-то, обеспокоенный шумом, открыл дверь домика.

— Хорошо, что ее хоть не успели покрасить, — шепнул мне Ленька, когда ноги мои коснулись земли.

— Кого?

— Крышу — вот кого, — усмехнулся Ленка.

Итак мы были в саду, по дорожкам которого маленькой девочкой гуляла Женя со своей матерью.

Все было правдой, все, о чем она нам рассказала.

Сад был огромный — по крайней мере, для Москвы — с вековыми липами и кленами. Ветви их не были подстрижены садовыми ножницами, как ветви деревьев у самой ограды: ведь они должны были осенять самого Кушина и его приближенных, нашептывая им о тишине и покое.

Повсюду, насколько мы могли видеть, росли цветы, названий которых мы не знали: темно- и светлокрасные, с бархатистыми и гладкими лепестками, синие, лиловые, желтые. Радость охватила нас, когда мы услышали этот сонно шелчущий сад, и одновременно мы почувствовали обиду, потому что сад был спрятан от нас, обнесен оградой, и мы проникли в него, как воры.

... И сегодня опять прошла Женя по этим усыпанным красным песком дорожкам, и услышала шум деревьев, и увидела эти цветы.

Только матери ее не было.

Где она?

... Между деревьев, поблескивая стеклами, виднелся небольшой дом. В стене, обращенной к нам, было шесть окон — три в первом, три во втором этаже. Окна были закрыты, несмотря на жару. Затененные деревьями стекла издали казались вылитыми из черной стали, в их мрачной глубине шевелилось отражение листвы.

В своем нетерпеливом стремлении увидеть, наконец, Кушина, от которого, как я убедился позже, в значительной степени зависела судьба Жени, мы не учли одного обстоятельства: как мы узнаем, в каком этаже его комната?

Но нам повезло, как везло весь этот день. В одном из окон мелькнуло среди шевелившейся листвы лиловое пятно жениного платья, проплыло, мерцая, лицо супруги Левашова-сына.

Мы прокрались по лужайке к дому, деловито оглядели корявый ствол могучего клена, который возносил свои резные листья высоко над крышей дома, и полезли на дерево.

Хорошее, доброе дерево! Мы удобно расположились на толстых сучьях, раздвинули ветви и стали смотреть.

Должно быть старик не сразу допустил к себе Левашова и сопровождавших его лиц, ибо как раз в ту минуту, когда мы устроились на дереве, за стеклом начала разыгрываться церемония, начало которой мы имели удовольствие наблюдать перед коваными воротами с железными цветами.

Первым в комнату хозяина — скажу про нее только, что она была огромна и роскошно убрана, — вошел Левашов-сын, слегка вытянув вперед правую руку, будто все еще нес в ней невидимую овечку и боялся дышать, чтоб, боже упаси, не погасить ее ненароком.

За ним следовали остальные.

Его величество Кушин изволил принять гостей, сидя в широком, удобном кресле, обитом желтой кожей. Ноги старика были укутаны в толстое одеяло. За спинкой кресла стояли две женщины в белых наколках.

Я уже сказал, что большая комната, в которой сидел Кушин, была роскошно обставлена. Но нам было не до того, чтобы рассматривать подробности обстановки. Во все глаза смотрели мы на самого старика. И те, пришедшие к нему на поклон, тоже не спускали с него глаз.

Трудно было определить, сколько Кушину лет: могло быть пятьдесят пять, могло быть и семьдесят. Он был совершенно лыс. На его лице, жестоком и властном, прорезанном немногими, но резкими морщинами, блестели умные и выразительные, как у обезьяны, карие глаза. Бороды не было.

Окна, как я уже сказал, были закрыты, и мы не слышали ни одного слова. Затаив дыхание, смотрели мы, как в глубоком безмолвии Кушин — сам Кушин! — приветствовал тех, кого он изволил пригласить в свои покои.

Вот как это было.

Увидев входящих, он почему-то ехидно и даже злобно усмехнулся, но соблаговолит, в знак приветствия, очень низко, очень медленно наклонить лысую голову. Вошедшие имели удовольствие секунд десять созерцать лысину хозяина. Она была как бы продолжением усмехнувшегося лица его величества, безглазая, но очень выразительная. Она словно говорила, издеваясь: «Захочу — и ничего не дам. А захочу — и дам, больше, чем вы думаете».

Потом Кушин поднял голову и обвел всех бывших в комнате своими обезьяньими глазами.

Взгляд старика презрительно миновал супругу Левашова, которая, прижав руки к сердцу, опустила глаза, словно не смела быть красивой в его присутствии, и остановился на Жене.

Затем губы его зашевелились, он что-то сказал и протянул вперед руки.

Нам стало страшно. И Женя, там, в комнате — или это нам показалось? — побледнела.

Супруга Левашова бережно и все так же не поднимая глаз взяла Женю за левую руку.

Левашов-сын взял в каменные ладони ее правую руку.

Подкравшись сзади, Иринарх Иринархович вкрадчиво положил ладони на женины плечи.

Так, вчетвером, они медленно приблизились к старику. Он обнял Женю за ее худые плечи и, потянувшись вперед, коснулся губами ее лба.

Вдруг что-то мягко толкнуло меня в плечо, прижав к корявому стволу. Мне перестали мешать ветки — перед глазами моими был весь дом Кушина: Ленька, скользнув меж сучьев, бросил свое тело вперед и повис в воздухе, обхватив руками толстую ветку. Дрожа и выгибаясь, она бережно поставила Леньку на лужайку, и тогда он выпустил ветку. Листья бросились мне в лицо, суетливо спеша с шумным шелестом опять разбрестись в небо.

Сквозь сумятицу листьев я видел, как мелькает внизу, между стволов деревьев, светлая ленкина рубашка. Когда он в несколько прыжков достиг подстриженного дерева, по которому мы спустились в сад, и стал взбираться на него, я увидел человека в голубой куртке — должно быть садовника, гнавшегося за Хорьком.

Хорек — тут как нельзя более кстати вспомнить это прозвище — улепетывал со всех ног, но мне были отрезаны пути к отступлению. Тогда, погладив ладонью ветку, которая доставила Леньку на землю, и полагая, что ей ничего не стоит оказать такую же услугу его товарищу, я сунул в рот два пальца и свистнул так пронзительно, что у меня в ушах зазвенело.

Садовник мгновенно повернулся спиной к Леньке и стоял, выпучив глаза, стараясь определить, откуда раздался разбойный свист.

Тогда я свистнул еще и еще раз. Садовник устремился ко мне, грозя дереву кулаком — меня он не видел за густой листвой. Когда он очутился подо мной, я спрыгнул вниз, ухватившись за добрую ветку.

Через минуту мы с Ленькой были на крыше. Наши пятки пробарабанили по нагретой солнцем жести. Лестница была на месте, но с обоих концов переулка к ней спешили два дворника в фартуках. Должно быть, они видели, как мы пробирались в сад, и подстерегали нас.

— Вот они! — ликовал один.

— Прймай лестницу! — радовался, непонятно почему, другой.

Не помню, как мы скатились по лесенке. Спускаясь вслед за мной, Ленька наступил мне на плечо и больно шаркнул босой ногой по уху.

Я пробежал один переулок, потом другой. В теле моем жило дивное ощущение полета. Еще бы: с дерева на лужайку, опять на дерево, потом на крышу, с крыши — вниз по лесенке, которую вот-вот выхватят из-под ног!

Я вылетел на какую-то улицу, как раз в ту секунду, когда по ней проходил трамвай. Я догнал вагон и вскочил в него.

Не могу сказать, долго ли я ехал в трамвае, но вдруг в вагон вошел контролер.

Так как у меня не было ни билета, ни денег, я быстро стал пробираться на переднюю площадку, расталкивая локтями пассажиров. Когда я уже почти достиг площадки, пожилая дама, которой я — совсем не больно — наступил босой ногой на твердый кончик ботинка, ударила меня по голове сумочкой; в ней что-то позванивало и пересыпалось.

Я соскочил с подножки быстро мчавшегося вагона и, проворно семеня ногами, чтобы сохранить равновесие, пересек мостовую, влетел на тротуар — и попал прямо в объятия Струйского.

## Глава 18

### «История» Струйского

— А, это ты, Шур-Шурецкий, — сказал Струйский, ничуть не удивившись, будто он дежурил здесь, на тротуаре, специально для того, чтобы принять меня в объятия.

В эту минуту справа показался извозчик, и Струйский, отстранив меня, пошел по мостовой ему навстречу, широко раскинув руки. Пролетка чуть не наехала на него.

Извозчик слез на мостовую, в своем синем армяке и твердой войлочной шляпе.

— Да вы назюзюкались, барин, — благодушно сказал он, оглядев с ног до головы стихотворца, который стоял теперь перед ним, опустив руки по швам. — Но это ничего.

— Назюзю..? — спросил Струйский и обрадовался. — Славное слово, извозчик. А где юнец?

Юнец, то есть я, был тут как тут и с готовностью ждал дальнейших приключений.

Струйский влез в пролетку, втащил меня за собой и усадил на криное сиденье, в котором плакали ветхие пружины, и сел сам. Потом он встал. Шляпа его была сдвинута на затылок, длинные волосы непричесаны.

— Назюзю..? — спросил он опять извозчика, который уже взобрался на козлы и держал вожжи в руках.

— Всяко бывает, — ответил извозчик.

Струйский приказал со свирепо деловым видом:

— К Фальц-Фейну!

И обрушился на сиденье рядом со мной.

— К Фальц-Фейну?! — Извозчик почему-то страшно удивился, даже привстал на козлах. — Ну что ж, можно и к Фальц-Фейну. Это ничего.

Он пошевелил вожжой, и пролетка запрыгала по мостовой. Снаряжение у извозчика было убогое, что лошадь, что пролетка. Но сиденье, когда экипаж тронулся, пришло в некоторое равновесие, отчего мы со Струйским перестали сползать набок.

Мы проехали шагов двадцать-сорок, потом извозчик повернул обратно и через минуту остановил лошадь. Сиденье опять накренилось набок, словно приглашая нас сойти на тротуар.

— Вот вам и Фальц-Фейн, — сказал извозчик.

И в самом деле, мы стояли у подъезда гостиницы Фальц-Фейна, от которой минуту назад отъехали.

Струйский важно сошел с пролетки (я уже стоял на тротуаре, дивясь лукавству извозчика) и, заявив, что он славно прокатился — «быстрее всякого трамвая», щедро расплатился с извозчиком.

— Всяко бывает, — утешительно журчал извозчик, отворачивая полу своего армяка и пряча деньги. — Но это, барин, ничего.

Мы поднялись на второй этаж, прошли по длинному коридорчику и остановились у номера, который занимал Струйский.

Он подмигнул мне и сказал:

— Вынужден раскинуть шатры свои в номерах Фальц-Фейна. Ибо я, подобно Карлу XII, проиграл битву при... — Он схватился за мое плечо, чтоб не упасть, — ... битву при «Полтаве». Я должен там семьдесят семь рублей — не больше и не меньше.

Он достал ключ и вдруг схватился за голову и попятился от меня.

— Я видел его, — сказал он, озираясь. — Но он меня не узнал, слава богу! Он прошел за калитку, но я не осмелился, не дерзнул приблизиться к нему. Он здесь, в первопрестольной. Я говорю тебе, он здесь.

— Кто? — спросил я.

— А! — Струйский махнул рукой, в которой был зажат ключ от номера. — Это вы, ваше графское сиятельство? А я, прости, испугался, мой друг. Испугался самого себя... ибо я, как это ни прискорбно, негодяй. Ты знаешь, что я негодяй, невинная твоя душа?

— Откуда же мне знать, что вы негодяй? — спросил я.

Струйский довольно твердой рукой отомкнул дверь и, пропустив меня вперед, вошел вслед за мною.

Дойдя до середины номера, он пошатнулся и схватился за мое плечо.

— Я де... — он выпустил мое плечо и подмигнул мне. — Я декадент.

— Ну и ладно, — сказал я.

— Я ф-фу!.. — он шумно дохнул мне в ухо. — Я фу-футурист.

Номер, в котором происходил этот — нельзя сказать, чтоб внятный — разговор, был просторен и меблирован с претензией на некоторую роскошь.

На окнах висели гардины, за ширмой, на которой нарисованы были розовые летящие журавли, поблескивала никелем кровать. Одеяло на ней отсутствовало. Подушка лежала на мраморном умывальнике, и на ней стояла тарелка с нарезанной колбасой.

Журавли на ширме летели прямо к столу, уставленному бутылками, одна была в форме медведя, поднявшегося на задние лапы.

— Опять пить? — спросил он и споткнулся, запутавшись ногой в одеяле, лежавшем на полу.



Я подобрал одеяло и положил его на диван. Постояв с минуту, Струйский нахмурился, сунул руки в карманы брюк и вдруг, сломавшись пополам, упал на стул.

Когда он вытащил руку из кармана, в ней оказался серебряный рубль. Струйский швырнул его на стол. Рубль покатился, зазвенел, задев бутылки и рюмки, и наконец улегся на скатерти.

— Назюю? — с угрозой спросил Струйский. — Нет, я не назюю. Я давно уже назюю... давно натворил всяких дел. Не смел даже купить этой девочке ситцу на платье. Только однажды, тайком от них, разорился на ботинки. Ты знаешь эту девочку, Мормидон. Что ты смотришь так на сардины? Уничтожь их.

Я не заставил себя просить и усердно стал отведывать от всех яств, в беспорядке расставленных на столе.

— Ты видишь этот лик? — спросил меня Струйский, рассматривая рубль с вычеканенной на нем головой Николая II. — «Его императорское величество», — прочел он. — Нет! — закричал он. — Народная мудрость гласит: «До бога — высоко, до царя — далеко». Кушин — ближе. Старик — вот его величество! Он всех купил и продал — и Левашова-сына, и Бебеева... и меня. Тьфу, какая пакость! Несчастливыми ботинками хотел я откупиться от ребенка...

Он стал проливать горькие слезы, а я слушал его, затаив дыхание, с вилкой в руке.

Струйский снял шляпу, вытер ею глаза и бросил ее на пол.

— Да ведь вы про Женю говорили! — вскричал я.

Струйский встал, на цыпочках подошел к двери и попробовал, плотно ли она прикрыта.

— Тсс! — предостерегающе сказал он, снова подходя к столу и опускаясь на стул.

— И меня купили они! — опять закричал он. — Поэта купили!

Он начал говорить — то связно, то невпопад, то в рифму, то не в рифму, он то восхвалял поэзию, то она казалась ему совсем горькой на вкус, и он начинал отплеиваться.

— Влип-с в «Эклипс». Попал, как кур в ошип, — в лапы Катыку. Катык — имя-то какое у мерзавца!

Вдруг, словно обжегшись, он бросил нож на стол.

— Нет, — сказал он. — Кто знает, может быть это как раз то, что мне требуется? А? Тем более, что я — все-таки! — бушую, устраиваю бури в стакане воды, показываю жукиш в кармане...

Он задумался, подперев щеку ладонью. Потом сказал:

— Я сразу узнал его, хотя прошло семь лет. Ведь мы земляки, вместе учились в университете. А он меня и не заметил! Тс-с! Я крался за ним вдоль зеленого забора. Да, забор был зеленый — это я помню, хотя и был... ну, ты понимаешь. Он вошел во двор — тут я собирался окликнуть его, но не посмел. Он открыл дверь... Я как сейчас ее вижу... дверь с крестом, разбитое окошко над ней. Может быть, это и хо-рошо, что он не узнал меня.

— Кто — он? — спросил я.

Струйский сказал дрогнувшим голосом:

— Я боюсь его... Они, они тоже боятся его! Семь лет назад он и подобные ему заставили трепетать самого Кушина — куда там! — само императорское величество. Он отнимет у них Женю... Отнимет...

Он вдруг весело воззрился на меня.

— Нет! — вскричал он. — Пусть они воюют друг с другом, а мне оставят только слова, слова, слова! Подожди, — сказал он изменившимся голосом и сел на пол. — Я ведь и вправду видел его.

— Кого же, кого? — вскричал я в нетерпении.

— Его! Отца... как ее... женькиного отца, Мормидон!.. Петра Сергеевича!

Я вскочил на ноги, потрясенный.

Струйский поднялся вслед за мной и крепко обнял меня.

— Боюсь, боюсь! — рычал он. — Боюсь и его, и Левашова-сына, и Кушина.

Он качнулся и опять сел на пол. Закрыв лицо руками, он простонал:

— Ведь я написал ему, что Женька умерла. Меня заставили написать. Умерла!.. Как бы не так! Это я умер. Моя совесть умерла... Помогите мне встать!

Я помог Струйскому подняться на ноги. Он упал на стул, потом выпрямился и почти трезво посмотрел на меня. Я испугался: может быть я ему надоел, и он собирается выставить меня за дверь? Ну нет, я не уйду отсюда, пока мне не удастся узнать все про жениного отца.

И Струйский испугался: он чувствовал, что начинает трезветь. А трезветь ему не хотелось.

— Налей мне вина! Вот так. Осторожней, не пролей.

Он принял из моих рук стакан и залпом выпил его.

— Мне все же больно, Бубус, — покачал он головой, и мне показалось, что ему нравится говорить об этом. Он ткнул пальцем в левый жилетный карман. — Вот здесь, в сердце, что-то болит и болит, но не знаю, — он ласково, очень ласково погладил себя по плечу, — хочется ли мне облегчить свое сердце признанием, ибо, юнец, я сейчас расскажу тебе странную историю, или похвастать перед тобой своим злодейством... Я совмещаю в себе — слушай меня — и подлеца (подлеца — это уж наверное!) и бунтаря (в этом-то я не уверен), вернее жалкого труса, показывающего кукиш в кармане.

Он откинулся на спинку стула.

— Внимай мне, — сказал он. — Эта история должна быть рассказана. Но кому я мог бы ее рассказать? Как хорошо, что ты подвернулся мне. Тсс! Но ты должен обещать мне, что не выдашь Струйского. Пусть будет так, словно ты прочел эту историю в книге...

— Хорошо, — кивнул я, — прочел в книге...

Струйский мог говорить невпопад, нести окоlesiцу, перемежая ее своими и чужими стихами — в чем я имел случай убедиться сегодня, — но мог говорить торжественно и плавно, будто и в самом деле читал книгу. Едва он заговорил, я понял, что он для того, чтоб изложить «историю», избрал второй способ. Я слушал его, боясь проронить хоть одно слово.

## Глава 19

### Горела Пресня...

Вот что узнал я от Струйского.

Еще горела Пресня... еще били пушки... когда Кушин взял Ольгу — жену Петра — и девочку к себе. Она согласилась вернуться к нему из-за девочки, ведь к тому времени Петр уже был схвачен у одной из баррикад. Следы его затерялись. Только через полгода мог Струйский послать ему... то письмо... с оказией.

Итак, над Пресней еще день и ночь стояло зарево, а Ольга жила в доме Кушина. Иногда он приходил к ней в комнату, они сидели рядом: Ольга, с девочкой на коленях, и старик, опиравшийся на дубовую трость.

Гул орудий... гул орудий слышен был и на Собачьей площадке. Злобно смотрел Кушин на зарево над окраиной — ведь там поскользнулись на окровавленной мостовой, упали, роняя оружие, те, кто хотел отобрать у него шахты, золото, железную руду, банки, нефть. Там был и тот, из-за кого его родная дочь — плоть от плоти его и кость от кости его — ушла из дому.

Потом он переводил взор на девочку. Она смиренно сидела на коленях у матери.

Изо дня в день, из вечера в вечер — уж и зарево стало гаснуть — между стариком и Ольгой происходил один и тот же разговор. Старик требовал, чтоб она навсегда отреклась от мужа. Царский закон давал ей право подать прошение о разводе с мужем-бунтовщиком.

Струйский склонился ко мне:

— Может быть — только для вида!—Ольге и следовало ради девочки отречься... Но она была не такая. Я бы на ее месте отречься. Несомненно отречься бы. Но она была не такая...

— Не такая, — повторил я.

— Ты не знаешь Модеста Алексеевича Кушина! Он умел ломать стачки и устраивать локауты. Он не мог, понимаешь ли, малец, видеть хрупкую женщину, собственную дочь, которая презирала его богатство. Может быть, она просто пугала его? Между нами, это трудно — презирать богатство. Я уже знаю, поверь мне на слово. Трудно. Тогда, зная, что она больна, почти смертельно больна, он выгнал ее.

Струйский взял со стола стакан и поставил обратно.

— Что ж дальше рассказывать? Она умерла, и у постели ее, до самого последнего ее вздоха, дежурил Левашов. Он был единственным человеком, который помогал ей. Ему нужна была девочка. Он надеялся, что Кушин когда-нибудь вспомнит о ней. Ты догадываешься, конечно, что, узнав об этом, старик пришел в бешенство? Как? Собственный племянник мешает ему стереть с лица земли ту, которая не смирилась перед ним! Он приказал Левашову забыть навсегда об Ольге, а девочку сбить куда-нибудь в деревню... Он не велел Левашову показываться ему на глаза...

— И они... сбыви ее на наш двор? — шопотом спросил я.

— Да. Чтоб она была всегда на виду. На всякий случай. Ведь Левашов знал, что старик своенравен, и ему свойственны, как выражается сукин сын Бебеев, «капрызы».

— Ты представляешь, как они ждали? Как это здорово будет — явиться к Модесту Алексеевичу, в случае «капрыза», явиться с девочкой, которую Левашов-сын спас, укрыл от всяческих бед, уберег для Кушина на случай, если дрогнет в груди его булыжное сердце! Впрочем, эти тонкости... я сказал «тонкости» — не то слово! Эти махинации могут быть непонятны тебе. Ты не Левашов... И... не Струйский...

— А я нуждался в то время, — упавшим голосом продолжал Струйский, — нуждался, как последний босяк... Потому что я пил, все время пил... Скажу всю правду, все, все. без утайки, не буду щадить себя ни вот на столечко!

На глазах Струйского выступили слезы. Но я со страхом видел, что он почти любуется собой. Ласково, будто он гладил кого-то другого, милого и беспомощного, он погладил себя по плечу.

— Они вымыли меня, одели, причесали, sprysнули, можно сказать, одеколоном. Они достали мне эту работу — кстати, весьма прибыльную: воспевать всякие изделия в рекламных стихах. А за это я (о, с какой проникновенной нежностью произнес это «я» Струйский!), за это я должен был написать жениному отцу лживое письмо, о котором ты знаешь.

Я должен был следить, чтоб вдове Клюевой не пришло в голову сбавить свою воспитанницу куда-нибудь... в деревню, что ли. Я передавал Клюевой деньги от Левашова. Надо сказать — немного денег. Он ведь играл не наверняка и боялся делать крупные ставки.

Так шла игра — непонятная для тебя, Мормидон, — медленная, терпеливая, упорная: ведь дело шло, по меньшей мере, об опекунстве над несовершеннолетней, об огромных деньгах, таких огромных, что у Левашова дух захватывало. А жить нашему Модесту осталось недолго, совсем недолго — это Бебеев уж наверняка узнал.

Как я сказал, старик не допускал Левашова пред свои светлые очи. И Бебеев ходил к нему каждое воскресенье, пил чай, потел, терпеливо сносил его насмешки. А во внутреннем кармане его пиджака лежала — на всякий случай! — та фотография, которую они потом показали Жене. Они разрезали ее. Им не хотелось, чтоб Женья видела отца... даже на фотографии.

И вот час их настал. Настал и час Жени. Кушина хватил удар, и он вспомнил о единственном существе, которое не растлил своим богатством, которое, быть может, сумеет немножечко полюбить его — не за деньги, а ради него самого.

Струйский замолчал. Я ждал. Я не собирался уходить, не узнав, где живет женин отец. Дверь с крестом и зеленый забор — этого было слишком мало. В Москве тысячи зеленых заборов.

Струйский стал рассуждать сам с собой.

— Так как же поступить? — бормотал он. — Я мог бы, закинув на плечо край невидимого плаща, отправиться к Петру и благородно сообщить ему все, все... Но... не говоря о том, что я боюсь его, что сделают со мной тогда Модест Кушин — ведь он еще не умер! — и Левашов-сын? Куда денутся крем «Эклипс» и гильзы Катька, о которых я утверждаю, что нет их лучше!.. Можно сделать еще ход, головокружительный ход: открыть все Левашову-сыну, отдать Петра в его руки. Ха! Это сулит мне много выгод... Да, много выгод, но этого сделать нельзя! Я буду трепетать день и ночь, потому что... а вдруг они, эти Петры и Сидоры, победят! Страшно подумать, что они сделают с тобой, Струйский!

Он повернулся ко мне. По лицу его пошли красные пятна.

— Видел ты когда-нибудь лужу, простую застоявшуюся лужу, Мормидон? Она грязна — она грязна, но подернута радужной пленкой. Я тоже грязен, но прищурься-ка, отступи на шаг, взглядишь в меня: душа моя играет... всеми цветами радуги... Ты брезгуешь мною, мальчик? Да, я грязен, грязен.

Тут Струйскому должно быть скучно показалось, что он один грязен, и, мотнув головой, он упрямо сказал:

— Все люди жалки, вонючи и грязны. Я утверждаю это. Это так. Слово в слово...

Он с силой вырвал из пиджака внутренний карман.

— Целую неделю я ношу это с собой — оно жжет, жжет мое черное сердце. Возьми, и расскажи Жене — но только ей — все, все! Боюсь, боюсь...

Он дрожащей рукой извлек из оторванного кармана кусок картона и протянул мне.

Я наклонился, чтобы посмотреть, и вздрогнул. Так вот что жгло черное сердце Струйского! С куска картона — стихотворец поднес его к самому моему лицу — глядел на меня ясными серыми глазами человек лет двадцати восьми. Его русые волосы были зачесаны назад, в руках он держал студенческую фуражку. До его плеча дотрагивалась тонки-

ми пальцами женская рука, словно протянувшаяся к нему из царства духов.

Надо быть последним из олухов, чтобы не догадаться, что Струйский держал в руке отрезок от той карточки, на которой...

— Они не хотели, — бормотал Струйский, — чтобы, чтобы... Я нашел это у Бебеева... Мормидон, я падаю куда-то. Дай мне ухватиться за тебя...

— Да вы не падаете! — кричал я в нетерпении, тормоша его за плечо. — Что же дальше, дяденька? Где он живет?

— ... Падаю и не могу упасть... Поди и предъяви, юнец... Никак не удастся упасть, но — падаю, падаю все время...

— Но куда мне пойти, дяденька, куда? Куда, скажите! Ради бога!

— Курбатовский переулочек, — отчетливо произнес Струйский, растянулся на полу и мгновенно заснул.

## Глава 20

### Облако

Я вбежал во двор и, увидев на скамейке под вязом Леньку, перевел дух и крикнул:

— Хорек!

— Какой я тебе Хорек! — ответил Ленька, подбегая ко мне, и ткнул меня кулаком в бок.

Но я стоял, скрестив руки на груди, недоступный обидам. Тайна, настоящая тайна, была в моих руках!

Ленька почувствовал это и сразу присмирел. Он заискивающими глазами смотрел на меня. Он даже забыл потереть руки, только медленно пошевеливал пальцами.

— Есть дело, Хорек, — сказал я торжествуя. — Пойдем на скамейку.

Мы подошли к старому вязу.

— Сядем.

Мы сели, и я начал цедить сквозь зубы слово за словом, нехотя расставаясь со своею тайной: так кошка, играющая мышью, то на секунду выпустит ее из когтей, то — шалишь! — снова схватит.

Кончив, наконец, свой рассказ я вынул из-за пазухи и показал своему другу отрезок фотографии.

— Ух, елки! — сказал Ленька и обхватил свою худую шею руками. — Ух, мама дорогая!

Он сжал голову ладонями и качнул ее направо и налево.

— Так надо же Женю позвать! Сию минуту.

Пока мы обсуждали, как посвятить Женю в важную для нее тайну, на дворе появился Иринарх Иринархович и стал медленно прогуливаться вдоль флигельков. Иногда он останавливался и, заложив руки за спину, рассматривал серо-зеленые пятна и подтеки на стенах, окошки с выбитыми стеклами. За ним тотчас увязался Маркелыч; ему было все равно, что бы ни делать, лишь бы убить время.

На минуту они исчезли из виду за развешанным бельем, потом опять вынырнули из-под веревок. Они разговаривали, конечно, о ремонте. Иринарх Иринархович для чего-то поднял кусок штукатурки, валявшейся у стены, взвесил его на ладони и с задумчивым видом отбросил в сторону. Затем постучал согнутым пальцем по ржавому колену водосточной трубы и прислушался, и Маркелыч тоже прислушался вместе с ним. Так расхаживали они по двору и, довольные друг другом, важно валяли дурака.

В другое время это зрелище немало позабавило бы нас с Ленькой, но сейчас нам было не до того: из подвала выскочила Белобрыска и взяла курс на ворота. Мы тотчас окликнули ее.

Переговоры закончились быстро — я показал Белобрыске пятерку, которую перед тем, как заснуть, вручил мне «на карманные расходы» Струйский. Я быстро набросал коротенькую записку — за карандашом пришлось сбежать домой Леньке, — и Белобрыска загромыкала к воротам.

Женя явилась скорее, чем мы ждали. Не доходя до нас несколько шагов, она сняла шляпку и спрятала ее за спину.

— Это вы, небось, свистели там, в саду? — спросила Женя, усаживаясь на скамейку рядом с нами и небрежно бросая шляпку на колени. — Ой, что-то белья на дворе как будто больше стало! До вас так просто и не доберешься.

— Кто же еще мог свистеть? — ответил Ленька.

— Это я свистел, — сказал я.

Мы смотрели на Женю с некоторым страхом. Не стала ли она другой? Не изменился ли губаме торжественной церемонии, когда сам М. А. Кушин коснулся губами ее лба?

Нет, как будто бы нет. Значит, она достойна того, чтобы ей открыли тайну.

Едва я начал говорить, как Женя вцепилась пальцами в рукав моей рубашки и не спускала с меня глаз до самого конца рассказа. А Ленька во все глаза смотрел на ее лицо, вместе с Женей переживая все чувства, волновавшие ее.

Мне было и горько и хорошо, когда я рассказал все, что мог рассказать. Горько оттого, что тайна была не моя, а женина, я отдал ей всю целиком, и больше мне нечем было гордиться. И хорошо оттого, что теперь женин отец — в могущество его мы верили безраздельно — отнимет ее у Левашова-сына и Кушина.

Женя принесла с собой ту, свою, половинку карточки (об этом мы особо упомянули в нашей записке).

Мы сложили обе половинки. Так встретились они все трое: маленькая девочка в белом платье стояла на траве, у дерева. Высокая женщина и мужчина с зачесанными назад волосами и студенческой фуражкой в руках словно охраняли ее от старика.

Мы поклялись никому не открывать нашей тайны.

... Мы найдем зеленый забор и дверь с крестом. Мы откроем ее. Не долго осталось ждать Жене.

Впрочем, о зеленом заборе и заветной двери я сказал — и то на ухо — только Жене. Ей-то уж никак нельзя было не сказать.

Женя готова была сейчас, сию минуту бежать в Курбатовский, но я считал, что мы не должны были возбуждать у Левашовых преждевременных подозрений. Решено было, что завтра я отправлюсь на поиски зеленого забора один, а там видно будет. Утро вечера мудренее.

Солнце уже зашло, и в просветах между домами пылал закат. Опять мы сидели втроем, как, бывало, сживали прежде, и нас волновали и объединяли одинаковые чувства: женина радость передалась и нам, а Женя, сидя между нами и касаясь нас худыми своими плечами, не могла не догадаться о нашей грусти: скоро, скоро она опять уйдет от нас. Что ж — мы всегда желали ей счастья.

А над трактиром, высоко в небе, плыло пламенное от заката облако, и мне казалось, что это то самое облако, на которое я смотрел в тот вечер, когда Женя рассказала нам, что видела сад и вспомнила, как гуляла там со своей матерью. Оно обошло вокруг всей земли, видело

лазурные моря и седые океаны, незнакомые мне пустыни и леса — и вот вернулось обратно.

Облако, облако! Скоро отец отведет меня в трактир Васильева против Брянского вокзала, и я — это мне уже известно — буду мыть блюда и чашки с семи утра до одиннадцати вечера — шестнадцать часов. И вечером будет играть оргán, будут шуметь пьяные... А Леньку Хорька отгадут во власть скупой и жестокой Прохорихе — она, говорят, даже отнимает у «мальчиков» чаевые.

Облако, не уйдем мы с нашего двора, от нашей судьбы, от Васильева и злой Прохорихи!

Облако плыло и видело со своей высоты поля, и леса, и море, быть может.

... Зато Женя — уйдет.

## Глава 21

### Допрос

Так сидели мы втроем, погруженные в мечты, когда Иринарх Иринархович, стукнув калиткой, вышел из палисадника, обошел скамейку и остановился против нас.

— Я все слышал, — сказал он доверительным шопотом. — Надеюсь, вы простите мое любопытство, дети.

Он сладко улыбнулся и присел на край скамейки. Сняв шляпу, он положил ее себе на колени, достал из кармана платок и снял кончиком его капельку пота со лба. Мы с Ленькой, затаив дыхание, следили за каждым его движением. Но Женя была спокойна.

Иринарх Иринархович легко повернулся к Жене и, откинув голову, с минутку любовался ею. Потом, приблизив к ней лицо, он сказал так тихо, что шелест листьев над нашей головой стал явственно слышен:

— Я прогуливался по двору и вдруг заметил на скамейке фигурку в знакомом мне платье. Я имел удовольствие видеть эту фигурку еще сегодня утром в особняке моего почтеннейшего хозяина. Поскольку вы временно вверены моим заботам, я не мог не обратить внимания на то обстоятельство, что вы пришли на этот двор, — Иринарх Иринархович со снисходительной грустью посмотрел на белье, развешанное на веревках, — и беседуете о чем-то с этими... — он посмотрел на нас, — с этими мальчиками. Я вошел в палисадник, спрятался, покорнейше прошу у всей компании извинения, спрятался за дерево и... — Иринарх Иринархович широко раскрыл руки, словно хотел заключить нас всех троих в объятия. Он улыбнулся, безмолвно извиняясь в том, что так ловко поймал нас. Затем он спросил Женю:

— Он был здесь? Вы видели его?

— Кого я видела? — спросила в свою очередь Женя.

— А! Я должен еще объяснять. Скажем так — вашего отца.

Я вздохнул с облегчением. Иринарх Иринархович не все успел подслушать. Кроме того, я вспомнил, что о зеленом заборе и Курбатовском переулке я сообщил Жене, одной Жене, да и то на ушко. Женя тоже сообразила все это — она насмешливо смотрела на Иринарха Иринарховича.

— Да, я его видела, — ответила она. — А почему бы и нет? Ведь он мой отец, не так ли?

«Не так ли!» — воскликнул я мысленно. — Ишь, как она научилась говорить! «Не так ли!» Ну-ка, Иринарх, что ты ей ответишь на это?»

Иринарх Иринархович растерянно надел шляпу и встал.

— Бедная барышня, — сказал он. — Наивная барышня. У вас нет отца. Он есть, но его нет. Он бросил вас ребенком, беспомощным ребенком. Другие для него несравненно дороже вас. Отцовские чувства неведомы таким людям. Они живут преступными выдумками. Мы щадили вас. Ни мне, ни Левашовым не хотелось говорить вам, что тот, кого вы по душевной своей неопытности называете столь ответственным словом «отец», даже не может исполнять обязанностей родителя. Он — беглый... преступник. Его ищут. Его поймают. Он, так сказать, в бегах!

Иринарх Иринархович приостановился, потом продолжал:

— Вас пожалели. Добрые, великодушные люди прижали вас к сердцу, как родную дочь. Они одели, обули вас. Я удивлен, потрясен — чего вы еще хотите? Не можете же вы всерьез желать — вы уже большая девочка — пойти обратно к этой... как ее... вдове... к Клюевой, сестре у разбитого корыта и думать о своем отце — отце! — который к тому времени, наверное, будет заключен в тюрьму. Этого вы хотите?

Может быть, если б Женя была взрослой, она плюнула бы Иринарху Иринарховичу в лицо. Может быть, сказала бы о письме Струйского, о том, что она все знает. Но ведь она была только бездомная девочка, узнавшая вдруг, что у нее есть отец. И ее отца боялся — да, боялся — Иринарх Иринархович, а значит и Левашовы.

Женя уперлась ладонями в скамейку, откинулась назад и сказала:

— Я не просила вас одевать меня и обувать. Не надо мне ничего вашего.

И тут я впервые увидел, что обязательнейший Иринарх Иринархович может приходить в ярость.

— Стой! — грубо приказал он нам с Ленькой, хотя мы и не собирались вовсе бежать. — Пойдете со мною. И вы! — крикнул он Жене. — Вы! Барышня... Хм... Сударышня... Ч-чорт!..

Предводительствуемые Иринархом Иринарховичем, мы двинулись к особняку Левашова-сына. Но когда мы очутились у тяжелой дубовой двери, обнаружилось, что Ленька куда-то исчез. Он словно сквозь землю провалился. Ничего лучшего он не мог и придумать: теперь Иринарх Иринархович будет терзаться мыслью, что Ленька знает что-то важное: иначе зачем ему было удирать?

Мы вошли в знакомую мне столовую, где нашли Левашова-сына и его супругу. Усадив нас в кресла и жестом приказав сидеть смиренно, Иринарх Иринархович шепнул что-то Левашовым, после чего они вторым отошли в угол, к кадке с олеандром, и стали совещаться. Время от времени Левашов-сын прерывал речь Иринарха Иринарховича злобными восклицаниями.

Я незаметно пожал Жене руку. Она в ответ спокойно кивнула мне.

Потом Левашов-сын и Иринарх Иринархович приступили к нам с расспросами.

Было бы слишком утомительно рассказывать, как рычал и грозил Левашов, как плавно лились фразы из уст Иринарха Иринарховича, как ласково подпевала обоим красивая супруга Левашова. В самый разгар допроса Иринарх Иринархович вышел куда-то и пропал минут двадцать. Когда он вернулся, супруги пришли к решению запереть Женю в одну из задних комнат — «пока она во всем не сознается», — а меня не отпускать домой, если я буду продолжать отмалчиваться.

Иринарх Иринархович вспотел и был растерян. Одно плечо у него было в известке. Отдуваясь, он машинально сунул руку в карман пиджака, достал войлочную туфлю, недоуменно посмотрел на нее и положил зачем-то на стол. Я догадался, что, пользуясь отсутствием отца,



он обыскал, на всякий случай, нашу конуру, благо она никогда не за-  
пиралась: взять там было нечего.

— Что это такое? — тупо спросил Левашов-сын.

— Это туфля одного грека, который... — с живостью начал я.

— Нам нет дела до одного грека, который... и что ты там еще  
хотел сказать, — сердито прервал меня Иринарх Иринархович. — Нам  
не до басен. Говори, о чем тебя спрашивают.

Они стали грозить мне полицейским участком и другими страшными  
карами. Они намекали, что и отцу моему это так просто не пройдет.

Левашова возмущало не только то, что кто-то может помешать ему  
стать жениным опекуном — он потрясен был тем, что жалкая девчонка  
пренебрегает богатством ради «какого-то арестанга», что на его глазах  
колеблются моральные устои, дерзко нарушаются священные правила.  
Но супруге его не было дела ни до каких священных правил. Мораль  
тоже ее нимало не интересовала. Ей нужны деньги, только деньги, и по  
всему было видно: она уверена в том, что приберет их к рукам, будьте  
спокойны!..

Провожая Женю к месту ее заточения, она говорила шутливо:

— Тебе недолго придется скучать — ведь ты все скажешь. Вот он,  
ключ — ты только постучи пальчиком, я сама тебе открою. Мы пойдем  
к Бартельсу, а потом в оперу Зимина. Постой, я поправлю тебе платье.  
Знаешь, моя маленькая подружка, кто завтра поет? Петрова-Званцева...  
Ты не будешь долго скучать одна, ты — скажешь.

Иринарх Иринархович тем временем успел позвонить Кушину. Он  
вернулся из комнаты, где был телефон, на цыпочках. Левашов-сын и  
его супруга, державшая в левой руке ключ, со страхом смотрели на  
него.

— Рвет и мечет! — благоговейно сообщил Иринарх Иринархович. —  
Говорит, что помолодел от злобы. Так и изволил сказать — помолодел  
от злобы. Изволил добавить, что поднимет на ноги всю полицию и не  
пожалует денег. Приказал мне безотлагательно явиться к нему.

— Кстати, — сказала супруга Левашова. — Не мешало бы найти  
Струйского. Не поможет ли он чем-нибудь? Человек он изобретатель-  
ный. Адрес его известен, — она засмеялась, — номера «Полтава».

«Как же, найдете вы его в номерах «Полтава», — подумал я, вспо-  
нив слова Струйского о Карле XII и «проигранной битве».

Когда Иринарх Иринархович удалился, всем своим видом показы-  
вая, что он отправляется не куда-нибудь, а в святая святых, к самому  
Модесту Алексеевичу, Левашов-сын снова стал грозить мне. Он не от-  
пустит меня до тех пор, пока я не развяжу язык! Он сумеет добиться  
того, чтобы моего отца вышвырнули из Экономического общества офи-  
церов, а мать выписали из больницы.

— Лева, Лева, — ласково укоряла своего супруга Левашова.

— Вы меня выпустите, — грубо заявил я. — Не то я начну кричать  
и весь двор созову, или... — я обвел глазами комнату, и взгляд мой  
остановился на большой китайской вазе, стоявшей на столике... — или  
эту штуку разобью. Мне все равно.

— Пошел вон! — сказал Левашов-сын.

Но я смотрел ему в глаза и не уходил.

— Мы еще с вами со всеми посчитаемся.

Левашов так изумился, что подошел ко мне на цыпочках и вежли-  
вым шопотом спросил:

— Кто это — вы?

— И я, и Женя. И ее отец, и другие. Неизвестно кому придется  
уйти вон. Отольются вам людские слезы.

— Кому же это известно? — подмигнул мне Левашов-сын.

Я вышел из столовой, прошел через переднюю. Спускаясь по трем ступенькам к двери, я услышал позади шелест. Супруга Левашова догнала меня и придержала за рукав. Ее глаза смеялись.

— Какой молодец! — сказала она поощрительно. — Настоящий рыцарь, кавалер! «Разобью эту штуку!»

Она старалась превратить все в забавную детскую игру, и сама соглашалась быть участницей этой игры, красивой и снисходительной шалуньей.

— Все это очень увлекательно! — Она приблизила губы к моему уху: — А если ты захочешь все же что-то мне сказать — я буду дома. — Она хихикнула и показала мне зажатый в ее левой руке ключ. Правую руку она прятала за спиной. — Ведь мне еще надо охранять мою маленькую подружку, мою упрямыцу. Возьмите, рыцарь, вот это и отвезите своей матери (никто ее не выпишет из больницы, об этом уж я сама позабочусь). Тут много вкусных вещей.

Она протянула мне пакет, обвязанный ленточкой. И когда она успела его приготовить?

Я взял пакет, и открыв дверь, придержал ее ногой. Потом, широко размахнувшись, бросил пакет во двор.

Дверь захлопнулась за мной. Я быстро пошел к воротам. На улице меня ждал Ленька. Он корчился от смеха, потирал руки и боднул меня в живот.

Но я не смеялся. В моих ушах еще звучали слова Иринарха Иринарховича о старике Кушине, помолодевшем от злобы, и вкрадчивый голос супруги Левашова.

## Глава 22

### Зеленый забор

Мы с Ленькой не ночевали эту ночь дома. Справедливо или несправедливо, но мы опасались, что Струйский, проспавшись, спохватится, что рассказал какому-то мальчишке о столь важных вещах — и побежит каяться к Левашову-сыну: ведь он наверное знал, что ни Левашов, ни тем более Кушин не поглядят его по головке за то, что он некстати развязал язык.

Утро застало нас на чердаке. Пробравшись между пыльных балок, мы выглянули в окошко и убедились, что солнце стоит уже высоко. Мы проговорили всю ночь и заснули только на рассвете.

Я так и не сказал Леньке про зеленый забор и Курбатовский переулок: благоразумие подсказывало мне, что чем меньше людей будет знать об этом, тем лучше.

Выйдя во двор, мы поступили так, как уговорились еще с вечера. Ленька бросился со всех ног, мимо старого вяза, на одну улицу, а я, не менее быстро — через ворота, на другую: мы старались сбить с толку возможных преследователей.

Пробежав порядочное расстояние бегом, я оглянулся и, убедившись, что никто не следует за мной «по пятам», пошел шагом.

Остановившись на углу, у Александро-Невской часовни, я положил копейку на блюдо, которое стерег жирный, молодой монах в черной рясе и скуфейке, и выпил кружку «свяченной» воды, нацедив ее сам из бачка, стоявшего на столике, покрытом скатерткой. Вода была теплая и отдавала цинком. Но все-таки она стоила копейку, и, кроме того, меня всегда забавляло, как вздрагивал плечами и брюхом дремавший монах, когда на блюдо бросали монету.

День выдался погожий, и я чувствовал себя превосходно. Пусть впереди трактир Васильева и работа с семи утра до одиннадцати вечера, — до этого мне предстоит испытать самое удивительное приключение из всех, какие я когда-либо испытывал.

Пройдя несколько кварталов, я увидел на одной из улиц Замирайло в его обычной позе. Я не мог отказать себе в удовольствии подойти к нему и засунуть в карман его шегольской тужурки две копейки. Подумав, я положил туда же своего резинового чортика. Потом, поколебавшись, забрал обратно.

Замирайло не шевелился, как кот, притворившийся мертвым. Я дернул его за полу тужурки и продолжал свой путь.

Я достиг Большой Грузинской улицы в наилучшем расположении духа.

По дороге мне пришлось преодолеть немало искушений. Я мог бы, например, подойти к чистильщику обуви — они сидели на каждом перекрестке — и спросить, есть ли крем «Эклипс». А получив утвердительный ответ, поставить босую ногу, с возгласом: «Почисть получше, чтоб блесло!» Следовало тут же отдернуть ногу, чтобы не получить по ней щеткой, и затем пуститься наутек, выкрикивая: «Чистым-блистым, гуталин-ваксум!»

Но я вспомнил своего приятеля грека и не сделал этого.

Вступить в пределы Грузин мальчишке моего возраста — значило выдержать не одну стычку с драчливыми обитателями этого района.

Но сегодня я избегал ввязываться в драку и припускался бегом или прятался в первом попавшемся подъезде, едва завидев воинственно настроенных «грузинцев».

Грузины были столь же запущены и пыльны, как и тот район, где я жил. Только здесь торговали хлебом не Филиппов и Чуев, а Казаков и Савостьянов. Наш кинотеатр назывался «Волшебные грезы», в то время как здешний величали «Эклером».

Но от вездесущих сыновей Бландова и от Чичкина, поклявшегося, должно быть, не давать им покоя, я не ушел: их вывески встречались почти на каждом углу.

Нечего и говорить, что сердце мое забилося сильнее, когда я свернул с Большой Грузинской в Курбатовский переулок.

Мостовая, вся в выбоинах, и деревянные домишки по обеим ее сторонам, лениво спускались под гору. По такому переулку приятно пронестись вихрем — но я шел медленно, озираясь по сторонам.

Никогда позже не испытывал я такой радости, которая охватила все мое существо, когда, пройдя половину переулка, я увидел на другой стороне зеленый забор.

Я пересек мостовую и подошел к забору. Был полдень, и асфальт обжигал мои босые пятки. Краска на заборе облупилась, и он был скорее грязносерый, чем зеленый. Но я прислонился к нему плечом, приложил обе ладони к шершавым, теплым доскам: ведь за этим забором обитал человек, который отнимет Женю у Левашовых и старика.

Забор оканчивался калиткой. Я знал, что если Струйский, будучи «не в себе», увидел через нее дверь с крестом, то и я ее увижу.

И правда, войдя через калитку — она была открыта — во двор, я ее увидел: то была простая, довольно неказистая дверь, обитая войлоком. Ее пересекали, крест на крест две полосы грубой мешковины. Она вела внутрь ветхого деревянного домишки. Над ней было квадратное слуховое окошко с выбитым стеклом.

Я прошел через двор и остановился перед дверью. Она была не заперта. Когда я потянул дверь к себе, из домика неспеша вышла рыжая

курица. Покосившись на меня одним глазом, она дернула головой и медленно, приосганавливаясь, чтоб высмотреть и что-то клюнуть на земле, обошла мои босые ноги и проследовала дальше во двор.

За дверью было темно. Я наткнулся на какой-то предмет, схватился за него, но он поехал от меня.

Тут открылась дверь сбоку, стало светло, и я увидел, что стою в прихожей, а передо мной — сломанная детская коляска.

А на пороге комнаты, откуда он вышел, чтобы посмотреть, кто это возится в прихожей, стоял человек, которого я искал.

— Я к вам, — сказал я и шагнул ему навстречу. — Я от Жени.

### Глава 23

#### Комнатка со столетником

Русоволосый человек внимательно осмотрел меня. Лицо его стало сердитым, брови нахмурились. Я тоже насупился, но тут русоволосый человек вдруг улыбнулся.

— Ну-ка, ну-ка, — произнес он тенором, немножко напоминавшим тенор Савки, и пропустил указательный палец за пояс, которым была перехвачена моя рубашка. — Ну-ка, ну-ка, посмотрим на тебя. Я тебя, такого красивого, еще не видел.

Он легонько дергал пальцем пояс и пытался от меня, и таким образом я, вслед за ним, вошел в комнатку.

Она была небольшая, но чистенькая. Стол, покрытый светлой клеенкой, четыре разных стула, цветы столетника в горшках на подоконнике (окно смотрело в Курбатовский переулок), железная кровать, застеленная белым пикейным одеялом, с одной подушкой в изголовье, и зеркальце над ней — вот и вся обстановка. На стене против окна тикали ходики.

Женин отец быстро вышел из комнаты, поговорил с кем-то и вернулся обратно. Он, видимо, не удивился моему приходу. Я был разочарован. Конечно, Струйский побывал у него еще вчера или сегодня утром и все рассказал. Наверное, в нем пробудилась совесть: недаром он проливал слезы и называл себя негодяем. С чего я взял, что он побежит к Левашову? Чего я путался в ногах у взрослых, как щенок, полагая, что без меня не обойдутся? Зачем Струйскому уступать какому-то босоногому мальчишке честь первому рассказать Петру Сергеевичу о его дочери!..

Но я быстро утешился. В конце концов, я ничего не проиграл: передо мной был все же не обыкновенный человек, и он стоял вот тут, в комнате со столетником, и не думал прогонять меня.

— Ты по очень спешному делу? — спросил он, не проявляя ни малейшего волнения и даже, как мне показалось, небрежно. — Я очень нужен?

Мне хотелось подольше побыть с ним и, если представится удобный случай, расспросить его кое о чем.

— Нужны-то вы, конечно, нужны. Но слишком-то спешить не стоит.

— Стало быть, можно тебя и накормить. Кормить тебя или не кормить?

От еды я никогда и ни при каких обстоятельствах не отказывался.

— Можно кормить, — согласился я.

Он присел на корточки перед тумбочкой — а я ее сначала и не заметил — и достал отсюда две булки, виток колбасы, огромный кусок ситного с изюмом и пакетец с сахаром. Передавая мне одну за другой все эти вкусные вещи, он, между делом, пощекотал мне ногу.

— Небось, оттопал пятки-то?

— Нет, я уже привык, — охотно вступил я в разговор.

— Ну так кушайте, ваша милость, будьте как дома.

Он встал, смахнул с коленок крошки, взял с подоконника спиртовку, зажег и поставил на нее чайник.

Я принялся за еду, время от времени посматривая на жениного отца.

Уже значительно позже, в другое время, я отдал себе отчет в том впечатлении, которое производил на окружающих этот человек.

Он был хорошо сложен, среднего роста, в черных суконных брюках и рубашке из сурового полотна, подпоясанной узким ремешком. Эта рубашка и этот ремешок делали его как-то ближе мне. Его волнистые русые волосы были зачесаны назад. На слегка весноватом лице сияли твердым и ясным блеском серые глаза — совсем обыкновенные. Но взгляд их, особенно когда они останавливались на каком-нибудь предмете, приобретал странное, особое выражение — такого я не видел в глазах других людей: казалось, этот человек в белой рубашке, привыкший к большим просторам, нечаянно попал в эту тесную каморку — и с удивлением смотрит на закипающий чайник, который он сам поставил на спиртовку, и на кровать, предлагающую ему провести еще одну ночь в этой скромной каморке, на дощатую дверь — ведь стоит только ее открыть, чтобы уйти туда, на безграничный простор, что нетерпеливо ждет, зовет его.

Но он не собирался отдыхать, это видно было по его сдержанным, обличавшим нетерпеливую силу, движениям. Сердце его легело навстречу простору.

Этим простором, этим бескрайним, волнующимся морем — было будущее.

Все это я понял, как я уже говорил, значительно позже. А теперь мне было просто весело, как на празднике, веселее, чем в тот день, когда справляли именины ленькиного отца. Тем более, что человек в белой рубашке, к которому я пришел в гости, относился к вещам, которые временно задерживали его в этой конуре со столетником на подоконнике, благодушно-ласково, с легкой, необидной всмешкой.

Лицо у него было простое, но «имело симпатию», как говорили женщины на нашем дворе. Нос был немного утиный, с широкими ноздрями, с большой веснушкой у самого кончика. Когда вы, посмотрев на это лицо, начинали внимательней вглядываться в него, эта веснушка словно весело напоминала: «Смотри-ка, а нос-то немного утиный!». Рот у него был маленький, как у Жени, и над верхней губой, как у Жени, сидела родинка.

— Вы один тут в квартире живете? — спросил я, когда женин отец налил мне чаю в стакан и придвинул ко мне пакет с сахаром.

— Нет, я здесь только снимаю комнату. А хозяин этой квартирки — могучий человек, не то что я, бедный жилец. Он может останавливать поезда, если захочет. Он собирает паровозы.

Я не знал тогда, что женин отец совсем недавно руководил стачкой на паровозостроительном заводе. Он тоже мог останавливать поезда.

— Дядя, — спросил я, — а правда, что вы дадите царю по шапке?

— По шапке?

— Ну, по короне.

— Я вижу, ты набил брюхо и начинаешь философствовать. Пей чай. Ты бы мне лучше рассказал, зачем прислала тебя Женья?

Только позже я понял, что он говорил о своем партийном товарище, Жене, и недоумевал, почему она выбрала посредником какого-то мальчугана.

— Вот так-так! — воскликнул я. — Будто вы сами не знаете! Она хочет видеть вас. Скорее, во что бы то ни стало.

Женин отец пожал плечами.

— Непонятно, что это за спешка такая.

— Почему непонятно?

— Ну, это не твоего ума дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Да. А Женя — славная девушка.

Разговор, казалось мне, принимает несколько странный характер. «В самом деле, усмехнулся я про себя, какая же она девушка?»

И я сказал вслух:

— Как это смешно, что вы называете ее девушкой. Ведь ей только тринадцатый пошел, мы с Ленькой недавно праздновали ее рождение. У Левашова-сына.

— Кому пошел тринадцатый?

Ясные глаза, родинка и чуть утиный нос придвинулись ко мне вплотную.

— Жене, вашей дочке. Вы-то должны это знать.

Я услышал, как затрещал стол, на который женин отец навалился плечом.

— Кто ты, мальчик? Откуда? Постой, что ты говоришь? Она... Она ведь умерла, моя дочка...

Я сообразил, что до этой минуты мы говорили о разных Женях.

— Это вам Струйский нарочно написал, что она умерла. Его заставили, — сказал я, мгновенно вспомнив все, что говорил мне Струйский вчера у себя в номере.

Женин отец налил себе чаю, но тут же забыл о нем.

— Ну что ж ты уставился на меня? — сказал он сурово. — Рассказывай, рассказывай все. Ведь я только сейчас — только сейчас! — узнал от тебя, что у меня есть дочь, живая дочь, живая Женя, которой пошел тринадцатый год...

Я стал рассказывать все, что знал, со всеми мельчайшими подробностями. Я рассказал и о том, как Женя бегала за лимоном для Клюевой, о визите нашем к Кушину, обо всем, обо всем: упомянул даже о башмаках, которые купил Струйский Жене за три с половиной, не удержался и, прыснув в кулак, описал ее платье, сшитое из занавески, и огромный цветок на этом платье, переползавший через плечо Жени ей на грудь.

— На этом .. на этом платье... — сказал вдруг женин отец высоким тенором. — Так ты говоришь — цветок? На этом платье...

По щеке его поползла слеза, обогнула нос, веснушка на котором стала совсем невеселой, и, сверкнув как бриллиант, упала на клеенку.

— Дяденька, вы плачете! — вскричал я со страхом и встал со стула.

— Ну вот, буду я распускать нюни перед таким молокососом. — Он вытер глаз, тот, из которого выкатилась слеза, рукавом рубашки. Взор его опять смотрел вдаль. Искорка в каждом глазу была на месте. — Докладывай, докладывай обо всем подробней.

Я продолжал, не спеша, свой рассказ. Когда-то еще найду я такого внимательного слушателя! Я стал описывать пиршество в доме Левашова-сына, но мой рассказ был прерван стуком в дверь.

— Можно войти? — произнес голос, показавшийся мне знакомым.

— Милости прошу.

В комнату вошел Попеляев в своей синей блузе и синих широких штанах. Петр Сергеевич шагнул к нему навстречу. Попеляев пожал жениному отцу руку. Я с удивлением убедился, что они, повидимому, хо-

рошо знакомы. Попеляев хотел что-то сказать, но тут заметил меня и изумился. Мне это польстило

Попеляев поглядывал то на меня, то на Петра Сергеевича.

— А этот сорванец по какой причине здесь очутился? Вот уж кого не ожидал встретить!

Петр Сергеевич тяжело опустился на стул и коротко рассказал Попеляеву все, что я успел ему поведать.

— Видишь ли, — сказал он под конец. — Я его сначала и пускать в комнату не собирался, хоть он и сказал: «Я от Жени». Да и озлился я на Женю. Ну, а потом решил накормить его и выпроводить потихоньку. А тут видишь... — голос его пресекался... — что получилось. Видишь... Ты видишь... недаром он пропустил слово «тетя». Тете-то ведь... тринадцати нет... Какая там тетя...

Он махнул рукой.

Слесарь ничего не ответил. Он тоже сел, подумал, вздохнул, положил ногу на ногу, еще подумал, опять вздохнул, и вдруг с просиявшим лицом воскликнул:

— Эх, да ведь как все-таки распрекрасно, что теперь у тебя есть дочка, родная дочка, кровинка твоя, Петр Сергеевич... Кстати, кто знает об этой квартире, кроме вот этого? — он кивнул на меня.

— Струйский и... она, дочка Женя.

— Струйский и... Женя, — подумав, сказал Попеляев. Он запнулся и замолчал.

— Да. И она — всего только девочка, — продолжил его мысль Петр Сергеевич.

Два взрослых человека обменялись взглядами — и я понял, что они боятся: а вдруг Женю... а вдруг Женю как-нибудь, да заставят сказать?..

— Никогда она не скажет! — вскричал я с жаром. — Мы клялись.

— Клялись, — усмехнулся Попеляев. Лицо его стало озабоченным. Он заговорил резко и отрывисто: — Не надо забывать и про Струйского: вдруг этот... сукин сын проспится и...

— Предаст, — живо откликнулся Петр Сергеевич. — Все эти декадентики и комнатные богоборцы и богоискатели с пятого года оплевывают нас, да стараются сделать это позатейливей. Их здорово продуло революционным сквозняком, и теперь они закрыли форточки и замазали окна, чтобы блудословить, паясничать и предавать... со всеми возможными удобствами.

— Словом, нам придется, так сказать, перестроиться на ходу. То, что нам предстояло сделать, надо отставить. Такое дело ни в коем случае нельзя подводить под удар.

— Ни в коем случае нельзя, — решительно подтвердил Петр Сергеевич.

— Мальчишка никого не привел за собой?

— Никого. Иван Перфильич проверил.

— Эх, — сказал Попеляев. — Вот как все неожиданно повернулось. Дело-то какое откладывать приходится. Ну, ничего не поделаешь. А я и Федора потревожил, лихача: он в одиннадцатом нам типографию вывезть помог. Он минут через десять должен с той стороны подъехать. Что ж, пусть подождет, поскучает. Лихой мужчина, истинный, скажу тебе, лихач. Да тут целая история, некогда сейчас рассказывать. Он тебя на дутых так прочит! Князей возил... Семен должен притти через час?

— Через час.

— Итак, Петр, я иду предупредить его, чтобы он и носа сюда не казал. И насчет новой квартиры для тебя. Буду через полчаса.

Попеляев встал.

— Лети, — сказал Петр Сергеевич.

— Лечу, — ответил Попеляев и, нахлобучив на голову кепку, тотчас же вышел.

Мне немного осталось рассказывать Петру Сергеевичу. Окончив свой рассказ, я вынул обе половинки фотографии и положил их на стол. Женин отец схватил их и стал жадно рассматривать.

Я сидел, преисполненный достоинства, — не кто иной, как я, принес ему весть о его дочери. Да и сама Женя казалась мне теперь как-то важнее, старше, словно она выросла во время моего рассказа.

Звонко стрельнула разошедшая половица. Уличный шум смутно доносился в каморку.

Женин отец встал и подошел к окну.

— Ты прав, — сказал он мне, не оборачиваясь. — И Женя права. Все правильно, ребята. Почему бы, в самом деле, тот дом не должен быть вашим?

Я понял, что он говорит об особняке Левашова-сына, куда Женя пригласила нас в день ее рождения, словно то был ее и наш дом. Об особняке Левашова-сына, с его огромными окнами, под одним из которых растет вяз, застя его ветвями, с массивной дверью, с драгоценной посудой и узорными скатертями.

— Да, так оно и будет, — продолжал женин отец. — Мы отнимем у Левашова его дом. И мы отнимем — вместе с моим квартирным хозяином, который собирает паровозы, и его товарищами — сад и дом Кушина, и многое другое. И паровозный завод будет наш, и мы будем собирать паровозы вдвое быстрее, и вдвое быстрее будут они ходить по стране. Верь мне — я знаю. Так будет.

И я верил ему. Я верил — этот человек, лет под тридцать пять, в черных брюках и рубашке из сурового полотна, что смотрел в окно и слушал далекий шум города, — могучий человек.

Все, что он говорил, было правдой, святой правдой. Недаром так всполошились Левашовы. Уже звонили телефоны во все участки, уже грозил, торопил, распорядился встревоженный Кушин, уже подносили руки в перчатках к широким грудям городовые, готовясь сорвать свистки и огласить улицы и переулки пронзительным «лови!».

Скоро, очень скоро нам пришлось убедиться в этом.

Попеляев, быстро войдя в комнату, взглянул на ходики.

— Минута в минуту, — сказал он с удовольствием. — Собирайся, Петр Сергеевич, собирайся. Тебя ждут. А квартиру я тебе подыскал под самым носом у Левашова. Ни за что не догадаются, сволочи, что ты будешь его соседом.

— Сборы мои недолгие, — проговорил Петр Сергеевич, надевая пиджак.

— Вот и хорошо, — усмехнулся Попеляев. — Теперь присядем минутки на две.

Петр Сергеевич сел, и они завели непонятный для меня разговор о всяких юридических тонкостях, о том, законен ли был брак Петра Сергеевича с его подругой, о лишении или нелишении прав состояния, о том, что побег жениного отца из ссылки меняет дело, но, с другой стороны, письмо Струйского о мнимой смерти Жени сохранилось у Петра Сергеевича, и дело может повернуться так, что и сам Кушин будет озадачен.

Женин отец встал.

— Хорошо все же чувствовать, что у тебя есть дочь! — Он толкнул меня в плечо и крикнул мне в ухо: — У меня есть дочь, эй, ты, парнюга!



Дверь, должно быть от сквозняка, стала тихонько открываться. В комнату с достоинством вошла рыжая курица — та самая, которую я встретил во дворе. Она неспеша подошла ко мне, клюнула мою босую ногу и медленно, бочком, вышла обратно.

А дверь продолжала открываться все шире, и когда она открылась совсем — мы вскрикнули от изумления.

На пороге стояла Женя, в своей шляпке с воздушным бантом и в белом муслиновом платье.

## Глава 24

### «Я буду ждать»

Башмаки ее были запылены. Видно было, что она шла через весь город — к зеленому забору, к двери с крестом, за которой жил ее отец.

Она легким движением руки сняла с головы шляпку и сердито посмотрела на нее. Она хотела быть прежней простоволосой Женей. Так она делала, входя к нам во двор после того, как ее увели в серый особняк. Так сделала и теперь.

Она стояла и вглядывалась в лицо человека, которого искала и нашла.

Сердце мое перестало биться. Как и я некоторое время назад, она увидела его светлые волосы, его немного утиный нос с широкими ноздрями и свет в глазах, спокойно уверяющих всех людей, что будет лучше, будет совсем хорошо.

Потом она покраснела и радостно смутилась. Я знал почему: она увидела родинку над его верхней губой, такую же, какая была и у нее. Ведь она была его дочка.

— Чего ж ты стоишь на пороге, Женя? — спросил ее отец.

И никогда раньше я не слышал, чтоб так произносили это короткое имя. Словно он спел его.

— Иди ко мне, дай хоть полюбоваться на тебя.

Женя положила шляпку на стол и легкими, но твердыми шагами подошла к отцу.

Тот медленно опустился на стул, который Попеляев бережно подвинул к нему, привлек к себе Женю и обнял ее. Его сильные руки смяли ее муслиновое платье. И я почувствовал вместе с отцом Жени — лицо его стало внимательным, будто он прислушивался к чему-то, — почувствовал вместе с ним то, чего никогда не чувствовал раньше, играя с Женей: ведь она, Женя-то наша, — девчонка, сирота, ее была вдова Клюева, ее хотели унижить и подкупить Левашовы своим богатством, — она не знала — целых долгих семь лет — настоящей, человеческой ласки.

— Как много гостей у меня сегодня, — медленно сказал женин отец. — Но ты — самая дорогая гостья из всех, что искали и нашли зеленый забор.

Женя, подняв голову, смотрела на отца, и на лице ее выражались одновременно глубокая радость и усталость. Да, она чувствовала теперь, что устала все-таки — не потому, что прошла через весь город, а потому, что целых семь лет была чужая всем, кроме двух босоногих мальчишек, — и вот перед ней, наконец, родной человек, который защитит ее от всех бед.

— Так они заперли тебя, как заперли когда-то и меня? — спросил ее отец. — Ты помнишь мать? У тебя была славная мать, Женя. Ты вся в нее — я-то ведь вовсе не красавец.

Он осторожно отстранил ее и встал.

— Гляди, вот я какой.

Женя искоса посмотрела на него и улыбнулась.

Отец продолжал, наклонившись к ней и взяв ее за руки.

— И они захотели сделать тебя богатой... Ты хочешь быть богатой, дочка?

Женя отрицательно покачала головой.

— Но и я не так уж беден, — сказал женин отец. — Ты будешь богатой, Женя. Только вместе с Шуркой и другими. Но надо подождать немного. Ты подождешь, Женя? — тихо спросил он.

— Да, я буду ждать, — ответила Женя.

— Ну, а теперь, — громко сказал он, выпуская маленькие руки дочери из своих больших, крепких, отцовских. — Теперь — чур не плакать!

Он предостерегающе поднял руку.

— Помни обо мне. А сейчас нам надо расстаться. И не плакать, не плакать! — С видом заговорщика он опять толкнул меня в плечо. — Мы уж тут с ним маленько прослезились.

Он повернулся к Жене:

— Ты сидела там, в комнате. Потом попробовала толкнуть дверь — и она оказалась незапертой... Так?

— Да, — кивнула Женя с виноватым видом.

— Ты прошла через комнаты — они были пусты...

— О, не сразу. Я прислушалась, посмотрела в окно, постучала в дверь Левашовой, прокралась на кухню. Все куда-то ушли, — говорила Женя с тем же видом нашалившей и раскаивающейся в своей шалости девочки.

— ...и ты вышла на улицу, чтобы найти зеленый забор и дверь с крестом. Так? А они шли за тобой, следили. Они нарочно тебя выпустили. Ты для них была, моя славная девчужка, только козырь в их грязной игре.

Лицо его стало суровым, и он обратился ко всем, кто был в комнате:

— Дом, наверное, уже окружен. Они, конечно, не зря ее выпустили. Они следили за ней — за каждым ее шагом. Дорого мне обошлось это свидание... с родной дочкой.

— Папа! — с отчаянием вскричала Женя.

— Ничего, дочка, ничего. Только не хныкать! — приказал он ей весело.

Да, он был весел. Ему было весело двигаться, приказывать. Потому что он боролся за хорошую жизнь для людей, и все, что он делал, приближало эту хорошую жизнь. Уже сейчас он двигался в будущем, за которое боролся. И от этого-то людям было весело с ним, словно перед сборами в далекое, прекрасное путешествие.

И я чувствовал себя, несмотря на то, что Женя чуть не заплакала, и дом был, может быть, и вправду окружен, я чувствовал себя так, словно присутствовал на празднике, непохожем на все другие праздники, которые я видел до сих пор.

Женин отец открыл дверь и крикнул в полутемный коридорчик:

— Иван Перфильич, ты здесь?

## Глава 25

### Лихач

Послышались легкие шаги, и в комнату вошла женщина преклонных лет, в темной просторной кофге, с седыми гладкими волосами. Лицо у женщины было тихое и доброе, оно словно говорило окружающим, что все идет потихоньку-полегоньку и торопиться некуда: поспешишь, ба-тюшка, людей насмешишь. Один рукав ее кофты был засучен, другой

она успела оправить по дороге в нашу комнату — очевидно, делала что-нибудь по домашности, по хозяйству.

Остановившись на пороге, она поглядела на жениного отца с каким-то гордым удовлетворением: дескать, это хорошо, очень хорошо, что ты большой человек и тебя ждут большие дела, — а пока я тебе, родной, пару белья выглажу и рубаху заштопаю...

— Зайдет сейчас твой Иван Перфильич, — сказала она. — Он руки моет, только что изволил пожаловать. Я ему колбаски поджарила, он хочет косушку почать — она уж неделю и два дни в шкапчике стоит.

— Какая там колбаска! — усмехнулся женин отец. — Какой шкапчик, Лизавета Ивановна!..

И он опять закричал в открытую дверь:

— Иван Перфильич!

На этот раз явился сам Иван Перфильич, человек высокий и жилистый, в чесучевом пиджаке. Взгляд у него был строгий, усы пушистые, едва начавшие сесть. В строгих глазах его сидела лукавинка, — я знал, что такая лукавинка появляется в глазах у взрослых, когда они собираются «почать косушку».

— Надо действовать, Иван Перфильич. Я, кажется, открыт. По всей видимости, наш с тобой замок окружен врагами. И если они не вошли сюда тотчас, то, значит, хитрят, ждут кворума.

— Да будет тебе шутить-то! — укорила Петра Сергеевича, ничуть не испугавшись его слов, Лизавета Ивановна.

Лукавинка исчезла из глаз ее мужа.

— Кто знает! — нахмурился Попеляев.

— Что ж, давай действовать, только быстрее, — спокойно и веско сказал Иван Перфильич.

— Ну — одна нога здесь, другая там — пройди-ка тем ходом, через кухню, посмотри — дожидается ли там лихач, и проверь, все ли чисто. Объясни ему, что и как.

И он шепнул Ивану Перфильичу несколько слов.

Иван Перфильич быстро вышел из комнаты.

— А ты, Лизавета Ивановна, — сказал Петр Сергеевич, — принеси-ка иван-перфильичев картуз — ох, хорош картуз, большой да глубокий, — и пальто... Знаешь, то, черное, которое я вчера ночью надевал...

— Уж и пальто, — покачала головой Лизавета Ивановна. — Уж и черное: это оно в темноте тебе черным показалось.

Она вышла и вернулась с «демисезоном», порыжевшим от времени, приговаривая:

— Ну, уж и пальто. Только ворон в нем пугать. Одно название у него осталось — пальто. Всем пóльтам пальто.

— Не хмурься, девочка, — сказал женин отец, бросив ласковый взгляд на дочку. — Ты никогда у меня не горюй — ладно?

— Ладно.

— Может быть, некоторое время придется тебе пожить у Левашовых: они тебя дешево не уступят. Но верь мне, мы (он так и сказал «мы») отвоюем тебя у них.

Нагнувшись к Жене, он сказал ей на ухо, но нарочно громко, чтоб все слышали:

— Улыбнись-ка мне. Лучше улыбнись, всем улыбнись. Вот так, Евгения Петровна, — подарил он ей отчество.

Попеляев наморщил лоб, соображая вслух:

— К тебе пришла дочка... Так. Они не знают, что несколько раньше сюда заявили мальчик Шурка и некий Попеляев. Следовательно, если Женя выйдет за ворота с человеком в рыжем демисезоне — а он, Ли-

зарета Ивановна, и правда рыжий,—они подумают, что этот человек—ее отец, то есть ты... Эх, послужи отцу, дочка.

— Погоди, ты неладное что-то говоришь! — воскликнул Петр Сергеевич.

— Послужу, папа! — звонко откликнулась Женя.

Вошел Иван Перфильич и сообщил, что лихач ждет.

Петр Сергеевич повернулся на каблуках и сердито посмогнул на Попеляева. Тот спокойно облачился в рыжий демисезон, который до того критически рассматривал держа в руках, надел картуз.

— Стало быть, если они схватят нас... А мы не так вот сразу дадимся им в руки, — он погладил Жене плечо. — Мы припустимся от ворот рысью. Тут уж они не вытерпят, засвистят — от радости, сволочи, должны засвистеть. А это отвлечет внимание других фараонов, которые кругом стерегут. Они подумают: «Ага, поймали голубчика». А голубчик тем временем... на этого самого лихача. Тебе только из Грузии вырваться. Мне придется, конечно... за преступное содействие... Но я чист, как стеклышко, и ухитрился пока пребывать только под негласным надзором. Долго они меня держать не будут. А если они тебя возьмут — плохо будет твое дело.

Он опять взглянул на часы, и сдернув с головы картуз, ударил им себя по коленке.

— Да что я тебя уговариваю!

Он вопросительно поглядел на ходики.

— Ты сам меня учил. Смешно мне теперь тебя агитировать, Петр Сергеевич.

Петр Сергеевич подошел к Попеляеву и пожал ему руку.

Попеляев смотрел ему в глаза, пока ходики хриплым тиканьем не напомнили ему, что время летит вперед — минутка за минуткой. Оба они, и Петр Сергеевич и Попеляев, каждый знал в сердце своем, куда оно летит — в будущее, в будущее. Они дрались в рядах неведомой мне армии за это будущее.

Как-то вдруг посуровев, Петр Сергеевич отступил на шаг и жестко сказал:

— Хороший ты человек, Попеляев... Но зря задержал меня с этим демисезоном. Вот мой приказ. Оставайся здесь. Коли услышишь свистки — значит дело мое плохо. Обождешь пять минут и выйдешь тем же ходом, что и я, через кухню. А коли ничего не услышишь, все равно выходи, не жди непрошенных гостей. Женю можешь взять с собой или оставить с Иваном Перфильичем. Все.

Он надел фуражку.

— Ты со мной поскачешь, Александр, — назвал он меня полным именем.

Я подумал — хотя и мало разбирался в делах подобного рода, — что Петр Сергеевич не хотел, чтоб полиция застала меня в домишке Ивана Перфильича. Я кое-что слышал и мог проболтаться.

Но я не обижался. Значит, так надо было. С той минуты, как я увидел отца Жени, я всецело доверился ему.

Петр Сергеевич оглядел собравшихся.

— Ну!.. — его брови высоко поднялись.

Он сделал два шага к столу, на котором лежала разрезанная фотография. Ту половинку, на которой были пятилетняя Женя и ее мать, он спрятал во внутренний карман пиджака, другую протянул Жене.

Потом, встряхнув всем руки, прижав Женю к груди и крепко поцеловав ее в губы, он вышел из комнаты. Я последовал за ним. Пройдя мимо кухни, мы через дверку, которую женин отец нащупал в темноте,

вышли на дворик, на который выходила тылом хижина Ивана Перфильича.

По дворам и задворкам мы вышли в переулок и увидели ожидавшего нас лихача. Переулок был немощеный, без тротуаров. Пыль носилась в воздухе. Из открытых окон убогих домиков пахло жареным на постном масле луком.

Пролетка, которая должна была нас укатить из Грузин, выехала нам навстречу из подворотни. Она поразила меня своим шикарным видом. Она была на дутых шинах, легкая, стройная. В ней было что-то стрекозье. Чисто вымытые крылья пролетки блестели. Лихач застыл на козлах, готовый натянуть вожжи, как струны, и умчать нас из Грузин. На голове его красовалась шапочка с павлиньим пером.

Мы влезли в пролетку. Экипаж ответил на это легким содроганьем, как нервная лошадь, которой не терпится пуститься вскачь. Сиденье пружинило — и мне было хорошо и удобно, рядом с жениным отцом. Я откинулся на спинку и ощутил лопатками, какая она тугая.

— Давай, Федор, выхватывай, выноси, — сказал женин отец.

Да и пора было. Двое городских и двое в штатском, что-то крича, бежали к нам. Лица городских выражали крайнее усердие и ужас: их ждала щедрая награда в случае удачи и зверский нагоняй, если они, упаси бог, допустят оплошность.

## Глава 26

### Погоня

Плюнув им навстречу, лихач крикнул:

— Эй, сторонись, размечу!

Он натянул вожжи, и пролетка, окутав городских и шпиков грозным облаком пыли, вынеслась на простор Большой Грузинской.

Из рыжей тучи, которую мы оставили позади, грянули пронзительные трели свистков. В ответ засвистели впереди, слева, справа.

Женин отец поделился со мной своим планом: самое лучшее — вымчаться на Тверскую, где, нас, повидимому, не ждали.

Но лихач уже и сам догадался об этом. Пролетев Большую Грузинскую, он резко свернул вправо:

— Эх! — закричал он. — Будьте вы, анафемы, прокляты. Седьмиды и трижды!.. Дав-вай!

Мы, прижавшись друг к другу, летели на аршин от мостовой, булыжник которой сливался в один рябой, стремительный поток, мчавший под колеса пролетки. Лихач, словно окаменевший на козлах, возвышался впереди нас. Павлинье перышко на его шапке словно подчеркивало надписи на вывесках, которые так и мелькали мимо.

Готовые лопнуть вожжи связывали лихача с лошадью, высекавшей подковами искры из мостовой. Шея у лихача побагровела. Он чувствовал за своей величавой спиной седоков, которые напряженно ждали, что он их вымчит, вынесет, и это придавало ему еще больше бешенства.

Но и полицейские, предупрежденные свистками, не дремали. На одном из перекрестков нам преградили путь четыре пролетки, выстроившиеся в ряд одна за другой.

Не тут-то было! Лихач, гикнув, свистнув, отчаянно простонав, пролетел в узкое пространство между пролетками и витриной какого-то магазина. Колеса на секунду взлетели на тротуар и опять покатались по мостовой. Городовой едва успел отскочить, выругавшись в лошадиную морду.

Нас мотало из стороны в сторону, пружины, нежно позванивая, подбрасывали нас вверх и опять принимали обратно, чтобы снова мотать и подбрасывать.

Обняв меня за плечи, смешно тыкаясь носом мне в щеку, женин отец прокричал в мое разгоревшееся от волнения ухо:

— Похоже, что Кушин купил на сегодняшний день всю московскую полицию! Никогда бы не поверил, что она может так усердствовать!

Я крикнул, проникнувшись невольным уважением к его дочке:

— Как они... из-за Жени-то! Гонятся-то!

Петр Сергеевич прокричал в ответ:

— Женья... — его подбросило кверху. — Дело, брат, не в одной Жене.

Свистки умолкли, но тут мы услышали позади — еще далеко — яростные автомобильные гудки. Я осмотрелся: мы уже пролетели через Красную площадь и мчались по мосту. Когда мы миновали Пятницкую и Серпуховскую, автомобильный гудок рывкнул совсем близко.

Нас спасало до сих пор то обстоятельство, что мы отважно мчались по главным улицам. Кроме того, с автомобилем произошла, должно быть, какая-то неполадка, и это несколько задержало его — иначе он давно нагнал бы нас. Но теперь он следовал за нами почти по пятам.

Женин отец встал, упал на сиденье, опять встал и уцепился за плечи лихача.

— Выручай, Федор, сворачивай в переулочек, прыгать надо!

Пролетев еще шагов двести, лихач свернул в переулочек, придержал лошадь, и мы прыгнули на мостовую. Таким-то образом и очутились мы в нескольких кварталах от моего двора.

Лихач приподнялся на козлах, раза два резко развел затекшие руки в стороны, опять натянул вожжи и, гикнув, как вихрь скрылся за поворотом. Номера позади пролетки не было — должно быть лихач позаботился сорвать его и спрятать еще до начала нашей отчаянной скачки.

Женин отец не удержался, чтоб не похвалить нашего спасителя:

— Истинно лихач. И хитер, смекалист!

Мы услышали, как мимо переулочка промчался автомобиль. Тотчас же опять грянули свистки.

Оглядевшись вокруг, я сообразил, что мы находимся в районе переулочков, где мы с Ленкой знали все входы и выходы.

— Сюда! — крикнул я, устремляясь в подворотню. — Здесь проходной двор. За мной, здесь кругом проходные дворы.

Мы пробежали один двор и свернули через какой-то проулочек в другой.

Здесь у ворот сидел на скамейке долговязый, белобрысый парень, стриженный «ежиком», и грыз семечки. Должно быть он давно предавался этому занятию, потому что земля перед ним была густо усеяна шелухой. Завидев нас, он сорвался с места и побежал нам навстречу. В одном кулаке он зажимал семечки, другим взмахнул, словно собираясь задержать нас.

— Эка, дуралей! — сказал женин отец, на ходу толкнув парня в грудь. — Тебя еще не хватало.

Парень охотно дал нам дорогу: не вышло — не надо.

До слуха моего донесся знакомый возглас: «Э, губки, э, туфли». Грек, должно быть, совершал свой ежедневный обход.

Мы пробежали еще через несколько дворов, перелезли два забора, попали на дровяной склад и по зыбким поленницам, держась друг за друга, перебрались на соседний двор.

Подбегая к подворотне, мы увидели у тротуара автомобиль. Возле него стоял пристав и о чем-то расспрашивал двух испуганных дворников. Первым увидел нас один из дворников, с острой злой бородкой и острым носиком.

— Господин пристав! — закричал он тонко, дискантом. — Господин околоточный!

Но тут произошло нечто неожиданное. Из-за спины дворника вернулся грек.

— Хе, малчик! — воскликнул он, увидев меня. — Это ты...

— Выручай! — задыхаясь, откликнулся я.

Грек бросился навстречу дворнику, резко повернулся кругом — и гирлянда губок и тувель взлетела к самой голове дворника. Дворник растерялся. По его глупому лицу было видно, что он не знал, кого ловят, — кого хватать, нас или грека?

Я промчался через двор и выбежал в узкий переулок. Оглянувшись, я увидел, что потерял Петра Сергеевича. Свистки слышались со всех сторон, но теперь мне было все равно.

Усталый, выбившийся из сил, я миновал еще несколько переулков и выбежал на свою улицу. Тут за мной уезжался городской. С криком: «Стой, стой!» он тяжело топал за мною сапожищами.

Я напрягал последние силы: если я добегу до нашего подвала... до комнаты, где я живу...

— Налево, налево, — твердил я себе, задыхаясь.

И вот я уже вижу белье на веревках, черную дыру подвала в глубине двора, ржавые суставы водосточных труб, карабкавшиеся по стенам с облупленной штукатуркой.

Но мне удалось пробежать только до вяза, до моего старого вяза. Здесь все кончилось.

Дворник (не наш, а чужой), в длинном холщевом фартуке, бросился мне навстречу. В ту же секунду я увидел Леньку, спешившего ко мне от ворот, затем кто-то грозно проревел надо мною: «А, оголец проклятый!» и вкатил мне крепкую затрещину.

Открыв спиной калитку, я пролетел в палисадник и упал, ободрав плечо о шершавый ствол старого вяза.

## Глава 27

### Я все вспомнил

Очнулся я не скоро.

Оглушенный, с сердцем, исполненным горечи, я медленно встал на колени, упершись ладонью в ствол вяза.

— Что ж теперь делать, что ж теперь делать, — бормотал я.

Я поднялся на ноги, разбитый, уничтоженный, хватая воздух широко открытым ртом. Голова моя кружилась, уши пылали, мне хотелось пить.

Рядом со мной стоял городской.

— Шевелись, шевелись проворней, — сказал он и по привычке выругался. — Я тебе покажу, гадёнку, что тебе делать.

— Фу ты, какая важная персона, — продолжал городской и сжал мою руку повыше запястья своей рукой. — Пошли!

Не выпуская моей руки из своей, он повел меня к воротам, продолжая бубнить:

— Босая команда... Я тебя два часа жду... Сказано: взять и доставить к господину Левашову. Ты что — слямзил чего-нибудь?

Я молчал. Я догадался теперь, что, наверное, предусмотрительный Иринарх Иринархович — он, он, кто же еще—перед тем, как Левашов или полицейские отправились вслед за Женей, на всякий случай приказал городовому дожидаться босоногого мальчишку, который мог, если б захотел, кое-что рассказать.

— А Женя!.. Как же Женя? — воскликнул я невольно, проходя через знакомый двор.

Дверь левашовского особняка оказалась не запертой. Неподалеку стоял автомобиль. Сердце мое сжалось от зловещего предчувствия.

Городовой взялся за массивную ручку, чтоб потянуть дверь к себе, когда из глубины двора ко мне полетела орава мальчишек, оглашая двор воинственным кличем:

— Пошла!

— Понес!

Мы с городовым поднялись по ступенькам, прошли по залитому электрическим светом коридору.

Из столовой, где когда-то Женя принимала нас с Ленькой, раздавались крики и шум.

Городовой втолкнул меня и притворил дверь. Никто из людей, собравшихся в столовой, не обратил внимания на босоногого мальчугана, который, неслышно ступая, пробрался по стене в уголок, где и притаился за кадкой с олеандром.

Из своего уголка я мог смотреть прямо в лицо Петру Сергеевичу, который стоял у стола без пиджака, в своей белой рубашке. Должно быть, он где-то упал и разбил себе лицо. На левой скуле была ссадина, и из нее медленно сочилась кровь, подбородок был в свежих царапинах. Но глаза смотрели ясно, твердо и — готов в этом поклясться — насмешливо.

Несколько поодаль от стола, ближе к двери, в которую я вошел, сидели в креслах, окружая полукольцом жениного отца, два городских и дворник. Этот последний испуганно и бережно держал на коленях — будто боялся, что он взорвется или убежит — пиджак, очевидно снятый с жениного отца при обыске. На столе лежала знакомая мне фотография.

Против жениного отца, за противоположным концом стола, сидел пристав, разложив перед собой какие-то бумаги. Когда он повернулся, чтобы что-то сказать супруге Левашова, расположившейся в кресле слева от меня, я увидел его красивое лицо с черными стрелками усов, на котором выразалось тупое удовлетворение: он поймал, он предусмотрел, он пресек, он угодил самому Кушину. Лицо супруги Левашова — тоже красивое — было искажено страхом, жадностью и злобой.

Женя — да, и она была здесь — устроилась в уголке дивана, и на ее лицо падала тень от олеандра. Протянув руку, я мог дотронуться до ее худенького плеча, обтянутого муслином.

Иринарха Иринарховича я сначала не заметил. А сам Левашов-сын, хозяин, носился взад и вперед по комнате, иногда внезапно останавливаясь и говорил, говорил безостановочно, брызгая слюной и размахивая руками. Никогда бы я не подумал, что этот грузный человек мог проявлять такое проворство во всех своих движениях. Его воодушевляли — почти до неистовства — те же чувства, что выражались на лице его супруги: страх, жадность и злоба.

— Успокойтесь, — продолжая тупо переживать удовлетворение, сказал ему пристав и посмотрел на Петра Сергеевича. — Значит, ножка у вас подвернулась, а тут как раз и мы. Так-с.



— Успокойся, Лева, — нежно произнесла супруга Левашова, но губы ее дрожали.

Левашов-сын, потрясая кулаками, подбежал к отцу Жени.

— Били мы... Били мы... А! — голос его стал громким, торжествующим. — А! Били мы вас в девятьсот пятом, побьем и в пятнадцатом, и в двадцатом, если вам опять взбредет в голову бунтовать!

Женин отец вытер лицо рукавом рубахи — было жарко, да и устал он порядком. На промокнутом от пота рукаве остались следы пыли и крови. Ссадина на скуле опять стала набухать и краснеть.

— А вдруг не побьете? — спросил он.

Пристав кисло посмотрел на него. Городовые нахмурились. Дворник дернулся всем телом и, откинув голову назад, испуганно посмотрел на пиджак, лежавший у него на коленях.

— Вы бы лучше сказали, господин хороший, — скучным голосом, видимо не ожидая, что ему ответят, произнес пристав, не глядя на Петра Сергеевича, — кто был тот субъект в демисезоне, который перелез через забор и скрылся от моих людей.

Петр Сергеевич удовлетворенно усмехнулся.

Только тут я заметил Иринарха Иринарховича. Он стоял в противоположном углу и, надо сказать, находился в чрезвычайном затруднении: он не знал, что ему в данную минуту делать. Его хозяин, за которого милейший Иринарх Иринархович теми или другими телодвижениями (или словами) привык выражать чувства, которые тот таил в своей груди, — этот хозяин выражал сейчас свои чувства столь неудержимо и яростно, что Иринарх Иринархович мог только благоговейно следить за ним, сложив на животе свои безработные руки.

Приостановившись на секунду, чтобы собраться с силами, Левашов-сын снова набросился на Петра Сергеевича. Он заглядывал ему в лицо, хлопал в ладоши, хрипло хохотал и поводил плечами, словно готовился пуститься впрыскаду. Он походил на опасного сумасшедшего.

— Вот он — отец! Смотрите на него! — всплеснул руками и изумился Левашов-сын. — Что — красивый мужчина? — спросил он всех. — Беглый каторжник — вот кто ты! Скажи, откуда ты бежал? Ну, скажи!

И он опять изумлялся, опять всплескивал руками:

— Это отец, господа, посмотрите. Спросите, велико ли его достоинство?

— Я здесь, папа! — воскликнула Женья.

— И ты, ты, ты! — ринулся Левашов-сын к Жене. — Одеди, обули!.. Из грязи в князи!

— Не кричи, не кричи, Лева, — сказала супруга Левашова. — Что ты, не понимаешь, Лева? Лева, Лева, ей трудно, бедной девочке, — все же, все же он ее отец, родитель, родная кровь. — Она встала, подошла к Жене и присела рядом с ней. — Женья, милая, мы полюбили тебя, как родную. Славная! Тебе ведь некуда идти, пойми, проказница ты такая. Некуда.

Женья поправила рукав халата, сползший с плеча женщины. Она обращалась с Левашовой, как с большой и злой говорящей куклой.

— Как вы стараетесь! Смотри, папа, как она старается.

Левашов-сын оцепенел от негодования. Воспользовавшись этим, Иринарх Иринархович покинул свой угол и стал подкрадываться к Жене, чтобы соответствующими словами и жестами — он все время ведь был наготове — выразить чувства, обуревающие его хозяина.

Левашов, придя в себя, низко поклонился Петру Сергеевичу.

— Здравствуйте! Явился — не запылится. А мы вас, представьте, ждали: вот ваша дочка, милостивый государь, нате, берите ее!

— Я здесь, папа! — снова откликнулась Женя.

Супруга Левашова положила ей на плечо руку:

— Женя, Женя, приди в себя, девочка, сообрази — ты же умненькая, сообрази, как же это, будешь жалеть, да поздно, оглянись кругом, тебе у нас хорошо, ты же умненькая...

— Где твои права? — выкрикивал Левашов в лицо Петру Сергеевичу... — Предъяви твои права! Права, права, почтеннейший!

— Успокойтесь, господин Левашов, — сказал пристав и положил руку на бумаги, лежавшие на столе. — Госпожа Левашова, успокойтесь. Вы имеете право через суд... Ваши чувства... Ваша воспитанница.

— Чувства! — насмешливо и спокойно сказал женин отец.

— Да, чувства-с, — с уважением подчеркнул пристав и продолжал канцелярской скороговоркой: — А вы не забывайте, пожалуйста, милостивый государь, что вы арестованы, милостивый государь, так что вы напрасно хорохоритесь и проявляете гордость, милостивый государь.

Женин отец не выдержал и, посмотрев на него с другого конца стола, горько рассмеялся:

— Ах ты, собака!..

— Что, что? — закричали в один голос Левашов и его супруга.

— Как — «собака»? — даже с любопытством спросил пристав, поглядев сначала на городских, потом — самодовольно хмурясь — на свою грудь.

Созерцая и слушая все это, Иринарх Иринархович раздумывал вслух, роняя под сенью олеандра медоточивые, примирительные слова:

— Зачем было устраивать скандал? К чему весь этот шум, гром, погоня, треск? Девочка давно не видела отца. Она, естественнейшим образом, отвыкла от своего родителя — а тут устраивают какую-то мелодраму. К чему? К чему? Надо было потихоньку притти к нему и дать перышко в руки: подпиши мирненько бумажку (бумажку можно было заранее обдумать и составить, — пояснил Иринарх Иринархович сам себе). Как бы чудесненько получилось: он уступает нам все права на девочку, и взамен мы ему даем свободу. Иди, дорогой папаша, на все четыре стороны, иди к своим слесарям и паровозникам, мути их, сколько твоей душеньке угодно. Пусть бы его ловили жандармы! А нам — девочку... А нам — девочку...

Я повернулся к нему.

— Ты предатель, гадюка, — сказал я с презрением.

— Что? — испуганно, но все же ласково — и тут ласково! — спросил он, приблизив ко мне свое лицо. — Гадюка? Почему?

И Иринарх Иринархович блудливо отвел глаза, не в силах выдержать моего взгляда.

... Я смотрел на него сквозь пламя и дым войны, сквозь тридцать шесть лет, в которые произошло так много великих и грозных событий!

Твердым шагом вышел я из своего угла на середину комнаты.

Мое неожиданное появление ошеломило собравшихся. Дворник уронил с колен пиджак. Городовые попятнулись.

— Женя! — крикнул я. — Потерпи еще немного!

— Я потерплю! — откликнулась Женя, взглядывая на меня из-за листьев олеандра, будто играла в прятки. — И немного, и много!

— Недолго им осталось владычествовать! — продолжал я. — Я знаю. Вот он, твой отец, Женя, он тоже знает.

Я обвел взглядом Левашова-сына и его супругу, Иринарха Иринарховича, пристава. Гнев охватил меня.

— Убийцы! — сказал я. — Проклятое племя!

Я выхватил из-под носа пристава протокол, лежавший на столе, изорвал в клочья и бросил в его усатую морду.

Во все это время пристав не произнес ни слова. Он молча наливался бешенством. Он смотрел, смотрел на меня — и вдруг правое плечо его дрогнуло.

— А, мррр... — произнес он.

Должно быть он пытался выругаться — и не мог.

— А, мрр... зз... — тужился он, не в силах выразить своих чувств.

Тут правую руку его свела судорога. Пристав был неподвижен, как истукан, но рука жила какой-то своей, независимой от всего его тела, жизнью. Пристав посмотрел на нее.

Рука снова двинулась и согнулась в локте. Пальцы сжались в кулак.

Лицо пристава мало-помалу прояснилось. Он встал. Теперь тело его знало, что ему делать. Ведомый рукой со сжатым кулаком, пристав медленно шел прямо на меня.

Я отступал к открытому окну и уже слышал за спиной легкий шелест. То шумел листвою старый вяз. Я вспрыгнул на подоконник, не спуская глаз с пристава.

— А, меррр-ззавец! — выговорил с наслаждением пристав и, размахнувшись, ударил меня по лицу.

Если городской, который час тому назад крепкой затрещиной отбросил меня в палисадник, умел бить, то старший полицейский чин оказался еще сильнее его по части битья. Пристав бил уверенно и целился точно — уж что правда, то правда.

Во рту у меня что-то хрустнуло, и я ощутил солоноватый вкус.

— Ой! — Женя схватилась за щеку, будто ударили ее, а не меня.

— Не бейте мальчика! — закричал женин отец.

— А, мерз-завец! — уверенно ответил им пристав.

Я пошевелил головой — она гудела — и вместе с кровью выплюнул на ковер два верхних передних зуба. Так я возвратил подарок, который мне сделала Российская империя, едва я появился в ее пределах.

Послышался отчаянный вопль. Вскрикнули все, кто был в столовой, кроме пристава: сделав еще один колеблющийся шаг, я стоял теперь на самом краю подоконника — и каждое мгновение мог оступиться и полететь вниз.

И я оступился. Последнее, что я видел, было: Женя, вскочившая с дивана, широко раскрытый рот супруги Левашова, и женин отец, отбросивший городских и ринувшийся ко мне.

Вслед за тем я потерял точку опоры, и что-то зашумело вокруг меня, что-то захлестало по лицу. Милосердный вяз принял меня всею гущею своих ветвей и невредимым спустил на землю.

Свет и тени напряженно затрепетали вокруг меня, и я очутился в тысяча девятьсот сорок восьмом году.

Путешествие мое нельзя исчислять по календарю. Оно продолжалось ровно столько времени, сколько понадобилось мне для того, чтоб рассказать о нем.

Ни секундой больше или меньше...

— Ни секундой больше или меньше! — воскликнула Женя сорок восьмого года и перевела дух, будто и она видела, как я, стоя на подоконнике левашовского особняка, вдруг потерял равновесие и полетел вниз.

Ветер утих. Старый вяз сонно лепетал листвою над нашими головами.

Обстоятельный Алеша попробовал уточнить время, понадобившееся мне для того, чтобы рассказать об удивительных приключениях, пережитых мною в двенадцатом году.

— Два часа с небольшим, — подумав, сказал он.

Должен признаться, что эта повесть была и для рассказчика, и для Жени, и для Алеша только наполовину повестью о прошлом. Ведь все трое мы смотрели на эти события из сорок восьмого года. Вот почему наши чувства вторгались в рассказ — и это, может быть, было не так уж плохо. И — что греха таить! — некоторые слова и поступки подсказали Шурке, а следовательно, и автору повести, Женя и Алеша. Не раз, горя нетерпением, прерывали они меня и, больше того, подсказывали мне, перебивая друг друга, те или иные слова. Не раз охватывала нас ненависть, та святая ненависть, которая, входя в человека, сначала больно ранит ему сердце, а потом крепит его железом. Женя вцепилась мне в рукав, когда я — пусть только в рассказе — вместе с кровью выплюнул на ковер зубы, выбитые кулаком мордобойцы пристава.

Итак мы — Женя, Алеша и я — просидели под вязом больше двух часов, но нам не хотелось расставаться.

Женя задумчиво сказала мне, копаясь прутиком в земле:

— Вы недавно вернулись... оттуда, из двенадцатого года. Мой папа тоже побывал там когда-то... Он мне рассказывал. Должно быть, это нелегко — мыть посуду шестнадцать часов подряд...

— Нелегко, — согласился я. — Но еще хуже было в кондитерской Прохоровой, на Арбате. Как-то носил я из магазина посылку авиатору Россияскому, — вы, наверное, слышали о нем... Тогда он жил в гостинице «Метрополь». Он дал мне «на чай» целых три двугривенных. А Прохориха отобрала у меня сорок копеек и положила в кассу. Она сама стояла за кассой.

— Не надо было ей показывать деньги, — наставительно сказала Женя.

— Потом-то я не показывал. А Белобрыска... Белобрыска теперь ваша учительница русского языка Антолина Александровна.

— Да? — оживились ребята.

Женя сказала:

— Вот она заставит меня отвечать урок, а я ее спрошу: «А что дадите?»

И ребята засмеялись, они знали, что никто не позволит себе этого: Антонину Александровну все любили. Но Алеша процедил сквозь зубы:

— С тебя станется...

Женя, пожав плечами, повернулась ко мне:

— А что случилось дальше с моей тезкой? И с Петром Сергеевичем?

— Это особая история, и я, быть может, когда-нибудь еще расскажу ее. Скажу голько, что Женя оказалась стойкой девочкой, а Петр Сергеевич участвовал в штурме Зимнего дворца.

— Я знаю. В семнадцатом, — прошептала Женя.

Я смотрел на женины ловкие пальцы с неровно подстриженными ногтями, на лицо, покрытое свежим, еще не закрепившимся загаром. Взгляд ее был внимателен и сосредоточен.

Воспоминания опять нахлынули на меня...

— Да, — произнес я.—Многое из того, что я вам рассказал, я сам видел, сам пережил. Но когда я, призвав на помощь память и воображение, снова прошел босиком по пыльному двору, чтобы спуститься в темный подвал, и опять увидел отца и мать, Ключеву и Женю — ту Женю, я не смог повествовать о событиях, участником которых я был в двенадцатом году, ровным голосом летописца. Да и вы врвались в мой рассказ, ребята, ведь вы были рядом. Гнев и возмущение переполняли нас и порой прорывались наружу. Гнев и возмущение, потому что (вы это знаете, ребята) лукавое и жестокое племя богатых еще стоит у власти во многих странах. Его величество Кушиа еще жив... И быть может, советские моряки на теплоходе, который приближается, ну, скажем, к нью-йоркской пристани, испытывают нечто похожее на то, что испытал я, когда воображение перенесло меня в Российскую империю. Палуба вздымается и опускается под ногами моряков. Покачиваясь, кренясь вместе с небоскребами, полицейскими на перекрестках, трущобами Ист-Сайда и особняками богачей, наплывает — все ближе и ближе — Старый мир (некоторые, словно в насмешку, все еще называют его Новым светом). И вместе с небоскребами, нагло торжествующими рекламами, вместе с очередью безработных у ворот какого-то предприятия, с полицейскими, что хмуро косятся на них, наплывает, кренясь, замирает на мгновение с факелом в руке статуя Свободы. Она весит не одну сотню тонн. Ее видно издалека. Каменное лицо ее кажется жестоким и лицемерным. Все ближе берег страны, где до сих пор травят и преследуют лучших людей, где ломают стачки с помощью предателей, где линчуют негров, стреляют в рабочих...

—Я спрашиваю вас, ребята: разве те, мужественные люди, которые борются в этой стране против власти богатых, не могут бросить им в лицо слова: «Убийцы! Проклятое племя! Недолго вам осталось владычествовать!»?

— А все-таки, — жестко сказал Алеша, — я бы и тогда на вашем месте дал бы сдачи приставу. Тем более... с подоконника бить-то было удобно.

Женя без улыбки посмотрела на него.

— Ничего, — прошептала она.—Им дадут сдачи. Рано или поздно, а дадут.



---

---

# ПУТИ МОЕЙ БЕЛАРУСИ

## ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

Стояла, дремала под говор ручья  
во мхах и болотах деревня моя.

От хат закоптелых, от улиц кривых  
лежали четыре дороги глухих:  
за озеро,  
в бор,  
через речку  
и гать;  
но лучше какая —  
не мог я сказать.

Лишь помню, что с детства,  
юнцом-сиротой,  
сдружился с дорогою я боровой.  
Коров выгоняя,  
по ней я ходил,  
в трубу-берестянку на зорьке трубил.  
И песня витала весь день надо мной,  
и бор откликался ей,  
словно живой.  
А вечером рдела заря в небесах,  
и я возвращался  
за стадом в слезах.  
Дорогой другою  
бродил я не раз,  
сиротские слезы роняя из глаз.  
Ушел по ней, помню,  
отец мой — солдат,  
ушел, и с войны не вернулся назад...

Немало сулили сторонке родной  
суровые годы  
беды горевой.  
Немало мне в жизни пришлось пережить,  
но третьей дороги  
вовек не забыть.

За речкой,  
в огне золотистых лучей,  
звала она вдаль со сторонки моей;  
и помню я —  
конники мчались по ней,

был Шорс впереди.  
И за Щорсом — в руках  
знаменщик вздымал разгоравшийся стяг.

А старой дорогой —  
на запад, за гать  
пришлось панам и подпанкам бежать...  
Родной стороной,  
по вольным полям  
открылись дороги широкие нам.  
Мы шли —  
и назад возвращались потом:  
один — трактористом,  
другой — кузнецом,  
а тот — агрономом,  
а тот — лесником.  
И я,  
обойдя чуть не сотню дорог,  
поэтом вернулся на отчий порог.

До солнца взлетали под говор ручья  
весной твои песни, сторонка моя.  
И в радостном шуме тех дней золотых  
мы жили,  
растили детей мы своих —  
да грянули годы  
беды и невзгоды...

Мы всё пережили,  
врагов разгромили,  
костями их густо устлали всю гать —  
и стали тот путь  
партизанским мы звать.  
Под солнцем Октябрьским,  
в сиянье лучей,  
отныне дороги сторонки моей  
открыты, свободны для всех навсегда,  
садами шумят и ведут в города,  
в институт, на завод,  
и далеко, туда,  
где все золотые сбываются сны —  
в родную Москву,  
до Кремлевской стены.

*Перевел с белорусского Дмитрий Осин.*



# КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

## СОКРОВИЩНИЦА ЛЕНИНИЗМА

*Издание произведений В. И. Ленина в СССР*

(По материалам Всесоюзной Книжной палаты)

Прошло 25 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина — величайшего гения революции, основоположника большевистской партии, основателя советского государства.

В литературном наследии, оставленном Лениным, заключены неисчерпаемые идейные богатства, воплощен огромный исторический опыт русского и международного революционного движения, предначертаны гениальнейшие планы строительства социалистического общества.

54 года тому назад появилась первая ленинская работа: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

Фамилия автора в целях конспирации не была тогда указана. В этой брошюре, ставшей первым программным документом большевизма, Ленин до конца разоблачил истинное лицо народников, как фальшивых «друзей народа», идущих на деле против народа, и показал, что подлинные друзья народа, желающие уничтожить капиталистический и помещичий гнет, уничтожить царизм, — это не народники, а марксисты.

В первой своей печатной работе Ленин уже ясно предсказал то время, когда «...русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции»<sup>1</sup>.

Тираж первого издания книги, вышедшей в трех выпусках-тетрадах, был невелик. Он составлял всего 30—50 экземпля-

ров. Но это не помешало широкому распространению этих тетрадок по всей России: их перепечатавали, переписывали от руки, содержание их передавали из уст в уста.

Работы Ленина по условиям царской цензуры до Великой Октябрьской социалистической революции не могли иметь широкого распространения. Они нередко, особенно в пору столыпинской реакции, читались с опасностью для жизни. Царское правительство прекрасно понимало, что книги Ленина обладают гигантской революционной разрушающей силой. За чтение и хранение книг Ленина люди подвергались арестам и ссылкам, и все же отдельные книги и брошюры распространялись на множительных аппаратах, другие печатались типографским способом. Так, за 1899—1914 годы в «Книжной летописи» была зарегистрирована 31 книга В. И. Ленина. Тираж 19-ти из них (по 12-ти нет сведений о тираже) составил в общей сложности 50.000 экземпляров, большая часть которых вышла в годы первой русской революции.

Много лет любовно и тщательно собирались в послеоктябрьские годы все работы Ленина. В них восстанавливался первоначальный текст. Они очищались от всех искажений царской цензуры, и только в советских изданиях они стали известны и доступны самым широким слоям трудящихся всего мира.

За 31 год советской власти тираж всех работ В. И. Ленина, вышедших самостоятельными изданиями, достиг 174 миллионов экземпляров. Общий листаж их равен 2.522 миллионам печатных листов-оттисков.

«...философские труды у нас распространены в народе в десятках миллионов экземпляров, — говорил А. А. Жданов в своем

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 282.



выступлении на философской дискуссии.— Это настоящее торжество марксизма, и это является живым свидетельством того, что великое учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина стало у нас всенародным учением...»<sup>1</sup>.

О всенародности идей марксизма-ленинизма, об их широком распространении красноречиво говорят цифры выпуска произведений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

**Издание в СССР произведений  
классиков марксизма-ленинизма  
за 1917—1948 годы**

Классики марксизма-ленинизма	Число книг	Тираж (в тыс. экз.)
<b>На русском языке</b>		
Маркс—Энгельс . . . . .	709	36.431
Ленин . . . . .	1.834	145.277
Сталин . . . . .	2.703	425 831
Ленин—Сталин (сборники)	103	9.607
<b>Итого:</b>	<b>5.349</b>	<b>617.146</b>
<b>На языках народов СССР</b>		
Маркс—Энгельс . . . . .	474	4.178
Ленин . . . . .	2.052	25.376
Сталин . . . . .	3.653	90.666
Ленин—Сталин (сборники)	143	2.067
<b>Итого:</b>	<b>6.322</b>	<b>122.287</b>
<b>На иностранных языках</b>		
Маркс—Энгельс . . . . .	190	1.543
Ленин . . . . .	514	3.338
Сталин . . . . .	863	9.712
Ленин—Сталин (сборники)	11	30
<b>Итого:</b>	<b>1.578</b>	<b>14.623</b>

В 1920 году по постановлению IX съезда партии было начато первое издание Сочинений В. И. Ленина. Оно вышло в свет за 1920—1926 годы в составе 20 томов в 26 книгах. Общий тираж всех томов составил 2.670 тысяч экземпляров.

В мае 1924 года XIII съезд РКП(б) — первый съезд большевистской партии после смерти Владимира Ильича Ленина — предложил принять срочные меры к выпуску на всех языках Союза многотиражных народных изданий произведений В. И. Ленина, обратив особое внимание на

редакционную сторону этих изданий, их доступность, удешевление и распространение. Съезд поручил ЦК ускорить издание полного собрания сочинений В. И. Ленина на русском языке и избранных сочинений на всех языках Союза.

Советские издательства уже в 1925—1926 годах значительно усилили выпуск ленинского наследия. Всего (по неполным данным) в 1924—1925 годах издательствами СССР было выпущено свыше 20 миллионов экземпляров ленинских книг.

В 1925 году, согласно решению II съезда Советов СССР, было начато второе и одинаковое с ним по составу и расположению материала, но удешевленное третье издание Сочинений В. И. Ленина.

По сравнению с первым изданием, второе и третье издания были значительно дополнены и расширены. Выпуск этих изданий закончился в 1932 году. Каждое издание вышло в свет в 30 томах. Общий тираж обоих изданий на русском языке составил 19,3 миллиона экземпляров. В среднем, отдельные тома второго издания выходили по 100.000 экземпляров, третьего издания по 600.000 экземпляров. Это издание Сочинений В. И. Ленина было полностью переведено на украинский язык. Отдельные тома вышли на белорусском языке (7 томов), грузинском (14 томов), армянском (8 томов) и азербайджанском.

Неоценимое значение издания Сочинений Ленина ярко подчеркнул в декабре 1925 года на XIV съезде партии товарищ Сталин: «Кадры наши, и молодые и старые, растут в идейном отношении. Это наше счастье, что нам удалось выпустить несколько изданий сочинений Ленина. Теперь люди читают, учатся и начинают понимать... Этот факт является одной из основных гарантий того, что с пути ленинизма наша партия не сойдет»<sup>1</sup>.

В 1941 году по решению ЦК ВКП(б) начался выпуск нового, четвертого издания Сочинений В. И. Ленина, задачей которого является «устранить недостатки предыдущих изданий и дать наиболее полное собрание ленинского литературного наследия». В это издание включается более 500 ленинских документов, не входивших в состав второго и третьего изданий Сочинений Ленина.

<sup>1</sup> «Вопросы философии», № 1, 1947, стр. 272.

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 342

Новые ленинские материалы, вошедшие в четвертое издание Сочинений, как отмечено в предисловии к нему, являются дальнейшим пополнением великой идейной сокровищницы марксизма-ленинизма. Для четвертого издания Сочинений текст произведений Ленина заново сверен с первоисточниками, сохранившимися рукописями и первопечатными публикациями.

Четвертое издание наиболее полно реализует указание товарища Сталина, данное им еще в 1923 году. Уже тогда товарищ Сталин в специальном обращении от имени ЦК партии большевиков подчеркивал необходимость тщательно собрать и сделать достоянием партии и народа все ленинские произведения, все документы и материалы, характеризующие деятельность Ленина по созданию большевистской партии, по подготовке Великой Октябрьской социалистической революции, по строительству первого в мире Советского государства, по руководству международным революционным движением пролетариата. Четвертое издание Сочинений является наиболее полным изданием литературного наследия В. И. Ленина.

Уже вышли 22 тома четвертого издания Сочинений В. И. Ленина на русском языке. Тираж каждого тома — 500.000 экземпляров. Отдельные тома этого издания переведены на языки народов СССР: первые пять томов вышли на украинском языке, первые четыре тома — на азербайджанском, первые три тома — на армянском и казахском, первые два тома — на латышском и первый том — на грузинском и узбекском языках. Подготавливаются к печати переводы и на ряд других языков народов СССР.

С 1924 по 1945 год вышло 35 Ленинских сборников. Общий тираж всех сборников составил 718 тысяч экземпляров.

В этих сборниках опубликовано огромное количество писем, набросков и планов, написанных, но ненапечатанных статей и крупных работ Ленина, материалов к этим работам: выписок из различных книг, разных замечаний по поводу прочитанного, статистических таблиц, выводов из них и т. д. и т. п. Глубоко и всесторонне изучить литературное наследие Ленина нельзя, не привлекая в помощь огромный материал, заключенный в Ленинских сборниках.

Наряду с этим по всему СССР издавались и издаются избранные произведения Ленина. Они включены в шеститомник и двухтомник и изданы миллионными тиражами на многих языках народов СССР и иностранных языках.

Шеститомник был издан на русском языке в 1930—1931 годах и полностью переведен на украинский, армянский, грузинский и казахский языки. Кроме того, отдельные тома переведены на 19 языков.

В четырех изданиях на русском языке вышел двухтомник избранных произведений В. И. Ленина. Двухтомник переведен на 14 языков народов СССР и 8 иностранных языков.

Последнее издание двухтомника уже вышло на украинском, финском, латышском, литовском, эстонском и татарском языках, а кроме того, на английском, испанском, итальянском, китайском, немецком и французском языках.

Общий тираж шеститомника — 6,6 миллиона экземпляров, общий тираж двухтомника превышает 5 миллионов экземпляров.

Произведения В. И. Ленина стали достоянием всех народов, населяющих Советский Союз. За советские годы произведения В. И. Ленина печатались на 77 языках.

#### Перечень языков, на которых издавались произведения В. И. Ленина за 1917—1948 годы

Наименование языков	Тираж (в тыс. экз.)	Наименование языков	Тираж (в тыс. экз.)
<b>I. Языки народов СССР</b>			
Русский . . . . .	145 277,0	Азербайджанский . . . . .	991,0
Украинский . . . . .	12.001,8	Литовский . . . . .	461,3
Белорусский . . . . .	2.061,2	Молдавский . . . . .	145,1
Узбекский . . . . .	1.890,4	Латышский . . . . .	438,3
Казахский . . . . .	938,4	Киргизский . . . . .	314,0
Грузинский . . . . .	1.022,5	Таджикский . . . . .	402,2
		Армянский . . . . .	936,4

Наименование языков	Тираж (в тыс. экз.)	Наименование языков	Тираж (в тыс. экз.)
Туркменский . . . . .	409,3	Хакасский . . . . .	3,5
Эстонский . . . . .	278,0	Еврейский . . . . .	303,4
Карельский . . . . .	16,2	Шорский . . . . .	1,0
Финский . . . . .	181,0	Курдский . . . . .	2,5
Татарский . . . . .	1.098,0	Уйгурский . . . . .	26,0
Башкирский . . . . .	168,1	Прочие . . . . .	267,7

## Языки народностей Дагестана

а) Аварский . . . . .	9,7
б) Даргинский . . . . .	19,6
в) Лакский . . . . .	4,7
г) Кумыкский . . . . .	40,3
д) Лезгинский . . . . .	17,9
е) Татский . . . . .	6,4
Бурят-монгольский . . . . .	127,8
Кабардинский . . . . .	11,0
Коми . . . . .	48,0
Коми-пермяцкий . . . . .	7,5
Марийский-горный . . . . .	11,5
Марийский-луговой . . . . .	9,5
Мордовский-мокша . . . . .	86,3
Мордовский-эрзя . . . . .	114,0
Осетинский . . . . .	26,0
Удмуртский . . . . .	77,1
Чувашский . . . . .	235,3
Якутский . . . . .	115,0
Каракалпакский . . . . .	22,0
Абхазский . . . . .	1,6
Алтайский . . . . .	17,0
Адыгейский . . . . .	10,5

## II. Иностранные языки

Английский . . . . .	527,2
Болгарский . . . . .	83,6
Венгерский . . . . .	71,3
Греческий . . . . .	6,0
Испанский . . . . .	251,4
Итальянский . . . . .	111,3
Китайский . . . . .	252,0
Корейский . . . . .	128,0
Немецкий . . . . .	898,1
Норвежский . . . . .	5,2
Персидский . . . . .	3,0
Польский . . . . .	534,6
Румынский . . . . .	217,2
Сербский . . . . .	32,0
Словенский . . . . .	31,8
Французский . . . . .	148,0
Хорватский . . . . .	17,1
Чешский . . . . .	3,6
Шведский . . . . .	13,6
Японский . . . . .	3,0

Итого \* 173.991,0

В числе языков народов СССР, на которых издавались произведения В. И. Ленина, восемь народов получили письменность только после Великой Октябрьской социалистической революции; так, на хакасском языке — тиражом в 3.500 экземпляров и шорском языке — тысячным тиражом—бы-

ли изданы «Задачи союзов молодежи»; на алтайском языке (бывш. ойротский) тиражом 2.000 экземпляров — «Государство и революция».

Огромными тиражами издавались отдельные важнейшие произведения В. И. Ленина.

## Издание в СССР отдельных произведений

Наименование произведений	В. И. Ленина	за 1917—1948	годъ
	Сколько раз издавалось <sup>1</sup>	Тираж (в тыс. экз.)	На скольких языках
«Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» . . . . .	57	3.038	21
«Развитие капитализма в России» <sup>2</sup> . . . . .	38	1.938	6
«Что делать?» . . . . .	87	2.969	31
«Шаг вперед, два шага назад» . . . . .	60	2.742	25
«Две тактики социал-демократии в демократической революции» . . . . .	78	2.726	31

<sup>1</sup> Включая отдельные тома, переводы, переиздания.

<sup>2</sup> Включая это произведение в Сочинениях.

Наименование произведений	Сколько раз издавалось <sup>1</sup>	Тираж (в тыс. экз.)	На скольких языках
«Материализм и эмпириокритицизм» <sup>2</sup> . . . . .	56	3.052	14
«Империализм, как высшая стадия капитализма» . . . . .	128	4.088	35
«Государство и революция» . . . . .	126	3.737	33
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» . . . . .	81	3.108	31
«Очередные задачи Советской власти» . . . . .	49	1.067	21
«Великий почин. О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников» . . . . .	53	2.061	22
«Задачи союзов молодежи» . . . . .	298	12.020	61
«Маркс, Энгельс, марксизм» . . . . .	46	1.610	17
«Философские тетради» . . . . .	5	301	1

Массовое распространение имеют и работы о Ленине и ленинизме. Среди них первое место по праву занимает труд верного продолжателя дела Ленина великого вождя и учителя народов всего мира И. В. Сталина, — его книга «Вопросы ленинизма».

«Вопросы ленинизма» изданы 234 раза на 51 языке, общим тиражом в 16.719 тысяч экземпляров. Только 11-е издание «Вопросов ленинизма» вышло 96 раз на 45 языках, общим тиражом свыше 5 миллионов экземпляров.

Лекции И. В. Сталина «Об основах ленинизма» изданы 104 раза на 48 языках, тиражом в 2.673 тысячи экземпляров. Его книга «О Ленине», сжато излагающая учение Ленина и значение его великих идей, выходила в 204 изданиях. Общий тираж ее составляет 7.194 тысячи экземпляров. Она была переведена на 43 языка народов СССР и 18 иностранных языков.

Изучение наследия Ленина советские люди органически сочетают с изучением работ его великого ученика и соратника, продолжателя его дела товарища Сталина. Сочинения И. В. Сталина, издаваемые на многих языках народов в СССР и за рубежом, получили широчайшее распространение.

В мире нет такого уголка, куда бы не проникли произведения классиков марксизма-ленинизма, нет такого народа, на языке которого не были бы изданы великие творения гениальных мыслителей нашей эпохи. Идейное богатство, заключенное в Сочинениях В. И. Ленина и И. В. Сталина, неисчерпаемо. На идеях Ленина и Сталина, на их произведениях воспитались и воспитываются миллионы борцов за счастье всего человечества. Учение Ленина и Сталина освещает народам всего мира путь к победе коммунизма.

<sup>1</sup> Включая отдельные тома, переводы, переиздания.

<sup>2</sup> Включая это произведение в Сочинениях.



---

---

# КАЛЕВАЛА

МАРИЭТТА ШАГИНЯ

★

1  
Свыше ста лет назад по глухим деревушкам беломорской Карелии бродил страстный собиратель народных песен — «рун». И манерами, и одеждой он мало чем отличался от крестьян. Современники описывают его, как неуклюжего и добродушного человека в длинном сюртуке из грубого сукна, в дешевой крестьянской обуви, с багрово-красным, обветренным от постоянного пребывания на свежем воздухе, лицом. На портрете он — уже старик, весь в крупных натруженных морщинах, лучами расходящихся вокруг больших, прекрасных, полных доброты и сердечного простодушия глаз. Человек этот, доктор Элиас Лённрут, вышел из финской крестьянской семьи. Отец его, деревенский портной, был так беден, что мальчику приходилось и в пастухи наниматься и с сумою ходить по большим дорогам. Вспоминая детство, Лённрут говорит о себе:

Я учился только дома,  
За своим родным забором,  
Где ролимой прялка пела,  
Стружкой пел рубанок брата,  
Я ж, совсем еще ребенком,  
Бегал в рваной рубашонке.<sup>1</sup>

Но Лённрут учился не только дома. Отец, правда, хотел сделать из него та-

кого же, как сам он, деревенского портного, и будущий составитель карело-финского эпоса, Калевалы, навсегда запомнил уроки кройки, полученные им от отца. Частенько приходилось ему позднее, по просьбе крестьян, кроить им одежду, да и тот самый «грубый сюртук», о котором писали современники Лённрута, сшито был и сшит его собственными руками. Однако портным он не сделался. Ценою великого и упорного труда, сурового терпения и настойчивости Лённрут добился высшего образования, стал врачом, а позднее — одним из крупнейших филологов своей родины. Но глубокое знание крестьянского быта и характера, страстный интерес к народному творчеству зародились в нем, действительно, «за своим родным забором», в раннем детстве.

В сороковых годах прошлого столетия в Финляндии официальным языком в школе и в литературе был шведский. Но пробуждавшееся у передовых общественных деятелей национальное самосознание заставляло их прислушиваться к тому языку, которым говорил с древних времен народ, говорило карело-финское крестьянство. Еще с двадцатых годов издатель еженедельной газеты в финском городе Або, Рейнгольд Беккер, начал печатать в своем еженедельнике записи народных рун, певшихся крестьянами. Губернский врач, Захария Топелиус, также издал в 1822—1836 годах несколько записанных им рун. Финское студенчество и передовая часть интеллигенции с огромным интересом встре-

---

<sup>1</sup> Цитаты из «Калевалы» даются всюду в переводе Л. П. Бельского. Гослитиздат, 1949. Руна 50-я, стихи 605—610.

тили это обращение к народному творчеству. Беккер и Топелиус были предшественниками Лённрута, и не только потому, что они начали записывать народные руны. Едва коснувшись неисчерпаемых народных богатств, оба эти собирателя сумели подметить важные особенности и в деле собирания рун, и в деле их изучения.

Топелиус первый заметил, что искать руны надо на востоке, в российской Карелии, среди общительных, живых, веселых тружеников — карельских крестьян. Беккер первый высказал догадку, что древние руны — это разрозненные части первоначально единых циклов, связанных общностью тем и героев. И Элиасу Лённруту в его странствиях по глухим карельским деревушкам часто приходилось вспоминать эти два указания его предшественников.

Российская Карелия — древняя Олония, в самом имени которой для нас заложено множество волнующих исторических воспоминаний Петровской эпохи, — была, да и сейчас осталась, странюю исключительных поэтических народных дарований. Именно среди восточных карел, если не целиком зародились, то во всяком случае сохранились и выношены были, из поколения в поколение, чудные древние руны о стране богатыря Калевы, о приключениях его сыновей, о мудром старом песнопевце Вяйнямейнене, о молодом чудодеекузнеце Илмаринене, о веселом бабьем угоднике и неисправимом драчуне и забияке Лемминкяйнене, о злой старухе Лоухи, хозяйке северной страны Пóхтьёлы и матери красивых дочек, за которых сватались герои Калевалы, и о многом другом.

Вдохновенно-прекрасные, а в то же время удивительно точные картины северной природы; тонкий рисунок человеческих характеров, от маленькой девочки-служанки, «наймычки из деревни», до легкомысленной красавицы из богатого дома, Кюлики; от насмешливого запечного мальчишки, вставляющего свое острое словцо в свадебные причитания взрослых, до «верхнего старца», Укко, бога видимых небес, не чуждого обычных слабостей старческого возраста и выходящего на край неба «в чулочках синих» и «пестрых башмачках». Поистине потрясающие сцены разыгравшихся стихий: мрака, мороза, ветра; сцены открытия железа, начала сваривания железной руды в

железо и сталь, выковывания первых предметов труда; наконец — полная глубокого смысла центральная эпопея создания мельницы-самомолки, чудесного Сампо, приносящего народу благоденствие, — обо всем этом пели руны из века в век, преимущественно в Карелии, где их услышал и записал Элиас Лённрут. Совершив первое свое путешествие в 1828 году, он повторил его в 1831 году, выйдя на границу Карелии; затем продолжил в 1833 году уже в самой Карелии; и, наконец, увенчал в 1834 году наиболее удачным и плодотворным сбором рун в округе Вуоккиннеми тогдашней Архангельской губернии (ныне Калевальский район Карело-Финской ССР), где познакомился с восьмидесятилетним старцем Архимом Перттуненем, «патриархом певцов рун», спевшим для него много песен и рассказавшим ему, как дед его со своим другом рука об руку пели руны у коэтра все ночи напролет...

Как счастлив был Элиас Лённрут, слушая этого глубокого, но еще удивительно свежего старика, так отчетливо помнившего старые песни! Чем быстрее бегало его перо по бумаге, чем обильнее лился источник народного творчества от певца к певцу, тем явственнее проступали перед собирателем рун общие их черты и темы, словно бродил он между драгоценных обломков разбившегося, когда-то единого целого. И вот уже фантазия собирателя, живое воображение сына народа, делившегося со своим народом с детских лет его простую и тяжкую судьбу, начали само собой складывать и связывать эти обломки, составлять из них единую эпопею. Позднее, в предисловии к Калевале, он благодарно вспомнил своих предшественников:

«Должно признать, что без трудов Топелиуса и Беккера Калевала, может быть, никогда не была бы издана Кто бы мог, без указаний Топелиуса, догадаться, что собирать руны должно отправляться в карелам в Россию? Кто бы мог думать, что руны представляют в совокупности нечто целое, если бы Беккер не указал на это»<sup>1</sup>.

Лённрут не сразу опубликовал Калевалу. Он издал сперва, в 1835 году, всего 32

<sup>1</sup> «Калевала». Из предисловия Лённрута ко II изданию, стр. XXVI; см. также «Kalevala», Helsingissä, 1935, стр. IV.

руны (12078 стихов). То был еще несовершенный, как бы черновой, набросок будущего эпоса. Спустя 14 лет, он добавил еще 18 рун, изменил чередование отдельных рун и строф, и в таком виде (50 рун, 22 795 стихов) Калевала была им подписана к печати в феврале 1849 года. Она вышла в декабре того же года, и это сделалось событием не только для карело-финского народа: Калевала, как бессмертный памятник народного творчества, вошла в сокровищницу мировой литературы. Свежесть и своеобразие мира, открывшегося в Калевале, захватили читателей многих стран, где появились переводы карело-финского эпоса. Поэт Лонгфелло, как известно, под его влиянием написал свою «Песнь о Гайавате».

Огромное впечатление произвела Калевала и у нас в России. Передовая русская интеллигенция с сердечным сочувствием и вниманием следила за пробуждающимся в Финляндии интересом к языку и творчеству родного народа. Когда появилось первое издание Калевалы, русский ученый Я. К. Грот перевел из него несколько рун и в 1840 году напечатал их в «Современнике». Была сделана неудачная попытка перевести Калевалу языком русского былинного эпоса (Гельгрэн); в сокращенном изложении издал Калевалу по-русски Гранстрем. Знакомил русского читателя с карело-финским эпосом Ф. И. Буслаев. Но настоящее знакомство с Калевалой в России началось после того, как ученик Буслаева, филолог Л. П. Бельский перевел ее со второго издания Лённрута. Труд Л. П. Бельского был высоко оценен в свое время — ему была присуждена малая Пушкинская премия. Он вышел в конце восьмидесятых годов, а через 25 лет, значительно исправленный, был снова переиздан.<sup>1</sup> Несмотря на некоторые неточности и даже вольности, этот труд не потерял своего значения и теперь, а в свое время он сыграл огромную роль.

Для русских читателей 80-х и 90-х годов Калевала была не только увлекательным чтением, открывающим мир высокой поэзии и огромной художественной силы. Это был голос народа с пробуждающимся

национальным самосознанием, народа, искавшего в прошлом мост к будущему. Именно так прочитал в те годы Калевалу великий русский писатель Алексей Максимович Горький.

Трудно переоценить впечатление, полученное им от Калевалы. Горький не раз и не два упоминает о карело-финском эпосе на протяжении всей своей жизни. Он пишет о нем в 1908 году, сравнивая его с Илиадой:

«...индивидуальное творчество не создало ничего равного Илиаде или Калевале...» Он называет Калевалу в 1932 году «монументом словесного творчества»<sup>1</sup>. Он сравнивает ее в 1933 году с бессмертными созданиями античной греческой скульптуры:

«Грубый материал? Камень, даже если это мрамор, — тоже грубый материал, но древние греки создали из него образцы скульптуры, все еще не превзойденные по красоте и силе... Калевала, и весь вообще эпос создан тоже на грубом материале»<sup>2</sup>.

Почти одновременно с великим русским писателем, лишь на три-четыре года раньше первого высказывания его о Калевале, заложил совершенно правильные научные основы понимания Калевалы и русский ученый, тогда еще совсем молодой, а ныне — действительный член Академии наук СССР, В. А. Гордлевский. Написанная 45 лет назад работа его о Лённруте, небольшая, но глубокая по мысли своей, отражающая настроения передовой части русской интеллигенции того времени, не устарела и сейчас. Больше того, она как бы отвечает сейчас на недостойные ухищрения современной буржуазной финской науки, пытающейся с фашистских позиций извратить и разрушить дело Лённрута. С непостижимым упорством защищают некоторые буржуазные финские ученые всяческие теории, искаженно трактующие бессмертный карело-финский эпос. Подновлены и вытасканы на сцену старые споры о том, народ ли «сочинил» Калевалу или ее «выдумал» сам Лённрут. Подновлены и яростно защищаются старые

<sup>1</sup> Журнал «Наступление» № 2, стр. 1, Ленинград, 1932.

<sup>2</sup> Альманах «Год шестнадцатый». Заметки. Москва, 1933.

<sup>1</sup> «Калевала». Издание М. и С. Сабашниковых. Москва, 1915.

взгляды академика В. Ф. Миллера<sup>1</sup> и В. А. Келтуялы<sup>2</sup>, фашистская концепция о фольклоре немца Ханса Наумана<sup>3</sup>, опубликованная в 20-х годах нашего века, где эпос провозглашается созданием «аристократической феодальной верхушки», откуда он позднее «спускается» в крестьянскую среду и там «регрессирует».

До чего сильна была еще в прошлом эта мышинная возня буржуазной науки, оторвавшейся от народа и всеми силами стремившейся подгрызть драгоценные корни эпической поэзии, питающиеся неослабным вдохновением трудового народа, наглядно можно увидеть из предисловия самого Л. П. Бельского ко второму изданию Калевалы. Если в первом предисловии, в конце 80-х годов, он еще весь во власти открытого Лённрутом бессмертного источника народной поэзии карело-финнов, если он захвачен могучей

<sup>1</sup> Вот что утверждал, например, о русском былинном эпосе В. Ф. Миллер и что с его легкой руки долгое время бытовало даже в учебниках наших средних школ:

«Слагались песни княжескими и дружинными певцами... Воспевая князей и дружинников, эта поэзия носила аристократический характер... Если эти песни, княжеские и дружинные, доходили до землевладельцев, смердов и рабов, то могли только исказиться в этой темной среде, подобно тому, как искажаются в олонецком и архангельском простонародье современные былины...». Слова эти были написаны Миллером в 1913 году, а изданы уже после его смерти в книге «Очерки русской народной словесности», том III, Москва, 1924, стр. 27—28.

<sup>2</sup> В. А. Келтуяла утверждает, что «все роды и виды устного творчества зародились не в народной массе, а в ее верхах». В. А. Келтуяла. «Курс истории русской литературы». Часть 1, книга 2, стр. VIII. Москва, 1911.

<sup>3</sup> Немецкий фашистский ученый Ханс Науман — автор учения о том, что фольклор—это «сниженная культура», то есть, говоря проще, «высокая поэзия» господствующих эксплуататорских классов, пришедшая в упадок и «вульгаризировавшаяся», «опустившись» в «невежественную крестьянскую среду». Две его книги, излагающие эту концепцию, были изданы в Германии в 1921 и 1922 годах.

народной стихией самого эпоса, над переводом которого потрудились, то уже спустя 25 лет, в 1915 году, не чувствуя антинародного смысла происходящего, Л. П. Бельский рассказывает о том, как «потрудились» за истекшие годы финские буржуазные филологи над бессмертным наследием Элиаса Лённрута:

«Все эти труды, выясняя состав финской эпопеи, разрушили взгляд на нее, как на цельное произведение финского народа... Лённрут связал органически несвязуемое, прибегая к очень наивному способу... Таким образом, по позднейшим исследованиям ясно, что цельной эпопеей Калевалы у финского народа не существует»<sup>1</sup>.

В настоящее время все эти взгляды открыто сделались политическим оружием в руках фашиствующих ученых Финляндии. Стремясь во что бы то ни стало оторвать Калевалу от крестьянской народной массы, эти ученые упорно ищут в ней порождение феодального замка, детище придворных певцов, якобы пропитанное католицизмом, — утверждения, кажущиеся любому внимательному читателю Калевалы бредом сумасшедшего, так далеки эти ученые от могучего духа карело-финской эпопеи, от картин неустанный, тяжелого труда на земле, борьбы со стихиями природы и творческого одоления их.

И вот, словно в ответ на все эти утверждения, трезво звучит слово крупного русского ученого, сказанное им почти полвека назад. Я приведу длинную цитату из упомянутой мною выше работы В. А. Гордлевского, потому что она — словно на свежий морозный воздух выходишь — сразу вносит ясность в вопрос о Калевале.

«Что такое Калевала?» — спрашивает В. А. Гордлевский, отмечая шумные споры ученых, о которых он в 1903 году пишет, что они продолжают «еще до сих пор», как и мы можем сейчас, в середине XX века, воскликнуть, что эти споры еще продолжают и до сих пор (!): «Представляет ли она народную поэму, созданную, под пером Лённрута, в духе народных певцов, или это искусственная амальгама, слепленная самим Лённрутом из разных обрывков?.. Для большей наглядности я напомним метод Лённрута...

<sup>1</sup> «Калевала», стр. IX—X.



В то время, как он был занят Калевалой, у него в Каяне был А. Альквист, сохранивший о нем любопытные воспоминания. Как рассказывает А. Альквист, у Лённрута на особом листе бумаги был обзор «старой Калевалы». Разбирая огромный песенный материал, собранный им и его учениками, он сверялся с печатным изданием и выписывал на его полях те стихи, которые так или иначе дополняли или развивали ход действия.

При этом Лённрут, постигший эволюцию в устах народных певцов, народного творчества, соединял, как умел, варианты одной песни, подчас измышляя самую нить рассказа. Он даже выправлял старинный язык рун, чтоб пустить Калевалу в обиход умственной жизни широких слоев общества... Лённрут бережно сохранил все свои рукописи, и не так давно доцент А. Ниemi произвел кропотливое исследование, которое обнаружило, что огромное большинство стихов (по крайней мере 94%) вышли из уст народа. Может быть, греческий эпос соиздался так же... Чтоб избежать упреков в пристрастности к тому или другому мнению, я укажу, что Калевала может быть названа народным эпосом в таком же смысле, как Илиада и Одиссея. В своей основе Калевала — народное произведение, запечатленное демократическим духом... Западное финское наречие, на которое в XVI столетии епископ Агрикола перевел Библию, потускнело от общения с шведским языком, оно утратило, одним словом, силу и гибкость восточного карельского наречия. Калевала, народная поэма, собранная, главным образом, в русской Карелии, так ярко выделялась своей звучностью от сухого церковного языка, что у ее друзей возникла мысль избрать в светской литературе карельское наречие. Между приверженцами западного и восточного наречий возгорелся спор, который мог расколоть финский литературный язык на два различных диалекта. Разгадав тайники народного языка во всем его диалектическом разнообразии, Лённрут предотвратил распадение, искусно вводя меткие слова и формы из необъятного запаса, хранящегося в народе. От него идет современный финский язык, достигающий

под пером Юхани Ахо художественной виртуозности»<sup>1</sup>.

Итак, Калевала — народный карело-финский эпос, собранный в русской Карелии, скомпонованный и как бы воссозданный Элиасом Лённрутом, демократический в своей основе, подобный Илиаде и Одиссее по характеру своего возникновения и помогший народам Карелии и Финляндии, благодаря неисчерпаемому богатству и свежести речи своей и при помощи мудрых усилий сына народа — Лённрута, выработать современный финский литературный язык.

Следуя за указаниями гениального русского писателя А. М. Горького и честного русского ученого В. А. Гордлевского, обратимся теперь к страницам самой Калевалы.

## 2

Перед нами разворачивается необычайный мир, полный первобытной прелести. Он раскрыт на все четыре стороны земли. Северная его точка — мрачная страна Пóхъёла, где еще свежи черты древнего матриархата, материнского права; там царствует злая старуха Лоухи, хозяйка Пóхъёлы. Неподалеку от нее, под землей или под водой, лежит страшное царство мертвых, царство Ту́бни — Ту́бела, в черных реках которого люди находят свою смерть. Это — первобытное представление о «том свете», об аде. Южная точка этих северных пространств — светлая страна Калевы — Калевала, где живут герои эпоса, «старый верный Вяйнямёйнен, вековечный песнопевец», кузнец Илмаринен, весельчак Лемминкяйнен. Где-то, по многочисленным озерам-морям, лежат острова Саари, и на одном из них еще сохранился древнейший обычай родового строя, свободная любовь. Тут же в чашобах могучих скал и лесов, среди водопадов и рек, живет род Унтамо, уничтоживший в братоубийственной войне род своего брата Калерво (чудесные руны о сыне Калерво, юноше Куллерво, проданном в рабство, и о его мести)... Все это — север, но как разнообразен этот север! Казалось бы, между Пóхъёлой и Калевалой не может быть

<sup>1</sup> В. А. Гордлевский. Памяти Элиаса Лённрута. Москва, 1903, стр. 22—23 и 26. (Разрядка везде моя. — М. Ш.).

географически очень большой разницы: тот же скудный растительный мир, тот же суровый северный климат. Но народные певцы находят целую гамму красок для оттенения разницы между ними.

Пóхъя́ла и ее жители описываются так, что до вас как бы доносится ледяное дыхание полюса:

Снегу в Похъя́ле не мало,  
Льду в деревне той обиле;  
Снега реки, льда озера,  
Там застыл морозный воздух,  
Зайцы снежные там скачут,  
Ледяные там медведи  
На вершинах снежных ходят,  
По горам из снега бродят.  
Там и лебеди из снега,  
Ледяных там много уток,  
В снеговом живут потоке,  
У порога ледяного.

Ты, Лапландии питомец,  
Длинный муж земли туманной!  
Вышиной с сосну ты будешь,  
Будешь с ель величиною,  
У тебя из снега обувь,  
Снеговые рукавицы;  
Носишь ты из снега шапку,  
Снеговой на чреслах пояс.

Из Лапландии девица!  
В лед и в иней ты обута,  
В замороженной одежде,  
Носишь с инеем котел ты,  
С ледяной холодной ложкой.<sup>1</sup>

Но стоит только передвинуться от Пóхъя́лы в сторону Калевалы, как эта ледяная корка земли раскалывается. Шумные реки и водопады, озера, полные окуней и лещей, сигов и шук, веселые острова на озерах, покрытые зелеными рошами, и, наконец, самый лес с его непроходимыми топями и болотами, лес, где светятся гнилушки в старых пнях, где скачет искра, упавшая с неба, зажигая бушующие пожары, где

...росла сосна в дубаве,  
Елка там была на горке,  
Серебро — в ветвах сосновых.  
Золото — в ветвах у елки.<sup>2</sup>

И где хозяин леса—добродушный, сговорчивый Та́пио, а хозяйка леса — ласковая Мье́ликки, сама словно пахнущая земляничкой и медом. И вместо снежных мед-

ведей Пóхъя́лы, здесь скачет уже совсем другой мишка, вожделенный предмет охоты, а в то же время любимый, уважаемый зверь, носящий явные следы тотемизма, родового культа, нежно называемый:

Отсо, яблочко лесное, —  
Красота с медовой лапой.<sup>1</sup>

Хозяйка леса отправляет своего пушистого любимца на лесную, сладкую жизнь:

Чтоб бежал он на болота,  
Чтобы бегал по дубравам,  
Чтоб бродил опушкой леса,  
Чтобы прыгал по полянам.  
Но итти велит пристойно,  
На бегу — блюсти порядок,  
Жить в веселье неусыпном,  
Золотые дни лелея,  
На полях и на болотах,  
На полянках, полных жизни,  
Башмаков не зная летом,  
И чулок не зная в осень.  
Отдыхая в непогоду,  
Укрываясь зимою  
Под навесом из черемух,  
Возле крепости иглистой,  
У корней прекрасной елки,  
В можжевельника объятях...<sup>2</sup>

Но когда этот любимец леса — Отсо с медовой лапой, пондобился сынам Калевы, добрая Мье́ликки сама отдает его им. И охота на медведя описана в рунах так удивительно любовно, с таким теплым ощущением благоволения природы к человеку и уважения к убитому зверю, что читатель не сразу даже и понимает, идет ли речь о торжественном приводе живого мишки в гости к людям на свадьбу, или о доставке в избу его мертвой мохнатой туши.

Лес для героев Калевалы не только и не просто лес. В нем заключено их будущее. Лес — это земля для посева, хлеб народа. Кроме лесных чащоб да болот, здесь нет клочка земли, годного в обработку. Прimitивное подсечное земледелие, когда подсекают, валют и сжигают лес, чтоб отвоевать у него пашню, заставляет жителя Калевы тяжело трудиться и остро чувствовать важность леса. Ароматным запахом дерев полна сорок четвертая руна, где рассказывается, как Вя́йнямёйнен, потерявший свой музыкальный инструмент,

<sup>1</sup> «Калевала», руна 48-я, стихи 335—346 и др.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 46-я, стихи 429—432.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 46-я, стихи 63—64.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 46-я, стихи 439—456.

кантеле, который он сделал из щучьих костей, решает изготовить новое кантеле уже из дерева и ведет беседу с березой. Светлозеленое с белым станом, кружевное дерево Карелии, березка, так и вошедшая в ботанику под названием карельской, жалуется на свою судьбу. Вяйнямейнен спрашивает ее:

Что, краса береза, плачешь,  
Что, зеленая, горюешь?  
Не ведут тебя на битву  
И к войне не принуждают!

Береза отвечает ему:

Может, многие насажат,  
Может, кто и насудачит,  
Будто весело живу я,  
Шелестя, смеюсь листвою...  
Я же, слабая береза,  
И должна терпеть, бедняжка,  
Чтоб с меня кору снимали,  
Эти ветки обрубали.  
Часто к беднейшей березе,  
К этой нежной очень часто  
Дети кратко весною  
К белому стволу подходят,  
Острый нож в него вонзают,  
Пьют из сердца сладкий сок мой.  
Злой пастух в течение лета  
Белый пояс мой снимает,  
И ножны плетет, и чаши,  
Кузовки плетет для ягод...  
Вкруг ствола девицы ходят,  
Листья сверху обрезают,  
Вяжут веники из веток...  
Часто тонкую березку  
При подсечке подсекают,  
На поленья расщепляют.  
Вот уж трижды в это лето,  
В эту солнечную пору  
У ствола мужи стояли,  
Топоры свои точили...<sup>1</sup>

Вяйнямейнен тоже срубает ее, но он делает из нее кантеле, и береза получает бессмертный голос. Это вторая его встреча с березой в поэме. В самом начале эпоса Вяйнямейнен беспокоился о своем поле:

Не расчищено там поле,  
Там не срублен лес под пашню,  
Хорошо огнем не выжжен.<sup>2</sup>

Он наточил хорошо топор и вырубил лес, но пощадил при этом березку:

Посрубил он все деревья;  
Лишь березу он оставил,  
Чтоб кукушка куковала...<sup>1</sup>

Не только лес превращается в пашню, но и самый посев зерна связан с памятью о лесе, о лесном звере, ведь драгоценные посевные семена хранятся у сеятеля в мешочках из лесных шкур, добытых охотой:

Старый верный Вяйнямейнен  
Все шесть зерен вынимает,  
Семь семян берет рукою, —  
Взял из куньего мешочка,  
Взял из лапки белки желтой,  
Летней шкурки горностаю.<sup>2</sup>

Читатель, может быть, обратит внимание на странную арифметику Калевалы: Вяйнямейнен в одном стихе говорит о шести зернах, а в следующем стихе зерен оказывается уже семь. Переводчик Калевалы Л. Бельский, встречая такие параллельные строки в эпосе (а их там множество!), много потрудился, стараясь передать читателю в точности эти на первый взгляд непонятные расхождения. Он их назвал «синонимами», отнеся к синонимам все параллельные двуступища, очень часто встречающиеся как раз в древнейших рунах. Кое-где, стремясь соблюсти размер, он делает их перестановку, как сам оговаривается перед читателем; при этом он не подозревает, что, ревниво блюдя размер и принимая такие места за простые синонимы, он не доносит до читателя их глубокого смысла.

Впервые на значение таких «несовпадающих параллелей», то есть разных высказываний об одном и том же предмете, обратил у нас внимание превосходный знаток и исследователь Калевалы О. В. Куусинен.

Он указал на то, что здесь перед нами вовсе не синонимы, а прием древнейшего, первобытного мышления человеческого, еще не умеющего обобщить накапливаемый опыт в едином понятии или образе, но в то же время стремящегося выразить свое представление о предмете не на основе одного его признака, а на основе «движущегося» рассматривания предмета

<sup>1</sup> «Калевала», руна 2-я, стихи 261, 262, 264.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 2-я, стихи 84—139 с пропусками.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 44-я.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 2-я, стихи 254—256.

с двух сторон, на основе накапливания суммы его признаков. Если первый стих у древнего певца говорит о шести зернах, а второй о семи, то второй вовсе не «дублирует» первый, «нечаянно» давая неточную цифру. Оба стиха должны выразить многочисленность зерен, и характеризуя их по счету (по мере начисления) «шесть, семь», поэт хочет дать представление о множестве. Кроме цифровых «несовпадающих параллелей», в Калевале есть и несовпадения, иногда противоречия в эпитетах, замены подлежащих, замены глаголов — все это первобытный способ характеристики с двух сторон, с разных точек, открывающий в предмете его действительные, разнообразные свойства. Он присущ, кстати сказать, и детскому мышлению. У Льва Николаевича Толстого есть примечательное место в «Детстве и отрочестве». Описывая происшедшую с ним резкую «моральную перемену», он добавляет: «Как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной еще стороной»<sup>1</sup>.

Иногда такие «параллелизмы» раскрывают свой смысл при помощи образа движения. В руне пятой есть прелестное место, где погибшая девушка Айно, превратившаяся в рыбку, уплывает от своего преследователя, Вяйнямйнена:

Подняла из волн головку,  
Правым боком показалась.  
На волне морской, на пятой,  
При шестом станке у сети.  
Правой ручкой потянулась  
И сверкнула ледей ножкой  
На седьмой полоске моря,  
На валу зыбей девятом.<sup>2</sup>

Пусть читатель представит себе это перечисление цифр: на пятой волне, у шестого станка рыбацкой сети, на седьмой полоске моря, на девятом гребне волны. Что это, как не чудесное, высокохудожественное изображение уплывания рыбки все дальше, дальше от кормы лодки, где сидит ее похититель? Вы как бы чувствуете волнообразный перенос с одной волны на другую удивительной рыбки-русалочки. А певец прибавляет еще и другой, пол-

ный движения образ, правда, не выраженный в прямом счете, но все же подразумевающий «первое», «второе»:

Правой ручкой потянулась  
И сверкнула левой ножкой, —

образ последовательного движения рукою и ногою при плавании. И так осязаемо, так ярко и точно уходит от вас чудесная русалочка Велламо в этом совершенном по лаконизму и выразительности поэтическом отрывке!

В живом чувстве природы, с каким раскрывается перед нами земля Калевы, есть одно постоянное слагаемое: природа воспринимается и изображается певцом не сама по себе, не изолированно, а постоянно, как место труда и работы человека, борьбы и преодоления. Чувство природы связано в Калевале с чувством хозяйничанья, работы на земле.

Лес, как мы видели, это отец древнего землешества; и деревья, и звери его вносят свою долю и свой голос в труд человека. Но лес — с его молчаливыми топами и непроходимыми болотами, с его проточными водами и мшистыми гранитными скалами — отец не только древнего землешества, но и первой человеческой промышленности. Во-первых, охоты, — когда мясо зверя образует «пищевую промышленность», а звериные и рыбьи кости идут на изделия, шкура — на одежду, жилы — на веревки. Во-вторых, использования самого дерева, начиная от первобытной гнилушки, источника огня, кончая тонким инструментом кантеле, созданным из карельской березы. Дерево идет и на постройку главного средства сообщения в родовом обществе — лодки. В девственных чащах Карелии, где озеро переключается с озером, протоки связывают озера друг с другом, а там, где нет воды, человек протаскивает лодку до следующего озера волоком, в этих чащах постройка судна — важнейшее дело. Когда Илмаринен говорит Вяйнямйнену, задумавшему строить корабль: «Путь по суше безопасней», старый певец отвечает:

Путь по суше безопасней,  
Безопасней, но тяжеле,  
Он извилистей и дальше.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Юбилейное издание, т. II, стр. 15. Цитирую по книге Н. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого». «Московский рабочий», 1948, стр. 8.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 5-я, стихи 90—96.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 39-я, стихи 42—44.

Когда лодка построена, Илмаринен сам уселся грести, — и лодка, изделие человеческое, заговорила с людьми, со стихиями воды и ветра знакомыми голосами леса, заражая путешественников все тем же слитным, могучим, единым в многообразии чувством природы, каким дышала речь березы под руками мастера и музыканта Вяйнямйнена, с каким прошел медведь, «красота с медовой лапой», из жизни в смерть под ножом охотника. Это место — одно из поэтичнейших в поэме, и перевод его удался Л. Бельскому:

Побежал челнок дощатый,  
И дорога убывает.  
Лишь звучат удары весел,  
Визг уключин раздается.  
Он гребет с ужасным шумом,  
И качаются скамейки,  
Стонут весла из рябины,  
Ручки их, как куропатки,  
Их лопатки, как тетерки,  
Носом челн трубит, как лебедь.  
А кормой кричит, как ворон,  
И уключины гогочут.<sup>1</sup>

Но в лесу, в болотах, кроме охоты и древесных богатств, человек находит еще и железную руду. Калевала рассказывает об одном из важнейших переворотов, пережитых человечеством, о переходе из бронзового века в железный, об овладении железом, наукой плавки руды. Каждому, кто проедет сейчас по лесам Карелии, непременно попадутся старинные металлургические заводи, остатки кирпичных стен и ям, с почерневшим вокруг, ушедшим от пожаров, лесом. В Карелии много магнитного шлиха на дне озер, который здесь успешно плавил еще во времена Петра. Но и за тысячу лет до Петра, в эпоху распада родового строя, население знало о железе, знало о власти над ним, и певцы Калевалы поют об этом.

В замечательной девятой руне рассказывается о происхождении железа и стали из кроткого женского молока, истекшего на землю. Железо, младший брат огня, захотело познакомиться со своим старшим братом, но испугавшись его шумной ярости, бежало от него под землю:

И бежит оно далеко,  
Для себя защиты ищет,  
В колыхающихся тосях,

И в потоках быстротечных,  
На хребте болот обширных,  
И в обрывах нор высоких,  
Где несут лебедки яйца,  
Где сидят на яйцах гуси.  
И в болоте, под водою,  
Распростерлося железо...<sup>1</sup>

Не надолго спаслось оно от огня. Когда подрост Илмаринен, он построил себе кузницу возле болота и пошел по следам волчьим и медвежьим. Видит — на этих следах «отпрыски железа» и «прутья стали».

Он подумал и размыслил:  
«А что будет, если брошу  
Я в огонь железо это,  
Положу его в горнило?»<sup>2</sup>

Старший брат железа — ранее открытый человеком огонь и еще не совсем укрощенный (в Калевале рассказывается, как в борьбе с лесным пожаром, происшедшим от молнии, человек нашел и принес искру огня себе в дом, на бытовые нужды), — этот «старший брат» стал в своем роде пробным камнем, средой для эксперимента, когда человек оказался перед новым открытием — железной рудой, проступившей необычными пятнами под глубокими следами лесных зверей. Земля уже обжигалась на огне, глина служила человеку, — а что будет в огне с этой странной землей? И дальше в Калевале идут поистине бессмертные стихи, равные по силе лучшим страницам Гомера. Они проникнуты глубокой человечностью. Они заставляют задуматься о многом, о самом современном, хотя это — древние стихи, сложенные древним человеком, еще ребенком, на заре человеческой культуры.

Открытие железа — огромное событие в истории человечества.

С железом — рука первобытного человека неизмеримо удлинилась, он стал глубже хватать землю (железный плуг), он стал далеко закидывать свои стрелы, он подковал коня, скрепил гвоздем доски, получил первого механического помощника в труде. Вся технология, основанная на камне, на выдалбливании ствола, на округлых формах дерева — сменилась новой, бесконечно более свободной. И человек выковал острый, разящий меч.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 9-я, стихи 79—88.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 9-я, стихи 135—138.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 39-я, стихи 313—324.

Войдем под сень дремучего, сказочного леса, в закопченную кузню первого кузнеца Илмаринена, оказавшегося перед лицом величайшего, эпохального открытия, нового фактора культуры. Как он повел себя с железом? И как повел себя народ, безыменный составитель рун, в своих песнях поведав нам об открытии железа?

Расплавившись в горниле, железо стало просить Илмаринена выпустить его из горна. Но кузнец ответил железу:

Коль теперь отсюда выйдешь,  
Будешь ты для всех ужасно,  
Станешь диким, беспощадным,  
Своего порежешь брата,  
Сына матери поранишь.<sup>1</sup>

И железо дает страшную клятву Илмаринену, что не будет служить братоубийству, не будет резать человеческое мясо, когда есть для резания и дерево, и камень:

Есть деревья для пореза,  
Можно сердце рвать у камня,  
Сына матери не трону...  
Послужу ручным орудьем.<sup>2</sup>

Тогда Илмаринен берет покорное железо из горна на наковальню и начинает его ковать. Но железо еще несовершенно, и, добавляя ему щелоку и разных снадобий, кузнец решил влить в него и еще один крепчайший, благородный рабочий состав:

От земли пчела летела,  
Синекрылая из травки...  
И кузнец промовил слово:  
«Пчелка, быстрый человек!  
Принеси медку на крыльях,  
Языком достань ты сладость  
Из шести цветочных чашек,  
Из семи верхушек травных,  
Чтобы сталь мне изготовить,  
Чтобы выправить железо!»<sup>3</sup>

Но слова Илмаринена услышал слуга злого бога Хийси — шершень. Перегнав пчелу, он принес кузнецу на крыльях вместо меда—яд ехидны, шипенье змей, скрытый яд лягушки — и все это бросил в горнило. Илмаринен обманут. Он принял злого шершня за «пчелку, быстрого чело-вечка» — как всюду в рунах ласково именуется эта маленькая крылатая труженица. В горниле сварился братоубийственный сплав:

Вышла сталь оттуда алою,  
Злобным сделалось железу  
И нарушило присягу,  
Как собака, съело клятвы;  
Вез пошады режет брата  
И родных с ужасной злобой,  
Заставляет кровь сочиться  
И бежать из раны с шумом.<sup>1</sup>

Здесь так образно, с наивным простодушием сказки рассказывается противоречие между мирным назначением железа и его разрушающей силой; и здесь разнудывание этой силы приписывается обманному вмешательству духа зла.

Рассказ о происхождении железа приведен в руне с особою целью. Дело в том, что «вещий, верный Вяйнямейнен», желая добыть себе в жены дочь Пóхтёлы, взялся сделать по ее просьбе лодку. Но когда он вырубал ее топором, бог зла Хийси (он же Лемпе) направил этот топор против Вяйнямейнена и нанес ему глубокие раны. Кровь течет из певца. Крови вытекло уже несколько лодок. Надо заклясть кровь. И Вяйнямейнен начал заклинанья. Но вот беда — все слова он помнит, а слово, заклинающее железо, он забыл. Вяйнямейнен идет за помощью к хозяину «верхнего строения», богу видимых небес, старому Укко. Он просит его заклясть кровь. Укко охотно заклянет ее, ведь творческие слова всеильны:

И не то еще заляли,  
И не то остановили  
Три мстучих наших слова —  
Повесть о вещи начале;  
Ими сделаны озера,  
Реки, бурные потоки,  
Также бухты у мысочков,  
И заливы за косою.<sup>2</sup>

Однако и сам старый бог, Укко, оказывается бессильным, потому что он позабыл то, что необходимо знать для нахождения заклинательного слова — позабыл историю происхождения железа и стали. Выше я подчеркнула в цитате из Калевалы стих «повесть о вещи начале». Секрет заклинанья, то есть секрет власти над вещью, по древнему представлению творцов эпоса, заключается в знании истории происхождения этой вещи. Чтоб заклясть железо, надо узнать, как оно произошло; чтоб заклясть мороз, начавший пребольно

<sup>1</sup> «Калевала», руна 9-я, стихи 172—176.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 9-я, стихи 183—186.

<sup>3</sup> «Калевала», руна 9-я, стихи 219—236.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 9-я, стихи 259—266.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 8-я, стихи 277—282.

шипать Лемминкяйнена в пути, Лемминкяйнен говорит морозу:

Иль сказать твое начало,  
Объявить происхождение.<sup>1</sup>

И начинает заклинать его, повествуя о происхождении мороза. Когда дочь Калевы сварила пиво и оно вытекло из кадушки, краснохвостый дрозд в назидание ей начинает петь на дереве историю пива. Также и Лоухи:

Лоухи, Похъёлы хозяйка,  
Услыхав начало пива,  
Собрала воды в кадушку,  
Налила до половины,  
Ячменя туда наклала,  
И головок много хмеля,  
Начала готовить пиво  
И размешивать кругами  
Там, на новом дне сосуда,  
В той березовой кадушке.<sup>2</sup>

Начало железа, начало мороза, начало пива — и еще много разных начал — открывают людям власть над этими предметами, — вот откуда культ магического слова, да и сама эта магия слова. История вещи — кратчайший путь к ее познанию; познание вещи — кратчайший путь к власти над ней. Но история закрепляется в слове, без слов ее невозможно передать, слова — это закреплённый опыт, закреплённое знание, слова, еще не оторванные от дела, еще теплые, живые от родившего их факта. Можно без конца философствовать на тему об этом наивном первоначальном материализме в первобытном мышлении народа, но дело совсем не в отвлеченных выводах и построениях, как бы ни были они соблазнительны, а дело в живом, творческом ощущении нами народного искусства, в получении нами через сотни лет реального и мудрого человеческого опыта народа, заключенного в сказочной, волшебной, но так легко постигаемой, такой пленительно-прекрасной оболочке. Народ как бы говорит через сказку: каждая вещь делалась не сразу; узнай, как делалась людьми эта вещь — и твое знание прошлого станет мостом в будущее, поможет тебе управлять этой вещью в настоящем.

Множество раз цитировались слова Владимира Ильича о фольклоре. Бонч-Бруевич

рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды Владимир Ильич, взяв у него сборник былин, песен и сказок, заметил: «Какой интересный материал. Я бегло просмотрел вот эти книги, но вижу, что нехватает, очевидно, рук или желания все это обобщить, все это просмотреть под социально-политическим углом зрения, ведь на этом материале можно было бы написать прекрасное исследование о чаяниях и ожиданиях народных... Вот на что нам нужно обратить внимание наших историков литературы. Это подлинное народное творчество, также нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни»<sup>1</sup>. В наши дни — вот что нельзя забывать; в наши дни должен жить и поучать, нашим дням служит опыт тысячелетий, а для этого надо иметь ключ к нему. И глубоко волнует современника ядро Калевалы, рассказ о Сампо, в котором как бы дается этот ключ, синтезируются все живые черты народной психологии, все горячие чаяния и ожидания народные.

Что же такое Сампо? Пытаясь расшифровать это слово, хотя бы в звуковой его ассоциации, Лённрут думал, что оно могло сложиться из русского «сам бог». Выражение это могло указать на самопроизвольное могущество изобретенной впервые машины.

Сыны Калевалы упорно сватали красивых, но злых дочерей Лоухи, хозяйки Похъёлы. И вот Лоухи объявила, что отдаст дочь тому, кто выкует для нее волшебную мельницу-само молку — Сампо, иначе «пеструю крышку». Лоухи сделала свой заказ совершенно точно и приложила к нему рецепт его изготовления:

Можешь ты сковать мне Сампо,  
Крышку пеструю устроить,  
Взяв конец пера лебедки,  
Молока коров нетельных,  
Вместе с шерстью от овечки,  
И с зерном ячменным вместе?<sup>2</sup>

Рецепт этот повторяется в поэме не один раз и явно носит не случайный характер. Разобрав его, видим, что Лоухи упоминает о четырех основных видах тогдашнего хозяйства. Перо лебедки означа-

<sup>1</sup> Литературная энциклопедия, т. XI, стр. 787. Статья «Фольклор».

<sup>2</sup> «Калевала», руна 7-я, стихи 311—316.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 30-я.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 20-я, стихи 435—444.

ет охоту; молоко коровы и шерсть овцы — два вида животноводства; зерно ячменя — земледелие. И кузнец должен эти символы лесного и сельского хозяйства положить на наковальню, сковать из них чудесную машину, то есть соединить с понятием железа, с понятием механизма. Если все описания природы в Калевале, описания леса, болот и утесов предстают перед читателем связанными с хозяйством, с ручным трудом человека, то здесь, в образе Сампо, ручной труд и хозяйство предстают уже связанными с металлом, с наковальней и горнилом кузницы, с первой машиной. Лоухи стремятся получить Сампо не для забавы, оно нужно ей для поднятия благоденствия Похъёлы, для облегчения труда, для накопления богатства. И как бы для того, чтоб показать читателю (слушателю) нелегкий труд изготовления такой волшебной машины, руна подробно рассказывает о ходе работы кузнеца Илмаринена над нею. Приготовив все что нужно, кузнец со своими рабами (которые в параллельных стихах называются одновременно и «поденщиками», работающими за поденную плату) становится у горнила:

И мехи рабы качают,  
Раздувают сильно угли,  
Так три дня проводят летних  
И без отдыха три ночи;  
Наросли на пятках камни,  
Наросли комки на пальцах.<sup>1</sup>

Нагнувшись к огню, Илмаринен стал смотреть, что получилось. И тут из пламени вышел лук для стрел. Он был чудесен на вид, «с золотым сияньем лунным», но «имел дурное свойство»:

Каждый день просил он жертвы,  
А по праздникам и вдвое.<sup>2</sup>

Кузнец Илмаринен не обрадовался делу своих рук. Он сломал его, бросил назад в пламя и велел рабам снова поддуть. Опять они трудятся изо всех сил, и во второй раз нагибается кузнец к горнилу. Теперь оттула вышла лодка, прекрасная с виду: с золотым бортом, с медными уключинами. Но прекрасная лодка имела крупный порок:

Был челнок прекрасен с виду,  
Но имел дурное свойство:  
Сам собою шел в сраженье,  
Биться шел без приказанья.<sup>1</sup>

Кузнец Илмаринен не обрадовался делу своих рук, он изломал челнок в щепки и бросил его обратно в пламя.

Опять поддувают и стараются рабы, опять, в третий раз, смотрит кузнец: из пламени выходит корова. Все как будто хорошо, корова красива с виду:

Но у ней дурное свойство:  
Спит среди леса постоянно,  
Молоко пускает в землю.<sup>2</sup>

Снова изломал кузнец свое детище. В четвертый раз появляется уже плуг, но он несовершенен, он забирается на чужие земли, бороздит чужой выгон. Кузнец сломал и его.

В этих образах лука, лодки, коровы и плуга с «дурными свойствами» народный гений показывает еще не полное подчинение вещи своему творцу, тяготение орудий к старому, привычному, примитивному образу действий, к старым, прежним формам хозяйства, к войне, как к грабежу, к произвольным завоеваниям, к посягательству на чужое добро, к некультурному животноводству (ленивая корова, пускающая молоко в землю). А Лоухи хочет именно Сампо, хочет машину, которая поднимет ее хозяйство.

И, наконец, в пятый раз Илмаринен выковывает мельницу-самомолку, чудесную Сампо, которая сразу делает три больших дела:

Мелет меру на рассвете,  
Мелет меру на потребу,  
А другую для продажи,  
Третью меру для пирушки.<sup>3</sup>

Сампо—это, по представлениям народа-крестьянина, — орудие мирного труда, приносящее зажиточность: оно дает пищу, вырабатывает излишек и создает запас.

Но Сампо приносит с собою, вместе с зажиточностью, и культуру. На воцрпе Вяйнямейнена, что делается в Пõхъёле, Илмаринен, обманутый и высмеянный людьми Севера, горько отвечает:

<sup>1</sup> «Калевала», руна 10-я, стихи 313—318.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 10-я, стихи 331—332.

<sup>1</sup> «Калевала», руна 10-я, стихи 347—350.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 10-я, стихи 366—368.

<sup>3</sup> «Калевала», руна 10-я, стихи 419—422.



Сладко в Похъэле живется,  
Если в Похъэле есть Сампо!  
Там и пашни, и посевы,  
Там различные растенья,  
Неизменные там блага.<sup>1</sup>

И когда все три богатыря Калевы, завершая эпос, отправляются отобрать у Лоухи назад Сампо и тохищенная ими мельница разбивается на тысячи осколков, падает в море, которое выбрасывает часть этих осколков на берег Калевалы, — Вяйнямёнен доволен и этими осколками. Он говорит о них:

Вот отсюда выйдет семья,  
Неизменных благ начало:  
Выйдут пашни и посевы,  
И различные растенья,  
Лунный блеск отсюда выйдет,  
Благотельный свет солнца  
В Суоми на больших полянах,  
В Суоми, сладостной для сердца!<sup>2</sup>

## 3

Для историка и филолога, а местами и для внимательного читателя, различие возраста отдельных рун и даже различные исторические напластовывания в одних и тех же рунах очень ясны. В самом деле, мы встречаем в рунах отголоски таких древнейших форм родового общества, как матриархат и групповой брак, а в то же время в них попадаются упоминания о деньгах (и притом конкретных — пфенниги и марки), о поземельных налогах, о замках и крепостях (отзвук средневековья), а тут же об избах; упоминаются в рунах военные рабы — Унтамо продал в рабство сына своего брата, побежденного в бою; кузнец Илмаринен, построив свою кузницу у Лоухи, хозяйки Севера, пользуется в работе помощью рабов, а в то же время упоминаются в рунах «поденщики», наемный труд — «наймычка из деревни». Проф. Е. Г. Кагаров пишет в предисловии к Калевале: «Карело-финский эпос, бесспорно, мог возникнуть лишь на стадии родового строя в эпоху его разложения. Не борьба феодалов и рыцарей изображается в поэме, как живо представляет дело буржуазная наука, а борьба одних родов с другими. Но мы знаем, что в каждой общественно-экономической формации сохраня-

ются пережитки пройденных ступеней развития и вызревают ростки последующей формации, зарождающиеся в недрах предыдущей... Наряду с обломками раннеродового общества мы находим в рунах Калевалы и элементы, правда не особенно многочисленные, распадаения рода (рабство, частная собственность, деньги, товарообмен) и патриархата (власть родовладыки Унтамо)<sup>1</sup>.

Интересны вековые напластования на свадебной руне, еще поющей, еще не потерявшей своего бытового злободневного значения. «Старый, верный Вяйнямёнен, вековечный песнопевец» начинает петь величальную песню в доме Илмаринена, где хозяйка только что приняла с дороги сына, приехавшего с молодой невесткой. Вот он славит свата:

Хорошо наш сват оделся:  
Башмаки на нем от немцев...  
В сюртуке он чужеземном,  
На руках сюртук в обтяжку  
И сидит везде прекрасно...  
Хорошо наш сват оделся:  
Шерстяной на чреслах пояса,  
Что сработала дочь солнца,  
Дивно пальцами соткала,  
В дни, когда огня не знали  
И огонь не появлялся...  
Голова у свата в шапке,  
Поднялась до тучи шапка  
И прошла по верху леса;  
За нее заплатишь сотню,  
Марок тысячу заплатишь.<sup>2</sup>

В одном и том же славословии непременно встречаются и древнейшая эпоха, когда «еще не было огня», и новейшие времена — с их немецкими башмаками, чужеземным сюртуком и шапкой, стоящей тысячу марок. В той же величальной есть упоминание и о феодальной эпохе. О подружке невесты спрашивается — не живет ли она:

Там, за Таникой, за замком,  
Там, за крепостию новой.<sup>3</sup>

А потом оказывается, что нет, она из ближней деревни, а не из замка.

Жилище Лоухи, хозяйки Сечера, в одной руне (38) называется замком («Замок у

<sup>1</sup> «Калевала», руна 38-я, стихи 310—314.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 43-я, стихи 297—304.

<sup>1</sup> «Калевала». Петрозаводск, 1940, стр. X. Предисловие Е. Г. Кагарова.

<sup>2</sup> «Калевала», руна 25-я.

<sup>3</sup> «Калевала», руна 25-я.

«Лоухи»), в другой руне (42) избой («входят в избу», «внутри избы проходят»). Но мешают ли эти противоречия при чтении, воспринимаются ли они, как нечто несуровое, разрывающее общую картину? Народное творчество растет из поколения в поколение, устная речь передается от отцов к детям, и дети прибавляют к ней свое историческое самосознание, свой опыт так же, как сделают позднее дети их детей. Хронология устного творчества не имеет ничего общего со скромными цифрами одного человеческого века, она считает сотнями, тысячами лет, и читатель всегда чувствует эту цельность ощущения времени в народных былинах, в эпосе, в сказках. Сам Лённрут прекрасно понимал поэтическое единство собранного им материала и невозможность делить его «по возрасту»:

«Подобные руны, — говорит он о более современных бытовых песнях, — употребляются и теперь в обыденной жизни карелов, как финляндских, так и российских... В эти руны, как вероятно и в прочие, вошло много нового и в содержание, и в языке; однако их очень трудно и даже почти невозможно отличить от древнейших рун Калевалы. Поэтому предпочитают не делать строго различия между первоначальными и позднейшими рунами, и считать древнейшие руны семенами, из которых в течение столетий, а может быть и тысячелетий, выросла нынешняя жатва рун»<sup>1</sup>.

Автор Калевалы — это трудовой народ, трудящаяся часть общества, которая всегда была и остается единым подлинным творцом величайших памятников искусства, как и всей материальной культуры. Трудясь над первобытной пашней, валя и сжигая лес, проходя первым железным плугом скудные поля, выковывая в горне орудия труда, выделявая из драгоценной березы тонкое тело музыкального инструмента, вытесывая лодки, закидывая сети в глубины озер и рек, защищая своею кровью родные избы, которые он ставил на осушенных болотах своими руками, не досыпая ночей, не доедая куска, — народ в могучей своей работе и борьбе слагал песни и пел их, оставляя в наследство детям. Кое-где он воспользовался в песнях

названиями и понятиями того класса, который сидел на его горбу, как своеобразным, подчас не лишенным иронии «украшением» своих песен. Он величает жениха «князем» (это и в русских песнях, как в карело-финских), он спрашивает, не из замка ли подружка невесты, — но под этим не трудно угадать подлинно крестьянских действующих лиц эпоса.

Вся Калевала — неумолчное, неустанное восхваление труда человеческого. Нигде, ни в одном стихе ее, не найти и намека на «придворную» поэзию. Она сделана, как сказал Горький, «из грубого материала», из тех бессмертных северных гранитов, среди которых жил и трудился упорный труженик, карело-финский крестьянин. Но сделана с тем исключительным искусством, на которое способно только величавое творчество народа:

«Мощь коллективного творчества всего ярче доказывается тем, — писал Горький в 1908 году, — что на протяжении сотен веков индивидуальное творчество не создало ничего равного Илиаде или Калевале и что индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах».

Мощные образы людей, навсегда вам запоминающиеся; грандиозные картины природы; точное описание процессов труда, одежды, крестьянского быта — все это воплощено в рунах Калевалы в высокую поэзию, до сих пор еще очень слабо и несовершенно переданную в единственном пока переводе Л. П. Бельского<sup>1</sup>. Ритм Калевалы, благодаря особенностям, обязательному ударению на первом слоге, чрезвычайно гибок и, разумеется, не укладывается в двусложные русские хорей. Нельзя, кроме того, забывать, что это древний песенный ритм, связанный с естественной строфикой, создавшейся при исполнении песни вдвоем. Финский поэт Рунеберг так рассказывает о древнем обы-

<sup>1</sup> Несколько рун перевел недавно С. Я. Маршак с присущим ему поэтическим вкусом и изяществом, но и он сохранил трохаический размер, принятый Л. П. Бельским, как наиболее отвечающий восьмисложному силлабическому размеру Калевалы.

<sup>1</sup> «Калевала». Из предисловия Лённрута, стр. XXVII.

чае петь руны: «Певец выбирает себе товарища, садится против него, берет его за руки, и они начинают петь. Оба поющие покачиваются взад и вперед, как будто попеременно притягивая друг друга. При последнем такте каждой строфы настает очередь помощника, и он всю строфу перепевает один, а между тем запевала на досуге обдумывает следующую»<sup>1</sup>.

Отсюда — структура руны. Состоит она из неперменных двустушией, носящих большей частью такой характер: строка, и за нею — параллельная строка, развивающая с некоторым добавлением смысл первой строки. Вся строфа, поэтому, всегда имеет четное количество стихов. Лённрут завершил это симметрическое здание, построенное из двустушией, одним лишним стихом в конце, сделав это, повидимому, сознательно. Таким образом, общее число стихов Калевалы нечетное.

Знаток и исследователь рун, сам поэт и филолог, О. В. Куусинен проделал большую работу по изучению художественной формы Калевалы. Он составил таблички различных ритмических фигур, встречающихся в Калевале, — многообразие их поражает вас — оно, разумеется, исчезает в некоторой монотонности принятого Бельским размера. Не передано в переводе и богатство аллитераций подлинника. Вот, например, четыре стиха (69—72) из руны пятидесятой.

Kesosenko. kaksosenko,  
viitosenko. kuutosenko,  
vairko kymmenen kesaä  
lahi ei täytehen tätänä? <sup>2</sup>

В этом четверостишии, даже не зная языка, просто на глаз, можно найти подтверждение всему вышесказанному: сочетание долгого (двойного) слога с коротким, изменяющее общее число слогов в стихах (в первой строчке 8 слогов, во второй 10 слогов) и богатство аллитераций на согласные и гласные звуки. Звучит оно в устном чтении необыкновенно нежно и музыкально — это разговор девушки-красотки Марьятты с кукушкой о том, долго ли ей оставаться незамужней, год ли, два ли, или еще пять-шесть лет, или

десять, а может быть, её мечта уже вот-вот исполнится. В переводе Бельского вся музыкальность пропадает:

Так одно ли, два ли лета,  
Пять лет, что ли, или шесть лет,  
Или десять лет, быть может,  
Иль теперь конец уж скоро?

Даже смысл, несмотря на кажущуюся точность, пропадает: в оригинале ни о каком «конце» речи нет.

Если все-таки, несмотря на несовершенство перевода, бессмертная красота Калевалы доходит до нашего читателя, — мы можем судить, как велика и как стихийно сильна эта красота.

Летом 1948 года мне довелось сделать большую поездку по лесам и озерам, полянам и нагорьям чудесной северной страны, где праздновали в те дни 25-летие Карело-Финской Советской Социалистической Республики. Тысячи лет прошли с рождения древнейших рун, поющих природе страны Калевы, ее водопады и реки, леса и болота, любимое дерево рябину — священное дерево ее деревень. Природа узнается и сейчас по этим старинным рунам. Так же дышит льдинкой холодный северный ветер, те же водятся шуки и сиги в озерах и так же стоят гранитные утесы, одетые в мох. Но как изменились люди и вещи! И те же они — и не те, словно к старому стиху прилегла новая параллельная строчка, освещающая тот же предмет в его новом, невиданном качестве. Топкая олонцевская равнина, бывшее болото, сделалась житницей Карело-Финской Республики; она осушена, превращена в плодородную пашню. На реках и водопадах встали гидростанции. Рядом со старушкой, неграмотной сказительницей Татьяной Перттунен — внучкой знаменитого сказителя, певшего свои руны Лённруту, — мы видим уже ее собственную внучку — красивую, одетую по-городскому, веселую девушку, получившую высшее образование.

Одновременно со мною, но по другим районам, ездила группа карело-финских писателей. Они побывали в тех местах, откуда происходят руны Калевалы, где они были услышаны и записаны Лённрутом. В 1894 году в этих местах побывал финский исследователь К. Инха. Он опубликовал книгу о своем путешествии. Он нашел тогда глухие, почти недоступные не толь-

<sup>1</sup> «Калевала». Издание М. и С. Сабашниковых, М. 1915, стр. XXIII.

<sup>2</sup> „Kalevala“, Helsingissä, 1935, стр. 335.

ко для колес, но и для пешехода, тропы между убогими деревушками. Был недо-род,—крестьяне на вопрос, как им живется, ответили ему: «К весне остались у нас только два продукта — огонь и вода». И вот сейчас, в советской Карело-Финской Рес-публике, в том же районе, писатели Антти Тимонен, Яккола, Пертту и Қлименко уви-дели прекрасные дороги, электростанцию, электромельницу, амбулаторию, школу — все это, построенное уже вторично после разрушений, причиненных войной. В самой отдаленной деревне, Ладвозеро, колхозни-ки слушали лекцию о дарвинизме, а в со-седней деревне, Каменноозеро, были оби-жены, что лектор не повторил ее и у них: «ведь каждому интересно послушать».

Сотни школ, больницы, библиотеки, клу-бы построены и строятся сейчас в бывших глухих деревушках. На огородах выра-щивают помидоры и огурцы там, где рань-ше никогда не видели овощей.

Ласковая хозяйка леса, Мьеликки, слы-шит в лесах своих уже не урчанье Отсо с лапою медвяной, не один шелест сосно-вых игл, стекающих под ветром на зем-лю, — неумолчно работает электропила,

десятки лесозаводов шумят на прогалинах, и Мьеликки отправляет на большие за-водские комбинаты целые поезда дерева. На быстрых речках поет свою руну новое Сампо — электромельница.

Даже старая рябина с ее горькими яго-ками цвета крови — стала сладкой Я ви-дела в Олонецком колхозе карела—садово-да-мичуринца, выведшего так называемую «десертную» рябину — столовый сорт с ароматным и вкусным плодом. Мечта кар-ело-финского народа о дающем счастье и зажиточность Сампо — осуществилась; но только в нашем новом строе, только в условиях социалистического хозяйства могла она осуществиться, когда благоден-ствие каждого отдельного члена общества зависит от борьбы за благоденствие все-го народа, от подъема культуры всей страны.

И растет, растет посеянное здесь боль-шевиками благородное семя коллективного труда —

Неизменных благ начало —  
И паханье, и посевы,  
И различные растенья...



---

---

# ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

(Ноябрь-декабрь 1948 года)

К. ЗЕЛИНСКИЙ, Е. КОВАЛЬЧИК

★

1

**П**еред нами большая стопка книг, вышедших за последние три-четыре недели. Их несколько десятков. Тут и последние номера наших толстых журналов, и книги писателей, поэтов, литературоведов, изданные центральными и областными издательствами. На какие только темы и о чем только не говорят эти книги! Вот биографическая повесть И и Л. Крупениковых о знаменитом русском ученом, отце почвоведения Василии Васильевиче Докучаеве, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия». Вот книга, которая нас переносит на Украину, — «Украинские новеллы», а вот другая, выпущенная тем же издательством «Советский писатель», — вторая книга «Армянских новелл». Вот две книжки о Грузии. Одна В. Гольцева о творчестве Шота Руставели, другая — стихи грузинских дореволюционных поэтов в переводе поэта Н. Заболоцкого. Эти книжки пришли из Тбилиси, из издательства «Заря Востока». Перед нами книжка туркменского поэта А. Кекилова «Любовь», в алой ковровой обложке, сборник советских поэтов разных национальностей — «За мир, за демократию», с развевающимся знаменем на переплете.

За какую книжку взяться сначала? Тут и путешествия, и сткрития науки, и подвиги людей, их чувства и мысли, талант и поиски, страницы нашей истории и образы нашего дня, борьба людей, строящих коммунизм, — все это, как в фокусе, собирается в книгах, выходящих в стране Советов. Книжки едут в поездах, на грузовиках, растекаются по тысячам библиотек, где их встречают жадные глаза читателей, берут

читательские любопытные руки. В этих книгах отражена и запечатлена наша кипучая жизнь, советская наша действительность, труд и интересы наших людей. Писатели, издатели, распространители книги и библиотекари в сущности делают у нас одно великое дело обмена опытом, дело воспитания советских людей, их духовного обогащения — и в научном, и в политическом, и в эстетическом, и во всяком ином культурном смысле. Да, наша литература разнообразна, многонациональна, отражает множество граней духовной жизни советских народов.

Глаза разбегаются, глядя на этот поток книг! Но за этим разнообразием кроется глубокое внутреннее единство, идейная целеустремленность нашей литературы, а значит и нашей советской жизни, потому что жизнь определяет характер литературы.

Невольно вспоминаются слова В. Белинского из его статьи «Взгляд на русскую литературу в 1843 году», где великий критик писал, что русская литература так разнообразна, что, собственно, нужно говорить о ней во множественном числе. Но какое это было «разнообразие»? «Есть у нас литература грязная, копейчатая, которая скрывается в непроходимых извилинах толкучих рынков, — писал В. Белинский. — Есть у нас другая литература — родная сестрица первой, но более опрятная, сметливая, осторожная. Ей также нет дела до искусства, до науки... У нее та же цель, что и у первой, — деньги, но в гораздо обширнейшем размере... она ухватила за публику побогаче, потароватей... промышленная литература со всех сторон опутывает ее сетями, и должно отдать справедливость, очень часто весьма искус-

ными». Находил В. Белинский и еще одну разновидность в прежней литературе — старческую, с дикими суждениями и стремлением превратить дело писания книг в «средство к сокращению скуки длинных осенних вечеров»<sup>1</sup>.

Какой счастливый контраст с этим представляет наша действительность! В нашей литературе уже давно нет подобного «разнообразия». Оно процветает на капиталистическом Западе, в чем признавался, например, Герберт Уэллс: «Производство книг в Англии, за исключением случая, где автор является богатым любителем, не более как афера издательской профессии, а современные издатели стоят ниже заурядных купцов, потому что несколько не интересуются тем, продают ли товар добросовестный или скверный»<sup>2</sup>.

Советский читатель подходит к книге требовательно. Наш читатель ищет в книге ответа на запросы своей жизни, а не просто «времяпрепровождения от скуки». Наш читатель хочет знать, что он от книги получит, станет ли счастливей, духовно богаче. В частности, одна из задач нашей критики состоит в том, чтобы быть проводником читателя в массу новых, еще не известных ему книг, чтобы помочь читателю по-партийному разобраться в этом обилии и разнообразии литературных произведений.

## 2

И вот думается нам, что одной из первых книг, к которой протянется рука читателя на книжном прилавке или на выставке новинок в библиотеке, — будет книга «Докучаев» И. и Л. Крупениковых.

Не так давно газеты опубликовали вышедшее отклик во всем мире историческое постановление советского правительства о насаждении лесозащитных полос на протяжении сотен и тысяч километров необозримых пространств южных и юго-восточных степей СССР. Это гигантское начинание советского народа в его борьбе за устойчивые урожаи, против засухи стало практически выполнимым только на основе сталинских пятилеток, перевооруживших

нашу родину. Но смелая мысль о подобном проекте возникла еще в начале девятых годов прошлого столетия, и при надлежит она замечательному русскому ученому, основателю новой науки — почвоведения. Имя его — В. Докучаев, и оно стоит первым в ряду имен, которые упоминаются в постановлении советского правительства, угвердившем поистине грандиозный план преобразования нашей степной природы.

Книжка о В. Докучаеве вышла как нельзя более своевременно. Знал ли раньше широкий читатель имя В. Докучаева? Теперь, когда практически осуществляется план наступления на засуху, заново открывается перед нами жизнь и деятельность этого ученого-борца, добивавшегося, чтобы наука не замыкалась от народа, но служила народу, этого воспитателя плеяды русских ученых, обеспечивших отечественной науке почвоведения признанное главенство во всем мире; его замечательный русский характер, неукротимый в своем трудолюбии, в бескорыстном следовании высокой идее.

Книжка И. и Л. Крупениковых о В. Докучаеве представляет собой изложенное в довольно живой форме повествование о жизни и трудах великого русского ученого. В книжке есть, к сожалению, недостаток, присущий многим аналогичным произведениям биографической серии. Он заключается в том, что научно-творческие проблемы, то, чем жил и волновался ученый, не раскрыты и не опозитивированы авторами в самой своей сущности. Иначе сказать, научные идеи В. Докучаева, хотя о них и говорится в книге, не вошли органически в сюжет повествования, не выступают как главный принцип раскрытия образа ученого. Сюжет книги построен немного «по-старинке», то есть внешние факты биографии (учение, женитьба, перемена службы, экспедиции, отдельные работы) преобладают над раскрытием идейного содержания научной борьбы, которую вел В. Докучаев. Но и тот материал, который привлечен авторами (материал—надо им отдать справедливость — во многом новый), так выразителен сам по себе и изложен так ясно и четко, что образ великого русского ученого встает со страниц книги и покоряет читателя размахом и силой русского национального гения.

<sup>1</sup> В. Г. Белинский. Сочинения, т. XIII, стр. 131 и 132.

<sup>2</sup> Герберт Уэллс. Предсказания о будущем человечества в XX веке.

В. Докучаев принадлежал к тому поколению деятелей русской науки, чья духовная жизнь формировалась под знаком передовых идей демократов-шестидесятников. Не все из этих людей науки следовали в своем общественном поведении заветам В. Белинского, А. Герцена, Н. Чернышевского, Н. Добролюбова — далеко не все были последовательными революционерами (в том числе и В. Докучаев). Но непоколебимая вера в науку, отвращение к царской бюрократической системе, господству чиновников, попов, сановников, мешавших движению всякой живой мысли, сочувствие и интерес к жизни народа и желание послужить ему, наконец, стихийный материализм в научных исканиях, — все это несло на себе печать революционно-демократического движения последних десятилетий века.

Знаменитые русские ученые — физиолог И. Сеченов, химик Д. Менделеев, географ Воейков, геолог А. Карпинский — сверстники, соратники, друзья В. Докучаева, ватем ученые более младшего, по отношению к ним, поколения, как великий ботаник К. Тимирязев, почвовед В. Вильямс и многие другие — вся эта блестящая плеяда ученых материалистов несла знамя русской науки, традиции М. Ломоносова, и была в авангарде мировой науки. Все это люди духовно близкие народу, его борьбе, это лучшие представители той демократической культуры России, которая, как писал Ленин, является национальной гордостью великороссов. И недаром те из них, которым посчастливилось дожить до победы советской власти (как К. Тимирязев, А. Карпинский — ровесник В. Докучаева, как великий последователь В. Докучаева — В. Вильямс и др.) стали верными ее сторонниками, и идеи коммунизма стали их знаменем.

Обстоятельства сложились так, что В. Докучаев остался менее других известным для широкого читателя. За исключением специальных изданий, не появлялись до сих пор ни книги, ни очерки о В. Докучаеве, в то время как личность его является, пожалуй, одной из наиболее живописных и значительных — вслед за такими великими мужами русской науки, как М. Ломоносов, как Д. Менделеев, как И. Павлов.

Вот он глядит на вас с портретов, Василий Докучаев, «богатырь с виду», кося сажень в плечах, с бородой Ильи Муромца, глядит умными, пронизательными глазами. Сын бедного деревенского священника из глухой деревушки Милюково Смоленской губернии, он родился в 1846 году. Первую науку Василий, как полагалось поповскому сыну, проходит в семинарии, в бурсе, где ему ломают кости, мнут мозги на церковный лад. Но не хочет мириться талантливый юноша с казенной поповской наукой. Он бежит из Духовной академии с ее даровым коштом, куда его послали, как одаренного ученика, и поступает в университет, на факультет естественных наук. Он жил в хибарке на окраине столицы, по целым неделям питался одним хлебом, ходил в худых сапогах, но «под мерное шипенье газа, освещавшего читальный зал, штудировал «Основные начала геологии» Чарльза Лайеля», жадно слушал общедоступные лекции в Питерском пассаже, читал Ч. Дарвина, И. Сеченова, А. Бутлерова, Н. Пирогова. Все красиво в молодом В. Докучаеве — рост, ссанка, открытый лоб и ясный взор, но красивей всего его духовный облик, его неукротимая воля послужить науке и родному народу, его преданность идее. Он еще сам не определил, на какой отрасли остановится — геологии ли, минералогии ли, но В. Докучаев уже знает, что он будет воином науки, воином за правду-истину.

В книге И. и Л. Крупениковых последовательно рассказывается о научных начинаниях В. Докучаева. Вот В. Докучаев в период обследования земель Нижегородской губернии, вот он профессор Петербургского университета, вот как складывается его учение о почве, вот В. Докучаев директор Ново-Александровского института. Специалисты-почвоведы будут оценивать эту часть книги с точки зрения правильности изложения идей В. Докучаева в области почвоведения. Но и не специалисту становится ясно, что в В. Докучаеве ярко проявились лучшие черты русской национальной науки. С ее верой в могущество разума и сил человека, с ее традициями, восходящими еще к М. Ломоносову и черпающими свой пафос в освободительной борьбе народа, традициями смелого подхода к задаче овладения природой.

Как и И. Мичурин, В. Докучаев учил не ждать милостивых даров от природы, а брать их.

В статье 1898 года «Место и роль современного почвоведения в науке и жизни» В. Докучаев приходит и к выводам социального порядка. Миллионы людей во всех частях света были бессмысленно заняты лишь тем, что «в поте (нередко кровавом) лица снискивали хлеб свой» вместо того, чтобы обратить свои согласные силы на устройство социально прекрасной и справедливой жизни. В. Докучаев характеризует современное ему общество конца XIX века, как «самую злую и беспощадную стихию», «как экономическую и промышленную кабалу».

Замечательны широта, революционный размах русского ученого, так красиво проявляющие себя во всех начинаниях и теориях В. Докучаева и в том, как великий ученый подходит к самому предмету созданной им науки почвоведения — к почве. В. Докучаев называет почву «четвертым царством природы». Он видит в ней «естественно-историческое тело» — равнодействующую, или порождение вечной жизни других сил или царств природы — воды, земли и воздуха, или растительного, животного и минерального царств.

«Не подлежит сомнению, — писал В. Докучаев, — что познание природы—ее сил, стихий, явлений и тел — сделало в течение 19-го столетия такие гигантские шаги, что само столетие нередко называется веком естествознания, веком натуралистов. Но, всматриваясь внимательно в эти величайшие приобретения, можно сказать, перевернувшие наше мировоззрение на природу вверх дном, особенно после работ Лавуазье, Лайеля, Дарвина, Гельмгольца и других, нельзя не заметить одного весьма существенного и важного момента. Изучались главным образом отдельные тела, минералы, горные породы, растения и животные, — и явления, отдельные стихии, огонь (вулканизм), вода, земля, воздух, в чем, повторяем, наука достигла удивительных результатов, но не их соотношения, не та генетическая, вековечная и всегда закономерная связь, какая существует между силами, телами и явлениями, между мертвой и живой природой, между растительными, животными и минеральными царствами—с одной стороны, человеком, его бытом и даже духовным миром — с другой. А между

тем эти соотношения, эти закономерные взаимодействия и составляют сущность познания естества, лучшую и высшую прелесть естествознания».

Авторы биографии В. Докучаева, приводя этот отрывок из работы русского ученого, справедливо приходят к выводу, «что В. Докучаев порой удивительно близко подходил к мыслям, высказывавшимся Энгельсом в его «Диалектике природы».

Да, для В. Докучаева «высшая прелесть естествознания» была в постижении единства сил природы и человека, в открытии законов, которые позволили бы человеку стать полным властелином природы. Этот широкий — целиком в традициях нашей передовой русской науки — подход к изучению характеризует В. Докучаева как ученого. Идея вечного естественно-исторического взаимодействия всех элементов земной коры, воздуха и человека, эта материалистическая идея легла в основу также впервые в мире созданной в России и разработанной уже в СССР новой науки геохимии, творцом которой является ученик В. Докучаева, один из великих русских ученых, еще ждущих своего «открытия», покойный советский академик Владимир Иванович Вернадский.

Разве не характерно, что, собирая в своих путешествиях тысячи мешочков с пробой почв, вырубая горным молотком кусочки породы и наталкиваясь на обломки ископаемой культуры, В. Докучаев становился также и археологом. Ум В. Докучаева не хотел ограничить себя рамками одной научной дисциплины, но искал связи природы с историей, воспринимал жизнь, как единое целое. Разве не характерно, что, изучая и отдавая должное, например, Чарльзу Лайелю или Гумбольдту, В. Докучаев не удовлетворяется только приятием их открытий, но опронидывает все устаревшее в их взглядах, особенно во взглядах Гумбольдта на характер почв в разных частях света. В. Докучаев своим учением о почве, основанном на исследовании обширной русской земли, оставляет далеко позади себя открытия западных ученых. Разве не «показательно, что такие термины, как чернозем, подзол, солонец, солончак, взятые из русского народного языка, вошли без перевода в почвенные классификации многих стран, в том числе



Англии и США»? Разве не характерно, наконец, что в то самое время, как морганизм, с его мешанинско-ограниченным восприятием роли человека на земле, с его покорностью генам, воспринимаемым как «пайки», выдаваемые нам природой якобы навски, — в то время, как это морганистское учение утверждало себе позиции в кабинетах буржуазных ученых Западной Европы и США, в России ученые типа В. Докучаева, И. Мичурина, И. Павлова ломают устаревшие взгляды и убеждения и, опираясь на новые факты, добытые кропотливым трудом, с помощью тысяч опытов и научных доказательств, идут к утверждению могущества народа, рассеивают пессимизм, неверие в силы науки, и создают науку, как орудие подчинения природы человеку.

Эти факты не только рисуют в выгодном свете передовую русскую науку и не просто льстят нашей национальной гордости. В них есть глубокий исторический смысл. Они говорят о том, что последовательное перемещение революционного центра из Западной Европы в Россию, специфические противоречия русского исторического процесса, особенно начиная с шестидесятих годов прошлого столетия, — все это создавало благоприятную почву для проявления в науке передовых тенденций, для развития материалистической науки, черпающей свой пафос в идее служения народу.

В. Докучаев и был именно таким русским ученым, в котором эти национальные черты нашей передовой науки прояснились полно и ярко, слившись с самим его человеческим обликом и характером. Даже самый предмет изучения — почва — сближал В. Докучаева с интересами народа. Он исходил пешком десятки тысяч верст по родной земле — Полесье и Поволжье, Украину и Кавказ, нося в крестьянских избах; он руками перещупал землю в самых глухих деревенских уголках нашей необъятной родины; он сам посадил тысячи деревьев и злаков; он, наконец, вырастил целое поколение русских ученых — в сотнях своих учеников он посеял горячую веру в науку и желание посвятить себя служению ей!

Вот почему нельзя не согласиться со словами, которыми заключают авторы биографического очерка о В. Докучаеве:

«Образ Докучаева, его не знавшая устали деятельность, его неукротимое стремление к намеченной цели, его вера в торжество науки, его научная смелость, непримиримая борьба с косностью и рутинной, его законная гордость великими достижениями отечественной науки, его самоотверженное служение родному народу — все это будет неизменно вдохновлять молодых советских ученых в их борьбе за покорение сил природы, в их непрерывном движении вперед, завоевывающем советской науке мировые высоты».

Но в то же время, закрывая книжку, ощущаешь и неполноту этого биографического очерка — при всей благодарности к авторам за то, что они все же написали его. О таком человеке, как В. Докучаев, надо роман писать — так колоритна его личность и богата содержанием его жизнь. И особенно был бы полезен и интересен фильм из жизни В. Докучаева. Его путешествия, раскрывающие просторы и разнообразие пейзажей России, его встречи, его замыслы, его диспуты, его идеи «Четвертого царства природы», вся его жизнь так и просится рассказать о себе языком киноискусства нашему юношеству. Сама жизнь нашей советской эпохи досказывает и дописывает в наши дни то, о чем мог только мечтать В. Докучаев. Выросли и сошлись могучими кронами деревья, когда-то посаженные В. Докучаевым на опытной станции в знаменитой Каменной степи Воронежской области. Блестяще оправдалось учение Докучаева о том, что лесозащитные полосы в степи должны явиться надежной охраной высокого тучного колоса. Станция Каменной степи в засуху 1946 года дала урожай в несколько раз больший, чем окрестные районы. Когда-то в своей знаменитой книжке «Наши степи прежде и теперь», написанной в связи с засухой и голодом, который разразился в России в 1891 году, В. Докучаев мечтал о том, как было бы хорошо, если бы весь народ взялся по единому плану за борьбу с засухой. Но в старой царской России передовые люди могли только мечтать об этих лучших временах, веря в свой народ, как мечтал и верил и Н. Некрасов:

Иных времен, иных картин  
Провижу я, начало  
В случайной жизни берегов  
Моей реки любимой:

Освобожденный от оков,  
 Народ неутомимый  
 Созреет, густо заселит  
 Прибрежные пустыни;  
 Наука воды углубит:  
 По гладкой их равнине  
 Суда-гиганты побегут  
 Несчетною толпою,  
 И будет вечен бодрый труд  
 Над вечною рекою...  
 Мечты!.. Я верую в народ!..

Ныне мы видим, что недаром мечтали, недаром боролись и трудились для счастья народа лучшие сыны нашей родины в прошлом. Самые смелые их мечты осуществляются теперь в реальных делах советских людей. Но, безусловно, одним из наиболее поражающих наше воображение начинаний является план, во многом превосходящий даже смелые мечты В. Докучаева о создании великой лесной армии деревьев, которые протянулись бы огромными цепями с севера на юг по нашим южным и юго-восточным степям, защищая их от суховея, собирая влагу, крепко стоя на страже урожая. Создание этой гигантской лесной «трудоармии» оказалось по плечу лишь советскому государству «Осуществление этого грандиозного государственного плана, принятием которого объявлена война засухе и неурожаю в степных и лесостепных районах европейской части нашей страны, — говорил товарищ В. М. Молотов в своем докладе о 31-й годовщине Октябрьской революции, — выведет наше сельское хозяйство на прямой путь высоких и устойчивых урожаев, сделает труд колхозников высокопроизводительным и во многом поднимет экономическое могущество Советского Союза»<sup>1</sup>.

## 3

Планы и великие предприятия нашего народа, творчески осуществляемые им, были и остаются замечательным источником нашей поэзии. Еще В. Маяковский с гордостью восклицал: «Я планов наших люблю громадь». В. Маяковский остро чувствовал, что осуществление наших планов строительства коммунизма происходит в напряженной борьбе, в окружении капиталистических государств. И чем дальше Советский Союз шагает по дороге к коммунизму, чем могущественней становится он,

тем сильнее ненависть к нему капиталистических поджигателей войны, тем громче визг и вой буржуазной печати. Товарищ В. М. Молотов говорил в том же докладе: «Со всё усиливающимся шумом и визгом печатать империалистических кругов нападет на нашу страну, поскольку всем известно, что Советский Союз является непримиримым противником захватнических планов империализма».

Не потому ли тема В. Маяковского, тема борьбы двух миров, тема отпора поджигателям войны громко звучит сегодня в нашей поэзии. Ей — этой международной теме — посвящен сборник стихов «За мир, за демократию», выпущенный «Советским писателем». В нем объединены стихотворения разных поэтов, и по преимуществу послевоенных лет. Это стихи на разные темы — о Москве, о колхозах, о солдатах Советской Армии, об испанских республиканцах и партизанах, о демократической Греции, о Лондоне, о простой советской девочке, — словом, это лирические записки о том, чем живут сегодня наши поэты. Но все стихи, собранные в этой книге, пронизаны одним настроением, которое хорошо выражено в стихотворении А. Суркова — «Возвысьте свой голос, честные люди»:

Над лесом ранняя осень простерла  
 Крыло холодной зари.  
 Гнев огненным комом стоит у горла  
 И требует: — Говори!  
 Припело время главной и горькой  
 Взять правде свои права,  
 В Париже, в Лондоне и Нью-Йорке  
 Пусть слышат твои слова.  
 Еще лежат города в запустенье,  
 Не высохли слезы вдов,  
 А землю опять застилают тени  
 Одетых в траур годов.  
 Словесный лом атлантических хартий  
 Лежит на дне сундука,  
 И снова жадно шарит по карте  
 В стальной перчатке рука.

Да, это сказано верно — «Гнев огненным комом стоит у горла и требует: — Говори!». Правда, у иных из наших стихотворцев возникла «критическая теория», что-де «писать о загранице» — это чуть ли не предосудительно и что для поэтов хватит тем внутренних. Но справедливость требует отметить, что эта попытка реставрировать старый славяно-фильско-квасной тезис — «на кой нам чорт другие страны, кроме расейской стороны», — что это

<sup>1</sup> «Правда», 7 ноября 1948.

«тезис» немедленно же получил должный отпор в среде поэтов.

Угнетенные народы за рубежом, десятки миллионов простых честных людей, с надеждой взирают на нас, веря, что именно мы — и в первую очередь советские писатели — возвысим голос в защиту мира и демократии. «Говори!» — слышим мы отсюда.

М. И. Калинин говорил о советских людях — победителях в Великой Отечественной войне, что они все больше и больше сознают свое непосредственное участие в создании мировой истории. И поэтому темы международные никогда так ярко не воодушевляли нашу поэзию, как в эти послевоенные годы. Не случайно, что наиболее крупные произведения 1948 года в поэтическом жанре вдохновлены страстной верой советских людей в право трудящихся всей земли на свободный труд и мир.

Идейностью, спокойной уверенностью в правоте нашего дела, широтой интересов советского человека, подлинным интернационализмом проникнуты многие стихи сборника «За мир, за демократию». В этой книжке есть немало прекрасных стихов. Таково, например, стихотворение М. Исаковского «Песня о родине». Лирический герой этого стихотворения, деревенский мальчик из Смоленщины, певал когда-то популярную у нас песню «Трансвааль, Трансвааль—страна моя, ты вся горшишь в огне». В этой песне проявлялся интернационализм русского народа, ее поют в романе А. Фадеева «Последний из Удэге» жены шахтеров, уходивших на гражданскую войну за советскую власть.

И вот эта тема у М. Исаковского:

Впервые песня, может быть,  
Открыла мне тогда,  
Как надо край родной любить,  
Когда придет беда;

Как надо Родину беречь  
И помнить день за днем,  
Чтоб враг не мог ее поджечь  
Погибельным огнем.

Примером подлинной политической лирики может служить стихотворение М. Бажана (в переводе с украинского М. Светлова) «Биг Бен». Романтика старых английских баллад в этом стихотворении (в котором говорится о башне Вестминстерского

аббатства в Лондоне с ее часами, называемыми «Биг Бен»), остроумно повернута против этой самой старины, против английского империализма:

Ну, что ж! Торчи и сторожи,  
Худой, высокий Бен,  
Груз старой кривды, старой лжи,  
Бумаг, имен, измен.

И подтянул солдат-старик  
Изношенный камзол,  
До сердца, кажется, проник  
Двух стрелок злой укол.

Из древней ниши зазвучал  
Его понурый бас, —  
Он все печальней измерял  
Имперский долгий час.

Восток — в заре, а тут — лишь звон  
У темных старых стен...  
Ускорь, ускорь же ход времен,  
Биг Бен, Биг Бен, Биг Бен!

В стихотворении С. Кирсанова «Товарищи» выражено чувство единства той борьбы, которая ведется «от Шанси до Эпира на двух фронтах одной войны за будущее мира».

Впрочем, в сборнике есть и неудачные вещи, риторические (вроде стихотворения С. Острового) или плохо переведенные.

Если говорить о содержании всего сборника в целом, то в нем преобладает тема борющейся демократической Греции (с этой темой выступают более 5 авторов). В то же время, за исключением баллады Петра Ойфы о Юлиусе Фучике, в сборнике оказался обойденным наш горячий интерес к странам новой демократии — Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии.

Поэтический сборник «За мир, за демократию» — при всех своих отдельных недостатках — несомненно встретит горячий прием у читателей, любящих стихи, привлечет внимание лекторов, читающих лекции на международные темы, учителей, которые хотят и любят преподносимый в школе литературный материал связывать с сегодняшним днем, с текущими интересами советского народа.

Среди новых произведений о военных подвигах советских людей обращает на себя внимание рассказ Б. Полевого «На военной дороге», напечатанный в № 20 журнала «Советский воин». Это новый рассказ.

относящийся к циклу «Мы — советские люди», еще не вошедший в книжку.

Б. Полевой, как никто другой, умеет находить непосредственно в нашей действительности и изображать такие случаи, в которых советские люди проявляют заложенные в них партией, всем нашим строем, свои лучшие, героические черты характера, свою великую преданность родине, свою высокую ответственность и сознание долга. За это и полюбил массовый читатель Б. Полевого, который умеет находить золото повседневной героики наших людей «прямо на дороге», воодушевлять читателей «будничной» романтикой нашего времени. Правда, не всегда Б. Полевому удается терпеливо вычеканить найденное им золото в слове, в художественном образе.

Рассказ «На военной дороге» повествует об истории Владимира Пастухова, который попал на войну в качестве командира автоколонны, подвозящей фронту снаряды. Лейтенант Пастухов считает себя неудачником. Он всего только «ломовой извозчик войны». Его, конечно, обстреливают, как и полагается на войне, но все это «не то». И вот однажды Пастухову вручают личное приказание командующего фронтом подвезти снаряды к району окружения немцев под Корсунь-Шевченковской. Пастухов и его люди почти не спали. Они только что приехали с очередной «будничной», «ломовой» операции. Но «извозчик» есть «извозчик». Пастухов подымает свою колонну. Снаряды нужны, как воздух, если ослабнет огонь советских батарей, немцы могут вырваться из мешка. Машины Пастухова застревают на переправе. Вытащить их могут только танки. Идет встречный танк. Водителю некогда вытаскивать застрявших шоферов. Однако Пастухов и его товарищи (один из них ранен и едва сидит за рулем) не могут себе и представить, что они не выполняют приказания командующего фронтом. С решимостью отчаяния они ложатся в ряд на дороге, прямо под гусеницы танка: дави, водитель, если ты не понимаешь беды товарищей! Но вот из лока подымается высокий человек, которого Пастухов принял за башнера.

«— Товарищ генерал армии, докладывает начальник автоколонны лейтенант Пастухов... Виноват, не узнал. Готов понести наказание за незаконную задержку.

Командующий резко повернулся на каблуках. По выражению его замкнутого, неподвижного лица трудно было угадать, что он думает. Но в узких, серых, зорких глазах лейтенант увидел ласковые, веселые искорки.

— Передайте вашему генералу, что под его началом служат хорошие солдаты и офицеры. Передайте, что командующий фронтом объявил вам и вашим людям личную благодарность за отличное несение службы...»

Вот, собственно, и все. И рассказана история «ломового извозчика войны» довольно бесхитростно — мы бы даже сказали, без должного внимания к построению фразы, к композиции, — но читаешь этот рассказ, и невольно волна душевного тепла подымается навстречу его герою, хочется и в своей жизни быть похожим на этого простого советского патриота, который выполнение своего долга перед родиной и народом превратил из «службы» во вдохновенное и героическое дело. Хорошо когда-то сказал о такой установке в жизни В. Маяковский — «надо в каждой пылинке будить уметь большевистского пафоса медь».

Если хотите — это и есть ответ на те споры о пользе романтизма от жизни и романтизма от воображения, какие сейчас идут в нашей критике. Конечно же, романтизм, почерпнутый из фактов самой советской действительности, будет воздействовать гораздо сильнее. Его эффект в воспитательном отношении будет глубже, чем впечатление от яркого бенгальского освещения, которое писатель при помощи красивых образов создает вокруг своего героя, стремясь поднять его над простыми людьми на пьедестале картинного, книжного героизма. В первом случае будет действовать та сила примера, о которой не раз говорил Ленин, указывая, что эта сила примера по-настоящему сможет проявить себя только в социалистическом обществе.

Конечно, сила примера, взятого из жизни лейтенанта Пастухова, не может не затронуть всякого равнодушного читателя. Но нельзя ставить знак равенства между силой примера самой жизни и той силой воздействия или впечатления, какое может оказать на читателя этот случай жизни, претворенный в художественном произведе-

дени. Одно в другое прямо не переходит. Тут требуется искусство.

В жизни герой своим поступком может увлечь за собой в атаку, на спасение людей во время какого-либо бедствия. Но писатель может рассказать об этом бледно, невыразительно. Сила жизненного примера тогда потускнеет, а то и пропадет совсем. И наоборот, в жизни поведение человека может казаться обыкновенным, потому что честный самоотверженный труд у нас явление массовое. Героизм нашего народа в представлении иных людей выглядит совсем «буднично». К нему присмотрелись, попривыкли, почти уже перестали замечать. Так-де и полагается, потому что героика социалистического труда стала бытом. А писатель, художник так расскажет об этом «винтике», что прочтет читатель и удивится, взволнуется: какая же глубина души скрыта в этом незаметном «винтике», какая сила характера в советском человеке! Точно окно раскроет для нас в этом образе талантливый художник, окно в историю, и тогда становится и дальше и глубже видно. Начинаешь с особенной силой чувствовать, что глубоко переплетено у нас личное с общественным, что характер советского человека воспитывается партией, всем нашим советским строем, что идейность и есть тот кристалл, вокруг которого образуется вся душа человека. От частного мысль переходит к общему, а когда снова возвращаешься к частному, то есть к образу нарисованного в художественном произведении советского героя, то и сила примера его приобретает более широкое, общее для всего социалистического общества значение. Это и удается Б. Полевому в лучших его произведениях о «настоящих людях».

Но выявить в незаметном, на первый взгляд, новое и поучительное так же трудно, как трудно об ярком, исключительном рассказать так, чтобы повествование о подвиге не заслонило всей сложной душевной жизни человека, а наоборот, помогло ее раскрыть и объяснить самый подвиг. Для всего этого — повторяем — требуется искусство.

У нас нередко встречается (и у критиков, и у читателей) весьма снисходительное — если не сказать либеральное — отношение к художественным достоинствам произведения, если в этом произведении за-

тронута важная тема, если оно актуально, идейно существенно. Однако благодарность к писателю за то, что он рассказал о хорошем советском человеке, не должна брать верх над безусловными требованиями, которые должны быть предъявляемы ко всякому художественному произведению. Нельзя понимать идейность художественного произведения однобоко, отдельно от формы, в которой она выражена. Идейность выявляется тем глубже, тем полнокровней, жизненней, чем глубже художник видит жизнь во всех ее противоречиях, конкретности, чем многосторонней раскрывает художник нашу советскую действительность. Мы должны требовать от наших писателей тщательной работы над формой своих произведений. Нужно отделять, переписывать свои рассказы и романы по нескольку раз, не удовлетворяясь первым найденным решением. В этом отношении пример русских классиков необыкновенно поучителен. О нем часто вспоминают, но редко ему следуют. Ведь эстетическое воспитание читателя есть часть его идейного воспитания. Нельзя одно отрывать от другого.

Иные из новых книг положительно разочаровывают с точки зрения своей художественности. Бываешь благодарен автору за хорошую тему, жизненный материал, но берет досада, как небрежно он этот материал передал.

Такое противоречивое отношение, вероятно, вызовет книжка Б. Кушелева «Так рождается мужество» (вышла в издательстве «Московский рабочий»).

Б. Кушелев рисует в книжке сцены из фронтовой жизни в годы Отечественной войны. Видно, что автор знает жизнь, любит своих героев и умеет подмечать в них действительно героические черты, прекрасно выражающие советского человека, его патриотизм и воинское товарищество. И в то же время из его книги можно подряд приводить примеры неудачных мелодраматических положений, надуманных сравнений, неловких словесных оборотов. Например, Б. Кушелев сравнивает утюг в руках прачки-санитарки с черным голубем, который летает над бельем. Он говорит о стирке: «девичьи руки жамкают ткань». Желая изобразить сильные переживания, автор заставляет своих героев одновременно потеть и холодеть. А в одном

рассказе («Когда исчезает страх»), стремясь усилить драматическое впечатление от погони немца-полицейского за девушкой-партизанкой, автор ранит немца, партизанку, и затем оба начинают охотиться друг за другом в лесу ползком. Наконец, немец умирает от заражения крови (сколько же времени-то прошло?), а партизанка, придя в себя рядом с трупом врага, просит командира, нашедшего ее:

— Пожалуйста, Костя, будешь в Москве, найди в мою комнату и полей цветы...

Может быть, рассказы Б. Кушелева — автора несомненно способного — были в свое время уместны в качестве газетных очерков и зарисовок отдельных эпизодов, но для издания их отдельной книгой нужна была работа, и работа взыскательная.

Хочется вспомнить здесь слова А. Фадеева: «Теперь очень многие из растущих, талантливых художников молодого поколения пренебрегают элементарным правилом, которое раньше для любого прозаика было законным: прозаическое произведение не может быть выпущено в свет, если оно, по крайней мере раза три не переписывалось от руки. Это элементарно. Эти навыки труда надо развивать у нашей литературной молодежи, упорно прививать им любовь к языку, стилю, к умению строить сюжет»<sup>1</sup>.

## 5

Теперь мы хотели бы познакомить читателя с интересно задуманной серией книг, выпущенных издательством «Советский писатель». Это сборники новелл народов Советского Союза. В последнее время вышли новеллы армянские (книга 2-я), эстонские, белорусские, украинские.

Внешне издания эти отличает культура советской издательской техники. Небольшие по формату, сборники новелл художественно оформлены. Некоторые из них украшены национальным орнаментом. В конце каждой книги приведены краткие сведения о писателях, рассказы которых вошли в книгу, и читатель тем самым может полнее судить об авторах новелл. В сборниках «Белорусские рассказы» и «Эстонские новеллы» есть предисловия, в которых дается историко-литературная оценка произведений.

Каждый из этих сборников — результат коллективного труда составителей, переводчиков и издательства: ведь из сокровищницы литературного творчества народов нашей родины надо отобрать самое ценное, самое главное, то, что с наибольшей полнотой выражает характер народа, его думы и чаяния, своеобразие его вклада в мировую литературу. Для этого и составители и издательство обязаны хорошо знать богатства национальной культуры, а самое главное, они должны в своей деятельности руководствоваться требованиями партии, политикой советского государства. К сожалению, работники издательства порой забывают этот главный принцип и оказываются в зависимости от субъективных, неверных вкусов некоторых составителей и переводчиков. Превосходный замысел от этого сильно страдает.

Читая эти сборники новелл, невольно приходишь к выводу, что очень хорошее, ценное дело ознакомления читателей с оригинальной, всегда своеобразной литературой народов нашей родины поставлено в издательстве еще довольно кустарно, что ни составители, ни редакторы издательства не обладают настоящей идейной ясностью и партийной требовательностью, которая помогла бы им с наибольшей пользой для читателей отобрать и образцы новеллистического творчества писателей прошлого, и рассказы писателей современников. Характерно, что в сборниках (за исключением «Белорусских рассказов») преобладают произведения о дореволюционной жизни, произведения писателей прошлого, а современность показана мало, слабо, порой обедненно. И объясняется это не столько реальным состоянием братских литератур, сколько вкусами и пристрастиями составителей, умаляющими значение современной темы. Упрек этот особенно приходится адресовать Я. Хачатрянцу — составителю и переводчику «Армянских новелл» (редактор Л. Скориню), который представил современную новеллу в крайне обедненном виде. К тому же, при отборе произведений порой оказывалась забытой ленинская мысль о том, что в прошлом каждого народа надо видеть, различать борьбу двух культур, двух наций — буржуазную и демократическую, народную. Забвение этой истины приводит к тому, что составитель «Армянских новелл», например, де-

<sup>1</sup> «Литературная газета» № 100, 1948.

монстрирует образцы творчества писателей-демократов, а рядом помещает новеллы декадентские, мистические, считая, повидимому, и то и другое явлениями равноценно значительными для развития современной армянской литературы. Эта аполитичность мешает читателю понять настоящие, а не мнимые богатства национальной культуры, дезориентирует читателя.

Но обратимся к содержанию каждого сборника, попытаемся понять, какие существенные черты народной жизни и какие особенности национальной культуры открываются нам. Нас, естественно, интересует и то, как помогают эти сборники укреплять «чувство семьи единой», нерушимую дружбу народов нашей страны.

С интересом читаются «Украинские новеллы» (составили Вл. и Е. Россельс, редактор М. Чечановский). Читая этот сборник, мы познаем своеобразие и оригинальность характера украинского народа, живо и непосредственно проявившегося в творчестве писателей. И это радует читателя.

Большое место в сборнике заняли произведения писателей прошлого. Но составители правильно отобрали то ценное, истинно демократическое, что составляет подлинное культурное наследие народа. Дореволюционная новелла представлена в сборнике не только именами писателей, известных русскому читателю, — М. Коцюбинского, В. Стефаника, О. Кобылянской. — но и менее известными, а порою и впервые появляющимися в общесоюзной печати авторами — Марком Черемшиной, Архипом Тесленко, Степаном Васильченко... Это расширяет представление советского читателя о мотивах, образах и характере украинской прозы.

Страшную картину бесправия народа, его унижения создают новеллисты дореволюционной Украины. Гневом и горечью пропитана повесть о крестьянской доле у В. Стефаника, О. Кобылянской, А. Тесленко и других художников. Но никто из этих писателей не унижает народ обидным чувством жалости, слезливого сострадания. Напротив, писатели находят в самой жизни доказательства тому, что нельзя сломить душевную силу и бодрость народа-труженика, убежденного в справедливости своих требований, своих прав. Во всех случаях, где рисуются отношения угнетателей и

угнетенных, — моральная сила, красота и душевное превосходство на стороне угнетенных. В этом — пафос дореволюционной передовой украинской литературы, по-настоящему и глубоко демократической, подлинной заступницы народных прав. Со страниц сборника новелл встает перед нами образ украинского народа — свободолюбивого, стойкого, активного в поисках достойной человеческой доли и справедливости. Талантливые украинские новеллисты раскрыли главные черты народного характера. Они не питали никаких иллюзий относительно возможного примирения угнетенных с угнетателями. Здоровые демократические начала помогали украинским писателям прошлого честно и смело разоблачать угнетателей. С подлинно украинским юмором, в остро сатирической форме обличается в новеллах сословие эксплуататоров, моральная ущербность этих людей.

Примечателен рассказ Степана Васильченко «Мужицкая арифметика». Возчик Антон просит у своего хозяина, напыщенного самодовольного монополищика Василия Ивановича, чувствующего себя на селе «маленьким князьком», книжечку на праздник почитать. Василий Иванович отвечает на эту просьбу насмешкой — вот-де еще какое чудачество — и дает Антону задачник Евтушевского, заведомо зная, что не такую книгу ждал Антон. А вечером, когда Василий Иванович решил прогуляться и хозяйским оком посмотреть на село, чтобы не было никакого беспорядка, заметил он во дворе Антона компанию крестьян, читавших книжку и заразительно смеявшихся. «Веселая книжка», — говорит Антон. Милостиво разрешив продолжать чтение, Василий Иванович уходит, чтобы тотчас же, крадучись, подобраться к компании и подслушать, над чем же так смеются мужики. Тут все и раскрывается. Антон читает задачки о том, сколько заработал крестьянин, взявшийся привезти лампы из города, или о том, сколько у помещика земельных угодий, а крестьяне по-своему, вполне практически и остро-социально толкуют эти задачки и весело говорят о том, как бы по справедливости поделили они помещичью землю. Так много в этих пояснениях жизненной правды, острых наблюдений, что не стерпел Василий Иванович, выдал себя, грубо отобрал книжку. А крестьяне остались при своем — громким

уничтожающим смехом провожают они монополющика, которому не по вкусу пришлась «мужицкая арифметика».

И в других рассказах сборника противоборство двух социальных сил дано зримо и ясно. Только нет еще у дореволюционных писателей ясного представления о путях борьбы.

Дореволюционные новеллы украинских писателей подтверждают могучую силу демократической традиции в украинской литературе, что сближает ее с великой русской литературой — реалистической, связанной с освободительным движением. Богатым наследством владеют современные украинские писатели, плодотворны традиции украинской литературы.

Современная украинская проза представлена в сборнике новеллами многих писателей, разных по характеру своего дарования.

Новеллы Андрея Головки — «Красный платок», «Товарищи» — относятся к раннему периоду творчества писателя (1926). В них выражена романтика первых лет революции, гуманизм освободительной борьбы. Мотив революционного подвига во имя обновления мира, пробуждения к новому определяет собою содержание новеллы Ивана Ле «Твердый характер». Герою этого рассказа, человеку, униженному годами жестокой эксплуатации, впервые в острой борьбе с силами реакции открылась великая, человеческая правда, и он встал на сторону большевиков, он торжествует победу над врагами. О неустрашимости и стойкости большевика повествует О. Ильченко в драматической новелле «Лекарь уехал в город». Неповторимые черты нашей жизни первых лет революции, боевой молодости комсомола отражены в новеллах поэта Леонида Первомайского «Григор» и «История человечества». Запомнятся читателю наполненные духом классово-борьбы новеллы западноукраинских писателей, написанные ими еще в условиях господства панской Польши — «Казнь» Ярослава Галана, «Роман женится» Ирины Вильде.

О трагической судьбе крестьянина Гната в панской Польше повествует Я. Галан в «Казни». Панский суд присудил возмущенного кулацкой эксплуатацией бедняка Гната к казни, и чудовищность этого приговора столь очевидна, что сами судьи испытывают страх, а образ Гната становится олицетворением грядущего возмездия.

Талантливый, своеобразный писатель Петро Козланюк в образе Ивана Кувалды разоблачает звериную мораль кулака-стяжателя, которого судит победивший, строящий новую жизнь народ.

В рассказе Микиты Шумило «Нестор Горлица» показано, как новые социалистические отношения людей к труду помогают изжить озлобленность, недоверие, которые прививались всем строем старой, эксплуататорской жизни. Все эти рассказы по-настоящему реалистичны, правдивы, драматичны.

Но героический труд советских людей социалистической Украины не отражен в сборнике. Нет здесь рассказов о современности.

Несколько новелл посвящено дням Великой Отечественной войны. Это — «Мать» С. Скляренко, «Хатка на поляне» Ю. Шовкопляса, «Битва» Ю. Смолича, «Весна за Моравой» А. Гончара. Самым ценным в этой серии рассказов является «Весна за Моравой» — рассказ, подкупающий глубоким знанием жизни, психологии людей, победной поэзией нашей советской правды. Старшина батареи Яша Гуменный, воин Советской Армии, дает только что освобожденным от немцев мадярам пример высокого сознания своей ответственности за судьбы мира на земле. И толпа людей, мобилизованных для полнокровной борьбы на передовые позиции, под влиянием героического примера Яши Гуменного приходит к пониманию, что для великой цели, за которую бьется Советская Армия, нужно и великое самопожертвование, настоящий героизм. Побеждает большая человеческая правда, солидарность борцов за мир. Рассказ А. Гончара лаконичен, в нем нет ничего лишнего, он глубоко волнует читателя своим поистине большим поэтическим содержанием.

К сожалению, этого нельзя сказать о других рассказах на темы Отечественной войны, включенных в сборник. «Битва» Юрия Смолича оставляет впечатление нарочитости, надуманности сюжета. Большая костным туберкулезом девочка Ева, обреченная на одиночество и на голодную смерть, берет на себя перед оккупантами расплату за подвиг, свершенный неизвестным ей мальчиком. Здесь мотив героический уступает место мотиву жертвенно-



сти. Не случайно обилие в рассказе страдательных и натуралистических описаний.

Новеллы Н. Рыбака «Смерть поэта» и «Айра Олдридж» С. Скляренко рисуют образ народного поэта Шевченко. Но в новеллах этих, особенно у Н. Рыбака, Шевченко показан не столько борцом за народные интересы, сколько мучеником. Кстати, в новеллах подчеркнута отрицательное отношение Шевченко к Петербургу. Это одностороннее и неверное изображение. В духовной жизни Шевченко Петербург, сблизивший его с великими русскими демократами-революционерами, сыграл выдающуюся роль. В украинской литературе давно уже опровергнута эта ложная односторонность в трактовке образа великого поэта. Для примера назовем повесть О. Ильченко «Петербургская осень», которая неоднократно издавалась и на Украине, и в Москве.

Сборник новелл украинских писателей дает представление о богатстве и разнообразии талантов украинского народа, выдвинувшего замечательных писателей, правдивых и искренних в своем творчестве.

Сборник этот подтверждает, как сильны в украинской литературе традиции подлинного демократизма, как богата ее реалистическая основа. Переводчики (Вл. и Е. Россельс) хорошо передали своеобразие творческого облика каждого писателя, они избежали опасности пагубной нивелировки стиля, что, к сожалению, еще часто сказывается на переводах с языков братских народов. С увлечением, с настоящим чувством радости знакомятся читатели с образцами новеллистического творчества украинских писателей. Но эта радость была бы несравненно полнее и глубже, если бы читатель нашел в этом сборнике и рассказы о современности, о людях — новаторах в труде, героях сталинских пятилеток. В сборнике нет рассказов о новом в жизни украинского народа, о победном его движении к коммунизму, и это существенно понижает идейное звучание книги.

Развитие всей советской литературы связано с темой современности, определяется показом нового в жизни и борьбе советских людей за коммунизм. ЦК ВКП(б) в постановлениях об искусстве особо подчеркнул еще раз значение для развития нашего искусства и литературы современной темы.

## 6

Сборник «Белорусские рассказы» (составил П. Кобзаревский, редактор Г. Шторм) сравнительно с «Украинскими новеллами» «моложе» по составу своих участников. Здесь вслед за новеллами старших мастеров слова — Якуба Коласа, Г. Ядвигина, Змитрока Бядули опубликованы новеллы представителей среднего поколения писателей Белоруссии — покойного Кузьмы Чорного, Михася Лынькова, Янки Мавра и других. В сборнике, наконец, широко представлено молодое поколение белорусских писателей — И. Громович, Н. Лупсяков, И. Мележ, А. Кулаковский и другие. В содержании сборника преобладающее место занимают темы Отечественной войны, героических подвигов народа на фронте и на оккупированной врагом земле.

Сборник рассказов показывает, как органично связана белорусская литература с жизнью народа. Герои этой литературы — рядовые советские люди, люди труда и борьбы. На множестве народных типов белорусская литература раскрывает национальный характер своего народа — его любовь к труду и верность родине, стойкость в защите завоеваний революции, высокие моральные требования, чувство товарищества, самоотверженность, нетерпимость к насилию, порабощению.

Однако присущий белорусской литературе демократизм сборник «Белорусские рассказы» раскрывает односторонне, и в этом повинен в первую очередь составитель П. Кобзаревский.

Героями большинства рассказов о войне, включенных в сборник, являются преимущественно старики, женщины и дети. Они втянуты в активные действия потому, что непереносим гнет ненавистного и подлого врага, напавшего на нашу родину, пытавшегося задушить, уничтожить завоеванное народом право на свободный труд.

Да, война Советского Союза с силами фашистской агрессии была войной в сенародной. Усилиями всех советских людей добывалась победа. Однако это не означает, что главной силой в борьбе с фашистскими захватчиками были люди, стихийно втянутые в активные действия. Между тем, по сборнику «Белорусские рассказы», благодаря определенному подбору произведений, такой вывод — односторонний и неверный — невольно напрашивается.

Лишь в некоторых рассказах — «Крылатый гость» М. Последовича, «В буран» И. Мележа, «Талисман» Вс. Кравченко, «Первая атака» Н. Лупсякова, «В снежной пустыне» И. Шемякина — речь идет о боях Советской Армии, даны некоторые эпизоды партизанской войны.

Не дает представления сборник и о настоящем размахе и организованности всенародной войны с немецкими захватчиками. За очень редкими исключениями, нет здесь показа передовых деятелей народа — коммунистов, рабочих, организаторов колхозной жизни, ставших воинами, защитниками родины. В некоторых рассказах встречаются упоминания о комсомольцах, но сами комсомольцы не стали главными героями повествования. Совсем отсутствует изображение организаторской и направляющей роли партии большевиков.

Зато слишком большое количество рассказов сборника не выходит, как мы уже говорили, за пределы изображения разрозненных, единичных актов неравной борьбы с врагом людей-одиночек. Историю пожилого человека Пархвена Катлубовича рассказал К. Чорный («Большое сердце»). Старик Пархвен всеми горькими обстоятельствами своей жизни при немцах приведен к тому, чтобы стать борцом — и он пускает под откос поезд с немцами. В рассказе М. Лынькова «Васильки» малолетний Миколка, увидав разоренный немцами родной дом и зверски убитых мать и сестренку, становится мстителем. Герой рассказа М. Климовича «Мальвинина доля» — дед Василь — возглавляет борьбу с оккупантами. Дед Кондрат в одноименном рассказе Ф. Пестрака мстит врагу за убийство своих внучат. Колхозный пастух Микола Багрым в рассказе Вс. Кравченко («Микола Багрым из Выглядов»), чтобы поднять дух односельчан, рассказывает им свой пророческий сон. Немцы, перепуганные такой формой агитации против них, пытаются принудить Миколу публично отречься «от своего сна». Но Микола вновь повторил рассказ о вещем сне и погиб от руки врага. Автор так заканчивает повествование: «Никогда не забудется предание о жизни и смерти полешука Микола Багрыма». Мы можем согласиться лишь с тем, что это действительно «предание», и мало в нем от реальной жизненной борьбы белорусского народа.

Страдает искусственностью рассказ А. Кулаковского «Немой». Герой этого рассказа — колхозный конюх, человек чистой, детской души, немой от рождения, становится борцом с оккупантами и в момент своей гибели обретает чудесный дар речи. Искусственен этот рассказ и тем, что герой здесь представлен одиноким в своем подвиге.

Составитель П. Кобзаревский включил в сборник и ряд других рассказов с подобными сюжетами. Здесь нет необходимости разбирать их все. Хотелось бы отметить лишь, что так подобранные рассказы создают весьма одностороннюю картину народной борьбы с фашистскими захватчиками, не показывают читателю определяющей роли нового, социалистического самосознания народных масс, всей силы и всей организованности партизанского движения в Белоруссии. Стусевались в этих рассказах ведущие герои нашей эпохи, уступив место дедам типа Микола Багрыма, Кондрат, немого конюха и т. п. Потому-то большинство рассказов сборника оставляет впечатление, что это скорее легенды, предания, чем изображение реальной жизни эпохи войны, реальных событий, имеющих огромную силу примера. Отсюда и преобладание в рассказах интонации сострадательной, а не героической, присущей литературе социалистического реализма.

Современная Белоруссия — государство передового социалистического опыта, высокой культуры труда — не нашла отражения в сборнике. И это умаляет его общественное и художественное значение.

Есть в сборнике рассказы о колхозном строительстве — «Охотничье счастье» Эд. Самуйленка, «Дружная семья» И. Мележа, «Семениха» И. Гурского. Эти рассказы правдивы, реалистичны. Но удельный вес их в книге не велик, хотя именно эти рассказы открывают читателю побеждающую силу нового, социалистического характера народной жизни.

Превосходно изображено прошлое белорусского народа в рассказах Якуба Коласа — острых по теме, психологически ярких по рисунку характеров. Народный поэт Белоруссии Якуб Колас поистине настоящий мастер новеллы.

Запоминаются рассказы о прошлом Ш. Ядвигина и Зм. Бядули, основанные на

живом наблюдении и фактах действительности, очень близкие народному творчеству.

Белорусским писателям, людям большого жизненного опыта, есть у кого учиться мастерству рассказа. К сожалению, уровень мастерства большей части рассказов сборника оставляет желать лучшего. Да и переводчики А. Островский, П. Кобзаревский и Л. Раковский проявили известную небрежность.

Мы писали о том, что требовательность к себе — непереносимое условие работы писателя, заставляющее его неоднократно переписывать рукопись. Требовательность к труду равно необходима и переводчикам.

Повидимому, в работе над сборником «Белорусские рассказы» и составитель и издательство проявили торопливость, либерализм, нетребовательность. Потому этот сборник во многом не может удовлетворить читателя, стремящегося познать характер великого белорусского народа, своеобразие его литературы, яркой и оригинальной.

## 7

Хорошее впечатление оставляет сборник «Эстонские новеллы» (составил Н. Кооль, редактор А. Дмитриева). Содержание его продумано, идейно-художественные требования поставлены с определенностью. При том, что в сборнике представлены писатели и прошлого и настоящего, что творческие убеждения авторов здесь весьма разнородны, книга получилась цельной, содержательной. Читая новеллы эстонских писателей, мы узнаем, какой душевной, нишей, поистине тесной была жизнь простых людей в буржуазной Эстонии; видим, что установление советской власти полностью отвечало коренным интересам простых людей-тружеников, а война с фашистской агрессией стала школой политической зрелости для эстонского народа, который теперь, в послевоенных условиях, энергично строит новую социалистическую жизнь, выдвигает из своей среды подлинных энтузиастов героического свободного труда. Так, в последовательном чередовании новелл, открывается читателю этой книги великий исторический смысл вхождения Эстонии в семью народов Советского Союза.

Запоминающуюся образную характеристику своего народа дают нам эстонские пи-

сатели-новеллисты. По отдельным черточкам и деталям воссоздают они облик народа, упорного в труде, нравственно сильного.

Герой рассказа «Доктор Грауэнфельс» Эдуарда Вильде (основоположника критического реализма в эстонской литературе), крестьянский парень Тоомас, участвовавший в крестьянском восстании, погубил себя излишней доверчивостью к людям. Тяжело раненый Тоомас попадает в клинику доктора Грауэнфельса, проникается глубокой благодарностью к спасителю своей жизни и доверяет ему тайну своего ранения. Доктор выдает Тоомаса полиции. Драматический рассказ Э. Вильде утверждает идею непримиримости угнетенных с угнетателями, осуждает пагубное простодушие, клеймит показной гуманизм слуг реакции.

Рассказ Фридеберта Тугласа «Душевой надел», навеянный событиями 1905 года, дает потрясающую картину обнищания крестьян-бедняков, «освобожденных» от земли, лишенных всяких прав. Пустыми оказываются мечты юного учителя Юхана Реммельгаса перестроить жизнь силою доброго слова. В тюрьме учитель встречается с крестьянином-бедняком, с которым когда-то свела его судьба в пору розовых мечтаний и надежд. Земля, на которой были сосредоточены все помыслы бедняка, все горячие его думы, теперь навечно уготована крестьянину, похороненному в братской могиле.

Новеллы Эдуарда Вильде и Фридеберта Тугласа отражают революционно-демократические устремления эстонской литературы. Гневный голос звучит в этих новеллах.

В двух рассказах Антона Таммсааре, опубликованных в сборнике, — «Последние деньги», «Газетчица № 17» есть глубокое и искреннее сочувствие к обездоленным беднякам, но сочувствие, в сущности, пассивное: обреченность простых людей, их жалкое существование кажется писателю безысходным, роковым. Преодолеть эту пассивность, подавленность тяжкими обстоятельствами было жизненно важным делом в духовном развитии эстонского народа. И не случайно на новом этапе жизни своей родины советские эстонские писатели показали, как идет преодоление пассивности, как рядовой человек становится общественно активным человеком. Таково содержание новеллы Йоганнеса Семпера «По ту сторону реки». Интеллигент Ян

Калдарик преодолел в себе инертность, мелкую, мещанскую привязанность к вещам и привычному быту и стал солдатом Советской Армии, духовно новым человеком.

В сборнике опубликована одна из ранних (1925), написанных еще в условиях господства буржуазии, новелл Рихарда Рехта «Старый рыбак». Непримируемый конфликт между естественным правом человека пользоваться благами природы и буржуазным правом частной собственности составляет содержание этой новеллы. Рассказ кончается трагической гибелью старого рыбака Сортса, который не мог примириться с полицейским запретом на труд, составлявший весь смысл его жизни. Власть собственнического закона показана в этой новелле во всей своей грубой, античеловеческой силе. Однако в новелле сказываются руссоистские верования автора, поэтизация естественных прав человека.

Широко известно в нашей стране творчество драматурга Аугуста Якобсона. Всеобщее признание получили его пьесы «Жизнь в цитадели», «Борьба без линии фронта». Но А. Якобсон не только драматург, но и большой мастер прозы. В сборнике публикуется его рассказ «В далекие страны» (1936). Как и в драматургии, в прозе А. Якобсона ощутимо сказывается связь эстонского писателя с горьковскими традициями. Рассказ «В далекие страны» — это рассказ о неутолимом стремлении человека труда к счастью, к будущему, о невозможности для этого человека быть рабом быта, ограничиться мелким мещанским благополучием. Романтика народной веры в будущее здесь соединяется с превосходным знанием жизни рабочих. По своему настроению этот рассказ оптимистичен, и потому приходится не согласиться с выводами автора предисловия Л. Тоом, которая пишет: «Писатель как бы отказывается от активного вмешательства в жизнь и становится на позиции наблюдателя». Для читателя ясно, что Якобсон — не холодный наблюдатель, а один из тех писателей, кто всегда видел деятельные силы своего народа и задолго до освобождения Эстонии предчувствовал обновление жизни. Однако приходится пожалеть о том, что составитель не нашел нужным включить в сборник новеллы А. Якобсона советского периода.

Есть в сборнике рассказы, в которых ощутимо передано значение великого исторического перелома в жизни эстонского народа, когда Эстония вступила в семью народов Советского Союза. Отступают в прошлое нищета и скудость жизни, бесправие и подавленность масс. Открывается широкий простор к будущему, к счастью, изменяется духовный облик эстонца.

Рассказ Рудольфа Смирге «Лаг» — это рассказ о победе социалистических начал жизни. Корабль идет к берегам Эстонии. Но на пути по радио получено распоряжение поднять на корабле флаг Советского Союза — Эстония стала советским государством. Капитан Тамару, крупный акционер пароходства, тут же решает изменить курс и идти в Швецию. Для этого человека, в сущности, нет родины, ему дороже всего собственность, деньги, и заранее он предусмотрительно перевел свои богатства в иностранные банки. Но решение капитана наталкивается на сопротивление всей команды. Даже те, на помощь которых он рассчитывал и кого пытался подкупить, отходят от капитана. Не менять курса, идти на Таллин! — это решение команды продиктовано не только естественной тоской по дому. В острой драматической борьбе с капитаном, изменником родины, пробуждается классовое самосознание команды корабля. «Если капитан не выполняет закона и приказа родины, значит он уже не капитан...» — решает команда и борется за твердый курс на Таллин, на советский Таллин. Корабль идет под советским флагом, и, по морским обычаям, человека, не подчинившегося приказу родины, отправляют в одиночестве на шлюпку в открытые просторы моря. Побеждает новое, революционное самосознание, иными — деятельными, собранными, ощущающими свою ответственность — становятся эстонские моряки.

В другом рассказе — «Брат» Деборы Вааранди показано, как скудная жизнь детей каменистых полей Сааремаа сменяется новой, советской жизнью — просторной, исполненной больших свершений. Решительно изменяется судьба человека, и герой рассказа — брат Волли, влачивший прежде горькое существование, становится жизнедеятельным, активным. Он полон больших планов, уелечен перестройкой действительности. Подобно Максиму из

известного нашего фильма, Волли с энтузиазмом берется за практическую деятельность, борется со спекулянтами, с саботажниками, на практике приобретает недостающие ему познания.

Так перед читателем проходит в образах и прошлая жизнь эстонца, задавленного тяжелыми обстоятельствами (рассказы Э. Вильде, Ф. Тугласа и др.), и новая советская жизнь.

Эстонцам бесконечно дорога эта новая советская жизнь, и о ней рассказывают Март Рауд, Эдуард Мянник, Азу Хинт, Дебора Вааранди и другие писатели. Запоминается рассказ Марта Рауда «Годовщина», где передана непримиримая ненависть эстонских крестьян к немцам-поработителям и их прислужникам — хозяевам буржуазной Эстонии, ничем не искоренимая верность крестьян советскому строю жизни. На торжественное собрание по случаю годовщины немецкой оккупации крестьяне приходят все до одного вооруженные свежеструганными дубинами. И настолько внушительное зрелище представляет эта толпа крестьян, настолько ясно ее истинное отношение к непрошеным хозяевам, что «торжество» фактически срывается. Ставленники немцев — волостной старшина Пауль Ендер и его брат, слуга «нового порядка», преуспевающий Юлиус Ендер, — могли убедиться, что власть их призрачна. Народ смотрит на мироедов, как на бешеных собак, и расправляется с ними.

И в других рассказах о днях Отечественной войны показана сила народа, непримиримая его ненависть к фашистским захватчикам, вера в победу советского строя жизни. Писатели создают образы героических борцов за народное освобождение и гневно разоблачают тех, кто изменил своей родине, предался фашистам, стал слугою «нового порядка».

Три последние рассказа сборника — «Мост» Паудя Вийдинга, «Обыкновенный человек» Ильмара Сикемая, «Весна» Эрни Крустена рисуют жизнь послевоенной Эстонии. Герои этих рассказов — бывшие фронтовики, люди большого жизненного опыта. Они вернулись к мирному труду в деревне. Большие планы восстановления и строительства получают горячую поддержку крестьян. Но им все же приходится в прямой борьбе преодолевать навыки прошлого — настроение инертности, разоб-

щенности, власть собственнических инстинктов. Постепенно, в горячем труде, меняется облик деревни, как меняется и психология людей. Властно входит в жизнь новое, победное.

Рассказы о послевоенной Эстонии открывают нам лишь небольшую частичку того великого, чем живет сейчас эстонский народ. Но они примечательны многими деталями и живо передают общий процесс подъема, обновления.

Читая эстонские новеллы, можно, однако, заметить, как еще сильно сказывается на творчестве современных писателей власть традиций прошлой литературы, как сложен для них путь к социалистическому реализму. Традиционен и нарочитый психологизм описаний, особенно проявившийся в рассказе «Дни» Минни Нурме, повествующем о людях, томящихся под гнетом оккупантов, об утраченном доверии. Традиционна и часто встречающаяся еще символика, заступающая место полноценного реалистического изображения (например, рассказ «Стальной трос» Э. Мянника). Для советских эстонских писателей, как показывает содержание сборника, проблема освоения метода социалистического реализма имеет большое жизненное значение. Это даст возможность эстонской литературе быть более активной в преобразовании жизни, повысит ее общественную роль.

По сборнику эстонских новелл убеждаешься, что эстонская литература сильна своей тесной связью с судьбами народа. Сборник новелл воспитывает читателя в духе любви и уважения к трудолюбивому, прекрасному народу Эстонии, помогает понять общность исторических путей советских народов и великих целей строительства коммунизма.

## 8

И вот перед нами вторая книга «Армянских новелл». Первый том этих новелл вышел в прошлом году. Вторая книга «Армянских новелл» состоит из произведений писателей конца XIX—начала XX столетия и писателей советской эпохи. Есть особое, ни с чем не сравнимое своеобразие новелл армянских писателей, которое пленяет читателя, дает ему почувствовать колорит природы и быта Армении, оригинальные черты народного характера. Многовековая поэтическая традиция соединяется в новел-

лах выдающихся армянских писателей с чувством живой жизни, с ее новыми потребностями. Высоко развито в армянской литературе новеллистическое мастерство. Новеллы эти сатиричны, лаконичны по описаниям, порой—это миниатюры. Герои очерчены то в сатирическом аспекте, то в лирическом, но психологический рисунок строг и четок, тонко отмечены бытовые черты, переданы особые краски армянской природы.

Большое место во второй книге «Армянских новелл» занимают произведения обличительные, сатирические. Ханжество, лицемерие прежних «хозяев жизни» обличает Григор Зограб, большой мастер новеллистического жанра («Ради маммоны», «Невинная жертва»).

О судьбе крестьянского мальчика Гикора, отданного «в учение» в город и раздавленного бессердечием и жестокой эксплуатацией хозяев, повествует Ованес Туманян («Гикор»). В рассказе О. Туманяна нет ничего лишнего, он написан как бы одним дыханием и захватывает жизненным трагизмом. О беспощадной власти денег, уродующей человека, о безрассудном стяжательстве бедняка рассказывает Стефан Зорян в новелле «Звонарь Антон», и эта же тема является главной в рассказе Ерухана «Бабушкин дом».

Тему унижения человека в обществе, где господствует власть денег, решает Ал. Ширванзаде в рассказе «Завсегдатай кафе». Герой этого рассказа живет двойной жизнью. Бедняк, он жалок и ничтожен. Но чтобы снискать себе уважение людей, он выдает себя за капиталиста и богача и подвергается жестоким насмешкам и разоблачению.

Ханжескую, оскорбительную для людей мораль эгоистов-стяжателей разоблачает Ерванд Отян в рассказе «Соломон, да не мудрен». В рассказе «Гребень для бороды» выдающегося армянского сатирика Арандзара показано бесправие армян, живущих в Турции, откровенно торгашеский характер буржуазного правосудия, грубые вымогательства турецких «законников». Снизу доверху турецкий суд состоит из лихоимцев, и горе армянину, если он даст хоть малейший повод к судебному разбирательству.

Но рядом с рассказами реалистическими, остро обличающими эксплуататоров, ханже-

скую мораль «хозяев жизни», рисующими бесправие народа в прошлом, составитель поместил рассказы декадентские.

На долгом и сложном творческом пути народного поэта Армении Аветика Исаакяна были отступления, срывы. Поэт отдал в прошлом дань настроениям упадка, пессимизма. Но зачем понадобилось составителю и переводчику «Армянских новелл» Я. Хачатрянцу воспроизводить в книге упадочные новеллы А. Исаакяна «Лиллит», «Чингиз-хан», давно забытые и автором и читателями? В примечаниях об авторах составитель сборника поясняет, что новеллам А. Исаакяна свойственны «философичность, стройность сюжета... кружевная отделка деталей». Плохую услугу оказывает составитель и поэту и читателям, вытаскивая на свет божий обветшалое эстетство, забывая об идейной требовательности.

Армянские новеллисты с любовью и вниманием рисуют людей труда, чистых и благородных, цельных в своих чувствах («Незримые нити» Стефана Зоряна). В романтической новелле А. Сираса «Мамэ и Ашэ» прославляется цельная и сильная любовь, верность девушки своему другу, ушедшему на войну.

Образ домашней работницы Сато в одноименном рассказе Дереника Демирчана — это образ благородного, душевно цельного человека, идущего навстречу тому новому, что принесла революция. Моральное благородство Сато резко оттеняет непривлекательность, мелочность и тупой эгоизм ее хозяев, людей чванных и пустых.

Но современная новая жизнь советской Армении отображена в сборнике до предела скудно, бедно. Составитель сборника явно выразил пренебрежительное отношение к темам современности. Не случайно известный армянский писатель Стефан Зорян — яркий, верный истолкователь и образитель, как пишет составитель сборника, «гражданской войны, перестройки города и деревни» — представлен лишь новеллами о дореволюционной жизни. Тут пренебрежение к современной теме стало уже позицией составителя и издательства, позицией несостоятельной, вредной.

Кроме рассказов Дереника Демирчана, одного из старейших писателей Армении, показавшего начало социалистического обновления своей родины, современной жизни посвящены в сборнике рассказы Рачья Ко-

чара, Аракса Аветисяна. Рассказы эти тематически связаны с периодом Отечественной войны. Но только у Р. Кочара в «Жажде жизни» дано изображение воинского подвига, да и то в схематической форме. Во всех других рассказах о войне повествуется камерно, приглушенно. Большинство этих рассказов сентиментальны, и в этом отчетливо сказывается отсутствие подлинных наблюдений над жизнью.

Об Армении, стране новой социалистической промышленности, о колхозах этой цветущей республики, о социалистической культуре, о новых людях передового социалистического опыта этот сборник не дает представления. И потому, хотя некоторые новеллы читаются с большим интересом и помогают познать народ и его культуру, все же читатель сборника остается глубоко неудовлетворенным. Словно мы долго и подробно всматривались в гравюры, стремясь увидеть рельефный и яркий образ своего современника, наиболее глубоко интересующий нас, но обманулись в своих ожиданиях, так как гравюры эти оказались старинными.

Сборник новелл не ориентирует писателей Армении на освоение тем современности, испорчен дурным эстетством, аполитичностью составителя, не дает читателю представления о реальном состоянии современной армянской литературы.

## 9

За советские годы, особенно после Первого Съезда советских писателей, издано большое число книг, переведенных с языков народов нашего многонационального государства. Не будет преувеличением сказать, что почти все главнейшие произведения классиков братских народов переведены на русский язык и стали достоянием всеобщего читателя. Переведены многие произведения и советских писателей братских республик. Впрочем, не с достаточной планомерностью и вниманием в отношении отдельных литератур. Еще непропорционально мало издано, например, книг азербайджанских писателей, представителей одной из крупнейших братских литератур. Предстоит еще большая работа для того, чтобы шире и богаче были показаны

все достижения литератур братских народов.

На лучших образцах художественного творчества писателей братских народов укреплять дружбу народов — вот благородная цель, стоящая перед литераторами. Цель эта может быть достигнута лишь при том условии, что люди, занимающиеся большим, политически важным делом издания произведений братских литератур, руководствуются требованиями партии, обладают идейной ясностью и не делают уступок аполитичности, эстетству, глубоко чуждым советскому народу. В тех случаях, когда отсутствует идейная требовательность, неизбежно сползание на вредные позиции, неизбежно компрометируется важное и большое дело, как это сказалось, например, в издании «Армянских новелл».

Наша многонациональная советская литература — явление изумительное, ярко подтверждающее животворную силу ленинско-сталинской национальной политики. Товарищ Сталин говорил: «Советские люди считают, что каждая нация, — все равно — большая или малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику, которая принадлежит только ей и которой нет у других наций. Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каждая нация в общую сокровищницу мировой культуры и дополняет ее, обогащает ее. В этом смысле все нации — и малые, и большие — находятся в одинаковом положении, и каждая нация равнозначна любой другой нации»<sup>1</sup>.

Распознать особые, вполне конкретные, исторически сложившиеся черты и свойства литературы каждого братского народа, своеобразие его вклада в общее развитие новой социалистической культуры — это жизненно необходимая задача для литераторов нашей страны, решение которой ускорит рост литературы, создаст то изобилие духовной культуры, о котором говорил товарищ А. А. Жданов.

Наступил уже такой период, когда вопросы развития национальных литератур советских народов стали жизненно важным делом всех советских литераторов, когда нетерпимой является отгороженность писателей, в особенности критиков, от опыта братских литератур. Каждая из них раз-

<sup>1</sup> «Правда», 13 апреля 1948.

вивается не самостийно и обособленно, а в постоянном творческом взаимодействии с опытом других литератур народов нашей страны, строящих коммунизм. Поэтому нельзя замыкаться в рамках одной национальной литературы, нельзя верно понять ее своеобразие и потребности ее роста вне богатейшего опыта всей многонациональной советской литературы.

Исторические решения ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам явились программой перестройки для всех национальных отрядов нашей литературы. Это положение подтверждено работой прошедшего в декабре минувшего года пленума правления Союза советских писателей СССР. Пленум дал оценку состояния армянской, латышской, казахской литератур в свете исторических постановлений партии, пленум работал под знаком решительного разоблачения идейных противников советской многонациональной литературы.

В условиях постепенного перехода нашего общества к коммунизму неизмеримо повышается роль литературы, ее общественное назначение. Успех советских писателей прямо зависит от того, насколько ясными и четкими будут идейные позиции всей писательской общественности, с какой последовательностью и прямоотой будут разоблачены наши противники, настойчиво, под всевозможными прикрытиями пытающиеся подорвать развитие советской литературы, отравить сознание писателей чуждыми настроениями и теориями.

## 10

Тема коммунизма все более властно звучит в нашей литературе. В стихах, в пьесах, в романах тема коммунизма, рождающегося сегодня в реальной борьбе и труде советских людей, определяет собою содержание произведений, звучит в диалогах, думах, поведении героев. Это уже не только прекрасный, но еще далекий горизонт — как эта тема зазвучала в первых пооктябрьских стихах Маяковского («там за горами горя солнечный край непочатый»). Это реальность нашей сегодняшней борьбы за осуществление гениальной сталинской программы построения коммунизма. Это реальность небывалого могущества нашей родины.

Мы помним, что «Литература, — как определил ее товарищ А. А. Жданов, —

призвана не только к тому, чтобы идти на уровне требований народа, но более того, — она обязана развивать вкусы народа, поднимать выше его требования, обогащать его новыми идеями, вести народ вперед»<sup>1</sup>. И понятным становится, почему идея коммунизма сейчас определяет собою дух и смысл многих произведений советских писателей.

С каждым днем, с каждым новым успехом нашего строительства все большее количество людей встает в ряды новаторов, труд которых торопит, приближает наступление будущего. Чуткий к новому, к движению самой жизни писатель не может не писать об этом новом.

В стихах, объединенных общим названием «На ближних подступах», Маргариты Алигер есть такие строки:

Что там — за четвертой пятилеткой?  
Цель все зримей. Точен наш маршрут.  
В будущее первою разведкой  
Стал людской самозабвенный труд.

К своему современнику поэт обращается с призывом:

Гляди вокруг, спеши вперед,  
Живи на свете, как живет  
Твоя держава, твой народ —  
Затем, что вот оно, н а ч а л о.

Большое счастье наше и счастье нашей литературы видеть в сегодняшней борьбе людей за выполнение плана, за расширение передового опыта, как созревает будущее — коммунизм. И лучшие произведения современной литературы исполнены пафоса побеждающих начал коммунизма, которые зримо и ясно проступают в действиях современных героев, в новом коммунистическом отношении людей к труду.

В жизнерадостной, согретой юмором повести молодого писателя Владимира Игешева «Шахтеры»<sup>2</sup>, в которой с таким поэтическим воодушевлением рассказано о тяжелом шахтерском труде, есть замечательная сцена. Главный герой повести Иван Саенко, ночью, в поисках дороги к дому через пустырь, случайно попадает в сад парторга шахты Свиридова и ведет с ним беседу, не зная, что за человек перед ним. Станным

<sup>1</sup> Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград».

<sup>2</sup> Журнал «Знамя» №№ 9 и 10, 1948.



сначала кажется Саенко этот «астроном», в ночи, на отдыхе, открывающий по огням-звездам «новые миры». Но беседа затрагивает самые главные интересы Саенко и увлекает его. У Свиридова вошло в привычку следить ночами за тем, как все новые и новые огни появляются в окрестности на широком донецком просторе. Это вступают в строй восстанавливаемые шахты и цехи заводов. Свиридов говорит своему случайному собеседнику: «Когда я впервые присел отдохнуть на этой плите, гряда огней только-только в самом городе начиналась, а теперь вон какой дугой распространилась... И не сразу, а так же вот, по отдельным точкам-звездочкам нарождаясь, утверждается наше новое жите-бытие в Донбассе...»

«Новое жите-бытие» — это не просто восстановление разрушенного войной. Хочется людям, «чтобы заодно уж и довоенные провалы в гряде заполнялись, новые заводы напрашиваются». Всем содержанием повесть Вл. Игишева показывает осуществляющуюся мечту людей, новый, возросший уровень их запросов.

Когда же разговор Саенко с «астрономом» невольно переходит «на политику», к тому, что враг стремится помешать нам строить, то оба быстро приходят к одному решению, которое хорошо выразил Саенко: «Средство у нас с вами одно: пятилетки. А они тем действеннее в пространстве, чем короче во времени. Пять в четыре — это не только агитационное понятие, а математически точное решение самых сложных задач современности».

Красивые люди населяют повесть Вл. Игишева. Они тем прекрасны, что деятельно, трудом своим приближают сроки наступления коммунизма, и радостно, просторно им жить на земле, воодушевленным великой и смелой целью.

Но в некоторых произведениях современной литературы тема коммунизма получила решение одностороннее, неверное.

Вызывает недоумение стихотворение А. Суркова «На пороге будущего»<sup>1</sup>. В этом стихотворении А. Суркову изменило присущее ему острое чувство жизни, реальности. Картина, нарисованная им, невольно вызы-

вает в памяти седые легенды об апостоле Петре и вхождении спасенных душ в рай-

Подойдем. Кольцо литое тронем.  
Выйдет человек, и скажет он:  
— В эту дверь чужим и посторонним  
Вход наистрожайше воспрещен.

И гордятся тридцатилетним стажем  
(Трудный труд, нелегкие бои),  
Мы стоящему на страже скажем:  
— Пропусти, товарищ! Мы—свои!

Живая, материальная действительность здесь испарилась, остался пугающий символ «врат царства», входа в какое-то неведомое будущее. Литературная абстракция подавила собой тему, идею стихотворения.

Но отдельные, частные и несомненно случайные неудачи в решении большой темы не могут затемнить ее жизненно важного значения в развитии и росте современной советской литературы. Все подлинно значительные произведения нашей литературы прямо и непосредственно связаны с идеей коммунизма, озарены ею.

Именно потому, что движение к коммунизму есть реальный путь труда и борьбы советских людей, преодоления противоречий, подтягивания отстающих, путь огромного подъема социалистической сознательности масс, роста производительности труда, расцвета культуры, а вовсе не жест руки, открывающей дверь в «рай обетованный», — поэтому нахождение и обозначение примет коммунизма, ростков будущего в нашей сегодняшней жизни представляет большой принципиальный интерес для развития нашей литературы. К сожалению, литературная критика не проявила внимания к этой насущной проблеме роста нашей литературы.

Мы, разумеется, только ставим в статье эту великую проблему нашей современности. Решать ее нужно глубоко, во всем объеме, ибо это — настоящее и будущее нашей жизни, самая главная ее черта, которая определяет собою и характер нашей литературы.

Коммунизм, говорил Ленин, это прежде всего высший тип производительности труда. Коммунизм — это новое, небывалое еще в мировой истории отношение к труду. Коммунизм — это движение к «человеческому человеку», подчеркивал Маркс.

<sup>1</sup> «Новый мир» № 11, 1948.

...в коммуно  
душа  
потому влюблена,  
что коммуна,  
по-моему,  
огромная высота,  
что коммуна,  
по-моему,  
глубочайшая глубина.  
(В. Маяковский.)

Движение к коммунизму — это одновременно преобразование и техники, и экономики, и общественной жизни, и характера труда, и всего духовного развития народа.

Разве исторический закон советского правительства о насаждении лесозащитных полос, о преобразовании природы гигантских степей Украины и Поволжья — это не шаг к коммунизму? И разве не естественно, что наша советская литература — самая передовая литература в мире — становится провозвестницей великого движения к коммунизму.

Движение к коммунизму означает решительное освобождение от идейного хлама капиталистического прошлого, наступления на наших идейных противников во всех областях культуры и литературы.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

## ПОЭЗИЯ ПАБЛО НЕРУДЫ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

1

**К**огда в 1924 году вышла книга неизвестного дотоле чилийского поэта Пабло Неруды «Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния», она была замечена всеми ценителями поэзии. Только немногие посвященные знали, что под псевдонимом Пабло Неруда скрывается двадцатилетний уроженец города Темуко Нефтали Рикардо Рейес, дебютировавший в 1921 году маленьким сборником стихов.

Поэзия Латинской Америки переживала тогда эпоху междоусобия. В 1916 году умер последний крупный представитель литературного течения, которое называли «модернизмом», Рубен Дарио, поэт, сочетавший осенние скрипки Верлена с буйным бубном лета Никарагуа. После смерти Рубена Дарио различные литературные школы и кружки пытались продлить поэзию вчерашнего дня, с ее окаменевшими символами и условными чувствами. Иные ревниво следили за последними модами Парижа, другие придумывали местные «измы», уже неспособные оживить жонглирование отвлеченными словами и освежить «маркизы», «лебедей», «лиры» — весь этот ветхий поэтический реквизит.

«Двадцать стихотворений о любви» были скромной книгой, но прочитавшие ее почувствовали, что родился поэт, который сумеет освободиться от ряда условностей и найти свой путь.

Утро, полное бурь,  
в разгаре лета.  
Облака, как белые платочки **расставания**,  
ими размахивает путник-ветер,  
и сердце ветра колотится  
над нашим молчаньем любви.

Вечером я кидаю сети  
в океан твоих глаз  
Ночные птицы клюют первые звезды.  
Ночь скачет галопом на темной кобыле,  
разбрасывая в поле голубые колосья.

Тревога лодмана, ярость ослепшего водолаза,  
угрюмый восторг любви —  
все в тебе затонуло.  
Время итти. Это час холодный и жесткий —  
Ночь его вписывает в любое **расписание**.  
Я брошен, как причал на рассвете.  
Я брошен тобою.

Я привел несколько строк из этой давней книги<sup>1</sup>, ибо в них уже чувствуются некоторые черты творчества Пабло Неруды: связь с природой, свежесть образа, полнота голоса.

Обычно, говоря о начале поэта, не обходят молчанием его родословную. Пабло Неруда впитал в себя великое прошлое кастильской поэзии. Он не пренебрег поэти-

<sup>1</sup> Перевод, как и в последующих цитатах, мой. — И. Э.

ческим и духовным опытом «проклятых поэтов» Франции, в первую очередь Бодлера и Артюра Рембо. Поэт воспринял живительный дух народной поэзии Чили, ее сказителей, среди которых наиболее своеобразным был недавно скончавшийся Хесусо Брито, создатель современного романсеро (Пабло Неруда написал о нем прекрасное стихотворение). Однако наибольшую роль в становлении Пабло Неруды сыграли два других иноязычных поэта.

Пабло Неруда рассказывает: «Когда мы были молоды, раздался поразивший нас голос Маяковского. Среди одряхлевших поэтических систем с их классификацией — рассвет и сумерки — раздался голос, подобный молоту строителя. Поэт погружал свои руки в сердце коллектива и находил там силы для новых мелодий. Сила, нежность и ярость Маяковского остаются поныне высочайшими образцами нашей поэтической эпохи».

Что поразило молодого Пабло Неруду в стихах Маяковского? Мы знаем, что впоследствии Маяковский стал ему близок органическим синтезом личной судьбы и судьбы великой идеи, пафосом социального переустройства, в котором Маяковский видел свою поэтическую миссию. Но Пабло Неруда пишет, что Маяковский потряс его давно, в дни молодости. Автор «Двадцати стихотворений о любви» и «Пребывания на земле» был весьма далек от гражданской поэзии. Маяковский прежде всего подействовал на него прямой обращенностью, отказом от условностей, громовым своим голосом, «силой, нежностью и яростью».

Говоря о Маяковском, Пабло Неруда добавляет: «Уитмэн его любил бы». Два имени поставлены рядом не случайно. Неистребимая жизнерадостность, величие и органичность образов, наконец, пренебрегающий всеми канонами, свободный стих автора «Листьев травы» помогли молодому чилийскому поэту найти себя. Недаром в одной из последних поэм он называет Уитмэна своим «мудрым братом» и обращается к нему со следующими словами:

Дай мне твой голос и тяжесть твоего сердца...

Шли годы. Пабло Неруда поступил на дипломатическую службу, увидел много морей и земель. Его поэтическое мастерство окрепло, слава его росла. Но голос его становился все мрачнее и мрачнее. По его собственному признанию, он изучал «словарь смерти».

Думая об этом периоде творчества Пабло Неруды, я спрашиваю себя: почему этот человек, страстно любящий жизнь, видел перед собой небытие? Нельзя это объяснить литературным увлечением: он никогда не заглядывал в убогий паноптикум последних эпигонов символизма, он говорил: «Я пишу только о том, что вижу, и да оградит меня бог от вымысла». В стихах Пабло Неруды конца двадцатых и начала тридцатых годов смерть была реальностью — отрицанием того мира, который он ежедневно наблюдал и с которым был связан тысячами нитей. Чем полнее, чем сильнее звучал его голос, тем больше в нем было похоронного звона, названного им «лиловым металлом траура».

Отъединенность, связанная с ощущением пустоты, сложность восприятия людей, чувствований, даже предметов заставляли Пабло Неруду прибегать к языку своеобразному и трудному, к почти необъяснимым ассоциациям, к запутанному, похожему на тропы крота, часто загадочному синтаксису. Его поэзию стали причислять к «герметической» — непроницаемой. Амадо Алонсо написал книгу о поэзии и стиле Пабло Неруды, озаглавив ее «Объяснение одной непроницаемой поэзии». Следует, однако, отметить, что большой талант и эмоциональная сила Пабло Неруды спасали даже в этот период его стихи от той «непроницаемости», которая для него самого была проклятьем, а для некоторых посредственных поэтов служила прикрытием их духовного убожества: его сложные стихи доходили до сердца, потрясая своим трагизмом.

О смерти писали и друзья Пабло Неруды — в Америке, в Испании. Казалось, кастильская поэзия продолжает диалог между человеком и смертью, пятьсот лет тому назад начатый поэтом Хорхе Манрике. Смерть, буйная и чувственная, не покидала

стихов и драм Гарсия Лорки, смерть, призрачная и тихая, присутствовала в поэмах Рафаэля Альберти. Над миром нависали грозовые тучи: фашисты жгли книги в Берлине и расстреливали горняков Астурии. Пабло Неруда не был равнодушным зрителем этой трагедии; но дни гражданина и ночи вдохновения тогда еще жили раздельной жизнью. Он чувствовал — нечто отмирало в нем самом, и об этом он говорил так пронзительно, так прекрасно, что, слушая его, многие забывали про ту подлинную смерть, которая уже подкрадывалась к людям и к народам. Недавно французский поэт Луи Арагон написал «Песнь о Пабло Неруде» в духе старых народных песенок. Описывая начало тридцатых годов, Луи Арагон говорит:

И в солдата шаг тяжелый  
было поверить трудно,  
когда чаровал нас голос  
дона Пабло Неруды.

Очарование оборвалось: тяжелый шаг фашистских солдат раздался сначала на улицах Мадрида, потом на улицах Парижа. Но это уже относится к новой эре Пабло Неруды.

## 2

Пабло Неруда в 1936 году был известным поэтом, его любили и в Латинской Америке и в Испании. Он занимал пост чилийского консула в Мадриде. Служба оставляла ему достаточно досугов и для поэзии, и для прогулок по узким улицам милого ему Мадрида, и для бесед с друзьями, среди которых были автор «Цыганского романсеро» Федерико Гарсия Лорка, Рафаэль Альберти, Рауль Гонсалес-Туньон. Они часто собирались в доме Пабло Неруды, сидели на балконе, откуда видны были крыши Мадрида, а за ними сьерра, и беседовали о поэзии.

Потом некоторые удивлялись, что стало с ревнителем «непроницаемой поэзии», как могли в его стихах оказаться слова: «самолеты», «Франко», «винтовки», «партизаны», «комиссары», «народ». Пабло Неруда сам рассказал о том, что с ним произошло, в стихотворении, которое он назвал «Объяснение».

Вы спросите: где же сирень,  
где метафизика, усыпанная маками,  
где дождь, что выстукивал слова,  
полные пауз и птиц?  
Я вам расскажу, что со мною случилось.  
. . . . .  
Мой дом называли «домом цветов»,  
повсюду цвела герань,  
это был веселый дом  
с собаками и с детьми.  
. . . . .  
Разбойники с марокканцами и самолетами,  
разбойники с перстнями и герцогинями,  
разбойники с монахами, благословлявшими убийц,  
пришли.  
И по улицам кровь детей  
текла просто, как кровь детей.

Федерико Гарсия Лорку фашисты расстреляли в Гренаде. Каждую ночь самолеты убивали детей Мадрида. Шла героическая война испанского народа против банд Франко и двух фашистских империй. Чилийский консул мог бы объявить себя блюстителем «невмешательства». «Непроницаемый» поэт мог бы продолжать говорить о «метафизике, усыпанной маками». Но Пабло Неруда поступил иначе: он стал на сторону испанского народа.

В Мадриде, мужественном и обреченном, я впервые встретился с Пабло Нерудой. Меня поразило его лицо — лицо мечтательного андалузда и гордого арауканца. Движения были медлительны, голос мягок, чувствовалось, что этот человек создан для

раздумий, для поэзии, но глаза его горели то нежно, то яростно. Он говорил только о борьбе: «Каса дель Кампо, Лондон, измена, интербригадовцы, народ, Москва, надежда». Он делал все, что мог, — он хотел быть вместе с испанским народом. Он расстался и с песнями дождя, и с раздумьями, и с «домом цветов». Наконец, чилийское правительство приказало ему расстаться с Испанией.

В Чили он написал книгу «Испания в сердце». Это были стихи, полные гнева и восхищения, стихи не зрителя, а солдата. Он отвечал своим недавним поклонникам, испуганным этой книгой:

Вы спрашиваете, почему я не говорю о мечтах,  
о листьях,  
о больших вулканах моей земли?  
Смотрите: на улице кровь.  
Смотрите: кровь  
на улице.

Книга вышла в Чили. Ее вскоре перевели на различные языки Европы и Америки. Она вышла и в Испании — на последней клочке свободной земли. Ее издание было приурочено к третьей годовщине обороны Мадрида — 7 ноября 1938 года, и оно снабжено следующим вступлением: «Большой поэт Пабло Неруда (Гарсия Лорка говорил, что после смерти Рубена Дарио он является самым значительным поэтом Америки) провел с нами первые месяцы войны. Далеко за морем, как бы в изгнании, он написал эту книгу. Военный комиссариат Восточной Армии переиздал ее в Испании. Солдаты Республики сами изготовили бумагу для книги, набрали и напечатали ее. Пусть наш друг примет эту справку, как посвящение».

Есть простота начальная, прирожденная, простота гения или простака. Есть и другая простота, которая приобретается ценой многих блужданий, поисков, жертв — простота мудрости, к которой приходит зрелый художник. Мне кажется, что такой простоты Пабло Неруда достиг в своих поэмах о Сталинграде и в «Лесорубе». В его испанских стихах еще много сложных и подчас трудных для понимания ассоциаций. Несмотря на это, «Испания в сердце» дошла до сердца борющейся Испании. На этот раз книга Пабло Неруды вдохновила не только ценителей поэзии, но множество обыкновенных читателей.

С большой силой любви Пабло Неруда говорит о трагедии Испании, об ее нищете и благородстве.

Испания была сухой и напряженной:  
бубен дня со смутным звуком,  
равнина и орлиное гнездо,  
тишина, исхлестанная непогодой.  
Как я люблю — до слез —  
твою черствую землю,  
твой бедный хлеб,  
твой бедный люд...

Края, затопленные горем,  
молчание без края,  
труд муравья, расщепленные скалы,  
а вместо клевера или пшеницы  
кровь.

Когда читаешь слова ненависти к фашистам, вспоминается не Гюго «Наказанный», который кажется несколько риторичным, но Агриппа д'Обинье, а порой и библейские пророки.

Шакалы, от которых отступятся шакалы,  
гадюки — их возненавидят гадюки,  
камни — их выплюнет репейник.

Говоря об обстреле германскими кораблями мирного города Альмерии, Пабло Неруда проклиняет убийц:

Блюдо яростных вод, развалин и страха,  
блюдо расщепленных позвонков, истоптанных лиц,  
черное блюдо, блюдо крови Альмерии.  
Каждое утро, каждое мутное утро  
оно будет дымиться, горячее, на вашем столе.

Он представляет генерала Франко в аду:

Ты будешь один и проклят всеми,  
один, и от тебя уйдет сон,  
один, и вокруг только мертвые,  
и кровь будет падать на тебя, как дождь,  
и будет течь, вечно течь река боли,  
река вырванных глаз,  
чтобы отражать в ней тебя.

Поэт вдохновенно пишет о мужестве испанского народа, о том, как встали на защиту свободы каменщики и шахтеры, земледельцы и плотники. Он говорит о высоком примере самопожертвования и братства, который показали миру бойцы интербригад:

Вы подымались на фронт Кастилии,  
пришедшие издалека,  
из ваших потерянных родич, из ваших снов,  
чтобы отстоять испанский город.

Далеко от друзей, от того, что стало его жизнью, он вспоминает Мадрид:

В этом городе, где все, что я люблю,  
нет больше ни хлеба, ни света.  
Над сухой геранью хрустальный холод.  
Город горя, раненый, расщепленный, подточенный,  
осколки стекла и кровь,  
город, лишенный ночи, город ночи,  
город тишины и канонады,  
город героев.

Глядя в будущее, он восклицает:

Прекрасно торжество народа!  
Когда идет победа,  
сверкают  
слепой картофель и небесный виноград.

На экземпляре «Испания в сердце», который Пабло Неруда мне подарил, он написал: «Это книга печали и надежды».

После того, как последние отряды республиканцев вынуждены были покинуть родину, Пабло Неруда положил все свои силы, чтобы спасти испанских товарищей, попавших в концлагери Даладье. Он приехал в Париж, ему удалось вывезти из Франции несколько тысяч испанцев.

Он сохранил Испанию в своем сердце. Три года спустя в изумительной поэме о Сталинграде он вспомнил ночи Мадрида:

Она узнала одиночество, Испания,  
как одинок сегодня Сталинград.  
Когда Испания когтями рыла землю,  
Париж был весел и беспечен,  
Испания последней кровью обливалась,  
а Лондон подстригал свои газоны  
и холил лебединые пруды.

## 3

Три города определили судьбу Пабло Неруды. О двух из них я уже упомянул: о Темуко, где он родился, и о Мадриде, где, среди смерти, он обрел подлинную жизнь. Третий город — это Сталинград. Ему посвящены лучшие стихи Пабло Неруды. Подвиг защитников Сталинграда нашел продолжение в жизни и в творчестве чилийского поэта. Я знаю, что и сейчас образ Сталинграда поддерживает этого замечательного поэта, преследуемого всеми ищейками Америки.

Я расстался с Пабло Нерудой в зиму той войны, которую французы называли «забавной», не подозревая, чем закончатся «забавы» их жалких правителей. Коммунистов сажали в тюрьмы, газеты ежедневно клеветали на Советский Союз. Тогда именно Пабло Неруда стал коммунистом, и тогда именно он говорил, что Советский Союз спасет Европу от фашизма. В 1936 году так рассуждали многие левые интеллигенты, в 1943 году так думали почти все. Но Пабло Неруда говорил это осенью 1939 года, когда левые интеллигенты не отставали от правых в нападках на коммунистов и на Советский Союз.

В 1942 году Пабло Неруда был консулом Чили в Мехико. Однажды жители этого города, проснувшись, увидели на стенах несколько необычные плакаты: это Пабло Неруда, пренебрегая дипломатическим протоколом, расклеил свою поэму, посвященную Сталинграду. Величественная ода защитникам советского города местами звучала, как анафема мнимым союзникам Советской России, которые обдуманно оттягивали открытие второго фронта.

Когда тысячи снарядов терзают твое сердце,  
когда ядовитые скорпионы  
жаждут ужалить твое чрево, Сталинград,  
Нью-Йорк танцует, Лондон размышляет,  
а я говорю: подлещи!  
Потому, что я не могу больше терпеть,  
потому, что мы не можем больше терпеть  
в мире, где герои умирают одинокие.

Миру надоели ваши крохотные подвиги,  
когда на Мадагаскаре brave генералы  
торжественно убивают пятьдесят пять обезьян.  
Миру надоели ваши осенние совещания,  
на которых председательствует зонтик.

Поэма начинается потрясающим видением — мир смотрит на один город.

Ночью крестьянин спит, и он просыпается,  
он погружает руки в темноту, он спрашивает рассвет:  
«Заря, солнце утра, свет идущего дня,  
скажи мне, все еще самые чистые руки  
город гордости держат? Скажи мне, заря,  
все ли железо лицо твое ранит?  
И стоит ли еще человек, и гремит ли еще гроза?  
Скажи мне, — говорит крестьянин, — земля еще слышит,  
как героев тяжелая падает кровь?  
Скажи мне, есть ли еще над деревом небо?  
Битва, скажи мне, идет ли еще в Сталинграде?»

И моряк, посередине разъяренного моря, смотрит,  
среди множества влажных звезд он ищет одну,  
красную звезду горящего города,  
и он ее находит, она жжет его сердце,  
это звезда гордости, к ней простирает он руки,  
это звезда плача, она на его ресницах.

Приведу еще несколько строк, в которых поэт говорит о сердце Латинской Америки.



Сталинград, мы не можем притти к твоим стенам,  
мы далеко, мы не в силах притти,  
мы мексиканцы, мы чилийцы, арауканцы,  
мы патагонцы, уругвайцы, гварань. Нас миллионы.  
Мы не можем притти, защитить наш город,  
город огня.

Будет день, мы придем,  
индейцы с разбитых больших кораблей,  
как дети, придем целовать твои камни.

Пабло Неруда знал, что от судьбы Сталинграда, от войны в далекой России зависит будущее и Европы, и Америки, и человеческой культуры. Он не только писал стихи, он выступал как оратор, как памфлетист, как человек, к голосу которого прислушивались все народы Америки. Он разоблачал козни врагов. Он требовал помощи Советскому Союзу. Он призывал представителей культуры жить жизнью народа. В предисловии, которое он написал к сборнику моих военных статей, он обличал «нейтральных» интеллигентов: «Мною овладевает гнев, когда я вижу, как молодой ацтек или аргентинец, или кубинец ноют по поводу Кафки, Рильке или Лсуренса... Безмятежные юноши, преждевременно состарившиеся от своих забот о «чистой поэзии», они забывают о простейшем человеческом долге... Тот, кто теперь не сражается, — трус. Не подобает в наше время искать колосья прошлого или обследовать закоулки снов. Жизнь и борьба людей достигли такого величия, что только в нашей эпохе, в нашей борьбе родники творчества... Чудо великого советского сопротивления это не сверхъестественное происшествие, это глубоко материалистическое чудо, чудо духовное и воистину человеческое». В том же предисловии Пабло Неруда говорит о большевизме: «Великая коммунистическая Партия, единственная Партия Человека».

К теме «чуда великого советского сопротивления» Пабло Неруда возвращается во второй поэме о Сталинграде. Исповедь большого поэта сливается в ней с гимном Сталинграду. Это присяга на верность будущему и человеку. В «Новой песне любви Сталинграду» Пабло Неруда отходит от своей обычной манеры, стих его ближе к классическому, он прибегает к рифмам и ассонансам, чего обычно не делает. Вот начало поэмы:

Я прежде писал о дожде, о море,  
описывал небо, плодовый сад,  
писал о металле лиловом горя,  
теперь о тебе пишу, Сталинград.  
Прежде девушка хранила суеверно  
с платочком вместе стихов моих лад.  
Теперь не здесь — в земле мое сердце,  
в дыму и в свете твоём, Сталинград.  
Я рукой касался облаков, что висли,  
как клочья рубашки, — был мертв закат.  
Теперь я коснулся начала жизни,  
зари, что встает над тобой, Сталинград.

Вот заключительные строки:

Слава тебе — есть воздух на свете!  
Слава тебе — слова не молчат!  
Слава твоим матерям и детям  
и твоим правнукам слава, Сталинград!  
Слава бойцам тумана и гнева!  
Слава каждому из твоих солдат!  
Слава твоим лунам, твоему небу  
и твоему солнцу слава. Сталинград!  
Клок яростной пены, лавы осколок,  
винтовку и плуг я свято храню,  
с ними твоей державы красный колос  
Положите в могилу мою.  
Пусть знают все — то верности клятва —

хоть не был я среди твоих солдат,  
тебя я любил любовью солдата,  
тебе я оставил эту гранату —  
эту песню любви тебе, Сталинград.

Критик-эстет Алонэ, разбирая «Новую песнь любви Сталинграду», заявил, что Пабло Неруда в искусстве стал «реакционером», что он старается писать «общедоступно», пренебрегая сущностью поэзии, что поворот к рифмам — «отступление». Впрочем, Алонэ возмутили не рифмы, а то, что рифмуется в поэме слово «Сталинград», что поэма прославляет Сталинград, что, несмотря на сложность образов, она по мыслям и чувствам действительно доступна миллионам.

Все глубже становилась пропасть между Пабло Нерудой и сторонниками «чистой поэзии». Я хочу остановиться на одной статье, озаглавленной «Цвейг и Петров». Пабло Неруда узнал одновременно о самоубийстве Стефана Цвейга, который жил в Бразилии, и о гибели на фронте Евгения Петрова. Он писал: «Смерть Цвейга естественна, это смерть эпохи, которая не знает, чем дальше жить. Это смерть человека, которому нечего делать на земле в минуты самых высоких дел, это смерть писателя, который написал всё и от которого ждут, что он еще все напишет. Евгений Петров умер, сражаясь и работая. В этом его величие». Так понимал долг писателя Пабло Неруда. Высокие слова он вскоре подкрепил высокими поступками.

## 4

Для Пабло Неруды начались бурные годы. Вернувшись в Чили, он принял горячее участие в работе коммунистической партии; он выступал на собраниях, писал стихи и статьи, объезжал страну, подолгу беседуя с земледельцами, шахтерами, моряками. Рабочие послали его в сенат. Предстояли выборы президента республики. Коммунисты поддерживали кандидатуру Гонсалеса Видела, который поклялся отстаивать демократию, ограждать права рабочих и осуществить аграрную реформу. Сенатор Пабло Неруда стал одним из руководителей предвыборной кампании. Гонсалес Видела был избран президентом, и в правительство вошли три коммуниста. Пабло Неруда продолжал свою работу, он колесил по стране, забираясь в самые ее глухие углы, он обследовал жизнь горняков и участвовал в подготовке нового законодательства.

Еще в годы войны Пабло Неруда задумал большую книгу «Всеобщая песнь», но кипучая деятельность депутата отрывала его от поэзии. В 1947 году руководство коммунистической партии Чили, решив, что творчество Пабло Неруды представляет большую ценность для народа, постановило освободить его на год от повседневной политической работы. Пабло Неруда принял за «Всеобщую песнь». Но тогда...

Я не стану останавливаться на истории «холодного» государственного переворота, который произвел Гонсалес Видела: он напоминает однородные события во Франции и в Италии. В декларациях чилийского диктатора мы узнаем чересчур знакомый всему миру почерк государственного департамента США. Осенью 1947 года Пабло Неруда, вынужденный снова оставить поэзию, заявил: «Различные антикоммунистические декларации Гонсалеса Видела продиктованы империалистами Соединенных Штатов. Вы спрашиваете, в чем опасность? Она теперь в одном — в попытке поработить человека, остановить его развитие. Нацисты побеждены на поле боя в Германии, но нацистов подобрали новые претенденты на расовое господство — янки с Уолл-стрита».

События в Чили разворачивались быстро. Изменник Гонсалес Видела выступил против рабочих организаций, уничтожил свободу слова, подверг гонениям коммунистическую партию, провокационно порвал отношения с СССР. Тогда Пабло Неруда, пользующийся большим авторитетом не только в своей стране, но и во всем мире, разослал открытое письмо, в котором он дал правдивую историю государственного переворота. Пабло Неруда знал, что президент не отнесется спокойно к разоблачению его измены, и свое письмо он закончил предупреждением: если его убьют — виновником будет правительство Чили, в частности Гонсалес Видела.

Вскоре после этого агенты Гонсалеса Видела подожгли дом Пабло Неруды, где хранились ценнейшая библиотека и художественные коллекции; только случайность помешала дому сгореть дотла. Правительство обвинило Пабло Неруду в государственной измене и предало его суду.

Вряд ли чилийские сенаторы забудут шестое января 1948 года. Они собрались в тот день, чтобы снова изъявить свою покорность новоприобретенному диктатору. Тогда на трибуну поднялся Пабло Неруда. Разумеется, сенаторы знали, что он — поэт, следовательно, человек со странностями, разумеется, они понимали, что от коммуниста трудно ждать салонного разговора. Все последующее, однако, повергло их в изумление: человек, обвиняемый в государственной измене, не только не оправдывался, он обстоятельно и сурово обвинял в государственной измене главу государства, президента Габриэля Гонсалеса Видела.

Певучий, медлительный голос Пабло Неруды звучал в тот день жестко. Раскрывая все злодеяния диктатора, он каждый раз повторял: «Я обвиняю господина Гонсалеса Видела»... В чем обвинял поэт президента? Гонсалес Видела нарушил слово, вступив в переговоры с Франко, Гонсалес Видела предал демократию, выступив против забастовщиков, Гонсалес Видела поправ независимость республики, порвав добрые отношения с Советским Союзом по требованию Вашингтона, Гонсалес Видела изменил родине, передав дело обороны страны в руки чужестранцев.

Не довольствуясь обвинениями президента, Пабло Неруда осмелился с трибуны сената прославить коммунистическую партию: «Я приветствую всех коммунистов Чили, женщин и мужчин, преследуемых, изгоняемых, избиваемых, приветствую и говорю им: наша Партия бессмертна. Она родилась, как ответ на страдания народа, и эти гонения только возвеличивают ее...»

Так поэт стал народным трибуном.

Мы мало знаем о бурных происшествиях, последовавших за выступлением Пабло Неруды в сенате. Представители Мексики хотели было укрыть поэта, который является гордостью всей Латинской Америки. Но слова янки — закон не только в Сант-Яго... Полиция Чили была поставлена на ноги. Аргентинские сыщики и мексиканские пограничники не знали покоя. Янки хотели во что бы то ни стало найти мятежного поэта: они боялись, что он может снова заговорить.

И он заговорил. Об этом хорошо рассказал в своей «Песне о Пабло Неруде» Луи Арагон:

Мы связаны общим обетом,  
одни мы песни любили,  
а клетка повсюду клетка,  
во Франции, как и в Чили.  
Друг друга знают народы,  
и весть до нас долетела,  
что в Чили поправ свободу  
изменник слову — Видела.

Ишейки рыщут повсюду,  
в горах и на побережье.  
Кто знает, где нынче Неруда,  
но только поёт он, как прежде.

В феврале 1948 года Пабло Неруда написал поэму «Хроника 1948». «Где-то в Америке» — так определяет свое местопребывание гонимый поэт. Поэма посвящена горю Чили, Парагвая, Косто-Рико, наступлению Трумэна на свободу народов. Он описывает «дурной год, год слепых крыс, год злобы и гнева».

Поэма написана через месяц после речи в сенате, и перед глазами Пабло Неруды все время стоит предатель Гонсалес Видела.

У каждого народа свое горе,  
в каждой борьбе свои тревоги.  
Но подойдите и скажите,  
есть ли среди всех кровопийц,  
среди всех деспотов,

коронованных ненавистью,  
у которых вместо скипетра  
зеленый кнут,  
есть ли один, похожий на этого?  
Он предал и растоптал  
свои улыбки и клятвы,  
он танцевал на своих плевках  
и на горе народа,  
и когда тюрьмы Чили заселились  
черными глазами израненных и оскорбленных,  
он танцевал в Винья дель Мар,  
среди бокалов и ожерелий.  
А черные глаза все глядели и глядели  
в черную ночь.

Поэма кончается словами неистребимой надежды: «Мой народ победит. Все народы победят».

Мне кажется, что для самого автора «Хроника 1948» была как бы подготовкой к большой поэме «Пусть проснется лесоруб» («Да пробудится лесоруб»), написанной три месяца спустя, которая, наряду со сталинградскими поэмами, является вершиной творчества Пабло Неруды. В «Лесорубе» он изобразил весь драматизм эпохи, все ее горе и надежды. Когда об Америке упоминает чилиец или аргентинец, он всегда оговаривает, о какой именно Америке идет речь — о Латинской или Северной. В «Лесорубе» — две Америки. Но и в другом плане — социальном — в поэме тоже две Америки: Америка империалистов и Америка народов. Поэт переходит от Нового света к Старому — к Европе, и от Старого света, от Уолл-стрита к Новому — к Советскому Союзу. Я не знаю в современной поэзии произведения более широкого и более патетического.

«Пусть проснется лесоруб» — большая поэма, в ней около семисот строк. Она написана свободным стихом, подчиненным только внутреннему ритму. Рифмы отсутствуют. Часто автор строит стих на повторности обращения или на равновесии перечислений. Сарказм памфлета сменяется нежнейшей лирикой. В этой поэме Пабло Неруда обращается к своему предшественнику — к Уолту Уитмэну, и следует отметить, что в «Лесорубе» стих (я говорю сейчас только о стихе) иногда напоминает лучшие страницы «Листьев травы».

Поэт говорит о злодеяниях американских империалистов:

...они подносят стакан с кровью  
(один расстрелян, сто расстреляны),  
это коктейль Маршалла.  
Возьми молодую кровь китайских крестьян,  
узников Испании,  
кровь и пот сахарной Кубы,  
слезы женщин  
в рудниках Чили,  
взболтай получше,  
как дубинкой,  
не забудь кусочек льда и несколько капелек песни:  
«Мы защищаем христианскую культуру».  
Горька ли эта смесь?  
Ты к ней привыкнешь, солдатик.  
В любом городе мира, при лунном свете,  
или утром, в роскошной гостинице,  
требуйте этот освежающий напиток  
и платите бумажкой с портретом Вашингтона.

Пабло Неруда призывает тень Уолта Уитмэна вместе с ним прославить возрождение Сталинграда, вдохновенный труд советских людей, наши заводы и лаборатории, сады и поля, «белизну в степи девушек и горлиц», «инженеров, заставляющих дрогнуть каргу», страну, которую поэт называет «матерью свободных».

С редкостной силой и простотой Пабло Неруда передает величие того, кто защищает мир, свободу, счастье народов:

В трех комнатах старого Кремля  
 живет человек, которого зовут Иосиф Сталин.  
 Поздно не гаснет свет в его окне...

Это светящееся окно борется с ночью Америки, его свет — маяк для людей и народов.

Пабло Неруда предостерегает американцев: если они начнут войну, против них пойдут все народы. Он обращается к рядовому американцу — к Джону, брату чилийского или мексиканского Хуана. «Если»... Если двинутся полчища захватчиков, с ними будут сражаться все. Укусом нальются гроздь Франци. Американский солдат, попавший в оливковые рощи Европы, никогда уж не вернется в свою Оклахому. Вся земля подыметса на захватчиков.

Прежде на войне были рвы с водою,  
 проволочные заграждения с когтями и шипами.  
 Но этот ров шире, эти воды глубже,  
 эти заграждения крепче.  
 Это множество человеческих атомов,  
 это узел и тысячи узлов человеческих жизней,  
 это давнее горе народов,  
 всех долин и всех королевств,  
 всех флагов и всех кораблей,  
 всех подвалов, где сгрудилась мўка,  
 всех сетей, что извели бурн,  
 всех жестоких морщин земли,  
 всех станков и горящих домен,  
 всех кипящих котлов литейной,  
 всех ушедших в ночь паровозов.

Перуанцы не станут пушечным мясом. Итальянские партизаны не пойдут против России. Болгарские крестьяне выполнят свой долг. «Но дальше»... Дальше захватчиков ждет самое страшное: Советский Союз.

...Но дальше,  
 нежные и полные решимости,  
 закаленные и веселые,  
 готовые петь или сражаться,  
 вас ожидают  
 мужчины и женщины  
 из тайги, из тундры,  
 солдаты Волги, победившие смерть,  
 дети Сталинграда,  
 сила Украины,  
 огромная, высокая стена камня и крови,  
 железа и песен, мужества и надежды.  
 Если только вы тронете эту стену,  
 вы упадете,  
 вы сгорите, как уголь завода.  
 Почернеют улыбки Рочестера,  
 их развеет степной ветер,  
 их заметет метель.

Если захватчики посмеют коснуться «стены мужества и надежды», по словам поэта, «из лабораторий выйдет освобожденный атом, он дойдет до надменных городов Америки».

Таково грозное предостережение. Но Пабло Неруда верит, что народы расстроят страшные планы империалистов. Он обращается к народу Северной Америки. Он напоминает о благородных традициях борца против рабства, Авраама Линкольна.

Пусть не будет этого.  
 Пусть проснется лесоруб.  
 Пусть придет Авраам со своим топором,  
 со своей деревянной миской,

пусть он отведаёт крестьянской похлебки,  
 пусть его голова — кора древнего дерева,  
 глаза, которые мы видели среди извилин дуба,  
 пусть они вернуться, пусть они подымутся  
 выше самой высокой сосны,  
 пусть он зайдет, как простой покупатель, в аптеку,  
 пусть он погрызет золотое яблоко,  
 пусть сядет в автобус заходустья,  
 пусть заглянет в кино, пусть поговорит по душам  
 с простыми и мудрыми людьми.

Пусть проснется лесоруб.

Поэма кончается торжественным прославлением мира, мира, за который борются все народы. После этого широкого заключения следует другое — лирическое, где поэт говорит о себе, о потерянной родине, о своих сокровенных чувствах. Я приведу конец поэмы, потому что в нем наиболее ярко сказываются поэтические особенности Пабло Неруды — его умение переходить от сложности к простоте, от торжественности к задушевности.

Мир наступающему вечеру,  
 мир переправе и мир вину,  
 мир словам, которые меня ищут  
 и которые в моей крови,  
 как очень старая песня.  
 Мир городу рано утром,  
 когда просыпается хлеб,  
 мир рубашке моего брата.  
 Мир книге и мир в книге.  
 Мир большому колхозу под Киевом.  
 Мир праху погибших здесь и там,  
 мир черному железу Бруклина,  
 мир почтальону, который обходит дома,  
 как день.  
 Мир танцору, который вьется  
 и дразнит, смеясь, вьюнок.  
 Мир моей правой руке, которая хочет  
 написать твоё имя, Росарио.  
 Мир боливианцу,  
 темному, как кусок олова,  
 мир тебе, чтобы ты вышла замуж,  
 и мир лесопильням Био-Био,  
 мир сердцу — оно надрывается —  
 партизанской Испании  
 и мир крохотному музею в Уоминге,  
 где есть подушка с вышитым на ней сердцем.  
 Мир пекарю и его любви,  
 мир мукé,  
 мир всей пшенице, которая зреет на солнце,  
 мир всей любви, которая ищет тени,  
 мир всем, кто живет,  
 всем землям и всем водам.

Теперь я расстанусь с вами,  
 я увижу во сне мой дом.  
 Я вернусь в Патагонию,  
 где ветер стучит о стойла  
 и ревет ледяной океан.  
 Я только поэт, я люблю вас всех,  
 я блуждаю по миру, который люблю.  
 На моей родине горняков кидают в тюрьмы,  
 и солдат там судья.  
 Но я люблю — до самых корней —  
 мой небольшой и холодный край.  
 Если бы мне пришлось умереть тысячу раз,  
 я хотел бы умереть в моей стране,  
 если бы мне пришлось родиться тысячу раз,

я хотел бы родиться в Моей стране,  
 среди дикого араукария,  
 среди бурь Юга  
 и новых колоколов.  
 Пусть никто обо мне не думает,  
 будем думать о всей земле,  
 будем стучать с любовью кулаком по столу.  
 Я не хочу, чтобы снова кровь  
 завладела хлебом и музыкой.  
 Я хочу, чтобы со мной пошли  
 шахтер, девушка,  
 адвокат, моряк  
 и мастер, который делает куклы.  
 Мы вместе пойдем в кино и уйдем отсюда,  
 и вместе будем пить красное вино.  
 Я не пришел что-либо разрешить,  
 я пришел сюда, чтобы петь  
 и чтобы ты пел со мною.

Пабло Неруда скромно говорит, что он «не пришел что-либо разрешить». На самом деле он вновь — после Уолта Уитмена и Владимира Маяковского, — на свой лад, никому не подражая, разрешил одну из важных проблем нашего времени: создание новой поэзии, связанной с трудом и борьбой народа. Его замечательные поэмы опровергают глупые и скучные рассуждения сторонников «чистого искусства» о несовместимости высокой поэзии и гражданской борьбы.

Пабло Неруда продолжает свою поэтическую работу. Ему приходится прятаться от сыщиков всех американских республик. Чем больше растет его слава, тем настойчивее поиски его гонителей. Мне хочется еще раз напомнить, что этот человек по своему характеру был мало приспособлен к той бурной и опасной жизни, которую он теперь ведет. Я вижу его перед собой задумчивого, в халате, перебирающего четки (он любил держать в руке янтарь). И вот он блуждает, перебирается из страны в страну, дразнит преследующих его полицейских и, не теряя ни на минуту веры в правоту своего дела, продолжает писать чудесные стихи. Недавно его старый друг, наш общий друг, испанец Корпус Барга посетил его «где-то в Америке». Он нашел Пабло Неруду вдохновенным и непреклонным.

Когда на Международном конгрессе во Вроцлаве Пабло Пикассо (также старый друг Пабло Неруды) выступил с обличительной речью против людей, осмеливающихся преследовать большого поэта, весь зал поднялся и долго, долго не смолкали приветствия Пабло Неруде.

Я закончу словами песенки Луи Арагона:

Он изгнан, и он повсюду,  
 он загнан, но все ему внемлют.  
 И гневные песни Неруды,  
 как ветер, обходят землю.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ан. Тарасенков.** Поэма о Коммунистическом Манифесте. — **Федор Левин.** «Своя правда» и правда государственная. — **Юрий Герман.** Писатель идет по стране. — **Сергей Колдунов.** Поэзия в походе. — **С. Григорьева.** Повесть о белорусских строителях. — **Н. Лесючевский.** Это и есть социализм. — **Алиса Марголина.** Однополчане. — **Н. Шкляр.** Герои и хищники. — **Виктор Важдаев.** Первая книга поэта для детей. — **Павел Нилин.** Очерки о шахтерах. — **А. Лейтес.** Облик предателей.

## ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЕННАЯ НАУКА

Профессор **К. Базилевич.** Великий русский флотоводец. — Полковник **Н. Денисов.** «Вторые глаза» человека. — Генерал-майор **И. Зубков.** Выдающийся русский полководец — Профессор **И. Звавич.** Ватикан на службе Уолл-стрита. — **Н. Сергеева.** Голос трезвого американца.

## ЭКОНОМИКА И ПРАВО

**Е. Касимовский.** Резервы советской промышленности. — **В. Чепраков.** Грубые ошибки в работе профессора К. Лукашева. — Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Трайнин.** Американский суд. — **С. Зайцев.** Литература к выборам народных судов.

## ТЕХНИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Кандидат технических наук **А. Шмыков.** Справочник «Машиностроение». — Доктор физико-математических наук **Н. Слезкин.** Научное наследие Н. Е. Жуковского. — **Геннадий Фиш.** Книга академика В. Вильямса. — Академик **И. Варунцян.** Теоретические основы советской агробиологии. — **И. Хохлов.** Книга о советском животноводстве.

## МЕДИЦИНА

Доктор медицинских наук **П. Дьяконов.** Советский анатомический атлас. — Доктор медицинских наук **М. Мультановский.** Библиотека практического врача.

## ГЕОГРАФИЯ

**Сергей Марков.** Русские имена на карте мира. — **Евг. Симонов.** К вершинам родной земли.

## *Литература и искусство*

### Поэма о Коммунистическом Манифесте

**П**авел Антокольский—известный советский поэт. Около тридцати лет его стихи и поэмы печатаются в журналах и газетах, выходят отдельными сборниками, звучат по радио, читаются с эстрады. Поэт прошел за эти годы сложный и по-

учительный путь развития. Начав как ученик символистов старшего поколения, П. Антокольский отдал тяжелую дань декадансу. Его ранняя поэзия несет в себе признаки ущербного книжного искусства, далекого от бурь нынешнего века. Лишь постепенно в поэзию П. Антокольского властно проникает социальная тема. Этот процесс был сопряжен у П. Антокольского с борьбой против ста-

**П. Антокольский.** «Тысяча восемьсот сорок восьмой». Поэма. Журнал «Знамя» № 5 1948.



рой декадентской поэтической манеры, постепенного и далеко не легкого высвобождения от тех чуждых народу представлений, которые выражались и в пиетете перед западной, главным образом французской культурой, и в субъективистском понимании исторического процесса, и во многом другом.

К началу Великой Отечественной войны П. Антокольский пришел уже совсем иным, нежели тот, каким его знали читатели двадцатых годов. Стих поэта стал ясней, реалистичней, в творчестве П. Антокольского зазвучали голоса современников — воинов и строителей советского государства. Естественно поэтому, что П. Антокольский смог создать немало удачных, патриотически воодушевленных стихов, а затем и свою лучшую вещь — известную поэму «Сын», в которой с такой силой была выражена ненависть к фашизму и искренняя любовь и восхищение «сыновьями» — молодым поколением нашего народа, вместе со старшими поколениями принявшим на свои юношеские плечи тяжкий груз великого подвига войны против гитлеровских захватчиков.

Недавно П. Антокольский выступил в печати с новой поэмой — «Тысяча восьмьсот сорок восьмой». Тема этого произведения — рождение «Манифеста Коммунистической партии». Широкими мазками поэт рисует вздыбленную событиями 1848 года буржуазную Европу. Здесь «и шелест акций в биржевом сумбуре, и стон шахтеров под обвалом шахт». Маркс трудится над страницами «Манифеста», размышляя об эпохе, переживаемой народами, о грядущей схватке, о поступи истории, готовящей гибель строю эксплуатации человека человеком:

От фолиантов гнутся полки.  
Газеты смяты на столе.  
Спор ненасытный, жаркий, долгий  
Со всей неправдой на земле.

От картин парижского восстания, происходящего в эти дни, воображение поэта переносится в маленькое кафе, окутанное облаками табачного дыма, где происходит встреча революционеров, где Маркс говорит о грозном торжестве революции. И вот призрак коммунизма уже идет по Европе, «во все дома стучась». Это описано с большим поэтическим воодушевлением.

Он рисует коммуниста-борца, молодого и прекрасного, который знает, что не напрасен его труд, что впереди — большое счастье народов, счастье человечества. Вскоре образ молодого борца вытеснен другой фигурой — жилистого, сутулого мастерового, который «на койке, в трюме, в вони кочегарок... глотает Манифест, как кислород». Прекрасно кончается это место поэмы П. Антокольского краткими, энергичными строками о тех людях, которым после смерти Маркса и Энгельса суждено стать во главе пролетарских масс, во главе всего свободолюбивого человечества:

И между тем как завтрашнее горе  
Еще должно слезами изойти, —  
Студент в Казани, смуглый мальчиш  
в Гори  
Уже растут, уже они в пути!

И кончается поэма торжественными и яркими словами о сегодняшнем дне, о современности:

Еще не кончен бой. Он будет,  
Тогда история рассудит,  
Где крупный гад, где мелкий вор,  
И по расследованью зорком,  
Над Лондоном и над Нью-Йорком  
Произнесет свой приговор.  
А мы с тобою будем живы!  
А силы рабства и наживы  
Исчезнут в пламени, в дыму.  
Как танк прорвался с разворота  
Сквозь Бранденбургские ворота,  
День прорывается сквозь тьму!

П. Антокольскому удалось создать нужное нашему читателю произведение, идейно верно направленное и художественно яркое.

Это не значит, однако, что вещь П. Антокольского безупречна. Прежде всего надо отметить ее эскизность, дробность. Поэма явно распадается на отдельные фрагменты, слабо связанные воедино. Этот недостаток композиции, рыхлость строения вещи, думается, должен быть обязательно преодолен в советской поэзии. Социалистический реализм, как метод советского искусства, требует от художника гораздо большей ясности замысла, четкости его поэтического осуществления. В нашей поэзии значительно большую роль должен играть сюжет, логика повествования. Их П. Антокольскому в его новом произведении явно не хватает.

Следует сказать также, что нередко П. Антокольский заменяет показ людей и событий отвлеченной риторикой. Детали реалистического свойства в поэме П. Антокольского есть. Это и торговые счета прошлого века, которые «залапаны коварством, кровью, нефтью», это и прекрасное по своей точности описание пакебота, который везет через Ламанш холщевые тюки с только что отпечатанным тиражом «Манифеста», это и рассказ о революции 1848 года во Франции. Но хотелось бы, чтобы подобных мест в поэме было гораздо больше, чтобы на них опирался весь ход лирического рассказа, чтоб они не подменялись кое-где холодной и высрпней риторикой.

Есть в произведении П. Антокольского и пережитки былых декадентских увлечений. Поэт говорит, например: «Пуускай стихи рыдают, что стихия запаяна, разъята, сбита с ног». Здесь больше увлечения звукописью и игрой слова, чем прямого и ясного смысла. Или другой пример: «Уже трещит небесный кров от стука вышибленных кегель и вышибающих шаров». Право, вряд ли уместно ассоциировать революцию с кегельбаном.

На эту явно формалистическую метафору уже обратил внимание В. Гальперин<sup>1</sup>. Мы нарочно заявляем о своем согласии с этим частным замечанием В. Гальперина, чтобы тут же в корне разойтись с ним в оценке поэмы П. Антокольского в целом. В самом деле, В. Гальперин, отправляясь от некоторых своих частных наблюдений, говорит, что поэма П. Антокольского наводнена «литературными штампами», что поэт искажает «историческую правду», что «тенденция к формалистическому «украшательству» привела П. Антокольского к явным политическим бестактностям, а самый образ Маркса поэтому предстал в обедненном и нарочито сниженном (подчеркнуто мною. — *Ан. Т.*) виде».

Все эти глубокомысленные рассуждения следует решительно отвергнуть. Ведь сказать, что П. Антокольский нарочито снизил образ Маркса, значит заподозрить его в явной вражде к великому

основателю коммунистического учения. Право, нужно посоветовать и В. Гальперину, и «Литературной газете» отказаться от такого явно непригодного в критике оружия, как пресловутая «дубинка», не раз уже осужденного нашей общественностью.

Поэма П. Антокольского, вопреки мнению В. Гальперина, полна искренней любви и неподдельного уважения и восхищения по отношению к Марксу и Энгельсу. Правда, их образы в поэме неполны, эскизные. Но ведь П. Антокольский один из первых берется за эту тему в советской поэзии. В его поэме Маркс произносит тост: «Занас, товарищи! За нашу встречу здесь, за близость новых встреч, за дело Венгрии, Германии и Польши». Критик цепляется за слово «нас» в речи Маркса и обвиняет поэта в том, что он приписал вождям мирового пролетариата «черты высокопарности и бахвальства». Это обвинение совсем не обоснованно. Совершенно ясно, что в поэме Маркс поднимает свой тост за коммунистов, за торжество революции 1848 года, которая развертывалась тогда в упомянутых Марксом странах...

Столь же легковесный характер носит и большинство остальных доводов автора. Непонятен и необъясним сам замысел В. Гальперина. Зачем ему понадобилось компрометировать талантливого и искреннего советского поэта, в основном удачно решившего политически важную тему?

Повторяю, в поэме П. Антокольского есть немаловажные недостатки. Но, критикуя их, все время следует помнить о творчестве автора в целом, о его сложном пути, об искреннем и плодотворном преодолении ряда своих старых ошибок и заблуждений.

П. Антокольский вышел на разведку большой и сложной политической темы, нужнейшей в нашей поэзии. Критикуя его недостатки, надо помочь поэту создать произведения гораздо более широкого значения, в которых поэтом будут окончательно преодолены «родимые пятна» декадана.

Поэма «Тысяча восемьсот сорок восьмой» — одна из вех на пути П. Антокольского к полнозвучной поэзии социалистического реализма.

**В. ТАРАСЕНКОВ.**

<sup>1</sup> В. Гальперин. О патетике подлинной и мнимой. «Литературная газета» № 65, 14 августа 1948.

## „Своя правда“ и правда государственная

Повесть Ю. Лаптева «Заря» написана внимательным к жизни и любящим наших людей писателем.

Руководящим принципом в оценке людей, критерием их поступков является в повести степень достигнутого тем или иным персонажем общественного сознания. Федор Бубенцов принимает близко к сердцу интересы своего колхоза. Он человек волевой, напористый, энергичный. До войны он был лучшим трактористом МТС. Иван Торопчин знает эти качества Федора и выдвигает его, как наиболее подходящего человека, на пост председателя колхоза. И Бубенцов горячо берется за дело. Но между ним и Торопчиным не раз возникают резкие столкновения, даже чуть не приведшие к разрыву. Торопчину не раз приходится поправлять и осаживать Бубенцова. Бубенцов искренне и страстно хочет поднять хозяйство колхоза на высокий уровень, буквально завалить колхозников хлебом, но он явно переоценивает свое значение, полагаясь лишь на себя. Колхоз представляется ему персонифицированным в единственном его, Бубенцова, лице. Бубенцов командует, распоряжается, но не чувствует, что вся его сила — в колхозе, в народе, что без колхоза он ничего сделать бы не смог. Он не очень-то склонен советоваться с колхозниками, с правлением. Он сам, съездив в район, единолично берет там обязательство выйти на первое место по району, вызывает другие колхозы на соревнование.

Ему не хватает глубокого сознания своей роли руководителя именно колхозного коллектива и понимания сущности тех взаимоотношений, которые должны быть у него с этим коллективом, отношений, определяющих самим характером колхозного строя, социалистической жизни.

Заботясь о своем колхозе, Бубенцов как бы теряет сознание общей государственной перспективы, не видит того, что колхоз «Заря» — лишь частица нашей огромной социалистической родины, взаимосвязанная со всеми другими ее частицами. Дед Бу-

бенцова и его отец были когда-то единоличниками, они заботились о своем хозяйстве, о своей семье, а не о соседях, не о селе. Бубенцов — колхозник, колхоз ему дорог, он бы, конечно, с негодованием отверг даже мысль о возвращении к единоличному хозяйству, если бы кто-нибудь ему это предложил. Понятие своего двора расширилось у него до понятия своего колхоза. Но колхоз стал для Бубенцова как бы единоличным хозяйством, это его «двор», и он, подобно отцу и деду, не очень-то думает о других «дворах» — соседних колхозах, о районе, и далее — о стране, находящейся за пределами района. Нельзя сказать, чтоб Бубенцов не был патриотом социалистической родины, нет, он воевал за родину, отдал за нее свою кровь. Бубенцов — коммунист. И при всем том, государственное сознание неразрывного единства своего колхоза со всеми другими частицами социалистического общества еще не проникло во все поры души Бубенцова, еще не определяет всех его поступков. Свой колхоз порою заслоняет от Бубенцова все остальное. Вот почему наиболее острое столкновение с Торопчиным происходит у Бубенцова именно тогда, когда он узнает, что в его отсутствие Торопчин дал соседнему колхозу двух лошадей и необходимый инвентарь, чтобы помочь справиться с севом.

В столкновениях с Торопчиным, благодаря им, Бубенцов многое понял, многому научился, вырос. Очень важную роль сыграло для него, да и не только для него, колхозное собрание, которым завершаются события в повести о колхозе «Заря». Здесь, в критических и самокритических выступлениях колхозников, проверяются все поступки, все поведение и Бубенцова, и Торопчина, и многих других, здесь подводятся итоги, и Бубенцов, выступая в конце собрания, говорит так:

«Вот Торопчину Ивану Григорьевичу объясняться не надо. Все его мысли люди выразили. Значит то, что он в народе посеял, крепкий росток дало. А мне... мне, пожалуй, и сказать нечего. Думал я, что для вас стараюсь, для колхоза то есть. Но, видно, коротенькими мои мысли оказались, как у зайца хвост, раз вы же меня

Ю. Лаптев. «Заря». Повесть. «Советский писатель», 1948. (Первоначально повесть была напечатана в журнале «Звезда», №№ 5 и 6 1948).

и осудили — те самые люди, для которых я старался».

Бубенцов понял, в чем он ошибался, и колхозники, не приняв его отказа, вновь избирают его своим председателем.

Не у одного Бубенцова оказались «коротенькие мысли». Метко критиковавший его бригадир Брежнев, отличный умелый работник, сам того не замечая, подобен Бубенцову. Если Бубенцов заботится только о своем колхозе, то Брежнев заботится только о своей бригаде. Он собрал в ней лучший инвентарь, лучших лошадей, запасся семенами и всем прочим. Он следит за агрономической литературой. Всем хорош бригадир, но... помогать другим бригадирам, поделиться с ними знаниями и опытом он и не думает. Брежнев даже недоумен, когда другие бригады перенимают его опыт. Он, правда, готов помочь им, но только одним способом — взять их на буксир, когда закончит свои работы, а другие бригады отстанут, то есть он готов помочь так, чтоб это способствовало умножению его личной славы, его личных заслуг.

Горизонт Брежнева еще уже, чем горизонт Бубенцова: для Брежнева его бригада — тот же единоличный «двор», что для Бубенцова — колхоз.

Совсем уж «коротенькие мысли» у Шаталова. Бывший батрак, один из первых активных участников коллективизации, он, во-первых, оброс жирком, заполучив в свое время фруктовый сад своего раскулаченного дяди, а во-вторых, приохотился к почету и уважению, отучился работать, решил, что ему за все его прошлые заслуги самой природой, так сказать, положено руководить. Когда Бубенцова избрали председателем, Шаталов, сам рассчитывавший на этот пост, начал исподволь склочничать, раздувать разноречия между Торопчинным и Бубенцовым. Его позиция — самая неприглядная.

Иван Торопчин — секретарь партийной организации — человек, стоящий на высокой ступени социалистического сознания. Он — партийная совесть в колхозе «Заря», он — человек глубоко принципиальный, с широким общегосударственным пониманием дела. Он думает и о своем колхозе и о соседних, о государстве, о партии. За конкретными повседневными дела-

ми он не теряет большой перспективы строительства коммунизма. Вместе с тем, он любит и понимает окружающих людей, умеет их воспитывать и убеждением и резким противодействием, если это требуется. Торопчин не смущается тем, что ему приходится вступить в конфликт с отцом своей любимой девушки, Шаталовым. Торопчин чувствует поддержку лучших людей колхоза, тех, которые пока еще не могли бы так руководить, как он, ибо им не хватает опыта, знаний или выдержки, но в будущем станут такими, как он, ибо у них уже теперь мысли не коротенькие. Они составляют опору Торопчина, они — ядро колхоза. Бригадир Коренкова в своей речи на собрании правильно объяснила, в чем сила Ивана Торопчина.

«Не тем он хорош мне, Иван Григорьевич, что какие-то особенные подвиги совершает, нет, так же трудится человек, как и многие из нас. И живет тут же на селе одинаково, как все мы, колхозники, — трудно пока живет. Но, может быть, никто из нас не видит так ясно, как Торопчин, той светлой жизни, к которой ведет всю страну наша партия...»

Одного не поняла Коренкова: того, в чем ошибается Бубенцов. Ведь он тоже, как и Торопчин, заботится о колхозе. «Значит есть и у Федора Васильевича своя правда», — говорит она.

Но ее тут же поправили. Комбайнер Рошупкин с места поясняет: «Неверно говоришь, Марья Николаевна. Своей правдой Бубенцов тем подсеивает, кого ты сама осудила. Правда в нашей стране одна — государственная. А страна наша к коммунизму идет».

В этих словах как бы подведен главный итог и указан главный критерий, в свете которого становится ясно, каковы люди, каковы их поступки и побуждения, куда расти людям, на что им равняться в своей жизни. В этом идея повести Ю. Лаптева. Брежнев, Бубенцов, Торопчин характеризуют собою разные ступени роста общественного сознания, этапы его подъема под руководством партии на высоту социалистического сознания.

Размышляя над этим, видишь, что повесть Ю. Лаптева отразила новые процессы и явления, характеризующие жизнь именно современной колхозной деревни. В са-

мом деле, разве таковы были конфликты и противоречия лет 15—20 назад? Когда Шаталов был одним из организаторов колхоза и боролся против кулачества, он боролся с враждебным антагонистическим классом. Таков был тогда характер борьбы нового со старым, и средством этой борьбы была ликвидация враждебного класса.

Брежнев лет 10—15 назад был хорошим бригадиром, рачительным хозяином, выходил со своей бригадой на первое место, заботился о применении агротехнических достижений и по праву считался передовиком и новатором, так как его работа содействовала росту и развитию колхоза.

Но с тех пор необычайно далеко ушло вперед развитие колхозов, необычайно выросло социалистическое сознание народа. Уже недостаточно быть самому хорошим бригадиром, рекордсменом, надо заботиться о том, чтоб сделать свой опыт, свои успехи общим достоянием. Стахановское движение характеризуется уже не отдельными стахановцами, а стахановскими бригадами, цехами и целыми заводами. То же происходит и в деревне. И Брежнев, со своим мелким честолюбием, своими «секретами» и хитростями, оказывается теперь человеком с коротенькими мыслями и даже может стать тормозом в дальнейшем развитии. Точно так же Бубенцов, мысль которого с трудом переходит за границы интересов своего колхоза, оказывается человеком уже не передовым, а отставшим. И теперь борьба нового со старым происходит между Торопчиным, передовым коммунистом, представляющим это новое, и Бубенцовым и Брежневым, которые представляют собою вчерашнее новое, но ныне уже старое. Это борьба передового не с отсталым, а с отставшим. И борьба эта носит хотя и острый, но отнюдь не антагонистический характер, ибо нельзя сказать, что Бубенцов и Брежнев враждебны колхозной жизни, было бы нелепо заподозрить их в желании возвратиться к единоличному хозяйству. И потому борьба Торопчина, опирающегося на народную толщу, на основную массу колхозников, против Бубенцова ведется путем критики и самокритики, в результате которой противоречие преодолевается, и весь колхоз, а в том числе и Бубенцов, подымается на новую, более высокую ступень.

В самом возникновении и характере тех конфликтов, которые раскрыты в повести «Заря», обнаруживается тот огромный рост общественного сознания, который явился результатом тридцатилетней истории нашего государства, работы нашей партии, результатом Великой Отечественной войны, войны, во время которой каждый гражданин нашей страны особенно остро ощутил, в чем состоят сила и преимущества нашей общественной системы — социалистического строя.

В изображении новых процессов, новых конфликтов, знаменующих наше движение вперед, — заслуга повести Ю. Лаптева.

Повесть Ю. Лаптева — не очерковые записи и не беллетризованные тезисы, а жизнь, увиденная и точно оцененная художником. Едва ли не главная его удача — образ Торопчина. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что это один из пока еще немногих удавшихся образов партийного руководителя в нашей литературе — живая и убедительная фигура. С сердечной теплотой, просто и правдиво написана Коренкова. В заслугу автору надо поставить и образы Бубенцова, звеньевой Дуси Самсоновой, Брежнева. Хороши почти все диалоги, в которых Ю. Лаптев сумел запечатлеть меткую, живую, образную, порою афористическую манеру, свойственную русской народной речи.

Однако повесть не свободна и от недостатков. Так, например, мало обосновано, почему Торопчин поддержал выдвижение Бубенцова в председатели колхоза, после того как Бубенцов десять месяцев не работал, а «гулял». Тут явный пробел: нам не хватает размышлений Торопчина по этому поводу.

В повести есть несколько колхозников, совсем не очерченных, а только названных. Запомнить их нельзя, они лишены каких бы то ни было примет. Нельзя признать удачным и образ секретаря райкома Васильевой. Ю. Лаптев наделял ее явно преувеличенной проницательностью. Она буквально читает мысли тех, с кем разговаривает. Этим чтением мыслей, собственно, и ограничивается ее роль в повести.

Кое-где автор, как бы не доверяя проницательности читателя, излишне комментирует поступки и характеры своих ге-

роев. Наконец, в некоторых описаниях Ю. Лаптев прибегает к штампам. «Стремительно и бурливо, как весенние ключи, пронеслись дни». Встречаются и безвкусные вычурности: «Закрутил Федор свою жизнь трескучей каруселью, покатил ее по гладкой легкой дороге, как гремучую бочку под гору».

Но это лишь частности. А в целом повесть — удача. Она насыщена правдой жизни. И — главное — она заставит, может быть, не одного читателя самокритически обнаружить у самого себя кое-какие «коротенькие мысли» и поступки, которых он раньше не замечал.

Федор ЛЕВИН.



## Писатель идет по стране

Семен Бытовой рассказывает: «Просматривая подшивку районной газеты, я удивлялся, почему все номера больше чем за год посвящены одному и тому же вопросу — пользе коровьего молока.

Об этом говорилось и в патетических передовицах, и в более спокойных подвальных статьях, и, наконец, об этом же кричали жирные шапки над полосами. В одной газете я прочел заметку старого эвена. «А я пью молоко, — писал он, — очень вкусно. Утром пью и вечером пью, и у меня ничего не болит».

Потом я прочел рассказ о корове:

«В стойбище Кекуй жил сельский активист. Звали его Василием Храповым. Когда к нему пришли гости, он целый вечер потчевал их молоком. До капельки выдоил он у коровы вечернее молоко и угостил им своих приятелей. Гости были очень довольны. Счастлива была и корова. А вот другой активист — Иван Бусанов, из стойбища Анавгай, доит корову раз в два дня. Корова бесится. У нее распирает вымя, и ей очень больно. И корова решила бежать от Бусанова. Она бежала до тех пор, пока не встретила хорошего хозяина Храпова, который приютил животное. Храпов доит корову два раза в день — утром и вечером. И всем очень хорошо».

«В продолжение веков эвены не ели другой пищи, кроме оленьего мяса и рыбы. Коровье молоко они узнали только при советской власти. Теперь в Эсо много дойных коров, почти каждая семья получила в бесплатное пользование корову. Но мало кто умеет ухаживать за животными. Пить коровье молоко эвены не только не

привыкли, но на первых порах даже боялись. Не обошлось и без шаманов. Они проклинали тех, кто начинал пить молоко.

Много труда стоило успокоить женщин, когда они узнали, что в школе учителя приучают детей пить молоко. Необходимо было научить эвенов обращаться с коровой, приучить их пить молоко. В этом было спасение здоровья маленького трудолюбивого народа».

Очень лаконично, простыми, житейскими, обиходными словами ведет С. Бытовой свое повествование о том, что довелось ему увидеть на Камчатке. И в каждом эпизоде, в каждой главке, в каждой встрече читатель непременно увидит советского человека и его дело. И о каждом рассказанном случае читатель подумает: так могло быть только у нас. Да и в самом деле, какое государство, кроме советского, будет из года в год приучать маленький народ к тому, чтобы этот народ только для собственного здоровья пил молоко. Где это слышано? Где это видано?

И С. Бытовой рассказывает — вот как оно у нас устроено: «с тех пор, как в Эсо пришли русские люди — учителя, зоотехники, партийные и советские работники, — будто солнце поднялось над горным хребтом. Перестали умирать дети эвенов исчезли многие болезни, гнездившиеся прежде в душных юртах».

Об очень многих интересных вещах узнает читатель из маленькой книжки С. Бытового. Прежде всего читатель увидит и почувствует Камчатку. Потом читателю захочется там побывать. А затем захочется там поработать. И не потому, что С. Бытовой рассказывает о Камчатке, как о некоем курорте, где все готово к услугам человека, а именно потому, что С. Бытовой

Семен Бытовой. «Камчатские встречи». «Молодая гвардия», 1948

со вкусом, с увлечением, всерьез и без всякого лака и украшательства рассказывает о работе, о том, что уже делает и что еще может сделать на Камчатке советский человек. Врач, зоотехник, агроном, рыбак, летчик, учитель — всем есть что делать, для каждого огромные, непостижимо интересные творческие перспективы. Работать, конечно, трудно. С. Бытовой и не пишет, что легко, но зато как удивительно интересно!

И еще одно ощущение не оставляет читателя, откуда он читает эту книжку: ощущение богатства. Ощущение богатства и гордости. Какая же мы страна! И как интересно в этой стране! И сколько в ней всего — самого разного, самого неожиданного, самого удивительного. Возьмите того же Васю Красношапко, описанного С. Бытовым. Вспомните, как он спорил — живой кит или не живой, и как оказалось, что кит в самом деле живой, и что потом случилось. А совсем рядом С. Бытовой рассказывает о том, как Красношапко обиделся на артистку за то, что она пожаловалась, будто ее укачивает на катере, и тут же рассказывает о страшном шторме «курилке» и о том, как старшина Красношапко, потеряв управление катером, все-таки спас и команду и посудину, выбросившись на берег вместе с «девятым валом». И читатель не сомневается — все так и было, тут ничего не придумано и не приукрашено, такие уж у нас люди, иначе быть не может...

А исабунчики — храбрые шлюпочники, а курибаны — приемщики лодок на морском берегу — люди, на которых можно положиться, которые в любую непогоду примут груз и не испугаются.

А агроном Первушин? Разве не интересно читать о том, как на Камчатке в засушливом году снимали по четырнадцать-шестнадцать центнеров пшеницы, а нынче снимут по двадцать? И разве не интересно знать о том, как на Камчатке торопят природу, рассыпая пепел и золу по снегу для того, чтобы вызвать искусственное снеготаяние? Темный цвет вбирает в себя яркие зимние лучи солнца, и недели на три раньше обычного срока с полей сходит снег.

С рюкзаком и палкой идет писатель по Камчатке. Нет местного средства передви-

жения, которое бы он не испытал. Неделями тащится он по реке, бредет тропинками через тайгу, ночует в лесу, в шалаше — где придется. И никогда — это очень существенно — не жалуетса на скуку. Все интересно вокруг, все увлекательно, все имеет свою историю, свое замечательное настоящее, свое грандиозное будущее. И С. Бытовому не скучно с батовщиком (лодочником), который утешает его в трудные и опасные минуты скептически-пренебрежительным «никак, паря, однако», не скучно. Потому, что в скромном и тихом батовщике он видит настоящего человека — смелого и честно, скромного и сильного, одним словом, советского человека.

С рюкзаком и палкой идет советский литератор по Камчатке, идет неторопясь, идет — и смотрит внимательным взглядом: вот Ушки, тут работает Мария Андреевна Андреева. Ушковский рыбопроизводный завод — ее детище. Одиннадцать лет тому назад Андреева приехала сюда и осталась тут. Ей очень интересно. Интересно и литератору. Он остается в Ушках, снимает рюкзак, ставит палку в угол и смотрит, чтобы потом рассказать людям про еще одного замечательного человека и про еще одно интереснейшее дело.

А вот доктор Валерия Михайловна Медведева, именем которой камчадалки называют своих детей. Разве не интересно? Конечно, интересно. И в книжке С. Бытового возникает страница из дневника доктора Медведевой:

«Вскрыла брюшную полость. Только взяла на зажим отросток, вдруг закачались стены. Упали на пол с подоконника две большие колбы и разбились со звоном. Что-то тяжелое рухнуло на крыше и с грохотом покатилося вниз. Санитарки испугались, кинулись к дверям. Кричу им: «Обратно к столу, поднять лампу!». Но тут опять все закачалось... Напрягаю силы, чтобы не выпустить из рук зажим с отростком. Если упадет обратно в брюшную полость — загрязнит ее, и не сразу потом найдешь. Я и так долго искала его... Хочу, пока тихо, закончить операцию. А тут опять закачалось, опять подземный толчок. Санитарки следят за мною, крепятся, но лампы держат хорошо. Ходики не тикают. Остановились. После как-то спросила Спиридона (оперированного тогда): «Чуял, как трясло?». — «Нет, матуська, не чуял».

Это происходило во время сильного землетрясения перед извержением Ключевого вулкана.

А Тумроковские целебные ключи, на которые больные отправляются с ружьями, потому что нигде «столько баранов нет, как на Тумроке. Лежишь в ванне — сами подходят, так что без промаха бьешь». И мимо Тумроковских ключей не пройти — тоже интересно.

А вулканологи и их работа на Камчатке?

Разве можно пройти мимо того, как они — группа советских ученых во главе с Меняйловым и Набоко — отправились

изучать кратер вулкана Шивелуч, как осыпал и жег их горячий пепел, как все вокруг содрогалось и грохотало, как создавалась на самом гребне вулкана передовая наблюдательная база и как там, у самого огнедышащего кратера, сменяя друг друга, жили ученые?

С. Бытовой написал хорошую книжку.

Такие книжки будут читать и взрослые, и подростки, потому что читаешь — и чувствуешь, как интересно жить в Советском Союзе и сколько замечательного можно и самому делать и видеть.

Юрий ГЕРМАН.

★

## Поэзия в походе

Одна из особенностей поэзии Николая Грибачева состоит в ее юношеской взволнованности и деятельном отношении к жизни. «Я земли готовой не приемлю», — говорит он в своих стихах. «Жажущий, упрямый, полный сил, я хочу, чтобы моим твореньем каждый плод и каждый колос был».

В этом заявлении выражено подлинно поэтическое мироощущение Н. Грибачева, наполненное той щедрой радостью созидания, которая в высокой степени свойственна гражданам нашей обширной работающей земли.

В книге, выпущенной «Советским писателем», содержатся стихи последних лет и большая, уже известная читателю поэма «Колхоз «Большевик», получившая в 1947 году Сталинскую премию. Материал здесь представлен разнообразный: тут и походные солдатские заметки и стихи, посвященные возвращению к родным местам, личная «московская лирика» и широкие картины колхозной жизни. Однако всюду — и на чужой земле, и среди близких людей, как в заметках о виденном, так и в думах о пережитом — Николай Грибачев остается верен единому, целостному восприятию мира, которое характеризует его прежде всего как советского поэта. Это не безличное, бесстрастное созерцание, а творческое мировосприятие человека, желающего переделать мир.

Торжествующей, радостной и полноценной предстает перед Н. Грибачевым жизнь на советской земле. По ряду теплых поэтических подробностей легко поверить, что здесь и сам поэт полон

той жаждой жить, которой все мы,  
перебродив, как жизнь сама,  
преобразуемся в поэмы,  
в колосья, шлюзы и дома.

Этот переполняющий стихи Н. Грибачева оптимизм — устойчивый трудовой оптимизм человека, который нашел настоящий смысл жизни в том, чтобы жить и творить сообща со своим народом, не для себя только, но и для сотен и тысяч других людей. Эта потребность превращать хорошие мысли в дела, а добрые намерения в настоящие вещи — в заводы, в шлюзы, в дома — освещается в стихах Н. Грибачева светом большой цели. Дом для него не просто дом — поэт постоянно помнит о том,

сколько смеха и женских ласк  
вспыхнет в светлом тепле квартир,  
сколько круглых ребячьих глаз  
здесь впервые увидит мир.

Это оптимизм человека, созидającego коммунизм, реально чувствующего ту самую радость «строить счастье из славных дел и обычного кирпича», которую настойчиво утверждает вся советская поэзия

Характерная в этом отношении поэма «Колхоз «Большевик» представляет собой радостный гимн колхозному строю. Предметом изображения является здесь колхоз-

<sup>1</sup> Ник. Грибачев. «В походе». «Советский писатель», 1948.



миллионер, передовые люди, счастливые мгновения жизни. Удача в труде, в быту, в личных делах: счастливая любовь, вдохновенная работа на полях, страстное обсуждение проекта колхозной электростанции, почетная сдача хлеба государству — все сливается тут в неудержимый поток торжествующей и победной, преображенной социализмом жизни. И немудрено, что весь поэтический строй поэмы — острые метафоры, красочный пейзаж, очень естественный, тронутый народным юмором диалог — оставляет по себе впечатление праздничности и богатства жизни. «И запахами новизны, — как говорит сам поэт, — овеян колхозный уют, и люди, от счастья хмельны, за Сталина здравницу пьют».

Можно, конечно, упрекнуть Н. Грибачева за известное невнимание к трудностям и драматической стороне жизни. Но нельзя не признать, что праздничные тона его поэзии порождаются основным качеством его поэтического мироощущения — его деятельным отношением к строительству коммунизма. Наравне со своими героями поэт воспринимает эпоху борьбы за торжество коммунистических идей, как самое яркое и праздничное время за все существование человечества. Этим основным чувством окрашивается у Н. Грибачева все восприятие мира в целом и каждого явления в отдельности.

Можно заметить также, что горячая заинтересованность автора ведет иногда к тому, что изображаемые поэтом вещи и люди как бы теряют самостоятельное существование, ибо слишком ясно обнаруживается их происхождение от «авторского ребра». Но таково уж свойство всякой лирической поэзии, каковой по преимуществу и является поэзия Н. Грибачева. В лирической поэзии самым главным, а подчас и единственным героем оказывается сам поэт. И если он достаточно талантлив и отзывчив к основным событиям времени, он становится выразителем целого мира чувств, мыслей и настроений, имеющих совершенно объективное бытие в сердцах многих его современников. В этом случае поэт становится своего рода доверенным лицом большого числа людей.

Многие советские поэты, в том числе и Н. Грибачев, стремятся завоевать право быть доверенными лицами того ново-

го поколения, которое выросло и сформировалось уже в условиях социализма и мироощущение которого поэтому празднично, жизнерадостно и оптимистично.

Н. Грибачев и воспевает ту самую «живую душу» этого поколения, которая, по его словам, «бьет, ясна и свежа, прометеевым светом», которая «что миг и готова и на бой и на труд, что советской, что новой, что бескрайной зовут».

Именно эта уверенность, что за его плечами стоит работа лучших людей, труд целого народа, и внушила Н. Грибачеву те чувства собственного достоинства и гордости за свою страну, которые он выразил в стихах:

с поэтами и богами  
я спорил в чужой стране...  
и мудрости небывалой  
дивились они во мне...  
а я, может, самый малый  
в великой моей стране.

Все это, конечно, не означает, что мы считаем поэзию Н. Грибачева чем-то вполне завершенным и, так сказать, окончательно прибывшим по месту назначения. Его поэзия находится в походе к тем трудным рубежам, полное овладение которыми по-прежнему лишь для сомкнутого строя всех советских поэтов. Долг требует указать на некоторые существенные оплошности, которые Н. Грибачев допускает в своих стихах. В области поэтической формы поэт стремится к некоторым синтетическим результатам. Он хочет соединить простоту и естественность народной речи с достижениями новейшей русской поэзии. Но вот здесь-то его и подстерегают опасности, которых он, повидимому, не замечает, ибо слишком часто становится их жертвой.

Когда Н. Грибачев находится там, где «пахнет табаком и от росы знобит», когда он показывает «прозрачную мягкость ранета», «с хвостом поросычьим арбуз», когда он рисует, как «ракита над ручьем чуть повела плечом», — читатель охотно следует за ним в этот простой и поэтический мир, увиденный глазами подлинно взволнованного человека. Но когда читатель обнаруживает, что у Н. Грибачева «пила, хватив с разбега манных круп, дискант ребячий обрела», то вспоминает лишь о косноязычии раннего футуризма.

Хорошо, что советский поэт Н. Грибачев испытывает влияние Маяковского, но когда

в стихах Н. Грибачева вдруг возникает тень Есенина («кошко розовым совком сгребает яблоневый цвет») — естественно, возникает опасение, что поэт не всегда умеет отличить здоровую плодотворную поэтическую традицию от традиции обветшалой и нежизнеспособной.

Зайствованная интонация отражается и на самой мысли. Когда у Н. Грибачева «бьют часы на Спасской башне и красные зубцы стены неповторимостью вчерашней в ночное небо взнесены», когда «бой, что наяву мне снится, всего лишь память о былом», то нам остается лишь пожалеть, что молодой советский поэт увидел зубцы Спасской башни блоковскими глазами и настроение, навеянное чужими стихами, смешал с впечатлениями от действительности.

В своем стремлении соединить ясность и простоту народного языка с техникой и изобретательностью языка литературного Н. Грибачев, к сожалению, делает иногда крен в сторону ложной изысканности. Он без надобности нагромождает образы, лежащие в разных плоскостях, чтобы «змеиный след автомобиля легла геральдика копыт». И его влечение к литератур-

ной позе и многозначительности превращается иногда в небрежность или в прямую «заумь».

И, гром перекатив вдали,  
листва и солнце, цвет и злак  
рванулись, взмыв крылом земли,  
на нетопырий полумрак. (???)

Таких стихов, надо полагать, не объяснит нам и сам автор.

Все это свидетельствует о том, что борьба с пережитками прошлого, которая не кончилась в жизни, происходит также и в поэзии, в частности, в стихах Н. Грибачева. Ясное оптимистическое мировоззрение, твердый советский стиль мышления определяют основное направление его поэзии, но еще непреодоленные чужеродные влияния иногда уводят поэта в сторону от его главного пути. Поэт, находящийся в походе к новым трудным рубежам, должен выставлять усиленное передовое охранение. Ибо в поэзии, как и на войне, часто приходится сталкиваться не только с прямым противником, но и с собственными слабостями. Успех обеспечен лишь тому, кто умеет справляться и с тем, и с другими.

Сергей КОЛДУНОВ.

★

## Повесть о белорусских строителях

Над землей Белоруссии снова задымили трубы сотен восстановленных заводов. Разоренный войной край покрыт лесами новостроек: Белоруссия не только восстанавливается — уже в этой пятилетке она подымается в своем индустриальном развитии на новую, высшую ступень.

Белорусские писатели в большом долгу перед рабочим классом своей республики, они еще очень мало написали о героическом труде восстановителей и строителей белорусской промышленности. И недаром с таким интересом и вниманием была встречена читателем первая повесть на эту тему — повесть Макара Последовича «Теплое дыхание», посвященная строительству минского автомобильного завода.

Макар Паслядович. «Цеплае дыханне». Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Мінск, 1948.

В повести изображается один из участков стройки, на котором работает бригада молодого каменщика Владимира Саламаки, и лишь эпизодически, главным образом в своих отношениях с бригадой Саламаки, появляются на страницах повести другие участники строительства. Повесть написана неровно. В изображении строительства за пределами участка бригады Саламаки М. Последович чаще всего ограничивается очерковыми зарисовками и эскизными набросками. Не разработаны и поэтому остались безличными образы членов бригады Саламаки (за исключением Семена Березки). Язык повести порой беден и недостаточно выразителен. И тем не менее в повести «Теплое дыхание» пробиваются и заявляют о себе характерные черты нового в производственном росте и воспитании рабочей молодежи наших дней, в идейном облике и взаимоотношениях строителей первой послевоенной пятилетки.

Семен Березка, герой повести «Теплое дыхание», приехал на строительство из далекой белорусской деревни. Он вступил на путь, уже пройденный несколькими поколениями деревенских парней и девушек, ставших на стройках пятилеток квалифицированными рабочими советской промышленности. Для Семена Березки этот путь много короче и яснее, чем для его предшественников, строителей первых гигантов пятилеток.

Вспомним хотя бы Тишку из романа Малышкина «Люди из захолустья». Разница между Семеном и Тишкой—глубже простой индивидуальной несхожести. Эта разница отражает движение самой нашей жизни, изменившей облик советской деревни и ее людей.

Для Тишки работа на строительстве была периодом превращения отсталого, темного крестьянина-единоличника в сознательного строителя социализма. Стройка была его первой школой социалистической жизни. И естественно, что в образе Тишки писателя интересовали прежде всего процессы социального становления молодого рабочего.

Семен учился социалистической жизни, социалистической морали с детских лет— сначала в школе, потом в коллективном труде на колхозных полях; он рос в годы, когда исчезли межи, когда-то отделявшие крестьянские дворы и деревенские «медвежьи углы» от большой жизни страны; его характер и волю закаляли испытания грозных лет войны с гитлеровцами. Семен Березка пришел на стройку уже будучи комсомольцем, человеком социалистической морали, социалистического отношения к труду.

«Скорей стать на свое место и, насколько хватит сил, выполнять порученную работу»—такова первая дума Семена на строительстве. «Я приехал сюда жить, а не прятаться»—таковы его первые слова руководителям строительства, когда те вызвали Саламаку и Березку для обсуждения производственных вопросов.

Жить—это значит самозабвенно, со страстью работать. Такое понимание жизни стало для Семена органичным еще задолго до прихода на строительство. И в этом смысле для него нет принципиальной разницы между жизнью в деревне и жизнью на стройке: и там и тут—общий труд, оду-

хотворенный общими целями, объединяющими строителей коммунизма в городе и деревне.

Семену, приехавшему на строительство, еще много нехватает для рабочей зрелости: опыта, знаний, вкуса к учебе. Но воспитанные в нем партией, комсомолом, страной качества и черты советского патриота помогают ему быстро стать мастером своего дела, стахановцем. Писателя в образе Семена больше всего интересует превращение молодого колхозника в квалифицированного рабочего, обогащение характера Семена в ходе его производственного роста. Образ Березки—наибольшая удача писателя.

Новыми чертами отмечен и сам процесс производственного обучения и воспитания молодого рабочего в наше время.

Инженер Ходоровский, принимавший Семена Березку на работу, однажды вспомнил, как, начиная свою рабочую биографию, он слушал доклад «спеца», то и дело путавшегося в обращении к аудитории между словами «господа» и «товарищи». Этот «спец» казался тогда Ходоровскому каким-то грозным богом, который снизошел до посвящения простых рабочих в тайны производства.

Давно уж на советских стройках нет таких далеких от рабочих «спецов». Семена Березку и его сверстников учат иные люди: бригадир Володя Саламака—рабочий новой формации, получивший специальное образование в ремесленном училище; техник Шайбак—старый рабочий, коммунист, партизан, несущий молодежи свой большой опыт и большевистскую страсть и настойчивость в труде; инженер Ходоровский—рабочий парень, ставший умелым командиром производства; инженер Короб—начальник строительства, герой партизанской войны с немцами. Всех их объединяют и роднят общие цели глубоко осмысленного труда. Это—сильные своим большевистским сознанием люди, для которых нормой поведения стало все передовое, все человеческое во взаимоотношениях друг с другом, в отношении к труду: взаимная помощь в больших и малых делах, стремление стахановцев не таить секреты своих успехов, а передавать их другим, чтобы содействовать этим общему подъему своего участка, цеха, завода, города, страны.

По замыслу автора, олицетворением этих лучших черт стахановцев является образ Володи Саламаки. Саламака — не только хороший каменщик, но и увлеченный учитель. М. Последович в нескольких эпизодах подчеркивает, сколь органично для Саламаки стремление помочь другим рабочим в овладении мастерством стахановского труда.

Благородные стремления Саламаки направляет и поддерживает партийная организация: руководители стройки коммунисты Короб и Рябинин поручают ему подготовку новых кадров каменщиков. Бюро обкома партии, обсудив доклад Саламаки, решило распространить его опыт на все стройки области.

Саламака учит других не только приемам быстрой кладки кирпича. Своим примером он внушает окружающим творческое отношение к труду. М. Последович пишет о «творческом порыве» Саламаки, и эти слова звучат вполне естественно в описании его труда: он работает на укладке стен, как подлинный художник. Саламака показывает своим ученикам, что в кладке кирпича нельзя надеяться только на ловкость и силу рук. Семен Березка становится настоящим «саламаковцем», только осмыслив все тонкости техники своего учителя, используя в работе ищущую мысль, советы техника, книги.

К сожалению, многие качества и поступки Саламаки, характеризующие облик молодого стахановца, лишь названы, но не

раскрыты как органическое проявление характера. Образ Саламаки статичен — не показано его развитие, интеллектуальное и нравственное обогащение в ходе производственного роста молодого стахановца.

Говоря о влиянии войны на производство, М. Последович осудил и высмеял в образе инженера Зарудьки людей, цепляющихся за устаревшие нормы и методы труда. Зарудьке, у которого мешанская мечта о послевоенном счастье («сидеть в застекленном мезонинчике и вспоминать свои дни боевые») сочетается со стремлением работать по-старинке, без учета возможностей, которые раскрыла война, и новаторских достижений таких людей, как Саламака, противопоставлены начальник строительства Короб, инженер Ходоровский, стахановцы.

Но М. Последович не сумел показать достаточно глубоко и конкретно такой важнейший источник повышения производительности труда строителей, как рост технического уровня и рационализации производства. Ограничившись лишь внешним изображением работы каменщиков, он не показал с достаточной глубиной рабочую мысль в борьбе за внедрение малой механизации, за экономию, рационализацию.

М. Последович слишком робко подошел к художественному решению затронутой в повести темы интеллектуального роста советских рабочих, и это сузило значение книги, приглушило ее звучание.

**С. ГРИГОРЬЕВА.**

★

## Это и есть социализм

**В** 1929 году семнадцатилетняя девушка, доярка недавно организовавшегося колхоза, услышала необычайную новость: в село пришли два трактора. «Трактор? А какой он из себя?» — спросила взволнованная девушка. И еще не зная этой невиданной машины, она загорелась мечтой управлять ею, чтобы «добрыться до жирности земли» и пожать богатый урожай.

Паша Ангелина. «Люди колхозных полей». Профиздат, 1948. (Первоначально записки были напечатаны в журнале «Октябрь», № 6 1948).

На следующий год девушка уже уверенно сидела за рулем трактора, став первой и тогда еще единственной в стране трактористкой. А еще через три года она завоевала добрую славу в округе, отлично работая на колхозных полях во главе первой в Советском Союзе женской тракторной бригады. Бригада выполнила план на 129 процентов и получила переходящее знамя политотдела МТС. В 1934 году каждым «девичьим» трактором было обработано 789 гектаров при плане 497. Девушка-бригадир на своем тракторе обработала до 900 гектаров. Ее вызвали в Москву, и она выступала с трибуны Всесоюзного съезда

колхозников-ударников. С ней говорил великий Сталин. Она дала ему слово добиться выработки на каждый трактор по 1200 гектаров. И в 1935 году ее бригадой было обработано по 1225 гектаров на трактор, в 1937 году — по 1715 гектаров.

Слава о доблестных делах молодой женщины разнеслась по всей стране. У нее стали учиться, ее примеру последовали тысячи советских патриотов. Имя ее сделалось известным и за границей. Это имя — Паша Ангелина.

Понятно, насколько интересен и поучителен жизненный опыт такого человека. И очень хорошо сделала П. Ангелина, что опубликовала сейчас свои записки.

Книга П. Ангелиной—это не просто автобиография в узком смысле слова, не история возвышения одной личности. Это — искренний, задушевный рассказ о работе в коллективе, о радости свободного, творческого труда, о личных и коллективных трудовых достижениях, о чистой любви к родине и благородном служении ей.

Книга П. Ангелиной—и не узко технический, производственный очерк. В ней нет подробного описания производственно-технологического процесса. Напротив, можно посетовать на скупость, которую проявляет автор, когда речь заходит о технике работы. Но главный «секрет» успехов П. Ангелиной и ее подруг раскрывается в книге прекрасно. Это — сами люди, их сознание, воля, это «беспокойный» характер советского человека, сложившийся и развивающийся в социалистических условиях жизни.

Книга названа очень правильно и точно: «Люди колхозных полей». П. Ангелина пишет не только о себе, своих родных и подругах. Она говорит о своем народе, о своей стране.

В докладе «Тридцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции» товарищ Молотов говорил:

«Следует признать, что важнейшим завоеванием нашей революции является новый духовный облик и идейный рост людей, как советских патриотов...

Теперь советские люди не те, какими они были 30 лет назад.

Духовный облик нынешних советских людей виден, прежде всего, в сознательном отношении к своему труду, как к делу об-

щественной важности и как к святой обязанности перед Советским государством».

Вот это новое лицо советского человека, человека социализма, действенное проявление его духовного облика и показывает прежде всего книга П. Ангелиной.

Показывает не статически, а в движении, в росте. Из батрачки-пастушки в знатного мастера труда и государственного деятеля выросла Паша Ангелина.

В 1930 году, когда окружающие смотрели на желание Паши работать трактористкой, как на пустую затею, она обратилась за помощью к партии. Начальник политотдела МТС Иван Михайлович Куров помог ей стать трактористкой и организовать женскую бригаду. Куров же помог бригаде П. Ангелиной преодолеть недоверие колхозников к «бабьим машинам».

Голос партии—газета «Правда» сделала опыт П. Ангелиной достоянием всей страны. Вождь партии Сталин указывал Паше дальнейший путь, растил ее, как государственного деятеля. В 1935 году товарищ Сталин сказал знатной трактористке: «Кадры, товарищ Ангелина! Кадры!». И в Старо-Бешеве, на родине Паши Ангелиной, возник тракторный «институт» — новые и новые девушки овладевали трактором, новые женские бригады выезжали на поля. П. Ангелина обратилась с призывом к советским женщинам: «Сто тысяч подруг — на трактор!». В ответ на это двести тысяч женщин овладели профессией тракториста без отрыва от производства. Самым сокровенным чувством наполнены следующие строки П. Ангелиной:

«Сталин! Это имя, окруженное безграничным уважением и любовью народа, я глубоко ношу в своем сердце. Великий Сталин научил меня, простую крестьянку, дочь батрака, жить и работать для счастья моей страны, для моего народа».

Рамки деятельности П. Ангелиной расширялись. Среди сотен писем, которые ежедневно получала знатная трактористка, пришло письмо из далекой Барселоны Испанские товарищи, боровшиеся за свободу и независимость своей родины, прислали революционный привет старобешевским трактористкам. И П. Ангелина записывает:

«Мы начали с небольшого дела: овладели трактором, и нас узнала страна. Теперь мы чувствовали себя не только трактористами одной тракторной бригады, но и бой-

цами в великой борьбе за торжество коммунизма на всей земле».

Вот в чем источник силы советских людей, в передовых рядах которых идет Паша Ангелина. Глубоко осознанное патриотическое чувство, светлая любовь к Родине, к своему народу, преданность коммунистической партии, ее идеям, служение своим трудом общему делу всех трудящихся мира — вот что движет Пашей Ангелиной и ее последовательницами, совершающими замечательные дела.

Ленин в 1918 году требовал тщательного изучения и показа фактов строительства новой жизни, ростков коммунизма, воспитания на этих фактах массы. Теперь у нас расцвел прекрасный сад социализма. Записки Паши Ангелиной — одна из тех книг, которые на живых фактах убедительно показывают: вот он, социализм, глубоко проникший во всю нашу жизнь, вот они, уже не ростки, а буйные, могучие побеги коммунизма!

**Н. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ.**

★

## Однополчане

Читаешь «Королевскую кровь» Синклера Льюиса и «Последнюю границу» Говарда Фаста, индусский цикл таджикского поэта М. Турсун-Заде и очерк члена делегации демократической молодежи мира Ольги Чечеткиной «Индия без чудес» — страшную правду о жизни негров, индейцев, индусов под «благодетельным покровительством» американцев и англичан, — читаешь и думаешь, что мы недостаточно пишем о сегодняшней жизни тех, у кого еще вчера тоже забирали последнюю границу, кого тоже считали «неприкасаемыми» и кто сегодня — полноправные советские граждане, не парии, а хозяева своей страны. Мы недостаточно пишем о том, как сбывается народная мечта. Об этом я думала недавно, когда поезд увозил меня из Мукачева, где в конце 1944 года первый съезд народных представителей заявил в своем манифесте: «Закарпатский украинский народ, вырвавшийся из немецко-мадярского плена, решил раз навсегда осуществить свою вековую мечту и воссоединиться с Советской Украиной».

Я просмотрела скудную библиографию советской литературы о Закарпатье, два небольших местных альманаха с произведениями писателей, еще только начинающих свой новый литературный путь, и во мне заговорила обида человека, ставшего уже закарпатским патриотом. В Ужгороде, Мукачеве, Севлюше, Рахове, на Верховине и в Полонине побывало много наших литераторов. Почему же так

мало написано о стране, которую нельзя забыть, как не забывается счастливый конец сказки, ставшей былью?! Где целые села говорят еще языком «Слова о полку Игореве», а колхозный устав заучивают, как сказание, где первый урожай, собранный при советской власти, прозвали урожаем счастья, и о секретаре крайкома коммунистической партии Олексе Барканюке, казненном в Будапештской тюрьме, рассказывают, как о былинном богатыре... Где еще недавно не было даже средних школ на родном языке, а теперь (в Ужгороде) есть свой университет.

Тем больше обрадовали меня «Закарпатские стихи» Семена Гудзенко — маленькая книжка, написанная с единственно правильной позиции — не туриста, не охотника за экзотикой, но организатора страны, как некогда очень точно определил миссию советского писателя Петр Павленко. Книжка эта вместе с тем поворотная и для самого автора.

Это — четвертый сборник стихов 25-летнего Семена Гудзенко, жизненный путь которого, совпавший с биографией его поколения, не был ни легок, ни беден впечатлениями. Поэт служил в пехоте. Его родной батальон воевал, оборонялся, наступал, прошел по многим странам Европы.

Однако на многих заграничных стихах Семена Гудзенко лежал отпечаток поверхностного восприятия мира и литературного шегольства, эти стихи были подвергнуты справедливой критике, которая, видимо, помогла поэту. Его книга о Закарпатье основана на реальных фактах жизни своеобраз-

**Семен Гудзенко. «Закарпатские стихи». «Советский писатель», 1948.**

ной и интересной страны, история и география которой уже сами по себе очень красноречивы, и написана она не сторонним наблюдателем, а фронтовиком, сломавшим старую границу, для того чтобы «дорогами славы в Закарпатье шел коммунизм», новоселом, «учащим жить по-нашему в горах».

Для лирического героя «Закарпатских стихов» молодая советская область стала частью его биографии, потому что он, родившийся «даже не в 20-м, только по стихам да по плакатам знавший, как заваривалась жизнь», здесь «забыл, что горевал о своем рождении с опозданием». Поэт воспринял сегодняшнее Закарпатье, «как юность мира, юность родины моей».

Лирический герой книги двояко осмысляет исторические сдвиги, социальные явления, совершающиеся в Закарпатье, — как зрелый, государственно мыслящий человек, за плечами которого великое тридцатилетие Советского Союза, и как юноша, впервые воочию увидевший и то, что происходило до его рождения, и то, что было, когда ему едва исполнилось семь лет.

В «Закарпатских стихах» есть не только точное знание предмета, — а познавательное их значение бесспорно, — но и то радостное восприятие жизни, меняющейся к лучшему, без которого не может быть произведения социалистического реализма.

«Все в Карпатах меняется к лучшему» — это не только заголовок и рефрен одного из стихотворений сборника, но и лейтмотив всей книги. Семен Гудзенко восхищается подвигом народа, сумевшего сберечь родную речь под многовековым чужеземным игом, и секретарем райкома, не спящим третью ночь в горячей работе, и врубашинной завода Кирова, вырывшей за смену столько соли, «что и поезд не увезет», и школой, в которой впервые дети учатся на родном языке.

И так же горячо непримиримое отношение поэта к тому враждебному старому, с чем должно распрощаться Закарпатье.

Поэт ясно видит обреченность кулака и думает о том,

Как сказать ему, что в тридцатом  
Выкорчевывали таких,  
Что ему ни Черчилль, ни атом  
Не помогут в делах мирских?

В книге есть и пейзажи Закарпатья и благодатные его «натюр-морты» — севлюшский виноград. Но автор, почувствовавший и полюбивший красоту Карпатских гор, лесов, садов, прекрасно понимает, что сейчас нужен Карпатам «не лес, чтобы в нем гулять, а бревна — новым хатам».

Надо заметить, однако, что в сборнике есть стихотворения, где отсутствует единый лирический герой книги, и эти стихи превращаются в щегольские и холодные зарисовки, напоминающие заграничные зарисовки Семена Гудзенко. Какая пропасть между подчеркнуто канонической формальной «балладностью» строк:

Есть белый уголь,  
Есть синий уголь,  
Есть голубой.  
У каждого человека  
Есть уголь,  
А у меня забой.

(«Шахтерская баллада»)

и настоящей содержательной изобразительностью «Баллады о трактористе!» К счастью, безличных, холодных стихов в книге немного.

Общая концепция книги прекрасно выражена в поэме «Побратимы» об окопном братстве русского и закарпатца, о благотворном влиянии сержанта Котлова на бойца Ивана Лагойду.

Эта книга — не только о Закарпатье, ее можно было бы озаглавить так же, как названа первая книга Семена Гудзенко — «Однополчане». Жители Закарпатья, и жители Балтики, и те, кто выбрал для послевоенного жилья новорожденную область, и те, кто вернулся в родные края, — все они побратимы и однополчане, советские люди.

Алиса МАРГОЛИНА.

## Герои и хищники

Если смотреть на карту Камчатки, где происходят события, описываемые в книге А. Калининко, и на соседние Курильские острова и Японию, то вспоминается великая поэма освоения нами Севера. У этой поэмы есть свой пролог: смелые походы русских мореплавателей и «землепроходцев» и подвиги людей первой, и особенно второй камчатской экспедиций, предпринятых при Петре I.

Во времена Екатерины мещанин города Рыльская Григорий Иванович Шелехов отправлял свои торговые суда в Тихий океан и оставил нам свою примечательную книгу: «Странствования российского купца Григория Шелехова».

Последние блистательные главы этой поэмы написаны уже в наше, советское время. 15 октября 1932 года ледокол «Сибиряков», закончив поход вокруг северных берегов Азии, вошел в гавань Петропавловска и разрешил историческую задачу сквозного плавания по Ледовитому океану в одну навигацию. И всем нам памятен те 274 дня, которые провели герои-папанинцы на полярной льдине, дни, обогатившие и науку и жизнь ценнейшими открытиями.

Но в этой поэме о борьбе русских людей за освоение Севера немало и черных страниц. Эти страницы вписаны хищниками капитализма и империализма, и в первую очередь японцами. Английский поэт Р. Киплинг в своих «Стихах о трех котиколовах» рассказал об одном эпизоде из повседневных колониальных будней, и свой рассказ предварил такой откровенной «преамбулой»:

Подтвержденные пулей и сталью, таковы  
законы Москвы:  
Котиков на Командорских не смеете  
трогать вы...  
Но жены наши любят мех, есть деньги  
у них, и вот  
Шхуны в морях, запретных для всех,  
рискуют из года в год...  
Японцы, британцы издали вцепились  
Медведю в бока.  
Много их, но наглей других — воровская  
янки рука...

Последний махровый расцвет хищничества происходил в годы японской интер-

венции, когда набеги японцев и белобандитов на лежбища котиков на Командорских островах привели к почти полному их опустошению. Конец хищничеству был положен в 1921 году, после того, как в 1920 году большевики заняли Петропавловск и Камчатку. Тогда революционный комитет Командорских островов организовал строгий надзор за котиковым хозяйством. В 1922 году на Командоры посылались белогвардейцами специальное карательное судно «Магнит». Но в 1923 году советская власть, после борьбы с японскими интервентами, утвердилась тут накрепко.

Место действия повести А. Калининко — северная часть Камчатки — Тайганоская тундра, что лежит в самой узкой части Камчатки, между Пенжинской и Гижигинской губой. Повесть рассказывает о борьбе кочевых оленеводов: коряков, ламутов, эвенов, камчадалов, с их злейшими исконными врагами — японскими купцами и их приспешниками: местным «князцом» и шаманом и действовавшим тут японским карательным отрядом. С этим отрядом борются местные партизаны под командой бывшего ссыльного Крелова.

Как оказались японцы на севере Камчатки?..

Глубокой осенью на японских пароходах была переброшена на Гижигинскую губу часть войск разбитой пепеляевской армии. Вместе с ними прибыл и «персонал» загадочной японской фирмы с майором Тамура во главе. С открытием навигации эта группа должна была получить подкрепление и, продвинувшись на север и восток, ограбить в тундрах оленеводов. Надо было срочно отрезать японцам путь раньше, чем откроется навигация в Охотском море. И в начале зимы в Петропавловске был снаряжен летучий отряд войск ВЧК, и труднейшим путем, через голодные тундры, из которых оленеводы ушли на север, отряд пробился к Пенжинской губе. С помощью партизан и пастухов отряд ВЧК уничтожил экспедицию японцев, и, под руководством людей из отряда, местное население организовалось в оленеводческие колхозы.

Как раскрыта и рассказана автором эта интересная эпопея борьбы с японской интервенцией на Камчатке?

Андрей Калининко. «Камчатские друзья». «Советский писатель», 1948.



Объезжая оленеводческие колхозы на крайнем Севере, автор встречается с камчадалом Ичаловым, назначенным в проводники, а затем встречает в тундре и его жену, ламутку Оклану, которая пасет тут оленей. Заинтересовавшись судьбой женщины-кочевницы, автор расспрашивает о ней Ичалова. И тут Ичалов, покопавшись у себя в нагруднике, извлекает оттуда шестигранную палочку с зарубками, отмечавшими трудные годы на Камчатке, когда люди тундры вели борьбу с японцами. По этим зарубкам Ичалов и ведет свои рассказы, а автор слушает и записывает их в последовательные главы, которые и называет «зарубками». Всего таких «зарубок» в повести восемь.

Так нашел автор своеобразную форму для своей повести — интересную, но обязывающую. Эта форма обязывала вскрыть своеобразие мировосприятия оленевод-камчадалов, отношения их к описываемым событиям и рассказать обо всем так, как наблюдал и воспринимал их своими глазами, своим сознанием, своими чувствами оленевод-рассказчик. Только при этом условии форма, избранная автором, могла сделать повесть живой, увлекательной и подлинно художественной. Иначе «зарубки» могли превратиться в пустой искусственный трюк.

И в первых главах книги автор прилагает старание к тому, чтобы справиться с поставленной задачей. Его рассказы о быте кочевников, о природе Северной Камчатки, о людях и событиях не обнаруживают явного разрыва с духом рассказов по «зарубкам» камчадала Ичалова. Как и рассказчик Ичалов, автор начинает повесть с жизни отца Окланы — Аяга, бедного оленевода из малого рода Тахты, убитого японскими хищниками. Правда, и в этих первых главах автор не всегда находит художественные средства, отвечающие избранной им форме. Но вначале это несоответствие не вызывает серьезных возражений.

Но чем дальше, чем острее развиваются события, тем заметнее становится, что художественные средства автора идут по затухающей кривой. Автор начинает сбиваться не только со стиля и тона, взятых в начале повествования, но срывы обнаружи-

ваются уже и в отборе, и в трактовке, и в осмысливании описываемых событий. Партизаны Камчатки оказываются в изображении автора настолько доверчивыми, что идут на поводу у предателя, и только настороженность командира спасает их от большой беды. Гибель командира отнюдь не вызвана внутренней логикой событий, она случайна.

Книга А. Калининского посвящена главным образом прошлому его «камчатских друзей». Их настоящее составляет лишь обрамление повествования, но и в этом обрамлении внимание автора сосредоточено на экзотических подробностях жизни народа крайнего Севера, а не на том новом, что составляет ее типические черты.

И не случайно первые «зарубки», посвященные людям с менее развитым сознанием, ярче последующих, требующих изображения роста этого сознания, а образы наивных оленеводов сильнее образов «людей с красной звездой» — красноармейцев.

Неприятное впечатление производят употребляемые А. Калининским шаблоны, вроде неоднократно использованной в различных описаниях «экзотического» быта песни-гимпровизации. «Айя, мало-мало на сопку гонжу — пою. Отряд пойдет в кочевку — пою. Пихта стоит красивая, макушка ее острая, как пика, — и о пихте пою!..»

Для этих шаблонов автор находит и место и время.

Значительнейшие же реальные факты, характеризующие рост раскрепощенного советской властью северного народа, остаются зачастую вне поля зрения автора. Так оказалась обойденной в повести А. Калининского судьба дочери кочевницы Окланы — Влетаны, окончившей медицинский факультет в Ленинграде.

Чтобы рассказать об оленеводах Камчатки и их борьбе за новую жизнь, надо было гораздо больше и глубже сжиться с ними. Тогда, можно думать, получилась бы неплохая повесть на интересную и нужную тему. Будем надеяться, что следующая книга А. Калининского о камчатских друзьях, о том, что же дальше было с партизанским отрядом и всеми пастухами и оленеводами, будет написана с более глубоким проникновением в их жизнь и с большими художественными достоинствами.

Н. ШКЛЯР.

## Первая книга поэта для детей

Характернейшим свойством нашей литературы является ее великая жизнеутверждающая идейность, несущая в себе негасимый огонь мужественной правды, веры в творческие силы советского народа. Это литература — ясная в своих устремлениях и целях. Эту светлую силу советской литературы можно ощутить едва ли не в каждом ее произведении. С покоряющей естественностью и убедительностью выражена она и в новой поэме Степана Щипачева «В добрый путь», изданной Детиздатом. Содержание поэмы просто: Андрей Зернов — семнадцатилетний юноша-комсомолец выбирает себе профессию. Вот, собственно говоря, и все. Но с помощью этого незамысловатого сюжета Степан Щипачев раскрывает обаятельный образ юного человека, стоящего у начала многих дорог. Перед советским юношей открылся мир неисчерпаемых, неограниченных возможностей, — любой профессией он может овладеть. Но что профессия! Паренек ищет другое, большее, он ищет свой путь в жизни, который поможет ему прожить с наибольшей пользой для общества, полноправным членом которого он себя сознает:

Чтобы время зря не пролетело,  
Хочется Андрею одного:  
Взяться за такое дело,  
Что нужней, важней всего.

Юноша стремится быть полезным родине в бою за «людское счастье». Андрей думает о комсомольцах-краснодонцах, о тех, кому «так и не пришлось ни разу тронуть бритвою пушок щеки», не пришлось, возмужав, участвовать в общем трудовом созидании. Спокойная, твердая решимость овладевает мыслями Андрея. Паренек избирает себе такое дело:

Чтоб в работе этой он не только  
За себя — смог и за них дерзать.  
Вот он о какой мечтает доле,  
Только не решается сказать.

В этом действенном восприятии мира, в целеустремленном выборе профессии, осуществляемом юным героем, в мечте его о реальнейшем «завтра», в уверенном спокойствии за свое будущее и проявляется про-

низывающее каждую строчку поэмы, жизнеутверждающее положительное начало, присущее именно советской литературе.

О чем мечтает юный герой? Одна за другой проходят перед его мысленным взором разнообразные профессии советских людей. В каждой из них скрыта притягательная сила творческого подвига. В каждой из них — поэзия мастерства и уместности.

Не о славе мечтает Андрей, — о радости свершений, трудовых подвигов, открытий, обогащающих родину и народ. Он мечтает быть строителем, геологом, учителем, агрономом, ученым, солдатом-гвардейцем: не в звании дело, а в том, чтобы стать мастером, знать и уметь. В этом проявляется творческая основа характера советского молодого героя, уважение его к труду, равно как и скромность, серьезность намерений, трезвость души. Не зря так упорно и настойчиво Андрей перебирает в своем уме одну профессию за другой. Он не ждет легких достижений и удачи без труда:

Далека, заманчива дорога!  
Тайнами влечет она.  
Но профессий в мире много,  
К сожаленью, жизнь — одна!

Мечты Андрея, при всей их юношеской поэтичности и романтическом полете фантазии, неразрывно связаны с реальной жизнью. Именно потому и нет преград для этой мечты. Задумал юноша стать физиком-атомником. Ему нужна атомная энергия, но «чтоб она не города взрывала». Понимает Андрей, что только в руках советского народа может стать атомная энергия благом для человечества, а не устрашающей разрушительной силой: «На земле лишь мы одни и в праве силою такую править!»

Юному мечтателю с детских лет присущ осознанный долг гражданина, сына своей родины:

И над картой, а не над кроссвордом  
Склонится Андрей, спокоен, строг.  
Кем он будет — сам не знает твердо,  
Но солдатом будет он в свой срок.

Герой поэмы «В добрый путь» Андрей Зернов не исключение из правила, не одиночка и не «избранник судьбы». Он один из многих, и он сам и его судьба типичны:

Юноша приходит на завод, где работал его погибший под Сталинградом старший брат. Он хочет посоветоваться с однополчанами брата о том, какая профессия «всех нужней» родине. Но уже на пороге завода, в проходной, устами старого рабочего сама жизнь подсказывает ему правильное решение вопроса:

В тесной будке взад-вперед шагая,  
Старичок лукаво глянул:  
— Что ж,  
Если хочешь — верно, есть такая:  
Та, которую ты изберешь.

В поэме показано, что самая «нужная» в нашей стране профессия та, в которой ты

с наибольшей яркостью и полнотой сможешь раскрыть себя, свои творческие способности.

Новая поэма Степана Шипачева — его большая удача. Ее искренняя простота и неподдельная лиричность вызывают заслуженное расположение читателя. Автор, со свойственной ему лаконичностью, сумел тонко и правдиво раскрыть поэтическую сущность различных профессий, ввести читателя в атмосферу поэзии мастерства.

Поэму «В добрый путь» с равным интересом прочтут и дети и взрослые.

Виктор ВАЖДАЕВ.



## Очерки о шахтерах

Однажды в беседе с молодым очеркистом И. Замдбергом старый горняк Михаил Алексеевич Скороход почти сердито сказал:

— Бувае, роспишуть героя. И який его характер, и яки привычки, и як вин отчизну любить... А мени этого не треба. Мени покажи людыну у дии, человека в действии покажи мне. Тогда я сам скажу, який его характер, та як вин любить советську власть и народ, та який вин весь. Ось що...

И. Замдбергу, видимо, понравились эти, в сущности, правильные слова. Он привел их в самом начале своей книги «На угольном фронте». Таким образом, очеркист как бы заранее пообещал читателю, что он-то уж покажет «людыну у дии», что он-то уж покажет своих героев в действии. А героев в его небольшой книге много. И. Замдберг побывал и в Черемховском угольном бассейне, что в Восточной Сибири, около Иркутска, и в Хакассии.

В продолжительном этом путешествии нашему автору встретились разные люди — от рядовых шахтеров до знаменитых ученых, инженеров, руководителей горного дела. И надо отдать справедливость, автор, в общем, сумел найти почти в каждом из

этих людей то главное, что отличает его от других. Особенно удались ему люди, непосредственно занятые добычей угля. Он описал их в шахте, в труде, в быту, проявив любовный и пристальный интерес к подробностям их важной и благородной деятельности. Иначе говоря, И. Замдберг, умело используя форму очерка, постарался изобразить своих героев в действии, в наступательном боевом труде.

Жаль только, что очеркист не избежал в своей книге некоторых оплошностей, свойственных «стремительным путешественникам». Так, например, про «злую и быструю Ангару» он второпях зачем-то сообщил, что она не замерзает «в самые лютые морозы», хотя это сущая неправда. И неправда также, что сибирская обувь — чирки — что-то «вроде бурок». Однако погрешностей такого рода немного, и они не могут испортить общего впечатления от книги молодого автора, знающего главное, о чем он пишет.

Именно знанием дела привлечет также внимание читателя к своей книге очерков И. Пикулев. Книга его «Мастера угля» повествует о людях Челябинского угольного бассейна. Читатель, не бывавший в шахте, несомненно узнает из этой книги много интересного о том, как работают шахтеры, и проникнется уважением к их труду.

И. Пикулев так же, как И. Замдберг, старается показать своих героев в действии. Он не навязывает читателю собственных авторских объяснений. Он рас-

И. Замдберг. «На угольном фронте». И. Пикулев. «Мастера угля». Петр Потапов. «Сибирская новь». М. Никитин. «Шаги великана». Очерки. Углетехиздат, 1948.

сказывает обо всем так, что объяснения просто не нужны. И хотя автор свою собственную личность оставляет в тени, чувствуется, что он отлично знает всё то, о чем пишет.

В противоположность ему другой автор, П. Потапов, написавший книгу «Сибирская новь» о Кузнецком бассейне, все время как бы фиксирует внимание читателя на собственной авторской личности. Обнажая свой прием, автор рассказывает нам, как он собирает материал, ходит, ездит, смотрит, спрашивает. «В дни пребывания на шахте имени Сталина мне приходилось заходить в редакцию местной многотиражной газеты». «Зайдя как-то в шахтный профсоюзный комитет, я застал там его председателя». «Случилось мне однажды зайти в кабинет начальника участка № 6» и т. д. и т. п. П. Потапов непрерывно удивляется, не удивляя, однако, читателя, который давно уже осведомлен, например, что не только в Кузбассе, но и во всем Советском Союзе, на всех шахтах, «все шахтеры бесплатно получают специальную рабочую одежду — брезентовые костюмы, резиновую обувь» и т. д.

Видимо, вот такие сочинения, как книга «Сибирская новь», и вызвали сердитое замечание старого горняка Скорохода, который справедливо требует, чтобы очеркисты показывали нашего человека в действии, а не занимались этойкой старинной иконописью.

Однотонным, умиленным голосом П. Потапов повествует обо всем, что видит. И даже в диалоге его героев настойчиво слышится напыщенный голос автора. Похоже, что, собирая материал, встречаясь с людьми и задавая им вопросы, он порою не давал им рта открыт, заранее угадывая их ответы. А спрашивает он вот так: «Чем берут ваши шахтеры? Какими волшебными тайнами они владеют, что из месяца в месяц перевыполняют плановые задания?»

Удивляясь, умиляясь, П. Потапов становится похожим на такого «жителя нездешних мест». Будто он впервые приехал к нам, будто он впервые увидел советских рабочих, будто он — литератор времен, допустим, Потапенко. Вот он разговаривает с шахтером-коммунистом. Шахтер рассказывает ему о своих высоких заработках. И заканчивает рассказ:

— Лично я не отказываю себе ни в одежде, ни в питании. Дом, как говорится, «полная чаша». И в то же время некоторую часть заработка регулярно вношу на долгосрочное хранение в сберегательную кассу, — она платит мне пять процентов годовых...

Восторгаясь, П. Потапов не замечает, что в уста советского шахтера, и тем более коммуниста, он вложил фразу из обихода какого-нибудь французского рантье. Всем известно, что наши граждане охотно вкладывают свои сбережения в сберкассу. Но едва ли они вот так самодовольно говорят об этом: «она платит мне пять процентов годовых».

Мы были бы несправедливы к П. Потапову, утверждая, что его книга не содержит интересных сведений. Нет, сведения такие там есть. Но авторская позиция явно «затрудняет познание истины».

О Кузбассе же написал очерковую книгу «Шаги великана» М. Никитин. Он тоже пользуется иногда таким наивно выпрепным выражением, как, например: «я посетил». Но, во-первых, он не так уж часто употребляет это выражение, и оно не становится назойливым, не сосредотачивает главного внимания на авторе, а во вторых — и это важно, — говоря от собственного имени, он законно обращается к методу сравнения. Он был в этих местах двадцать лет назад и сейчас рассказывает о том, что произошло спустя двадцать лет. Рассказ его наполнен размышлениями, подкрепленными многими фактами. И если следует упрекнуть автора в чем-нибудь, так разве что в излишней конспективности. Хотелось бы услышать от него более подробный, более красочный рассказ о событиях и людях, которых он, видимо, неплохо знает.

Впрочем, этого же можно было бы пожелать и другим упомянутым здесь авторам. И не только этим авторам. Тема, связанная с нашей угольной промышленностью, с людьми, добывающими уголь, так обширна и глубока, что едва ли может быть полностью исчерпана.

Ошибки некоторых литераторов, ранее бравшихся за эту тему, в главном проистекали из неумения отобразить поистине исполинский размах восстановительных работ и нового строительства в угольной промышлен-

ленности, оснащенной всеми новейшими механизмами.

Приятно засвидетельствовать сейчас, что авторы четырех разобранных в этой краткой заметке книг в общем не повторяют этих грубых ошибок. В их книгах, если не считать уже указанных недостатков, при-

сутствует главное — отражение творческого размаха шахтерских дел. Не следует, однако, забывать, что книги эти выполняют пока что только роль разведчиков на подступах к необыкновенно важной и еще до сих пор не решенной теме.

Павел НИЛИН.

★

## Облик предателей

„Нынешний социал-демократизм есть идейная опора капитализма... Невозможно покончить с капитализмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении<sup>1</sup>», — писал товарищ Сталин. Глубокую правду этих слов сейчас особенно ясно чувствуют передовые демократические массы зарубежных стран, с возмущением наблюдая за грязными махинациями социал-демократических лакеев Уолл-стриты—бевиных и блюмов, реннеров, сарагатов и шумахеров, беззастенчиво продающих и предающих народы своих стран.

Зарубежные социал-империалисты зачастую кичливо называют себя представителями «третьей силы», дескать «противостоящей» и капитализму и коммунизму. А на деле они неизменно оказываются наиболее услужливыми агентами капиталистической реакции — ее «пятой колонной», с помощью которой современный империализм пытается разложить и размагнитить отдельные слои рабочих за рубежом. В этом смысле история правых социалистов на Западе представляет собою сплошную цепь предательств и измен рабочему классу, с каждым годом все более явных, все более циничных. Потребность художественно осмыслить омерзительную роль, которую выполняли правые социалисты на Западе на протяжении последних десятилетий, естественно возникает у ряда прогрессивных художников Запады, борцов за прочный мир и подлинную демократию. Так возник роман Мартина Андерсена Нек-

се «Мортен красный», о котором уже писалось на страницах «Нового мира». Так родился и у немецкого антифашистского писателя Вилли Бределя замысел его нового большого романа-трилогии «Родные и знакомые», посвященного социал-демократизму в германском рабочем движении.

По своей форме роман «Родные и знакомые», особенно его первая книга, не производит впечатления памфлета. Он написан в неторопливой повествовательной манере семейно-бытовой хроники. В центре первой части трилогии Вилли Бределя — колоритная фигура старого гамбургского рабочего-литейщика Иоганна Хардекопфа. Когда-то, в 1870—1871 годах, еще будучи незаметным молодым пролетарием, он, в чине ефрейтора прусской армии, принимал участие в наступлении на Париж. По приказу своего офицера он выдал четырех парижских рабочих-коммунаров версальцам, и рабочие были тут же расстреляны у него на глазах. С тех пор совесть пролетария, выдавшего своих братьев по классу, мучила Хардекопфа. И когда он в конце 70-х годов прошлого века услышал в Дюссельдорфе на митинге речь Бебеля, гневно обрушившегося на прусскую военщину, пособнику версальских палачей, Хардекопф вступил в ряды германской социал-демократической партии, членом которой он и состоял на протяжении почти сорока лет. Изображая социал-демократическое и семейно-бытовое окружение Хардекопфа в Гамбурге, Вилли Бредель наглядно показывает, как эта партия постепенно перерождается в партию профбюрократов, мешан, обывателей, оппортунистов, предателей рабочего класса.

Человек безвольный, пассивный, слепо верящий в своих руководителей, кичащихся парламентскими успехами, Хардекопф, однако же, инстинктивно чувствует, как социал-демократические заправилы Гамбурга усыпляют бдительность рабочего клас-

Вилли Бредель. «Родные и знакомые». Роман. Сокращенный перевод с немецкого И. А. Горкиной и Р. А. Розенталя. Государственное издательство иностранной литературы. М. 1948.

<sup>1</sup> И. Сталин. «Вопросы ленинизма». Изд. 11, стр. 181—182.

са ревизионистскими рассуждениями о мирном вращении в социализм, об автоматической самоликвидации капиталистического строя. Живо и конкретно изображает Вилли Бредель семейный и общественный быт социал-демократических бонз, их мещанские устои и предрассудки. Наглядно показано в романе, как засасываются отдельные социал-демократические рабочие всякими мелкобуржуазными ферейнами, от сберегательного ферейна «Майский цветок» до страхового общества «Гармония», во главе которого стоят трактирщики, лавочники, карьеристы, пуше всего боящиеся «потрясения основ».

Метко и гневно зарисованы Бределем и председатель ферейна «Майский цветок» Пауль Папке, этот пошлый спекулянт, пьянчуга, циник и взяточник, и редактор социал-демократической газеты «Гамбургское эхо» Фридрих Бернер, этот буржуазный делец и карьерист, временно перекрасившийся в социалиста, и многие другие социал-демократические профбюрократы, которые все свои усилия направляют на то, чтобы в моменты острых классовых битв предать интересы доверившихся им рабочих.

На широких собраниях они еще пышно декларируют о своих социалистических убеждениях, но в своих ферейнах, давно превратившихся в заправские трактиры, они уже преимущественно произносят шовинистические тосты, самодовольно внушая рабочим за кружкой пива: «С волками жить — по-волчьи выть». Дескать, надо приспособиться к капиталистическим порядкам! В романе левый социал-демократ рабочий Менгерс с яростью говорит о том болоте, в которое погружали, еще в начале XX века, социал-демократические оппортунисты тех пролетариев, которые слепо доверялись их показным лозунгам.

«Это мы-то собираемся захватить в свои руки политическую власть, править государством, строить его? Мир хотим перевернуть? — издевался Менгерс, обращаясь к Хардекопфу. — Умора, да и только! Давай-ка поглядим на себя, давай посмотримся в зеркало. Хороши ниспровергатели! Пивохлебы мы, помешанные на ферейнах, картежники, кегельные души. Дома, после работы, мы усаживаемся в мягкое кресло, почитываем «Эхо» и «Якова», качаем головой, сетуя на неблагоустроенность этого

мира, и радуемся, когда Бебель в рейхстаге опять задаст этим господам жару. А потом, довольные собой, заваливаемся на божовую и погружаемся в дремоту. А пока дремлем — глядишь, победа и придет. Ну, а между тем носим прическу а-ля Бебель и бережно храним в шкафу свою черную широкополую шляпу «демагог». Как же, ведь в одно прекрасное утро мы проснемся в социалистическом народном государстве, так вот давайте, мол, встретим его в полном параде, как положено по цеховому уставу. Разве не так? Без энтузиазма ничто великое в этом мире не делается. А где у нас энтузиазм? Где страсть? Где фанатизм? Мы революционеры? Мы переведем мир? Чорта с два! Ферейновские дурачки, вот мы кто!».

Острое чувство боли и мучительное чувство разочарования испытал на склоне лет своих старый социал-демократический рабочий Хардекопф, когда он убедился, что, действительно, оказался обманутым «ферейновским дурачком». Грянула империалистическая война 1914 года. Чудовищное моральное падение германской социал-демократии раскрылось перед Хардекопфом во всей своей неприглядности. Те самые оппортунистические партийные заправилы, которые без всякого энтузиазма относились к рабочим стачкам и пуше всего трепетали перед революционным «фанатизмом» рядовых рабочих, с первого дня империалистической войны с исключительным энтузиазмом стали голосовать за военные кредиты германской буржуазии и фанатически раздували шовинистическую истерию в народе. Зятя Хардекопфа — Брентена избивают социал-демократические бонзы только за то, что он в своем ферейне отказался встать при исполнении шовинистического гимна! Левого социал-демократа Менгерса в первые же дни войны арестовывают. И Хардекопф перед смертью с ужасом чувствует, что он, примиренчески относившийся к своим социал-демократическим руководителям, тем самым снова стал предателем своих братьев по классу, как и в дни своей молодости, когда он, по приказу прусского офицера, выдал коммунаров версальцам.

Изображением смерти разочарованного Хардекопфа в 1915 году заканчивается первая книга трилогии Вилли Бределя. В немецком издании эта первая книга имеет

подзаголовок «Отцы». В своих дальнейших частях трилогии будет посвящена детям и внукам Хардекопфа — свидетелям дальнейшего падения и возрастающего разложения германской социал-демократии, породившей палача Нюкк и продажного американского наймита — Шумахера.

Хорошее знание изображаемого быта, умение метко и тонко вскрывать изнанку сентиментальной немецкой обывательщины сообщают живость и убедительность семейно-бытовому роману Бределя, постепенно перерастающему в острый политический памфлет. Эта памфлетная страстность должна, очевидно, возрасти в дальнейших ча-

стях романа, посвященных послеверсальской и гитлеровской Германии.

Советский читатель, знакомый с Вилли Бределем по его антифашистскому автобиографическому роману «Испытание», с интересом будет следить за дальнейшим развитием новой трилогии прогрессивного немецкого писателя. Помогая борьбе за единую демократическую Германию, новое произведение Бределя своевременно разоблачает «традиции» и «устои» немецких правых социалистов, ныне докатившихся до роли откровенных агентов и холуев американского империализма.

**А. ЛЕЙТЕС.**



## *История, международные отношения, военная наука*

### **Великий русский флотоводец**

**А**дмирал Федор Федорович Ушаков — один из тех деятелей прошлого, которыми мы вправе гордиться. Этот выдающийся русский флотоводец не потерпел, подобно своему великому современнику Суворову, ни одного поражения. Как и у Суворова, военный талант Ушакова в полной мере развернулся в Екатерининское царствование. Ушаков и Суворов одновременно завершили свой боевой путь при Павле в войне 1798—1800 годов: один — поразив мир своим легендарным переходом через Альпы, другой — не менее блестящей экспедицией в Средиземном море. Удивительно близка была и судьба этих двух замечательных людей: Суворов, вернувшись из швейцарского похода, умер в опале в пустой петербургской квартире; Ушаков — окончил свой жизненный путь через несколько лет в безвестности, в той самой глухой Тамбовской деревне, из которой шестнадцатилетним юношей направился в Петербург, в морской корпус.

Насколько мало интересовались Ушаковым в прежнее время, показывает уже одно то, что за сто с лишним лет была сделана только одна попытка написать биографию великого флотоводца: в 1856 году вышла книга Р. Скаловского «Жизнь адмирала Федора Федоровича Ушакова».

**Академик Е. В. Тарле. «Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798—1800 гг.)». Воениздат. 1948.**

Настоящая известность Ушакова пришла только в наши дни. Память о нем, как о замечательном русском флотоводце, запечатлена в ордене его имени, учрежденном советским правительством во время Великой Отечественной войны.

Справедливая оценка Ушакова возможна только теперь. Этой задаче посвящена новая работа академика Е. Тарле об Ушакове на Средиземном море в 1798—1800 годах.

Хотя тема рецензируемой книги относится только к двум годам из всей многолетней деятельности адмирала Ушакова, но именно во время этой двухлетней средиземноморской экспедиции чрезвычайно ясно проявились характерные особенности его многообразного таланта. Ушаков выступает не только как блестящий стратег и тактик, но и как замечательный организатор и искусный дипломат, человек проникательного, тонкого ума, обнаруживший поразительное понимание сложнейшей политической обстановки.

Император Павел ненавидел революционную «гидру», хотя Франция времен Директории не была уже Францией якобинского Конвента, а французские войска, действовавшие под предводительством Наполеона Бонапарта и его генералов, не были теми войсками, которые защищали принципы, возмещенные якобинской революцией. Но Павел, выступивший против

Франции этого времени, искренне верил в свою миссию спасителя и восстановителя низвергнутых «престолов».

Помимо этой, глубоко реакционной, была и другая цель войны. Захват французами Ионических островов и укрепление французских позиций в восточной части Средиземного моря грозили, как правильно отмечает автор, превращением Турции во французского вассала. Возникла вполне реальная опасность появления соединенного франко-турецкого флота в Черном море. События показали, что Ушакову были совершенно чужды реакционно-политические устремления Павла, и очень понятны и близки стратегические цели войны.

Характерной особенностью средиземноморской экспедиции было переплетение военных и дипломатических задач. Первый и единственный раз в истории союзником России была Турция, хотя ни в Турции, ни в России никто не верил в прочность этого союза. При острой подозрительности друг к другу нужно было проявить величайший такт, чтобы не оборвать союза в самом начале и не поссориться при освобождении островов, которые султан мечтал видеть под своею властью. Нужно было проявить не меньший такт и к местному христианскому населению (греческому и славянскому), чтобы внушить ему то доверие, которое внушил Ушаков, и чтобы сохранить это доверие до конца своего пребывания в средиземноморских водах.

Первые Ионические острова (Цериго, Занте, Кефалония и др.) были заняты Ушаковым в поразительно короткий срок. Освобождая эти острова, Ушаков передавал власть в руки выборных представителей, то есть вводил республиканское устройство, одно упоминание о котором приводила в бешенство императора Павла, и восстанавливал гражданские свободы, растоптанные войсками Франции. Дело, конечно, было не в демократических взглядах самого Ушакова, а в его тонком понимании местной политической обстановки. Ушаков вырывал у французов то оружие политической борьбы, которым они с успехом пользовались в первые годы революции.

Ушакову не пришлось сражаться с неприятельским флотом. Но осада и штурм крепости на острове Корфу явилась под-

вигом, стоившим крупной морской победы. Твердыни этого острова, укрепленного самой природой, казались неприступными. Французский гарнизон насчитывал около 3000 человек при 650 орудиях, во главе которых стоял решительный и храбрый генерал Шабо. Между тем Ушаков испытывал недостаток решительно во всем — в людях, в боевых припасах, в продовольствии. И тем не менее остров Корфу, к удивлению всей Европы и к большому раздражению «союзника», известного английского адмирала Нельсона, который в это самое время безуспешно пытался сломить сопротивление французов на Мальте, — пал. Зато ликовал Суворов, сравнивавший эту победу с победой Петра I при Гангуте: «.. природа произвела Россию только одну: она соперницы не имеет, то и теперь видим. Ура! Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу, хотя мичманом!»

Огромный интерес представляет та часть книги, которая посвящена русско-английским отношениям. Прекрасно обрисованы в сопоставлении друг к другу образы двух адмиралов: Ушакова и Нельсона. Английского адмирала все пугало — и военные успехи русских, и благожелательное отношение к ним местного населения, и, наконец, самое присутствие русского флота, который он желал бы видеть возможно дальше от себя, где-нибудь у берегов Египта. Под маской внешней любезности скрывалась плохо прикрытая ненависть и к русским морякам, и к их победоносному адмиралу. «Я ненавижу русских», — писал Нельсон своему капитану Боллу, блокировавшему Мальту. Ушаков отлично понимал Нельсона и все его ухищрения. «Требования английских начальников морскими силами в напрасные развлечения нашей эскадры, — писал Ушаков рускому посланнику в Константинополе, — я почитаю не за иное, что как они малую дружбу к нам показывают, желая нас от всех настоящих дел отшестить (то есть отстранить. — К. Б.) и, просто сказать, заставить ловить мух, а чтобы они вместо того вступили на те места, от которых нас отделить стараются».

И все же Нельсону пришлось обратиться за помощью к Ушакову, чтобы изгнать французов из Неаполя. Нельсон считал необходимым для успеха прибытие по крайней мере 9—10 тысяч русских. В действи-



тельности же эту задачу выполнил не-большой русский десантный отряд в 600 человек под командованием капитана 2-го ранга Белли. В течение примерно трех недель отряд Белли не только взял Неаполь, но и освободил от противника две трети Неаполитанского королевства. Нельсон поспешил воспользоваться плодами побед русских, чтобы по прибытии в Неаполь устроить дикую кровавую расправу над республиканцами, которых, как могли, старались спасти русские моряки.

С полным триумфом русская эскадра покидала воды Средиземного моря после заключения мира. На медали, выбитой в честь Ушакова на острове Кефалония, стояла надпись: «Спасителю всех Ионийских островов».

Заканчивая книгу об Ушакове в средиземноморской экспедиции, академик Е. Тарле пишет: «Его боевые подвиги, его флотоводческое искусство, в котором он опередил Нельсона, его заслуги перед родиной занимают одно из виднейших мест в военной истории нашего государства, которую мы бережно храним и тщательно изучаем».

Написанный с привлечением нового архивного материала очерк академика Е. Тарле об Ушакове читается с большим интересом. Автор соединил глубину содержания с отличной формой изложения. Эта книга — начало выполнения того долга, который лежит на советских историках в деле изучения наследия великого русского флотоводца.

Профессор К. БАЗИЛЕВИЧ.

★

### «Вторые глаза» человека

Действуя с аэродрома Аскания-Нова, — вспоминает в своих записках трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, — нам удалось достичь значительных успехов в борьбе с противником. Советская промышленность к тому времени дала нам в достаточном количестве новое, отличное техническое средство, облегчавшее сложный труд поиска воздушного противника и наведения на него истребителей. Я имею в виду радиолокационные приборы — вторые глаза летчиков, глаза, позволявшие видеть близко и далеко, глаза, которыми мы могли следить за немцами на всем протяжении их полета, начиная с подъема в воздух на базовом аэродроме».

В ту пору гвардейцам-истребителям А. Покрышкина было предписано нести охрану переправ на Сиваше, не допускать появления над ними вражеских бомбардировщиков. Новый прибор был установлен на аэродроме. А. Покрышкин проводил возле него почти все время между боевыми вылетами. Едва, где-то очень далеко за линией фронта, появлялись неприятельские самолеты, экран этого прибора — локатора — оживал. Следя за движением на экране зеленоватых, чуть подрагивающих

линий, можно было установить и примерную численность вражеской эскадрильи, и расстояние до нее, и высоту и курс ее полета. Этого было достаточно, чтобы быстро решить задачу на перехват и, поднявшись с аэродрома точно в заранее рассчитанный момент, встретить воздушного противника, навязать ему сокрушительный бой. Пользуясь радиолокатором — «вторыми глазами», гвардейцы-истребители надежно охраняли переправу через Сиваш: за их дежурство тут не упало ни одной бомбы. Зато немецкие бомбардировщики падали в этом районе довольно часто.

Такими «вторыми глазами», способными видеть ночью, в тумане, при ясной погоде и в облаках, далеко и близко, во время Великой Отечественной войны располагали многие части наших Военно-Воздушных Сил, многие корабли и базы Военно-Морского Флота. Наша социалистическая индустрия снабдила радиолокаторами славную советскую авиацию. Эти «глаза» создала радиотехника, основы которой были заложены выдающимся русским ученым и изобретателем А. Поповым. Их зоркость зависит от развития новой области радиотехники — радиолокации, таящей в себе неисчерпаемые возможности. О том, что такое радиолокация, живо и интересно рассказывает в книге инженер-капитана С. Бажанова.

С. А. Бажанов. «Что такое радиолокация». Воениздат, 1948.

Автору удалось в популярной форме изложить основные принципы радиолокации, описать важнейшие элементы радиолокационных станций, показать динамику работы операторов, раскрыть приемы и способы, которыми «видят» «вторые глаза» человека.

«Радиолокация, — пишет автор, — сочетание современной передовой радиотехники с боевым опытом ведения войны. Техника и маневр, холодный расчет и боевая стремительность, точные вычисления и молниеносные действия — такова основа боевого использования этого нового мощного средства в войне». Шаг за шагом ведет С. Бажанов читателя своей книги от простейших примеров распространения и отражения радиоволн, от так называемой волновой арифметики, к геометрии радиолокации. Он четко объясняет принцип устройства ламповых генераторов, дает ясное понятие о «скорострельности» радиолокационной станции, об элементе времени, играющем в радиолокации одну из главных ролей. Автор показывает читателю трудности, связанные с осмотром пространства «радиоглазами», вводит его, наконец, в аппаратную радиолокационной станции и вместе с ним как бы работает в качестве оператора.

Благодаря доходчиво и живо написанному тексту, отчетливым, оригинально задуманным рисункам, читатель легко узнаёт много интересных вещей не только о принципах радиолокации, но и о многих сторонах ее практического использования авиаторами, моряками, артиллеристами.

Книга рассказывает, как можно с помощью локатора узнать — свой или чужой самолет летит где-нибудь за сотню-другую километров; как остроумные приборы, устройство которых основано на принципах радиолокации, дают знать летчику, что он обнаружен противником или что сзади в хвост его машины заходит неприятельский самолет. Читатель узнаёт о способах и приемах борьбы с радиолокационными средствами, о том, как лишить противника возможности пользоваться «вторым зрением», набросив на его «вторые глаза» своего рода непроницаемую повязку.

В книге раскрывается значение этих новых радиотехнических средств не только в военное время, но и в мирные дни, ибо, говорит автор, «ценность радиолокации не

ограничивается ее применением на войне. Использование радиолокационных средств, действующих при любых условиях погоды и обладающих большой степенью точности, очень ценно для кораблевождения и самолетовождения в мирное время».

Знакомясь с книгой, читатель увидит, что радиолокация в наши дни приобретает огромное значение в науке, и, в частности, в астрономии. Так, около двух лет назад с помощью радиолокации человечеству удалось «заглянуть» на луну, установить с ней первый радиоконтакт, зарегистрировать отражение от луны посланного на нее радиоимпульса. Советские астрономы и инженеры успешно применяют радиолокационные станции для наблюдения за «падающими звездами» — метеорами.

С. Бажанов написал интересную и полезную книгу. Именно так, доходчиво и просто, надо рассказывать массовому читателю о сложных вещах, о сложной современной технике.

К сожалению, книга не лишена некоторых, вызывающих досаду, недостатков. Так, говоря о принципах радиолокации, автор почему-то умолчал о наблюдениях русского ученого и изобретателя А. Попова, еще пятьдесят лет тому назад обнаружившего, что электромагнитные волны отражаются от кораблей. Почему-то не сказано и об исследованиях явлений радиотехники, проделанных советскими учеными, и, в частности, об исследованиях Б. Введенского, относящихся к 1926 году, которыми он обратил внимание на возможность радиобнаружения. Эти и некоторые другие более мелкие недостатки несколько снижают ценность этой хорошей книги.

«Впереди много интересного и увлекательного, — говорит в заключение С. Бажанов, — потому что эта отрасль техники будет развиваться, и трудно даже предвидеть сейчас, насколько широкое применение радиолокация найдет в будущем».

Автор книги погиб на боевом посту. Надо надеяться, что с дальнейшим совершенствованием радиолокации его работа о «вторых глазах» человека будет достойно продолжена другими советскими инженерами, его товарищами по специальности, по оружию.

Полковник Н. ДЕНИСОВ.

## Выдающийся русский полководец

**В** ряду замечательных русских полководцев XVIII века Петр Александрович Румянцев по праву занимает почетное место. Он был предшественником великих полководцев — А. Суворова и М. Кутузова, и достойным продолжателем военных традиций Петра I.

Румянцев начал свою деятельность в русской армии в то время, когда к ней приложили свою руку немецкие сановники России — Бирон, Остерман, Миних. Поклонники прусской военной школы, они принимали все меры к тому, чтобы «онемечить» русскую армию, ввести в ней те порядки, которые существовали в войсках Фридриха II. Для русской армии XVIII века прусская военная школа была уже пройденным этапом, следовать ей — значило идти назад. Но чтобы видеть это, нужно было хорошо знать все особенности организации русской армии того времени, ее принципиальное отличие от наемных армий западноевропейского абсолютизма.

Румянцев был первым, кто властно поднял голос протеста против насаждения в русской армии прусской военной школы, кто до конца своей жизни оставался верен русским боевым традициям.

Рецензируемый сборник документов и материалов дает достаточно полное представление о деятельности выдающегося русского фельдмаршала.

Хорошо разбираясь во всех особенностях созданной Петром I русской регулярной армии, Румянцев правильно намечал пути ее боевого совершенствования (см. документы №№ 2—11). Изданный Румянцевым «Обряд службы» (см. документ № 6) продолжал традицию петровских уставов, регламентировавших все стороны жизни, быта и боевой деятельности войск. Румянцев воспитывал русскую армию в смелом наступательном духе. «Ближе к противнику, — говорил Румянцев, — ближе к победе». Он учил армию искусству ведения боя, основанному на инициативе каждого солдата и офицера, на стремлении разбить врага, несмотря на его численное превосходство. «Не числом,

и храбростью приобретаются военные успехи», — учил Румянцев.

Во время Семилетней войны (1756—1763 годы) Румянцев практически доказал превосходство русской военной школы над прусской. В этой войне армия Фридриха II была не раз бита русской армией. И почти каждая победа русских войск была связана с именем Румянцева (см. документы №№ 12—48). Именно русская армия была первой из европейских армий, развенчавшей мнимый авторитет прусской военной школы. Это во многом объясняется тем, что она имела в числе своих руководителей таких людей, как Румянцев.

Семилетняя война была первой ступенью к военной славе Румянцева. Война России с Пруссией утвердила его в мысли, что русская военная система является самой передовой в Европе, что русская армия, обученная и воспитанная в духе русских боевых традиций, является грозной силой. Разносторонний боевой опыт, полученный Румянцевым в Семилетней войне, не только укрепил его веру в силу и могущество русской армии, но и расширил круг его военных знаний, которые он блестяще и применил в войнах России с Турцией.

Русско-турецкая война 1768—1774 годов вписала немало славных боевых страниц в историю русской армии. Победы русской армии, которые она одержала под водительством Румянцева при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле (см. документы №№ 66—72), по праву могут считаться образцами русского военного искусства. На них учился Суворов, считавший себя учеником Румянцева.

Победы русской армии были ярким свидетельством непрерывного совершенствования боевого мастерства русских войск. Преемственности славных боевых традиций русской армии. Эту преемственность можно ясно проследить на деятельности четырех выдающихся русских полководцев XVIII и начала XIX веков: Петра I, Румянцева, Суворова и Кутузова. Так, например, славная боевая традиция русской армии — бить врага не числом, а умением — была прочно взята «на вооружение» русскими войсками в пору полководческой деятельности Суворова, но ее идея, зародившаяся в сражении под Лесной (1708 год).

«Фельдмаршал Румянцев». Сборник документов и материалов. Госполитиздат. 1947.

оформилась уже ко времени Русско-турецкой войны 1768—1774 годов в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, где полководческие дарования Румянцева проявились с наибольшим блеском.

Если правильно, что победы Кутузова в войне с Наполеоном I, и в 1805, и в 1812—1813 годах, были подготовлены Суворовым, если правильно, что Итальянский и Швейцарский походы русских войск под водительством Суворова были для русской армии той школой, где она училась бить непобедимую французскую армию в любых условиях времени, места и обстановки, — то и победы Суворова были, в свою очередь, подготовлены Румянцевым. Путь суворовских чудо-богатырей к блистательным победам под Фокшанами и Рымником шел через Ларгу и Кагул, где русская армия, воспитанная и обученная Румянцевым, ярко продемонстрировала свое превосходство над многочисленной турецкой армией. Солдаты Суворова по праву гордились взятием турецкой крепости Измаил.

Штурм Измаила в 1790 году — великолепное свидетельство боевой доблести русской армии того времени. Но могущественная турецкая крепость не впервые увидела в своих стенах победоносное русское войско: в 1770 году полки Румянцева заставили открыть перед ними ворота Измаила.

Составители сборника документов о полководческой деятельности Румянцева правильно поступили, осветив этот период его деятельности наиболее полно (см. документы №№ 52—113). В последующих войнах конца XVIII века, которые вела Россия и в которых фельдмаршал Румянецев принимал участие, начало выдвигаться новое поколение военных талантов, взрослых Румянцевым. Среди них были и два великих русских военачальника — Суворов и Кутузов.

Сборник документов «Фельдмаршал Румянецев» достаточно полно отображает боевую деятельность одного из выдающихся русских полководцев.

Генерал-майор **И. ЗУБКОВ.**

★

## Ватикан на службе Уолл-стрита

**В** рецензируемой книге собран поистине огромный материал о реакционной антинародной деятельности Ватикана между двумя мировыми войнами. Шаг за шагом автор прослеживает и разоблачает лицемерную, полную коварства и лжи деятельность ватиканской иерархии с римским первосвященником во главе, направленной против мира, демократии и социализма.

Факты, приводимые автором, развенчивают так называемую «независимость» папского престола: Ватикан неразрывными узами связан с монополистическим капиталом. Папство, когда-то бывшее частью феодального порядка, теперь является крупнейшей капиталистической организацией пропаганды. Принадлежащие Ватикану громадные капиталы вложены в банки, промышленные предприятия, страховые компании и другие прибыльные аферы. Более половины своих капиталов Ватикан вложил в предприятия Америки, и не удивительно,

что интересы Ватикана так сблизились с интересами американских монополий. что Ватикан в последнее время стал филиалом пропагандного аппарата американской реакции. Ватикан собирает с верующих католиков огромные доходы, которые затрачивает на содержание церковной иерархии, на пропаганду планов реакции, на заговоры против мира, на поддержку фашистских организаций.

Автор делает и другой важнейший вывод, также основанный на множестве фактов: Ватикан несет ответственность за преступления гитлеризма. «История не забудет того, — пишет автор книги, — что в числе реакционных сил, которые в своих узких классовых и корыстных интересах жертвовали интересами мира, стремились к изоляции СССР и сговаривались с фашистами в надежде направить их агрессию против страны Советов, были папа римский и вся ватиканская иерархия».

Ватикан заключил соглашения (конкордаты) с Муссолини и Гитлером, призывал молиться за преуспевание главарей фашизма и решительно осуждал всякую борьбу

**М. М. Шейнман.** «Ватикан между двумя мировыми войнами». Издательство Академии Наук СССР. 1948.

против «установленного порядка» в фашистских странах. Ватикан облегчил Гитлеру путь к захвату Австрии, Чехословакии и Польши; Ватикан благословил гитлеровский «новый порядок» в Европе; Ватикан несет полную ответственность за поддержку итальянского фашизма в его походе на Абиссинию, в его интервенции (совместно с гитлеровской Германией) в Испании, в его авантюрах на Балканах.

В то же время Ватикан сохранял полное молчание перед лицом жесточайших преступлений гитлеризма и фашизма. У пап не находилось слов осуждения для гитлеровских палачей, когда они убивали миллионы жертв в концентрационных лагерях, в Дахау, Освенциме, Майданеке и пр. Ватикан не пожелал обратиться с призывом к миру во имя спасения миллионов людей, которых гитлеровцы убивали и уничтожали под предлогом «борьбы за чистоту расы». Но Ватикан требовал «милосердия» по отношению к ряду фашистских преступников войны, как требовал он в свое время отказа от суда и над виновником первой мировой войны Вильгельмом II.

Книга разоблачает Ватикан как центр заговоров против Советского Союза и стран народной демократии. Обладая широко разветвленной сетью агентов, Ватикан не гнушался собиранием шпионских сведений для иностранных интервентов в первые годы существования Советской республики. В наши дни католические иерархи по указке Ватикана принимают деятельное участие в антинародной деятельности контрреволюционных и террористических организаций в Венгрии и многих других странах.

Преступления Ватикана против свободолюбивого польского народа — неизмеримы. Прикрываясь лживыми фразами о «любви» папского престола к Польше, Ватикан предал польский народ Гитлеру, вручил управление польскими епархиями немцам, активным сподвижникам Гитлера; в 1945—1947 годах Ватикан через католических иерархов оправдывал преступления террористических шайк, посягавших на жизнь лучших людей новой, возрожденной и независимой Польши.

С тех пор, как в результате Великой Октябрьской социалистической революции было создано Советское государство, Ватикан неустанно призывает к войне против нашей страны и готов вступить в союз со

всяким, кто готовит такую войну. В ряде папских энциклик (посланий) к верующим папский престол выступал против марксизма, более всего опасаясь распространения великого революционного учения. Средневековая схоластика (учение Фомы Аквинского) использовалась и используется до сих пор католической церковью для того, чтобы затуманивать умы верующих людей и отвлекать их от борьбы за улучшение условий жизни трудящихся во всем мире.

Через посредство создаваемых им политических партий Ватикан активно вмешивается во внутреннюю политику ряда стран, где католики составляют значительную часть населения (например: Италия, Франция, Испания, Бельгия, Португалия, Австрия и другие — в Европе; страны Латинской Америки и Соединенные Штаты — за пределами Европы). Это вмешательство во всех случаях направлено против демократии и интересов трудящихся. Ватикан выступает в качестве союзника Франко и диктатора Португалии Салазара; в Италии и Франции Ватикан поддерживает антинациональную линию «американской партии». Католические священники в Соединенных Штатах не раз пропагандировали фашистскую доктрину (Кофлин); в Бразилии они поддерживают местные фашистские организации; даже в Китае католические иерархи и миссионеры, по указанию Ватикана, вмешиваются в гражданскую войну, становясь на сторону Гоминдана.

Читатель будет благодарен автору за тщательность, с которой он подобрал обширный материал по каждому из рассматриваемых им вопросов. Это настоящий обвинительный акт против Ватикана как орудия мировой реакции.

Следует, однако, сделать одно существенное критическое замечание по поводу освещения вопроса о политическом влиянии Ватикана. Бесспорно, Ватикан представляет собою наиболее разветвленную, наиболее мощную и опасную для демократии агентуру капитала среди церковных организаций вообще. Но было бы неверно считать, что Ватикану удавались или удаются все его преступные предприятия в защиту реакции.

Необходимо констатировать, что Ватикан за последние тридцать лет понес множество тяжелых поражений. Ватикану не удалось помешать тому, что миллионы трудящихся католиков приняли участие в

движении сопротивления фашизму. В Италии и во Франции трудящиеся-католики боролись под руководством коммунистов. И в настоящее время, вопреки желанию Ватикана, миллионы католиков в странах народной демократии вместе со всем народом участвуют в упрочении нового общественного строя. Ватикану не удалось подчинить себе, как он того хотел, другие христианские церкви; более того, униатская церковь, которой руководил Ватикан в течение веков, окончательно порвала теперь с папским престолом. В глазах рядовых католиков папство скомпрометировало себя своей связью с фашизмом и гитлеризмом, с монополистическим капиталом.

Хотелось, чтобы неудачи и поражения Ватикана были освещены в книге более основательно и пространно.

В книге ясно обозначена пропасть между

папским престолом и высшей католической иерархией, с одной стороны, и теми слоями трудящихся, которые от прошлых веков сохранили католическую веру, но не могут нести ответственности за реакционную политику Ватикана. В этом одно из принципиальных отличий книги советского историка от тех антикатолических книг, которые выходят в капиталистических странах и написаны авторами протестантского толка, так сказать, конкурентами католицизма по распространению религии, но его союзниками в совместной борьбе против демократии. Книга «Ватикан между двумя мировыми войнами» — хорошая научная работа к истории классовой борьбы в XX столетии, борьбы, в которой Ватикан является одним из важнейших оплотов мировой реакции.

Профессор И. ЗВАВИЧ.



## Голос трезвого американца

Из иностранных книжных новинок, выпущенных в последнее время в переводе на русский язык издательством иностранной литературы, внимание советского читателя несомненно привлечет книга Джорджа Мариона «Базы и империя. Карта американской экспансии». В Соединенных Штатах эта книга в ноябре 1948 года вышла во втором издании, несколько переработанном и дополненном. Русский перевод сделан по первому изданию, выпущенному в марте 1948 года. В новом издании автору пришлось значительно переработать и дополнить обе последние главы книги. Это вызвано необычайной злободневностью его работы, откликающейся буквально на текущие события.

Но книга Мариона не только злободневна. Она в высшей степени актуальна. В Соединенных Штатах работа Мариона отнесена к категории почти запрещенной литературы — той литературы, и читатели и авторы которой состоят на учете у Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Джордж Марион. «Базы и империя. Карта американской экспансии». Государственное издательство иностранной литературы, 1948.

Книга «Базы и империя» не нашла в Соединенных Штатах издателя. Марион выпустил ее в свет за свой счет. В предисловии он горько иронизирует по поводу того, что представляет собою в Соединенных Штатах Америки пресловутая свобода слова и печати. «Фактически... — пишет он, — запрет наложен не только на книгу: запрещена и самая ее тема».

Марион в острой, полемической форме, опрокидывает, уничтожает официальную версию американских правящих кругов о миролюбии их внешней политики. Нынешние руководители Америки, начиная с президента Трумэна, клянутся, что Вашингтон не имеет никаких агрессивных планов, не стремится ни к каким территориальным приобретениям, не добивается господства над другими народами. Американские представители в Организации Объединенных Наций осмеливаются утверждать, что на международной арене атмосфере тревоги и неуверенности создает Советский Союз. Вслед за ними эту ложь повторяет и американская пропаганда — печать и радио.

Марион подобрал неопровержимые факты, разоблачающие фарисейство washingtonских политиков. Эти факты показывают действия Соединенных Штатов на международной арене, как самую безудержную

империалистическую экспансию, и разоблачают авантюристическую политику американских монополий, стремящихся к мировому господству.

Уже анализ американского бюджета показывает подлинное направление внешнеполитического курса страны. Из 40 миллиардов долларов бюджетной сметы на 1948—49 год 11 миллиардов ассигнованы на военные нужды и 7 миллиардов на реализацию внешнеполитических целей. Международные дела, указывает Марион, то есть агрессивная внешняя политика, обойдутся за два года в 34 миллиарда долларов. На все же мероприятия по улучшению благосостояния населения, столь широко рекламируемого президентом Трумэном, выделяется в общей сложности 452 миллиона долларов. Это—один процент бюджета!

Милитаризация страны и бешеная гонка вооружений показаны Марионом с помощью обстоятельной документации. Суммы военных ассигнований беспрецедентны в истории Соединенных Штатов.

«Расходам нет конца. Тайные стратегические расходы бесконечны», — замечает Марион.

Он перечисляет: два миллиарда долларов на создание стратегических запасов, сотни миллионов на военно-научные исследования, на новые арсеналы, на испытательные поля для новых видов вооружений, на содержание промышленности синтетического каучука, созданной во время войны, на содержание растущей системы внутренних и международных шпионов и так далее и так далее. Все это — расходы, связанные с агрессивной внешней политикой.

Почему американская делегация в Генеральной ассамблее категорически воспротивилась советскому предложению произвести учет баз и войск, которые содержат государства—члены Организации Объединенных Наций на чужих территориях? Потому что такой учет обнаружил бы, что американские войска разбросаны по всему земному шару. Этот учет обнаружил бы, что огромная сеть американских баз, многие из которых были созданы во время войны под влиянием военной необходимости, после того, как миновала эта необходимость, не только не сократилась, но, наоборот, выросла. Список этих баз, простое перечисление стран и районов, где они находятся, зани-

мает несколько страниц книги Мариона. Соединенные Штаты отказываются освободить чужие территории, переданные им или оккупированные ими во время войны. Чуть не половина их регулярных армий находится за океаном.

Характеризуя положение, Марион подводит такой итог: Соединенные Штаты установили полное стратегическое господство над американским полушарием и контроль над Атлантическим и Тихим океанами, Вашингтон стремится теперь добиться в Европе, Азии, Африке и Австралии позиций, необходимых для сохранения этого контроля. В сумме все это составляет претензию на абсолютное мировое господство, — пишет Марион, — и в конечном счете означает угрозу международной безопасности.

«Каждый дюйм пути, по которому мы идем в настоящее время, вымощен взрывчатыми веществами новой мировой войны, — заявляет Марион.—Ни одно государство не может без конца увеличивать количество своих баз, захватывать стратегические позиции на двух третях земного шара, чтобы при этом не обнаружить, что его «оборонные» мероприятия фактически являются созданием «стратегической империи» со всем вытекающим из этого риском. А мы делаем именно это».

Значительная часть книги Мариона посвящена истории американской экспансии. Он анализирует рост американского империализма, его хищничество, методы его захватов, рисует дипломатию доллара во всем ее неприглядном виде. В частности, довольно обстоятельно разобраны Марионом столкновения интересов Соединенных Штатов, с одной стороны, и Англии и Франции, с другой. Он показывает, что рост американской экспансии в послевоенные годы идет, главным образом, за счет Британской империи, вытесняемой с основных стратегических позиций.

В Соединенных Штатах книга Мариона произвела большое впечатление и встретила многочисленные отклики в прогрессивных кругах, потому что она беспощадно разоблачила сущность послевоенной политики Вашингтона и агрессивность американского империализма. Для советского читателя работа Мариона интересна также и тем, что она выражает точку зрения передовой части американского общества. Ус-

тами Мариона говорят трезвые американцы. Его суждения опираются на демократическое общественное мнение Соединенных Штатов, которое требует разумной внешней политики и урегулирования отношений с Советским Союзом. Марион приводит слова профессора Гарвардского университета Ральфа Бартона Перри:

«Я бы определил стоящую перед нами в настоящее время задачу, как сосуществование с коммунизмом, а не уничтожение коммунизма. Поэтому первым пунктом повестки дня я бы поставил вопрос о том, как найти модус вивенди с Россией».

Марион дает интересный анализ политики Рузвельта, который стремился найти такой «модус вивенди». Нынешние руководители американского правительства отказались от рузвельтовского курса. Они решили ликвидировать тегеранское, ялтинское и потс-

дамское соглашения, перешли к безумной политике «обуздания Советского Союза» и попыток подавления силою движения народов к свободе и независимости.

Марион, как и каждый здравомыслящий американец, видит, что политика, диктуемая поджигателями войны, может привести Соединенные Штаты только к катастрофе. «Сколько бы мы ни твердили о безмерной мощи Соединенных Штатов, — пишет он, — ни одна страна теперь не в состоянии покорить весь мир. Генералы и банкиры слабее, чем им самим кажется. И если бы наша печать не внушала нам так старательно чувства самодовольства, нас давно убедило бы в этом сопротивление, которое американская политика встречает во всем мире».

**Н. СЕРГЕЕВА.**

★

## *Экономика и право*

### **Резервы советской промышленности**

Русская пословица гласит: «По капельке — море, по зернышку — ворох».

Так и в вопросах использования поистине неисчерпаемых резервов советской промышленности.

Повышение производительности труда работниками угольной промышленности СССР всего на один процент даст столько угля, сколько могли бы дать две гигантские шахты за целый год.

Экономия при покройке кожи для пошивки обуви лишь одного квадратного сантиметра на каждой паре (что, заметим, вполне достижимо) за год даст столько кожи, сколько требуется для пошивки более 400 тысяч пар обуви.

Государственные планы предусматривают использование многих резервов, но они не могут исчерпать все их.

Товарищ Сталин говорил: «Никакой пятилетний план не может учесть всех тех возможностей, которые таятся в недрах нашего строя и которые открываются лишь в ходе работы, в ходе осуществления плана на фабрике, на заводе, в колхозе, в

совхозе, в районе и т. д.»<sup>1</sup>. Вскрыть и использовать такие возможности — важнейшая государственная задача, решение которой немислимо без участия народа. От умелого выявления и использования резервов зависит успех выполнения пятилетнего плана в четыре года.

Популяризации методов борьбы за использование резервов посвящена книга А. Аракеляна «Резервы предприятий на службу пятилетке». В книге рассказывается о различных видах резервов промышленности.

Интересны материалы показывающие коренное различие двух систем хозяйства — социалистической и капиталистической. А. Аракелян говорит, что при капитализме «машина вводится не тогда, когда она сберегает труд, а только тогда, когда цена новой машины меньше суммы заработной платы вытесняемых ею рабочих, когда она обеспечивает рост прибыли капиталистов», и подтверждает эту мысль яркой иллюстрацией положения промышленности в колониальных странах. Он пишет: «сыродутная плавка руд в первобытном горне, осно-

**А. Аракелян.** «Резервы предприятий на службу пятилетке». Госполитиздат, 1948.

<sup>1</sup> И. Сталин. «Вопросы ленинизма», издание 10. стр. 413.



ванная на применении исключительно тяжелого физического (ручного) труда, все еще сохраняется в Центральной Африке и Индии, где монополистический капитал путем эксплуатации баснословно дешевой рабочей силы получает сверхприбыли». Так капиталисты «содействуют» развитию промышленности в колониальных странах.

Технический прогресс в советской промышленности открывает величайшие возможности повышения производительности труда. Автор убедительно показывает это, подчеркивая большую роль науки и техники в решении этой задачи.

Книга рассказывает о передовых формах организации производства: работе по графику, поточном методе, коллективной стахановской работе и другом.

Однако в книге имеются существенные недостатки. Говоря о необходимости полного использования рабочего дня, А. Аракелян отмечает значение планово-предупредительного ремонта, совмещения профессий и укрепления трудовой дисциплины.

А ведь есть и другие формы борьбы за время. В книге не сказано ни слова о таких первостепенных методах уплотнения рабочего времени, как правильная расстановка рабочей силы и оборудования, организация рабочего места и др.

Неудачно написана глава «Экономия материальных ресурсов». А. Аракелян пишет, что экономия материалов «находит свое конкретное выражение прежде всего в сокращении норм расходования металла, топлива, электроэнергии и т. п. на единицу выпускаемой продукции». Это, конечно, правильно. Но путей сокращения расходо-

вания материальных ценностей А. Аракелян не указывает.

Непонятно, почему значение сбережения материалов А. Аракелян иллюстрирует примерами, относящимися к... 1940 году. За восемь лет в нашей промышленности появилось много нового и в этой области.

Автор почти не уделяет внимания технологии. Между тем, совершенствование технологий — важнейший резерв перевыполнения планов, имеющий не меньшее значение, чем внедрение передовой техники. Технология вполне заслуживает того, чтобы ей посвятить отдельную главу.

«Забыл» автор и о хозрасчете, этом важнейшем средстве управления социалистической промышленностью.

Наконец, необходимо отметить нечеткую формулировку, которая может дезориентировать читателя. А. Аракелян сообщает: «Коллектив работников Серовского металлургического завода на Урале в предмайские дни 1948 года превысил уровень производства, намечавшийся на 1950 год. Иначе говоря, — пишет автор, — пятилетка была выполнена в срок менее, чем в два с половиной года».

Между тем, достижение уровня производства, установленного пятилетним планом на последний год пятилетки, означает лишь выполнение плана по уровню производства. Для выполнения плана по объему нужно дать столько же продукции, сколько было намечено планом на пять лет.

Книга А. Аракеяна — нужная книга. Приходится пожалеть, что ряд недостатков снижает ее ценность.

**Е. КАСИМОВСКИЙ.**

★

## Грубые ошибки в работе профессора К. Лукашева

Империалистическая борьба из-за рынков сбыта, из-за источников сырья является одним из отражений противоречий, существующих между монополистическим капиталом различных стран.

В условиях послевоенного обострения общего кризиса капитализма проблема

**Проф. К. И. Лукашев, «Империалистическая борьба за послевоенные рынки и источники сырья». В/О «Международная книга», 1947.**

рынков приобретает особенно острый характер. Вот почему небольшая книга проф. К. Лукашева «Империалистическая борьба за послевоенные рынки и источники сырья» по самой своей теме представляет значительный интерес и является весьма актуальной.

В книге собран довольно большой фактический и статистический материал о внешней торговой политике Соединенных Штатов и Англии, о монополистических

объединениях, о положении США и Англии на мировых рынках в результате первой мировой войны, об изменившейся роли США и Англии на мировых рынках в результате второй мировой войны и т. д.

Однако проф. К. Лукашев не сумел подойти с марксистско-ленинских позиций к излагаемой им проблеме. Вопрос о борьбе между империалистами из-за рынков сбыта и из-за источников сырья он не рассматривает в свете борьбы между лагерем империалистическим и лагерем антиимпериалистическим, а потому и не смог показать, к чему ведет обострение проблемы рынка в капиталистическом мире.

Ряд ошибочных положений, имеющих в книге проф. К. Лукашева, подтверждает, что автор не в ладах с марксистско-ленинской теорией

Проф. К. Лукашев в извращенном виде излагает закон неравномерности развития капиталистических стран при империализме. Он сводит этот закон к неравномерности развития отдельных отраслей и неравномерности распределения источников сырья. Между тем, основные элементы закона неравномерности развития при империализме состоят, во-первых, в том, что мир уже поделен между империалистическими группами, и захват новых рынков и источников сырья возможен только путем применения силы; во-вторых, что развитие техники и усиливающаяся нивелировка в уровне развития капиталистических стран облегчают скачкообразное опережение одних стран другими; в-третьих, что старое распределение сфер влияния приходит в столкновение с новым соотношением сил на мировом рынке, что с неизбежностью ведет к империалистическим войнам, к ослаблению мирового империалистического фронта.

Столь же неверно утверждение проф. К. Лукашева, что «происходит смертельная борьба континентов и стран за равенство на рынке...». Не за равенство на рынке ведут борьбу империалистические группы между собой, а за вытеснение соперников, за захват рынков.

Автор неправильно представляет «взаимоотношения» монополий и государственного аппарата капиталистических стран, как давление монополий на государственный аппарат. Автор не понимает сущности государственно-монополистического капитализма, не понимает, что происходит сра-

живание монополий с государственным аппаратом. И не случайно поэтому автор обходит вопрос о государственно-монополистическом капитализме в связи с борьбой за рынки.

Наивно звучат слова о «борьбе за принципы» в области внешней торговли между США и Англией: борьбой за «принципы» подменена борьба между империалистами. Что касается самых принципов, то проф. К. Лукашев верит на слово тому, что пишут представители буржуазии. Он не разоблачает сущность американского принципа «наибольшего благоприятствования» и принципа «равного доступа», прикрывающих империалистическую экспансию, он не разоблачает пресловутую политику «добрососедских отношений» США и стран Латинской Америки, служащую цели порабощения латино-американского континента империализмом янки.

В книге неправильно представлен истинный смысл «плана Маршалла». Автор говорит: «Одной из форм англо-американской борьбы... является борьба за участие в развитии ресурсов других стран, за восстановление экономики европейских стран, за выгодные экономические и политические соглашения с другими странами». Как это трогательно: англо-американцы хотят восстановления экономики европейских стран и даже вступают друг с другом по этому поводу в борьбу!

Товарищ Молотов разоблачил «план Маршалла», показав, что «американские кредиты предназначены не для того, чтобы восстанавливать и поднимать конкурирующую с Соединенными Штатами Америки промышленность европейских государств, а для того, чтобы обеспечить более широкий сбыт американских товаров в Европе и чтобы поставить эти государства в экономическую и политическую зависимость от господствующих в Соединенных Штатах капиталистических монополий и их агрессивных планов, не считаясь с интересами самих народов Европы»<sup>1</sup>.

Напрасно проф. К. Лукашев приписывает буржуазии латино-американских стран, Индии и др. «стремление более широко использовать собственные ресурсы в инте-

<sup>1</sup> В. М. Молотов. 31-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

ресах экономического развития своей страны...». Буржуазия любой страны интересуется прибылью и только прибылью, и этим определяется ее политика, а вовсе не интересами «экономического развития своей страны».

В книге имеется ряд других недостатков. Язык ее необычайно беден. Часто вместо анализа явлений и раскрытия существа происходящих процессов автор отделе-

вается употреблением словечка «специфика». Книга начинается словами о «специфике» борьбы и заканчивается глубоко-мысленным утверждением, что борьба становится «еще более... специфичной». Но автор так и не объяснил, в чем же особенности борьбы за рычки в условиях обострения общего кризиса капитализма, и допустил в работе ряд грубых ошибок.

**В. ЧЕПРАКОВ.**

★

## Американский суд

Не так давно на страницах журнала «Америка», издающегося информационным бюро США в Москве на русском языке, некий профессор Морис Кальп уверял читателей, что «красивое здание» американского Верховного суда не только «предмет гордости граждан», но и «символ беспристрастного стража гражданских свобод и правового порядка». Этому панегирику соответствует только надпись на «красивом здании» американского Верховного суда — «перед законом все равны». Ему противоречит действительность. В действительности — и панегирик и надпись бессильны прикрыть пышной и лживой фразеологией убогое и зловещее естество американской юстиции.

Небольшая работа доктора юридических наук Л. Лунца сжато и убедительно раскрывает, что же представляет собой Верховный суд Америки на деле.

Заслуживает прежде всего внимания социальный состав американских судей. Его характеристику можно найти у некоторых американских авторов. «Федеральное судебное ведомство, — говорит один из этих авторов, — состоит большей частью из трестовских судей, прошедших жизнь в служении интересам больших трестов и готовых без зазрения совести сделать все, чего потребуют их клиенты». В 1895 году в окружном суде Южного округа Нью-Йорка должно было слушаться дело «главной транспортной компании». Оказалось, что все судьи округа состоят акционерами этой компании. Нити, связывающие

Верховный суд США с монополистическими предприятиями, очевидны для всех. В течение многих лет было затруднено слушание в Верховном суде дела Алюминиевой компании, так как ряд членов Верховного суда оказался акционерами этой компании. Таковы эти «жрецы правосудия», борцы «за равенство всех перед законом». О политических тенденциях этих жрецов-акционеров свидетельствуют неоспоримые факты.

Несмотря на обилие законодательных актов, действующих в США, американское право покоится в основном не на законе, а на судебной практике, которая, при помощи решений по конкретным делам, сама творит закон. Количество этих решений необозримо. «Полное собрание» отчетов американских судов за один только год составляет 350 томов. При норме 100 страниц в день потребовалось бы восемь лет, чтобы изучить отчеты американских судов только за один 1901 год.

Но существо вопроса не только в этом лабиринте решений, по которому лишь богатые клиенты могут найти проводника из адвокатов. Еще существеннее иное: вслестствие преобладающей роли судебных прецедентов у американского суда открывается возможность «тихой сапой», при помощи груды разъясняющих, умаляющих и урезывающих решений, постепенно обезвредить действие прогрессивных законов. В результате — конгресс, под давлением народных масс, «полагает», а суд, ориентируясь на подлинные настроения конгресса, «располагает».

Если политическая обстановка требует быстрых мероприятий, а путь судебных решений оказывается томительно длинным, у Верховного суда есть в запасе другое средство: неугодный закон объявляется

**Л. А. Лунц.** «Суд в Соединенных Штатах Америки на службе монополистического капитала». Юридическое издательство, 1948.

«противоречащим американской конституции» и тем самым лишается силы. Беззащитные правоведа в восторге от этого судебного снадобья. Они считают его «наиболее эффективным средством сдерживать наскоки представителей народа на интересы собственников».

Автор рассказывает о многочисленных «хирургических» операциях, произведенных «равным для всех» Верховным судом США над законами.

До гражданской войны 1861—65 годов реакционная роль Верховного суда выражалась в энергичной защите рабства. Поистине незабываемо решение Верховного суда США по делу негра Дреда Скотта. Дред Скотт был рабом военного врача, жителя штата Миссури. Сей врач на время переехал вместе с Дредом Скоттом в штат Миннесота, где рабство было отменено и где, следовательно, Скотт перестал быть рабом. Позднее врач вместе с Дредом Скоттом снова вернулся в штат Миссури, штат рабовладельцев. Оказавшись в родных краях, врач избил Скотта; последний пожаловался. Дело дошло до Верховного суда. Верховный суд, это, по определению Маркса, послушнейшее орудие рабовладельцев, признал Скотта рабом. Аргументация суда звучит, как окрик рабовладельца: американская конституция признает за каждым гражданином право возить с собой свою собственность куда угодно, на любую территорию...

В 1923 году Верховный суд США вынес решение о том, что закон, устанавливающий минимум заработной платы для женщин, «противоречит конституции», так как он нарушает «свободу договоров».

Избранный президентом Франклин Рузвельт провозгласил «новую эру». По предложению президента конгресс ввел систему промышленных «кодов» — особого рода соглашений между объединениями предпринимателей и профсоюзами. Эти «коды» содержали весьма элементарные нормы по охране труда. 27 мая 1935 года Верховный суд по иску, основанному на нарушении установленных «кодом» условий труда фирмой, торгующей битой птицей, признал, что вся система «кодов» не имеет опоры в законах Америки. В результате, все законодательство о «новой эре» вместе со всеми «кодами» было объявлено «противоречащим конституции» и уничтожено.

«Пятая поправка» к конституции США 1791 года предусматривает, что «никто не может быть лишен жизни, свободы или имущества без соблюдения надлежащих процессуальных гарантий». Назначение «пятой поправки» не может вызывать сомнений: она направлена против произвола административных органов и устанавливает, что никто не может быть подвергнут репрессиям без судебных гарантий, без суда. Верховный суд США нашел для «пятой поправки» весьма своеобразное применение, повернув ее против рабочего законодательства: в решениях 1908 и 1915 годов Верховный суд нашел, что «фабричное законодательство» конгресса и штатов противоречит конституции, так как оно «без надлежащего судебного разбирательства» лишает нанимателя «свободы договоров», и тем самым нарушает «пятую поправку».

В 1915 году Верховный суд Америки признал, что установление цензуры для кинокартин «не противоречит конституции». Это признание было достигнуто при помощи очень примитивного приема: по конституции цензура не допускается в отношении «средств выражения общественного мнения». А кино, уверяет Верховный суд, вовсе не «средство выражения общественного мнения», а попросту «временпрепровождение». Тем не менее это, по мнению Верховного суда, не имеющее никакого отношения к общественному мнению «временпрепровождение» пользуется настороженным вниманием других американских органов, наблюдающих за формированием общественного мнения: их стараниями за годы 1932—1938 в штате Нью-Йорк было запрещено 38,5 процента всех заготовленных кинофильмов.

Не так давно Верховный суд США, очевидно, вдохновленный экономической экспансией по «плану Маршалла», совершил агрессию на правосудие, лежащее за пределами территории, конституции и юстиции США,—на приговор Международного военного трибунала в Токио по делу японских главных военных преступников: по жалобе осужденных Верховный суд США пытался принять дело Международного суда к своему, американскому производству.

Таков «беспристрастный страж гражданских свобод и правового порядка». Таково

«равенство всех перед законом» в исполнении Верховного суда США.

Если «красивое здание» американского Верховного суда действительно является символом, то разве лишь печальным символом всей структуры буржуазной демокра-

тии, на фасаде которой начертаны прекрасные слова о свободе, равенстве и братстве, а внутри — политические преследования, классовый гнет и расовая дискриминация.

Член-корреспондент Академии наук СССР  
А. ТРАЙНИН.

★

## Литература к выборам народных судов

Ответственна и почетна работа народного судьи. Высокие требования предъявляют к нему советские люди.

Еще в 1934 году М. И. Калинин, говоря об огромной роли и значении работы народного судьи, сказал: «Вот если бы меня спросили, какое лицо может занять место судьи, кто может быть в нашем государстве сейчас судьей, я бы сказал, что судья должен обладать знаниями хотя бы в пределах коммунистического университета, это должен быть человек, который своим личным поведением, своим отношением к работе заслужил доверие и авторитет, наконец человек, который имеет большой общественно-политический опыт, умеет разбираться в людях, и я еще должен к этому прибавить, — культурный человек»<sup>1</sup>.

Выборы народных судов — это важнейшая политическая кампания. Юридическое издательство посвятило ей серию брошюр. Написанные в общедоступной форме, они помогут читателям глубже познакомиться с работой народного суда.

Автор брошюры «Советский народный суд» К. Горшенин показывает коренное отличие советского, подлинно демократического суда от суда буржуазного, являющегося орудием угнетения и подавления трудящихся. К. Горшенин приводит высказывание американского писателя Уитмэна о том, что среди американских судей «пора-

жающее—почти невероятное—число некомпетентных людей, бездельников, политических посредственностей, мошенников и путаников. Некоторые из судей настолько непригодны к своей работе, что полагаются на своих секретарей и сотрудников, которые пишут за них решения. Некоторые судьи засыпают за столом. Другие — пьяницы».

В брошюре К. Горшенина рассказывается о том, какое огромное значение придается в СССР строгому осуществлению социалистической законности, и раскрываются основные задачи советского правосудия.

Народный судья — избранник народа. В советской стране работа народного суда проходит под постоянным контролем населения, а отчеты народного судьи служат одним из средств воспитания граждан в духе строгого соблюдения социалистической законности. Десятки тысяч граждан в качестве народных заседателей проходят школу государственного управления.

Брошюра «Демократические основы организации и деятельности советского суда» Д. Карева и Б. Галкина освещает принципы организации суда в СССР.

Независимость судей и подчинение их только закону обеспечивается тем, что никто не может произвольно освободить судью от должности или подвергнуть его взысканию за судебную деятельность.

Правосудие в СССР осуществляется на началах единого и равного для всех граждан суда, независимо от социального, имущественного и служебного положения граждан, их национальной и расовой принадлежности. В буржуазных же государствах суд всегда стоит на страже интересов имущих, всегда готов защитить белого, совершившего насилие над негром. Авторы брошюры приводят следующий характерный факт. В США, в штате Оклахома, рассматривалось дело негра, обвинявшегося в

К. П. Горшенин. «Советский народный суд». Д. С. Карев и Б. А. Галкин. «Демократические основы организации и деятельности советского суда». П. И. Кудрявцев. «Положение о выборах народных судов РСФСР (в вопросах и ответах)». Б. А. Лисковец и А. С. Соминский. «Народный суд на страже прав граждан». Юридическое издательство, 1948.

<sup>1</sup> М. И. Калинин Журнал «Советская юстиция», № 13 1934.

ложной присяге. Выступая обвинителем, прокурор заявил перед составом суда, что подсудимый «должен быть счастлив уже тем, что его судят; случись это в Арканзасе, он неминуемо был бы там линчеван толпой».

Автор брошюры «Положение о выборах народных судов РСФСР» П. Кудрявцев показывает в форме вопросов и ответов, как будут происходить выборы народных судов. Брошюра разъясняет принципы советской избирательной системы.

Народным судьей и народным заседателем у нас может быть избран каждый гражданин, пользующийся избирательным правом и достигший ко дню выборов 23 лет. Исключения представляют лишь лица, имеющие судимость.

Брошюра «Народный суд на страже прав граждан» Б. Лисковца и А. Соминского говорит о роли советского суда в охране личных и имущественных прав и интересов

граждан. Советский суд обязан стремиться к выяснению истины, всемерно содействовать сторонам в охране их законных прав и интересов.

Охрана жизни, здоровья, достоинства граждан, их личной собственности, избирательных, трудовых, жилищных, семейных и наследственных прав — такова разносторонняя деятельность народного суда в СССР. Советский суд защищает от всяких посягательств общественное и государственное устройство СССР, социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность.

«Народный суд, — пишут Б. Лисковец и А. Соминский, — высоко держит знамя советского социалистического правосудия. Граждане СССР хорошо знают, что в случае нарушения их прав, избранный ими народный суд встанет на их защиту».

С. ЗАЙЦЕВ.

★

## *Техника и сельское хозяйство*

### Справочник «Машиностроение»

Еще в 1944 году — в дни войны — советское правительство приняло специальное решение о выпуске рецензируемого нами сейчас многотомного энциклопедического справочника «Машиностроение».

Большинство авторов справочника — крупнейшие научные и производственные деятели всех отраслей отечественного машиностроения. В составлении справочника, кроме того, участвовали и многие научные организации — от институтов Академии наук СССР до заводских лабораторий. Таким образом, справочник является крупнейшим коллективным трудом советских специалистов, отражающим современное состояние и перспективы развития советского машиностроения.

Первый том справочника вышел в 1946 году. Теперь, когда контуры этого капитального энциклопедического издания полностью определились (уже вышло двенадцать томов), можно сказать, что оно является беспрецедентным не только в оте-

чественной, но и в мировой научно-технической литературе.

Многие советские машиностроители в прошлом пользовались переводным немецким справочником «Хютте», уже давно не отвечающим даже самым элементарным требованиям наших читателей. «Хютте» не отражает современной техники вообще и, естественно, весьма далек от особенностей развития советской техники, в частности. Наконец, он крайне беден и по комплексу содержащихся в нем сведений. Из других иностранных справочников для машиностроителей наибольшим распространением за границей пользуются американские издания — Кента, Маркса и др. Все они не могут удовлетворить советских машиностроителей: в них весьма мало конкретных и справочных данных при изобилии общих, иногда попросту рекламных и описательных материалов.

На этом фоне весьма отчетливо видны качества советского справочника «Машиностроение».

Первое достоинство справочника — широкая энциклопедичность, обусловившая и его значительный объем, превышающий объемы других отечественных и иностран-

Энциклопедический справочник «Машиностроение». Тома 4—8, 10, 11, 12, 14. Машгиз, 1946—1948.

ных справочников. Справочник содержит важнейшие общетехнические сведения, подробные данные о свойствах, методах выбора и обработки различных машиностроительных материалов, развернутые указания по всем отраслям технологии машиностроения, по конструированию отдельных видов машин, а также по проектированию машиностроительных заводов, по экономике и организации производства.

Вторым достоинством справочника является обобщенный характер содержащихся в нем сведений. Несомненно, что отсутствие фирменных секретов и частнокапиталистических барьеров, столь свойственных иностранной промышленности, позволяет нашим авторам насыщать материалы справочника ценным практическим опытом, отражающим достижения заводов и результаты научных работ, а также собирать и систематизировать многочисленные сведения, содержащиеся в разнообразных источниках — в стандартах, заводских технических отчетах и т. д.

Наконец третьим достоинством справочника «Машиностроение» является его равенство на новую передовую технику. Спра-

вочник отражает наиболее прогрессивные тенденции отечественной техники и достижения советской науки в области механизации и автоматизации производства, скоростных методов обработки, применения электричества в технологических процессах, освоения новых высокопрочных материалов, конструирования наиболее совершенных машин для различных отраслей народного хозяйства, организации поточных линий и т. д. На его страницах читатель может найти также критически проверенные сведения о достижениях иностранного машиностроения.

Справочник «Машиностроение», содействуя распространению передовой техники, станет мощным средством организации технического прогресса в нашем народном хозяйстве. Он должен помочь машиностроителям лучше и скорее выполнить мудрые указания товарища Сталина о развитии советского машиностроения — этой ведущей отрасли народного хозяйства — на основе самой передовой науки.

Кандидат технических наук

**А. ШМЫКОВ.**

★

## Научное наследие Н. Е. Жуковского

**Н**иколай Егорович Жуковский — великий русский ученый, слава которого не померкнет в веках и именем которого будет всегда гордиться русский народ. В. И. Ленин назвал Н. Жуковского «отцом русской авиации».

В январе 1947 года широкие круги советской общественности с большой торжественностью отметили столетие со дня рождения Н. Жуковского. В эти дни Совет Министров СССР вынес постановление об увековечении памяти замечательного русского ученого. Осуществляя один из пунктов этого постановления, Гостехиздат выпустил двухтомное издание избранных сочинений Н. Жуковского.

В первый том вошли: краткая биография Н. Жуковского, написанная членом-корреспондентом Академии наук СССР В. Голубевым, крупнейшие работы по гидродинамике и по теоретической механике. Во второй

том включены: основанная работа Н. Жуковского о гидравлическом ударе, основные статьи по аэродинамике, работы по вихревой теории гребного винта, статьи по динамике аэроплана.

Полное собрание сочинений Н. Жуковского было издано в 1935—37 годах. За это время число научных работников, деятельность которых в той или иной мере соприкасается с тематикой научных трудов Н. Жуковского, выросло в несколько раз. Вот почему издание избранных сочинений выдающегося ученого является вполне своевременным и весьма полезным делом.

Н. Жуковский входит в то яркое созвездие великих русских людей, которые своими трудами не только значительно обогатили нашу отечественную науку о природе, но и создали новые науки об отдельных явлениях природы, поставив их на службу человеку.

Вся многосторонняя деятельность Н. Жуковского была направлена на то, чтобы

**Н. Е. Жуковский. Избранные сочинения. Гостехиздат, 1948.**

подчинить человеку воздушную среду, обеспечить более быстрые и более надежные способы передвижения на самолетах. Выдающиеся теоретические и теоретико-прикладные работы Н. Жуковского, такие, как «О движении твердого тела, имеющего полости, наполненные однородною капельною жидкостью», «Видоизменение метода Кирхгофа для определения движения жидкости в двух измерениях при постоянной скорости, данной на неизвестной линии тока», способствовали более глубокому познанию законов движения отдельных частиц жидкости и газа. Работы же «О парении птиц», «О присоединенных вихрях», «О контурах поддерживающих поверхностей аэропланов», «Геометрические исследования о течении Кутта», «О поддерживающих планах типа «Антуанетт» — создали основу новой науки, названной «аэродинамикой». К этим трудам примыкают и большие научные исследования Н. Жуковского, которые посвящены вихревой теории гребного винта (пропеллера) и динамике аэроплана.

Если в первых перечисленных работах ученый объяснял нам возможность образования у крыльев самолета поддерживающей силы и зависимость величины ее от формы этих крыльев, то в последующих трудах Н. Жуковский объясняет возможность образования у винта силы тяги и устанавливает условия правильного полета в воздухе самолета в целом.

Но не только своими научными трудами Н. Жуковский содействовал тому, чтобы поставить воздушную среду на техническую службу человеку. Этому он помог всей своей педагогической, организационной и популяризаторской работой. Он не ограничивался только теоретической разработкой важных вопросов воздухоплавания, но очень часто обращался к эксперименту, к наблюдениям. Им создана впервые в России аэродинамическая труба для экспериментов с моделями крыльев и самолета.

Вместе со своими многочисленными учениками он строил модели, конструкции и экспериментально исследовал поведение их в потоке воздуха в аэродинамической трубе или в специально построенном в Московском университете гидроканале.

Идеи воздухоплавания Н. Жуковский пропагандировал не только чтением докладов в научных обществах, но и чтением популярных лекций для широкой аудитории, созданием Московского общества воздухоплавания, проведением всероссийских воздухоплавательных съездов, организацией воздухоплавательных кружков и пр. Н. Жуковский писал первоклассные научные труды, создавал лаборатории, воспитывал кадры инженерных и научных работников. Советские ученые и инженеры успешно продолжают дело Н. Жуковского и с каждым днем повышают роль Советского Союза в развитии мировой науки, наращивают силу и могущество нашей сталинской авиации.

Указания партии и правительства о развитии советской науки обязывают многих работников физико-математических и технических наук заново обратиться к изучению трудов и методов научных исследований Н. Жуковского.

У великого русского ученого можно поучиться тому, как увязывать теоретические работы с запросами техники не только сегодняшнего дня, но и ближайшего будущего. У него можно поучиться сочетанию теоретически-расчетной работы с экспериментом в лаборатории или с наблюдениями явлений в природе. У него можно поучиться тому, как воспитывать кадры энтузиастов своего дела и коллективно решать те задачи, которые не под силу одному человеку. Наконец, у Н. Жуковского можно и нужно учиться тому, как популяризировать науку среди широких масс.

Доктор физико-математических наук  
Н. СЛЕЗКИН.

★

### Книга академика В. Вильямса

Когда-нибудь будет создан роман или поэма о том, как писалась эта замечательная книга, книга-подвиг. Великий

Академик В. Р. Вильямс. «Основы земледелия». Издание 6-е. Сельхозгиз,

ученый, в семьдесят пять лет, уже больной, парализованный, как бы подводя итоги всей своей жизни, всей своей многолетней научной деятельности, пишет эту поэму — «Основы земледелия».



Но эта книга — не воспоминание, не взгляд в прошлое, не сожаление об ушедшей молодости. Нет, вся она устремлена в будущее — в то самое будущее, которое уже создается сегодня делами тружеников колхозных полей, победным строительством социализма в нашей стране...

Эта книга, как написано на первой странице, «посвящается мастерам социалистического земледелия, участникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года» — и к ним она обращена всем своим содержанием.

«Выпуская эту книгу, я ставил перед собой задачу помочь растущим мастерам социалистического земледелия разобраться в той исключительной сложности процессов, которая неизменно создается в сельскохозяйственном производстве. И если данный труд поможет растущим мастерам понять главные основы научного земледелия, поможет взять их в свои могучие руки, я буду считать свою задачу разрешенной, а цель достигнутой», — писал в предисловии В. Вильямс.

И в самом деле, излагая свою теорию, систему травопольного земледелия, не догматически, а показывая весь процесс развития различных теорий почвоведения в их столкновении, Вильямс достигает гораздо большего, чем то, о чем он сам говорил в предисловии. Эта книга — выдающееся произведение тонкой и сложной передовой науки — написана так, что ее легко может прочитать, понять, и сделать далеко идущие выводы человек с трехклассным, четырехклассным образованием. Так может писать лишь ученый, чувствующий себя хозяином в данной области науки и соединяющий это с качествами первоклассного педагога.

Автор призывает нас — советских людей — стать властителями земли и точно указывает ясные и вполне доступные пути к овладению этой властью. Изложить содержание этой книги — значит полностью пересказать ее, настолько сжато и вместе с тем неопровержимо доказательно она написана. Травопольная система земледелия — с ее системой севооборотов, яблечной обработки почвы, пахоты плугом с предплужником, внесением удобрений и т. д. — встает перед читателем во всей своей сложности и огромной значимости. Вопрос о структуре почвы перерастает в вопрос о суще-

ствовании рек, дальнейшей жизни самого человечества. Агротехника перерастает в мироощущение — мироощущение глубоко оптимистическое, ведущее к активному воздействию на природу.

Показывая все явления во взаимосвязи и развитии, книга «Основы земледелия» на конкретном материале своей науки учит читателей материалистическому, диалектическому мышлению, и, будучи насквозь действенной, сама призывает читателя к активному действию. Каждый человек, принимающий участие в советском сельском хозяйстве, прочитав эту книгу, по-новому осмысливает свою деятельность, свою повседневную работу.

Эта книга о почвоведении учит людей социалистическому отношению к своему труду и труду товарищей. Тот, кто ее прочитал, не может оставаться равнодушным человеком. Можно было бы привести десятки примеров из литературы и жизни, показывающих великую силу воздействия этой книги, зовущей людей к активному преобразованию природы. Вот что, например, пишет в редакцию «Правда Украины» ситковецкий тракторист Дмитрий Пальченко. Рассказав, что в их районе за последнее время эту книгу приобрели более ста трактористов, он дальше говорит: «Читая эту книгу, я каждый раз чувствовал, будто у меня кто-то с глаз повязку снимает. Когда я начал применять лущевку, а потом пахоту с предплужником, мне казалось, будто в мозгу моем наука В. Вильямса зажгла какие-то особые фары знания и силы, и они дали мне возможность ясно видеть нутро обрабатываемой мною земли — этой великой кладовой высоких урожаев.

Я хорошо понял, что бесструктурное состояние почвы, какое мы имеем во многих колхозах, является тормозом нашего движения вперед. Но кто же переделает почвы, как не мы, трактористы, воспитанные советской властью, партией, товарищем Сталиным?.. И я так теперь понимаю, что почва обрабатывается не только тракторами и сельскохозяйственными орудиями, но и корнями смесей многолетних трав. Трактор без трав не имеет той силы, какую может иметь, если вести тракторную обработку в полях травопольного севооборота. Вот почему я часто люблю семенниками наших многолетних трав, особенно тимофеевки, которой в нашем колхозе имени Яценко

есть уже 26 гектаров. Это завтрашний день нашего колхоза...»

Очень интересен вывод, который делает тракторист Пальченко:

«Теперь, когда я знаю, что дают травы, лущевка, применение предплужника и т. д., я не могу безразлично относиться к тому, как возделывают в колхозе травы, пошлют ли меня пахать плугом с предплужником или без него. Если меня пошлют в колхоз без предплужника, я его за свои деньги куплю, но пахать буду только с предплужником».

Когда с трибуны сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук один из ораторов прочитал это письмо, оно было встречено бурными, продолжительными аплодисментами.

Сейчас, после того как обнародован великий Сталинский план наступления на засуху и внедрения травопольной системы земледелия, ни один человек, каким бы высоким ученым званием он ни был облечен, каким бы опытом ни обладал, не может считаться по-настоящему образованным, если он не прочитал этой книги.

Геннадий ФИШ.

★

## Теоретические основы советской агробиологии

Работы академика Т. Лысенко являются георетической основой советской агробиологии. Главнейшие из этих работ и статей за период с 1934 по 1948 год включительно вошли в рецензируемый сборник «Агробиология».

Они дают яркое представление о страстной, целеустремленной и непримиримой борьбе выдающегося ученого-новатора против реакционных направлений в биологии, против формализма в науке, за развитие подлинной материалистической биологии, за торжество мичуринских идей и творческого советского дарвинизма.

В докладе 6 ноября 1948 года «31-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» В. М. Молотов, остановившись на значении дискуссии по вопросам биологии, отметил: «Недаром эту борьбу возглавил академик Лысенко, заслуги которого в нашей общей борьбе за подъем социалистического сельского хозяйства всем известны».

Работы Т. Лысенко показывают неразрывную органическую связь подлинной биологической теории с практикой сельского хозяйства, с конкретными задачами колхозов и совхозов.

Как пишет Т. Лысенко, «единство теории и практики — верная столбовая дорога советской науки. Мичуринское учение является как раз таким учением, которое в

биологической науке это единство воплощает в наилучшей форме».

Разработка коренных теоретических вопросов материалистической биологии неизменно приводила академика Т. Лысенко к практическим предложениям, имеющим крупнейшее народно-хозяйственное значение.

Первая работа в сборнике, датированная 1934 годом, носит название «Теоретические основы яровизации». В этой работе впервые было показано, что в своем индивидуальном развитии каждое растение проходит ряд качественно различных этапов развития, названных стадиями развития. Каждая стадия может проходить при определенных условиях внешней среды, следовательно, требования растения к условиям внешней среды различны для разных стадий развития. Стадийные изменения строго последовательны и необратимы.

Практическое значение этого крупнейшего георетического открытия чрезвычайно велико. Теория стадийного развития связана со всеми разделами агрономии и в первую очередь с селекцией и семеноводством.

Эта теория имеет исключительное значение в раскрытии и изучении природы растительных организмов. Она дает возможность планового выведения сортов сельскохозяйственных растений в строго установленные сроки с заранее predetermined свойствами. Исходя из этой теории, разработан метод наследственного

изменения яровых форм в озимые и наоборот.

Следующая статья «Селекция и теория стадийного развития» (написана совместно с академиком И. Презентом) дает конкретные указания о практическом применении этой теории в селекции сельскохозяйственных растений.

Нет нужды останавливаться подробно на изложении содержания всех работ и статей, вошедших в сборник. Вкратце можно сказать, что все они показывают исторический путь постепенного развития мичуринского направления в биологии за период с 1934 по 1948 год. Они показывают также непримиримую борьбу академика Т. Лысенко с идеалистическим реакционным направлением в биологии, за развитие и внедрение в биологическую науку основных положений мичуринской генетики, и, в частности, главного положения — наследуемости приобретенных свойств, и за разработку методов и приемов направленного изменения природы растений.

Наиболее четко и полно основные теоретические положения мичуринской генетики впервые были сформулированы в статье «О наследственности и ее изменчивости» (1943). В этой статье дается следующее определение наследственности: «Под наследственностью мы понимаем свойство живого тела требовать определенных условий для своей жизни, своего развития и определенно реагировать на те или иные условия».

Совершенно четко указывается, что причиной изменения природы, то есть наследственности организмов, являются изменения внешних условий.

В этой же статье впервые формулируется положение о том, как неживое (то есть внешние условия) становится частью живого тела, то есть живым, включаясь в общую цепь развития.

Это положение настолько важно для правильного понимания мичуринского учения о наследственности, что мы не можем не процитировать его: «Внешние условия, будучи включены, ассимилированы живым телом, становятся уже не внешними условиями, а внутренними, то есть они становятся частицами живого тела, и для своего роста и развития уже требуют той пищи, тех условий внешней среды, какими в прошлом они сами были».

В статье «Генетика» критически рассматриваются коренные принципиальные разногласия идеалистического и материалистического учения о наследственности. Основные положения менделизма-морганизма подвергаются уничтожающей критике. Наряду с этим автор вновь подчеркивает действительность мичуринской генетики.

Доклад академика Т. Лысенко на исторической сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина «О положении в биологической науке» по существу является завершением работ, опубликованных в сборнике. Доклад этот, одобренный ЦК ВКП(б), как известно, определил коренной поворот в развитии биологической науки.

Сборник «Агробиология» представляет интерес для всех, кто в той или иной степени интересуется вопросами развития биологической науки, кто хочет правильно познать основы материалистической биологии, советского творческого дарвинизма, кто хочет понять коренные разногласия между идеалистическим и материалистическим учением о наследственности и вместе с тем ознакомиться с фактическим экспериментальным материалом, подкрепляющим теоретические обобщения мичуринского направления в биологии.

Академик И. ВАРУНЦЯН.



### Книга о советском пчеловодстве

Более ста тысяч колхозных пасек с почти 10 миллионами пчелиных семей было в СССР к 1941 году. Наше колхозное

С. А. Розов, А. Ф. Губин, П. М. Комаров, Г. Ф. Таранов, В. А. Темнов. «Пчеловодство». Второе, переработанное издание. Сельхозгиз 1948.

пчеловодство по своему размаху самое крупное в мире. Количество пчелиных семей в США почти в два раза меньше. Социалистическая реконструкция сельского хозяйства СССР благотворно сказалась и на этой отрасли сельскохозяйственного производства. «Преимущества колхозного

строю, — говорится во введении к книге, — показали совершенно новые, небывалые возможности развития пчеловодства».

В царской России среднегодовой прирост коллинических семей не превышал 3—4 процентов, а на колхозных пасеках в течение десятилетия перед войной он составлял около 14 процентов в год. Темпы развития колхозного пчеловодства уже тогда почти в четыре раза превышали темпы развития пчеловодства в капиталистических странах. Колхозные пасеки располагают количеством пчел большим, чем все европейские страны вместе взятые. Средний размер колхозной пасеки в СССР в 4,5 раза больше среднего размера пасеки в США, почти в 5 раз больше, чем в Швейцарии, и почти в 8 раз больше, чем в Германии. В передовых районах развитого колхозного пчеловодства средние валовые сборы меда доходили до 80—100 килограммов с пчелиной семьи. Значительно возросли и сборы воска.

«Только в условиях крупного социалистического сельского хозяйства в СССР, — как правильно сказано в книге, — пчеловодство впервые приобрело новое значение в народном хозяйстве страны». Речь идет о роли пчел в опылении сельскохозяйственных растений. Ни один из видов насекомых, принимающих участие в перекрестном опылении растений, не приносит человеку столько пользы, как медоносные пчелы.

По мере того, как повышается культура социалистического земледелия, распахиваются целина и залежи, меньше становится невозделанных земель, поля очищаются от сорняков, а для быстро растущего животноводства расширяются площади для выпаса и покоса. В этих условиях роль диких насекомых в опылении растений, естественно, снижается, и опыление пчелами становится существенным фактором агротехники. Опыление пчелами в из-

вестной мере содействует улучшению природы растений. Профессор А. Губин в своем разделе книги напоминает, что при перекрестном опылении происходит обогащение наследственной основы растений. Это является одним из важных выводов учения Ч. Дарвина, развитого русскими учеными К. Тимирязевым, И. Мичуриным, Т. Лысенко.

Грандиозная программа преобразования степных и лесостепных районов СССР, где в течение ближайших трех пятилетий будет создана сеть полезащитных лесных насаждений, прудов и водоемов, особое внимание уделяет введению и освоению травопольных севооборотов. Советской наукой впервые в мире разработаны специальные приемы использования пчел для опыления растений, открыта возможность управлять летной деятельностью пчел. Колхозы и совхозы СССР уже широко используют эти приемы, однако недостаток в насекомых-опылителях еще и сейчас в известной степени влияет на рост валовых урожаев семян клевера и люцерны. А они необходимы для освоения правильных севооборотов и дальнейшего повышения культуры земледелия и для урожайности всех культур.

В свете этих новых задач, вставших перед советским пчеловодством, издание книги, составленной из работ виднейших специалистов, принесет большую практическую пользу.

В новом издании книги «Пчеловодство» нетвейсманистско-морганистских рассуждений о наследственности у пчел, дезориентировавших читателей прежнего издания, но составители книги почему-то не нашли нужным включить в нее главу, разоблачающую лженаучные концепции органистов. Надо думать, что третье издание книги будет дополнено более подробным освещением биологии пчелиной семьи с позиций мичуринского учения.

И. ХОХЛОВ.

★

## Медицина

### Советский анатомический атлас

Студенты медицинских факультетов, изучавшие университетский курс наук в дореволюционное время, вынуждены бы-

ли при своих занятиях анатомией пользоваться атласом Шпальтегольца.

Акад. В. П. Воробьев и проф. Р. Д. Синельников. «Атлас анатомии чело-

Русского анатомического атласа в то века». Издание второе, стереотипное, в пяти томах. Медгиз, 1948.

время не было. Это происходило не только вследствие убогих возможностей тогдашней полиграфии, в частности для целей научно-учебных, но главным образом из-за унизительного рабства перед границей царских «научных властей».

Проф. Н. Батуев в свое время не только перевел текст этого атласа на русский язык, но и устранил ряд неточностей немецкого подлинника. Однако он не выправил немаловажные иной раз ошибки в иллюстрациях Шпальтегольца.

Этот переводный атлас уже не мог удовлетворять новые и все растущие требования советской высшей медицинской школы. Основным недостатком атласа были даже не отдельные погрешности в тексте или иллюстрациях. Их можно было легко устранить. Главная беда состояла в том, что в иностранных атласах самое понятие «наглядность» находило и находит весьма примитивное решение. Это упрощенное понимание ведет свое начало еще с XVII столетия, когда итальянский анатом Георг Бальвиви поучал: «В анатомии нет надобности рассуждать, а надо точно и наглядно изучать».

Между тем наглядность изучения бывает разная. Порочной является такая наглядность, которая не побуждает к работе мысли, к рассуждению, а предназначена лишь фиксировать в сознании учащихся заочеченные, мертвые формы. Именно таковы, нередко подкупающие своей лакированной внешностью, изображения анатомических отношений в иностранных атласах.

Характерной чертой стиля работы советских вузов является воспитание у студентов навыков самостоятельной работы. Рецензируемый атлас всецело подчинен этой задаче. Его составители — и зачинатель покойный В. Воробьев, и автор большей части текста и иллюстраций Р. Синельников — направляют мысль студента к самостоятельному творческому усвоению материала. Это достигается тремя путями.

Во-первых, авторы не боятся иногда забежать вперед и дают новичку, только приступившему к изучению костей, суставов, мышц, расширенные топографические представления. Благодаря этому, студент, не отрываясь от последовательности систе-

матического курса, одновременно с первых же шагов приучается к восприятию систем в их нерасторжимом единстве.

Во-вторых, В. Воробьев справедливо придавал особое методическое значение исследованиям в пограничной области между крупным, уловимым невооруженным глазом, и микроскопически малым. Особое богатство содержания этой области макромикроскопии показал Р. Синельников на примерах искусно налитых мелких железок наружных покровов и слизистых оболочек (III том «Атласа»).

Третья творческая особенность атласа В. Воробьева и Р. Синельникова в том, что на его страницах своеобразно отразилась особо плодотворная идея единства теории и практики. Наряду с высоким теоретическим уровнем атлас последовательно подводит студентов к области медицинской практики, к усвоению анатомии на живом и для живого. В I томе применительно к отдельным костным ямкам и костным выступам имеется много фотоснимков, дающих представление о способах прощупывания ямок и выступов на живом. Во II томе—это же сделано по отношению к рельефу мышц.

Многочисленные рентгеновские снимки и фото-рентгеномонтажи иллюстрируют соотношения костей, их развитие, движения в разных суставах, далее — продвижение контрастной массы по желудочно-кишечному тракту; тем же способом показаны бронхи, почечные лоханки, участки полового тракта.

К сожалению, приходится отметить, что некоторые фотоснимки и рентгеновские снимки технически несовершенны. Кроме того, некоторые рисунки чрезмерно перегружены сносками (например, рис. 369, 446 и др.).

Хорошая учебная книга — друг студента. Данный атлас несомненно призван сыграть роль верного друга студента—и не только в течение всего курса медицинского обучения, но и по окончании курса, во время его последующего служения родине на посту советского врача.

Доктор медицинских наук  
П. ДЬЯКОНОВ.

## Библиотека практического врача

Много тысяч врачей будут благодарны Медгизу за выпуск рецензируемой серии книг, объединенных общим названием «Библиотека практического врача».

Большинство уже вышедших книг этой серии отвечает современному уровню знаний. Большие тиражи и низкая цена этих полезных изданий делают их доступными для врачей лечебной сети. Особенно удачными, на наш взгляд, являются книги Э. Гельштейна «Инфаркт миокарда», В. Ефремова «Алиментарно-токсическая алейкия», Ф. Михайлова «Ранняя диагностика туберкулеза» и И. Порудоминского «Гоноррея».

При издании серии «Библиотека практического врача» большое значение приобретает выбор тем для отдельных брошюр, а также решение вопроса о том, в какой мере брошюры должны дополнять или повторять учебники для медицинских институтов.

Поскольку библиотека издается в помощь практическому врачу и должна помочь ему при распознавании и лечении болезней, общие вопросы здесь должны освещаться сокращенно, а большая часть книги должна отводиться разбору клинических форм болезней и терапии.

Между тем, ознакомление с первыми двенадцатью книгами серии показало нам, что у издательства нет четкого принципа построения этих книг. Например, книга З. Васильковой «Основные гельминтозы человека» по существу является конспективно изложенным учебником по паразитологии. Другие книги посвящены более узким

«Библиотека практического врача». Медгиз, 1948. Д. П. Бровкин. «Эклампсия». З. Г. Василькова. «Основные гельминтозы человека». Э. М. Гельштейн. «Инфаркт миокарда». М. П. Демьянович. «Экзема». В. В. Ефремов. «Алиментарно-токсическая алейкия». И. В. Завадский. «Клиника, диагностика и лечение малярии». А. Д. Каплан. «Поражение электрическим током и молнией». Ф. А. Михайлов. «Ранняя диагностика туберкулеза». Н. М. Николаев. «Рак желудка». И. М. Порудоминский. «Гоноррея». В. Я. Шлапоберский. «Пенициллин в хирургии». Е. В. Шмидт. «Фантом ампутированных».

проблемам. Так, в книге Д. Бровкина «Эклампсия» все внимание сосредоточено, в основном, только на лечении эклампсии сернокислым магнием.

Различен и подход авторов к изложению медицинских вопросов. В удачных, с нашей точки зрения, книгах проблемам теории авторы посвятили не более одной трети содержания (таковы книги И. Порудоминского, Э. Гельштейна, Н. Николаева, В. Ефремова), а основное внимание уделено близким практическому врачу вопросам клиники, распознаванию и лечению болезней. Другие же авторы в свои книги, предназначенные для практического врача, включили обширные литературные обзоры общих сторон проблемы (книги В. Шлапоберского и А. Каплана), привели множество фактов, имен, статистических данных (книги А. Каплана, Д. Бровкина и др.), то есть перегрузили текст таким материалом, которому место в обширной монографии. Нам думается, что книги «Библиотеки практического врача» не следует превращать в сокращенную монографию и нельзя для этого механически сокращать работы, предназначенные для другого, более специализированного издания.

Такие массовые книги, как те, что входят в «Библиотеку практического врача» требуют особой строгой редактур. Книжки эти должны быть написаны ясным языком, снабжены простыми, понятными рисунками с толковыми подписями. В этом отношении в рецензируемой серии, к сожалению, не все благополучно. В ряде книг допущены «жаргонные» выражения, излишние иностранные термины.

Отсутствие единого принципа видно и в такой незначительной детали, как указатели литературы. В некоторых книгах указателей нет совсем, в других это или небольшие библиографические списки или очень обширные перечисления.

Следует пожелать, чтобы издательство, начав выпускать столь полезную серию для широкого круга практических врачей, с большей ясностью определило для себя профиль книг, их темы и формы изложения материала.

Доктор медицинских наук  
М. МУЛЬТАНОВСКИЙ.

## География

### Русские имена на карте мира

Писательница-географ Надежда Бендер поставила перед собой благородную задачу показать имена русских людей на карте мира, рассказать о вечных памятниках русской географической науке, ее выдающимся деятелям. Автор сознательно очертил сравнительно тесные границы своей работы — речь идет не вообще о русских названиях, а только об именах. Поэтому в ее книге нет, например, двух рек Нёвок, одна из которых течет по Николаевской стране, открытой сто лет назад Ковалевским в дебрях Внутренней Африки, а другая прорезает цветущий остров Нукагиву. Н. Бендер не пишет ничего о хребте Николая в Эфиопии или о том, как в XIX веке на карте Гавайских островов появились Александровская и Барклаевская крепости. В книге Н. Бендер ничего не сказано о Михайловском редуе в устье Юкона, о славном Ново-Архангельске на Аляске или о Наварине на Огненной Земле.

Книга Н. Бендер начинается очерком русских открытий в странах мира и в нашей стране. Читатель узнает, что на Шпицбергене — древнем Грманге русских поморов — в названиях гор и вершин увековечены имена Софьи Ковалевской, Лобачевского, адмирала Макарова. Карта Арктики заполнена названиями в честь Челюскина, братьев Лаптевых, Прончищева, Шелаурова и других. Если взглянуть на северо-восток, вы найдете на картах имена Чирикова и Гвоздева, Шелихова, Баранова — тех людей, которые утвердили русские открытия на огромном пространстве от Берингова пролива до входа в залив Сан-Франциско. Загоскин, Тебеньков и Кашеваров были достойными продолжателями подвигов первых русских открывателей северо-западной Америки. Поэтому совершенно не случайно географы Курильской экспедиции 1946 года присвоили имя Гвоздева одному из Сахалинских мысов.

Как бы подводя итог всему, что к настоящему времени известно о замечательных русских самородках, исследовавших север Тихого океана, Курильская экспеди-

ция 1946 года не забыла мореходов XVIII века — штурмана Петушкова, Наседкина, Атласова, Козыревского. В названиях, данных в 1946 году вулканам Курил, горам Сахалина, в основном отражена вся история исследования и освоения русскими людьми островных земель в Охотском море (Анциферов, Бошняк, Мицуль, Орлов, Поляков, Рудановский и др.). Попутно мы узнаем, что русское население Сахалина по собственному почину назвало именем Чехова горную вершину и перевал на Сахалине.

К сожалению, Н. Бендер ошибается, утверждая, что на картах северо-востока нет имени Стадухина, современника Дежнева. Гора Стадухина на крайнем северо-востоке Азии открыта в 1930 году геологом Полевым, и именно там, где ей исторически положено быть — в бассейне реки Пенжины, когда-то «сведенной» Стадухиным. В названии «Прибыловы острова» увековечено имя морехода XVIII века Прибылова, открывшего этот северный архипелаг с его несметными пушными сокровищами.

Эпоха русских кругосветных походов отражена в русских именах на карте обоих полушарий. Эти имена зазвучали в лазурь Океании и во льдах Антарктики, где русскими мореплавателями были открыты берег Александра и остров Петра Великого, целое созвездие островов в Тихом океане. Кстати, в числе открытий экспедиции Беллинсгаузена Н. Бендер не указывает островов Волконского, Ермолова, Грейга.

Позже имя великого Миклухо-Маклая было увековечено в названиях берега Маклая и реки Маклая.

К списку русских названий в Новой Гвинее следует присоединить названные именами русских мореплавателей пролив Сарычева, острова Лебедева, Смирнова, Азбелева, мысы Мещерского и Чупрова. Их нет в таблицах Н. Бендер.

В блистательную эпоху расцвета русской географической науки, в итоге подвигов Пржевальского, на карте Центральной Азии появился Московский хребет с вершиною Кремль в Куэн-Луэне. Памятниками русским героям в горах и пустынях Центральной Азии служат географические

названия в честь Потанина, Федченко, Семенова-Тян-Шанского и др. (Н. Бендер пропустила ледник Чокана Валиханова в Джунгарском Ала-Тау. Ледник появился на карте СССР недалеке от бывшего пути Чокана в Кашгар).

Н. Бендер рассказывает о том, какие замечательные открытия были сделаны в советское время. После 1926 года на карте мира появился исполинский хребет Черского, по площади своей превышающий горы Кавказа. Честь этого открытия принадлежит нашим современникам С. Обручеву и К. Салищеву. Через 20 лет к югу от хребта Черского наши географы открывают новый огромный хребет. В годы Отечественной войны в Тянь-Шане был открыт пик Победы, намного превышающий грозный Хан-Тенгри.

Следует пожалеть о том, что сведения

в таблице, приложенной к книге, очень кратки. Как на пример, можно указать, что о местоположении острова Суворова сказано лишь два слова: «Тихий океан».

У нас еще очень мало книг по истории землеведения. Поэтому книга Н. Бендер— явление очень заметное. Для изучения истории открытий, совершенных русскими исследователями в пустынях, океанах, морях земного шара, она будет ценным пособием.

Воздавая должное изданной работе Н. Бендер, надо пожелать, чтобы автор, продолжив, расширив и дополнив свои ценные разыскания, восстановил также и замечательную историю возникновения русских названий на карте земного шара.

Сергей МАРКОВ.

★

## К вершинам родной земли

Осенью 1948 года советский альпинизм отметил свое 25-летие. Стремление к познанию родной земли толкает советских альпинистов на самоотверженную борьбу с грозными силами природы. В историю нашего альпинизма вписано много славных страниц, свидетельствующих о мужестве советских спортсменов и ученых. Советского восходителя отличают высокие моральные качества. Недаром говорят наши альпинисты, что чувство благородной дружбы, взаимопомощи, коллективизма сильнее скрепляют «связку», чем соединяющая ее веревка.

Советские альпинисты не только завоевывают неприступные вершины, но и открывают залежи естественных богатств, ценные для отечественной индустрии, прокладывают новые пути через ледяные барьеры горных хребтов. Каждая из экспедиций заслуженных мастеров спорта — М. Погребецкого, члена-корреспондента Академии медицинских наук А. Летавета, В. и Е. Абалаковых, Е. Казаковой и дру-

гих — неизменно вносила значительный вклад в дело познания родной земли.

Альпинизм, суровая борьба с природой во имя интересов родной страны — увлекательная и полная глубокого содержания тема. Следует приветствовать, что Государственное издательство географической литературы, вслед за изданием трудов великих мужей русской науки — пионеров исследования горной природы Н. Пржевальского, П. Семенова - Тянь-Шанского, Н. Северцева и др., выпустило в свет три книги советских альпинистов.

Книга А. Гусева — это записки человека, на протяжении почти двух десятилетий связанного с научным изучением и спортивным покорением массива Эльбруса, грозного вулкана отдаленных геологических эпох и высочайшей горы Европы.

Автор, много раз поднимавшийся на Эльбрус, увлекательно рассказывает и о первых одиночных восхождениях и о недавних походах целых колонн альпинистов, о превращении склонов Эльбруса в гигантскую лабораторию советской науки.

Книга эта, однако, не свободна от некоторых неточностей. Никаких «австралийских» проводников на Эльбрусе не бывало; вершина Мижирги не достигает высоты

А. М. Гусев. «Эльбрус». Д. М. Загловский. «На ледниках и вершинах Средней Азии». П. С. Ротогоев. «Побежденная Ушба». Географгиз, 1948.



5.000 метров; Российская Академия наук же именовалась Петербургской.

Книга очерков Д. Загуловского посвящена увлекательной эпопее исследования горных узлов Памира и Тянь-Шаня.

Автор повествует о покорении высочайшей вершины советской земли — пика Сталина, о восхождении на легендарную «Гору крови» — мраморный пик Хан-Тенгри, об открытии в военные годы пика Победы, второй по высоте вершины в СССР.

Советские альпинисты опровергли надменное заявление немца Костнера, безуспешно пытавшегося в свое время покорить Хан-Тенгри: «Вероятность восхождения на Хан-Тенгри не больше 5 процентов. Я и сегодня имею мужество утверждать, что считаю эту вершину недоступной. Предполагаемая русская экспедиция не достигнет вершины». Так заявил немецкий альпинист, а год спустя М. Погребецкий стоял на «недоступной вершине», и вслед за тем его подвиг повторяют алмаатинцы (группа Е. Колокольникова) и москвичи (группа Е. и В. Абалаковых).

Автором собран богатый и поучительный материал о тех, кто, не являясь по своей профессии географом или геологом, из года в год отдает свой отпуск и каникулярные дни высокогорным экспедициям. Физиолог А. Легавет, спортивный работник М. Погребецкий, математик В. Немыцкий, скульптор Е. Абалаков, лучший токарь Кировского завода Е. Белецкий, инженер В. Абалаков своими горными походами внесли серьезный вклад в науку. Это они опровергли канонические представления о строении узла Мраморной стены, о масштабах оледенения Иньльчека, о рудных возможностях Туркестанского хребта. На карты мира наносятся новые названия высочайших гор: пики Сталина, Ленина, Карпинского, Сталинской конституции, 30-летия Советского государства, Москвы и т. д.

Книга эта могла быть значительно интересней, если бы автор серьезней пора-

ботал над собранным им обширным материалом и избег сухих перечислений экспедиций и слишком упрощенных характеристик людей.

В одном месте книги автор утверждает, что «носильщиков в советском альпинизме, как правило, при восхождении не используют», и в этом наше «отличие от Мерцбахера», а в другом месте пишет: «В состав экспедиции войдет большое число выносливых носильщиков». Это просто небрежность. Дело в том, что носильщики сопровождали экспедицию на пик Сталина, участвовали они и в других походах. Но Д. Загуловский должен был сказать о другом. Для иностранных клубменов носильщики — это только туземцы, люди «второго сорта», их удел — черная работа. Слава достается господам, нередко идущим налегке и лишь с помощью безвестных проводников достигающим вершин. В советском альпинизме носильщики — полноправные участники экспедиции и товарищи по совместной борьбе. Автор допускает и немало досадных фактических неточностей, путаницу в транскрипции названий.

Книга П. Рототаева рассказывает о покорении Ушбы. Этапы этой борьбы полны подлинного драматизма. Еще древние сказания горцев связывали историю Ушбы с именем горского Прометея — Амираана. Автор добросовестно собрал описания восхождений на Ушбу с 1930 по 1946 год, но очень мало внес в книгу своего, отчего книга приобрела несколько компилятивный характер.

Остается пожелать Географическому издательству продолжить начатую им серию книг, посвященных настоящему и прошлому советского альпинизма — этой школы высокого мужества. Следует одновременно пожелать побольше внимательности и требовательности в редактировании этих книг.

Евг. СИМОНОВ.

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Ноябрь—декабрь 1948 года

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Ажаев.** Далеко от Москвы. Роман. 748 стр. Цена 19 р.

**Азербайджанские рассказы.** Сборник. Перевод Азиз Шарифа. Составил Ю. Либединский. 432 стр. Цена 12 р.

**Мухтар Ауэзов.** Абай. Роман. Книга вторая. Авторизованный перевод с казахского. 424 стр. Цена 13 р. 50 к.

**Микола Бажан.** Избранное. Перевод с украинского. 188 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Касымалы Баялинов.** Счастье. 236 стр. Цена 5 р.

**Юрий Бессонов.** Неожиданный поворот. Рассказы. 192 стр. Цена 4 р.

**Михаил Бубеннов.** Белая береза. Роман. Книга первая. 356 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Борис Галин.** В Донбассе. Очерки. 264 стр. Цена 7 р.

**Мажит Гафури.** Стихотворения. 184 стр. Цена 6 р.

**Савва Головановский.** Стихотворения. Перевод с украинского. 196 стр. Цена 10 р.

**Эльмар Грин.** Избранное. 436 стр. Цена 10 р. 75 к.

**Георгий Гулиа.** Весна в Сакене. Абхазские рассказы. 292 стр. Цена 8 р. 50 к.

**В. Катанян.** Маяковский. Литературная хроника. 480 стр. Цена 18 р.

**Л. Квитко.** Стихи. Перевод с еврейского. 306 стр. Цена 9 р.

**Берды Кербабаяев.** Решающий шаг. Роман. Перевод с туркменского. 572 стр. Цена 10 р.

**Тембот Керашев.** Дорога к счастью. 312 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Петро Козланюк.** Юрко Крук. Роман. Авторизованный перевод с украинского. Вл. Россельса. 236 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Б. Костюковский.** Снова весна. Повесть. 236 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Иван Ле.** Наливайко. Исторический роман. Перевел с украинского Семен Родов. 444 стр. Цена 13 р.

**Леонид Леонов.** Избранное. 592 стр. Цена 13 р.

**Андрей Малышко.** Избранное. Перевод с украинского. 280 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Маяковский об Америке.** Стихи. Очерки. Газетные интервью. Составитель В. Катанян. 168 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Леонид Первомайский.** Избранное. 284 стр. Цена 10 р. 50 к.

**А. Н. Плещеев.** Стихотворения. 336 стр. Цена 13 р.

**Мих. Пришвин.** Избранное. 472 стр. Цена 11 р. 25 к.

**Март Рауд.** Стихотворения. Перевод с эстонского. 106 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Л. Н. Сейфуллина.** Избранное. 280 стр. Цена 9 р.

**Константин Симонов.** Друзья и враги. Книга стихов. 76 стр. Цена 3 р.

**Константин Симонов.** Избранные стихи. 244 стр. Цена 10 р.

**Сергей Смирнов.** С добрым утром. Стихи. 132 стр. Цена 5 р.

**Советская литература на подъеме.** Сборник статей. 300 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Владимир Сосюра.** Избранное. Перевод с украинского. 216 стр. Цена 7 р.

**Хади Такташ.** Стихи. Перевод с татарского Л. Мартынова. 84 стр. Цена 4 р.

**Н. Телешев.** Избранное. 316 стр. Цена 9 р.

**Павло Тычина.** Избранное. Перевод с украинского. 214 стр. Цена 8 р.

**Геннадий Фиш.** Наука изобилия. Три повести. 228 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Александр Чак.** На высоком берегу. Стихотворения. Перевод с латышского. 116 стр. Цена 5 р.

**Осип Черный.** Музыканты. Роман. 536 стр. Цена 15 р.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**Антология поэзии Парижской коммуны 1871 года.** Составитель, редактор, автор вступительной статьи и комментариев Ю. Данилин. 408 стр. Цена 14 р.

**В. Г. Белинский.** Избранные сочинения. 672 стр. Цена 22 р.

**Ф. Богушевич.** Избранное. Перевод с белорусского. 80 стр. Цена 1 р. 75 к.

**А. П. Вершигора.** Люди с чистой совестью. 440 стр. Цена 9 р.

**А. И. Герцен.** Кто виноват? Роман в двух частях. 256 стр. Цена 6 р.

**А. Гончар.** Знаменосцы. (Роман-газета № 11 (35)). 46 стр. Цена 2 р.

**А. Гончар.** Знаменосцы. Окончание. (Роман-газета № 12 (36)). 42 стр. Цена 1 р. 75 к.

**А. С. Грибоедов.** Горе от ума. 120 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Э. Грин.** Ветер с юга. 318 стр. Цена 4 р.

**Ф. М. Достоевский.** Преступление и наказание. 528 стр. Цена 11 р.

**Елин-Пелин.** Избранные рассказы. Перевод с болгарского С. Г. Займовского. 196 стр. Цена 5 р.

**М. Исаковский.** Стихи и песни. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Якуб Колас.** В Полесской глуши. Перевод с белорусского В. Тарсиса. 528 стр. Цена 10 р.

**В. Г. Короленко.** История моего современника. Книги первая и вторая. 652 стр. Цена 13 р.

**Панас Мирный.** Гулящая. Роман из народной жизни в четырех частях. 464 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Адам Мицкевич.** Баллады. Перевод с польского под редакцией М. Ф. Рыльского и Б. А. Турганова. 136 стр. Цена 3 р.

**Адам Мицкевич.** Гражина. 64 стр. Цена 2 р.

**Адам Мицкевич.** Крымские сонеты. Перевод с польского О. Румера. 60 стр. Цена 2 р.

**Н. А. Некрасов.** Полное собрание сочинений и писем. Том VII. 844 стр. Цена 16 р.

**О советской социалистической культуре.** Сборник статей. 372 стр. Цена 6 р. 75 к.

**Ф. Панферов.** Борьба за мир. Роман в двух книгах. 528 стр. Цена 10 р. 25 к.

**Леонид Первомайский.** Избранные произведения. 400 стр. Цена 13 р.

**Поэты Возрождения.** В переводах Ю. Верховского. 292 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Поэзия французской революции 1848 года.** Антология. Переводы Валентина Дмитриева. 248 стр. Цена 7 р. 75 к.

**Франц Прешерн.** Избранное. Перевод со словенского. Под редакцией Николая Тихонова. 124 стр. Цена 2 р. 25 к.

**А. С. Пушкин.** Сочинения. 952 стр. Цена 30 р.

**Сулейман Рустам.** Избранное. 318 стр. Цена 7 р. 25 к.

**Жорж Санд.** Консуэло. Роман в двух томах. Перевод с французского. Том I. 422 стр. Цена 18 р. Том II. 438 стр. Цена 18 р.

**А. С. Серафимович.** Собрание сочинений. Том VIII. 452 стр. Цена 10 р.

**А. С. Серафимович.** Собрание сочинений. Том IX. 204 стр. Цена 10 р.

**С. Н. Сергеев-Ценский.** Севастопольская страда. Эпопея. 788 стр. Цена 16 р.

**Советская Родина.** Стихи ленинградских поэтов, 1917—1947 гг. 384 стр. Цена 12 р.

**Антал Сташек.** О сапожнике Матоуше и его друзьях. 268 стр. Цена 4 р.

**Ян Судрабалн.** Избранное. Перевод с латышского. 332 стр. Цена 8 р.

**Вильям Теккерей.** Ярмарка тщеславия. Перевод с английского. Часть I. 580 стр. Цена 12 р. Часть II. 468 стр. Цена 12 р.

**Л. Толстой.** Воскресение. 502 стр. Цена 8 р.

**А. П. Чехов.** Полное собрание сочинений и писем. Том XIII. 624 стр. Цена 15 р.

**А. Чехов.** Рассказы. 127 стр. Цена 2 р.

**Сандро Шаншишвили.** Избранное. Перевод с грузинского под редакцией Николая Тихонова. 512 стр. Цена 12 р. 50 к.

**Тарас Шевченко.** Стихи и поэмы. В русских переводах. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Степан Шипачев.** Стихотворения. 248 стр. Цена 5 р. 25 к.

**И. Эренбург.** Буря. Роман. 884 стр. Цена 15 р.

**Карел Яромир Эрбен.** Баллады. Стихи. Сказки. Перевод с чешского. 304 стр. Цена 7 р. 25 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**С. Антонов.** Тамара Шкурко. 114 стр. Цена 1 р. 85 к.

**З. Баландина.** Записки вожатой. 148 стр. Цена 5 р.

**С. Бытовой.** Камчатские встречи. 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Ю. Веселов.** Учись фотографировать. 32 стр. Цена 1 р. 25 к.

**А. Гончар.** Земля гудит. 215 стр. Цена 7 р.

**Б. Горбатов.** Мое поколение. 375 стр. Цена 12 р.

**М. Горький.** Детство. В людях. Мои университеты. 552 стр. Цена 18 руб.

**А. Елагина, И. Медведева.** Книга—друг пионера. 155 стр. Цена 2 р.

**И. и Л. Крупениковы.** Докучаев. 280 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Как жили и боролись за свое освобождение рабочие и крестьяне царской России.** В помощь слушателям политшкол. Тема 1. 29 стр. Цена 30 к.

**Великая Октябрьская социалистическая революция.** В помощь слушателям политшкол. Тема 2. 29 стр. Цена 30 к.

**Построение социалистического общества в СССР.** В помощь слушателям политшкол. Тема 3. 38 стр. Цена 40 к.

**Великая Отечественная война Советского Союза.** В помощь слушателям политшкол. Тема 4. 29 стр. Цена 30 к.

**Советское социалистическое общество.** В помощь слушателям политшкол. Тема 5. 30 стр. Цена 30 к.

**Советское социалистическое государство.** В помощь слушателям политшкол. Тема 6. 37 стр. Цена 40 к.

**Д. Леваневский.** Семья Заломовых. 171 стр. Цена 6 р.

**С. П. Любимов.** Комсомольская организация МТС. 92 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Б. Любимов.** Эдуард Фрейбергс. 160 стр. Цена 2 р.

**И. Нонешвили.** Соцветья. 103 стр. Цена 3 р.

**Н. Островский.** Как закалялась сталь. Рожденные бурей. 488 стр. Цена 15 р.

**Е. Пермяк.** Анна Кузнецова. 118 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Е. Пермяк.** Кем быть. 339 стр. Цена 8 р.

**Скованная молодость.** (Как жила и трудилась молодежь в царской России). Сборник. 497 стр. Цена 19 р. 25 к.

**С. Щипачев.** В добрый путь. 62 стр. Цена 2 р.

**И. В. Якушкин.** Севооборот и его значение в поднятии урожайности. 44 стр. Цена 1 р. 75 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**Василий Ажаев.** Далеко от Москвы. Роман. 752 стр. Цена 20 р.

**С. Бабаевский.** Кавалер Золотой Звезды. Роман. 583 стр. Цена 16 р. и 17 р. 50 к.

**Большевики в период первой русской революции.** (Консультации к III главе «Краткого курса истории ВКП(б)»). В помощь изучающим историю ВКП(б). 152 стр. Цена 3 р.

**Партия большевиков в годы подъема рабочего движения перед империалистической войной (1912—1914 годы)** (Консультации к V главе «Краткого курса истории ВКП(б)»). В помощь изучающим историю ВКП(б). 136 стр. Цена 2 р. 75 к.

**М. Бордукова.** Болезни и вредители картофеля. 104 стр. Цена 3 р.

**Высокий урожай на больших площадях.** (Опыт колхоза «Борец»). 128 стр. Цена 4 р.

**Н. Гребнев.** Правое дело. Стихи. 80 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Н. Н. Данилов.** О задачах партийных организаций в связи с новым учебным годом в системе партийного просвещения. 20 стр. Цена 50 к.

**Ж. Евгенийев, Е. Носовский.** Сельский клуб 106 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Ефимов.** Посадка сада. 40 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Иванов. Ю. Тодорский.** Суд в СССР—подлинно народный суд. 44 стр. Цена 1 р.

**П. Каптерев.** По тайге (путевые очерки). 88 стр. Цена 2 р.

**М. Кудряшов.** На агрономическом участке. 74 стр. Цена 2 р.

**Борис Кушелев.** Так рождается мужество. Рассказы. 196 стр. Цена 4 р.

**Ю. Лаптев.** Заря. 260 стр. Цена 8 р. и 10 р.

**В. Столетов.** Начальные основы мичуринской биологии. 56 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Н. П. Фирюбин.** О работе хозяйственных, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций в связи с обращением московских предприятий о сверхплановом снижении себестоимости продукции. 24 стр. Цена 50 к.

### ПРОФИЗДАТ

**К. Алтайский.** Вперед, заре навстречу. 120 стр. Цена 1 р. 25 к.

**М. Ильин и Е. Сегал.** Как человек стал великаном. 536 стр. Цена 18 р.

**М. Кондрашова, И. Тюрин.** На чужбине и дома. 148 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Г. Коновалов.** Университет. 268 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Г. Никитин.** База культуры на Каме. 40 стр. Цена 60 к.

**М. Овсянникова, Г. Зуева, С. Гилевская, Н. Химач.** Женщина, ее жизнь и стремления. (Впечатления о международной женской выставке в Париже). 104 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Ф. Панферов.** Борьба за мир. Роман в двух частях. 460 стр. Цена 16 р.

**В. Пшеницын.** Дни стахановской учебы. 48 стр. Цена 75 к.

**М. Щелоков.** Строители нефтяных машин. 56 стр. Цена 1 р.

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**К. Маркс.** Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. 126 стр. Цена 1 р. 50 к.

**К. Маркс.** Гражданская война во Франции. 55 стр. Цена 1 р.

**К. Маркс.** Заработная плата, цена и прибыль. 66 стр. Цена 75 к.

**К. Маркс.** Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. 150 стр. Цена 1 р. 75 к.

**В. И. Ленин.** Три источника и три составных части марксизма. 16 стр. Цена 15 к.

**В. И. Ленин.** По поводу так называемого вопроса о рынках. 50 стр. Цена 50 к.

**В. М. Молотов.** 31-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1948 года. 36 стр. Цена 30 к.

**М. Волин.** Второй съезд РСДРП 104 стр. Цена 1 р. 30 к.

**А. М. Дьяков.** Национальный вопрос и английский империализм в Индии. 328 стр. Цена 5 р.

**И. Н. Медведев.** Строительство народно-демократической Чехословакии. 94 стр. Цена 1 р.

**А. Ф. Миллер.** Краткая история Турции. 304 стр. Цена 6 р. 50 к.

**О плане ползащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР.** 46 стр. Цена 60 к.

**З. Орджоникидзе.** Путь большевика. Страницы из жизни Серго Орджоникидзе. Изд. 2-е. 272 стр. Цена 5 р.

**О советском социалистическом обществе.** Сборник статей Под ред. Ф. Константинова, М. Каммари и Г. Глезермана (Академия наук СССР. Институт философии). 550 стр. Цена 10 р.

**Г. В. Плеханов.** О материалистическом понимании истории. 42 стр. Цена 60 к.

**Советский Союз и корейский вопрос.** (Документы). Издание Министерства иностранных дел СССР. 110 стр. Цена 1 р.

**Т. Соколов.** Организационно-хозяйственное укрепление колхозов. 128 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Ш. Я. Турецкий.** Внутрипромышленное накопление в СССР. 398 стр. Цена 7 р.

## ДЕТИЗДАТ

**Алладин и волшебная лампа.** Арабская сказка Перевод с арабского и обработка М. Салье. 46 стр. Цена 1 р. 10 к.

**З. Александрова.** Сарафанчик. 10 стр. Цена 1 р. 10 к.

**П. Бажов.** Зеленая кобылка. 62 стр. Цена 1 р. 80 к.

**П. Бажов.** Огневушка-поскакушка. 64 стр. Цена 80 к.

**И. Василенко.** Волшебная шкатулка. 269 стр. Цена 8 р. 70 к.

**Л. Воронкова.** Село Городище. 111 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Л. Воронкова.** Село Городище. 158 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Арк. Гайдар.** Дальние страны. 103 стр. Цена 2 р.

**Арк. Гайдар.** Дальние страны. 103 стр. Цена 3 р. 75 к.

**Арк. Гайдар.** Тимур и его команда. 94 стр. Цена 2 р. 10 к.

**Н. В. Гоголь.** Вечера на хуторе близ Диканьки. 223 стр. Цена 3 р. 25 к.

**Н. В. Гоголь.** Майская ночь или утопленница. Ночь перед Рождеством. 129 стр. Цена 1 р. 70 к.

**М. Горький.** Детство. 258 стр. Цена 7 р. 80 к.

**М. Горький.** Сказки. 31 стр. Цена 50 к.

**В. Гюго.** Гаврош Перевод с французского и обработка для детей Н. Касаткиной. 62 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Жар-птица.** Сборник сказок русских писателей. Составил И. Халтурин. 230 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Л. Кассиль.** Повести и рассказы. 395 стр. Цена 12 р.

**В. Катаев.** Сын полка. Повесть. 223 стр. Цена 3 р. 50 к.

**В. Катаев.** Сын полка. Повесть. 223 стр. Цена 7 р. 10 к.

**Б. А. Келлер.** Дарвинизм и мичуринская школа. 46 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Л. Киселев, Э. Микиртумов, П. Хлебников, Ф. Честнов.** Книга юного техника. 231 стр. Цена 7 р. 80 к.

**Н. Кончаловская.** Наша древняя столица. (Картины из прошлого Москвы). Книга 1. 79 стр. Цена 7 р. 50 к.

**В. Г. Короленко.** Слепой музыкант. 141 стр. Цена 2 р. 30 к.

**Ш. Костер.** Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях от важных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. Сокращенный перевод с французского А. Горнфельда. Консультация профессора С. Сказкина. 360 стр. Цена 12 р.

**Кот и лиса.** Русские народные сказки в обработке А. Н. Толстого. 62 стр. Цена 1 р. 50 к.

**М. Ю. Лермонтов.** Стихи. Сказка «Ашик-Кериб». Со статьей Н. Шер «Михаил Юрьевич Лермонтов». 78 стр. Цена 70 к.

**Д. Медведев.** Это было под Ровно. Литературная обработка М. Белаховой. 240 стр. Цена 10 р.

**В. Одоевский.** Городок в табакерке. 30 стр. Цена 70 к.

**С. Погореловский.** Игрушки. Стихи об игрушках для детей дошкольного возраста. 14 стр. Цена 3 р. 60 к.

**С. Погореловский.** Часы. Стихи для детей. 16 стр. Цена 75 к.

**Л. Савельев.** Штурм Зимнего. О подготовке и проведении Октябрьского вооруженного восстания в 1917 году. 59 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Д. Свифт.** Путешествия Гулливера Пересказ для детей Т. Габбе. 127 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Сестрица Аленушка и братец Иванушка.** Русские народные сказки в обработке А. Н. Толстого. 47 стр. Цена 1 р. 30 к.

**И. Соколов.** Хитрая мышка. 29 стр. Цена 70 к.

**К. Станюкович.** Человек за бортом. 39 стр. Цена 80 к.

**А. Толстой.** Желтухин. 16 стр. Цена 50 к.

**А. Толстой.** Золотой ключик, или приключения Буратино. 128 стр. Цена 2 р. 25 к.

**А. Е. Ферсман.** Занимательная геохимия. Научный редактор Н. К. Разумовский. 304 стр. Цена 15 р. 40 к.

**Е. Чарушин.** Волчишко и другие рассказы. 24 стр. Цена 85 к.

**С. Чудаков.** Игрушки-самоделки. Вып. II. 24 стр. Цена 6 р.

**М. Эйгенсон.** Книга о солнце. 63 стр. Цена 2 р.

## ВОЕНИЗДАТ

**П. Вершигора.** Люди с чистой совестью. 408 стр. Цена 10 р.

**И. Коротков.** Разгром Врангеля. 262 стр. Цена 12 р.

**Е. Лифшиц.** Первая гвардейская танковая бригада в боях за Москву. 258 стр. Цена 10 р.

**О. Моисеев.** Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861 по 1917 год). 576 стр. Цена 30 р.

**В. Некрасов.** В окопах Сталинграда. 340 стр. Цена 6 р.

**П. Павленко.** Счастье. 394 стр. Цена 7 р.

**В. Панова.** Спутники. 288 стр. Цена 6 р.

**Б. Полевой.** Повесть о настоящем человеке. 320 стр. Цена 8 р.

**Е. Тарле.** Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798—1800 гг.). 238 стр. Цена 8 р.

**А. Федоров.** Подпольный обком действующей. 196 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Е. Штейнберг.** Жизнеописание русского мореплавателя Юрия Лисянского. 214 стр. Цена 8 р.

**Научно-популярная библиотека  
солдата и матроса**

**И. Артоболевский.** Русский изобретатель и конструктор Кулибин. 36 стр. Цена 50 к.

**Г. Берман.** Счет и число. 48 стр. Цена 50 к.

**В. Дорфман.** Мир живой и неживой. 44 стр. Цена 50 к.

**В. Ефимов.** Сон и сновидения. 44 стр. Цена 50 к.

**Ю. Кушнир.** Окно в невидимое. 68 стр. Цена 75 к.

**Н. Малов.** Радио на службе человека. 76 стр. Цена 1 р.

**В. Мезенцев.** Ветер. 88 стр. Цена 1 р.

**А. Петербургский.** Основные свойства почвы. 64 стр. Цена 75 к.

**И. Полак.** Время и календарь. 52 стр. Цена 60 к.

**Библиотека солдата и матроса**

**А. Мальц.** Такова жизнь. Рассказы. 96 стр. Цена 90 к.

**Библиотечка журнала «Советский воин»**

**М. Горький.** Макар Чудра. Рассказы. 64 стр. Цена 35 к.

**М. Лермонтов.** Избранная лирика. 64 стр. Цена 35 к.

**А. Мальц.** Порядок вещей. 64 стр. Цена 35 к.

**ГЕОГРАФИЗ**

**В. А. Анучин.** Географические очерки Маньчжурии. 299 стр. Цена 7 р. 60 к.

**Д. М. Анучин.** А. А. Борзов. Рельеф европейской части СССР. 299 стр. Цена 10 р. 60 к.

**Н. В. Башенина.** Происхождение рельефа Южного Урала. 232 стр. Цена 8 р. 30 к.

**Т. В. Власова.** Венгрия. 168 стр. Цена 3 р. 20 к.

**Вопросы географии.** Сборник. Вып. № 8. (Зарубежные страны). 224 стр. Цена 8 р. 30 к.

**Вопросы географии.** Сборник. Вып. № 9. (Ломоносовские чтения). 156 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Вопросы географии.** Сборник. Вып. № 10. (Экономическая география СССР). 219 стр. Цена 7 р. 85 к.

**А. П. Гожев.** Южная Америка. 359 стр. Цена 9 р. 85 к.

**А. Д. Добровольский.** Адмирал С. О. Макаров—путешественник и океанограф. 110 стр. Цена 1 р. 90 к.

**З. Н. Зубкова.** Алеутские острова. 287 стр. Цена 11 р. 50 к.

**П. К. Козлов.** Монголия и Амдо и мертвый город Харо-Хото. 328 стр. Цена 14 р. 50 к.

**П. К. Козлов.** Монголия и Кам. 438 стр. Цена 19 р.

**Г. Г. Манивер.** Экспедиция академика Г. И. Лангсдорфа в Бразилию. 178 стр. Цена 6 р. 90 к.

**Э. М. Мурзаев.** Непроторенными путями. 222 стр. Цена 5 р. 50 к.

**П. П. Семенов-Тянь-Шанский.** Путешествие в Тянь-Шань. 380 стр. Цена 12 р.

**Л. К. Чуковская.** Н. Н. Миклухо-Маклай. 70 стр. Цена 1 р. 15 к.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**А. Гражданцев.** Корея. Перевод с английского З. А. Рыбниковой под редакцией и с вводной статьей В. Т. Зайчикова. 448 стр. Цена 26 р. 15 к.

**Петер Илемницкий.** Хроника. Авторизованный перевод со словацкого Н. Аросевой и В. Чешихиной. Предисловие Б. Полевого. 362 стр. Цена 9 р. 25 к.

**Э. Синклер.** Между двух миров. Роман. Сокращенный перевод с английского. 552 стр. Цена 24 р. 60 к.

**Г. Форман.** В Новом Китае. Репортаж. Сокращенный перевод с английского С. И. Слепак. Вступительная статья В. Владимировой. 230 стр. Цена 12 р. 25 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК  
СССР**

**В. Г. Белинский.** Литературное наследство. Том 1. 610 стр. Цена 57 р.

**Е. Э. Бертельс.** Роман об Александре и его главные версии на Востоке. 186 стр. Цена 13 р.

**С. Л. Зивс.** Современный уголовный суд присяжных в Англии. 106 стр. Цена 6 р.

**Исследование по психологии восприятия.** 432 стр. Цена 23 р.

**Э. Кабэ.** Путешествие в Икарию. Том II. 648 стр. Цена 20 р.

**М. Ломоносов.** Собрание сочинений. Том VIII. 472 стр. Цена 45 р.

**А. М. Ляпунов.** Избранные труды. 540 стр. Цена 32 р.

**Л. И. Мандельштам.** Собрание трудов. Том 1. 352 стр. Цена 21 р.

**В. А. Обручев.** Мои путешествия по Сибири. 274 стр. Цена 16 р.

**П. В. Черепнин.** Русские феодальные архивы XIV—XV вв. 472 стр. Цена 40 р.

**М. Ф. Шостаковский.** Алексей Евграфович Фаворский. 98 стр. Цена 4 р. 50 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**Александр Александрович Борзов (1874—1939).** Биографический очерк А. И. Соловьева. 40 стр. Цена 3 р.

**Федор Александрович Бредихин (1831—1904).** Биографический очерк проф. С. В. Орлова. (Серия «Замечательные ученые Московского университета»). 40 стр. Цена 3 р.

**Алексей Петрович Павлов (1854—1929).** Биографический очерк проф. А. Н. Мазаровича. (Серия «Замечательные ученые Московского университета»). 40 стр. Цена 3 р.

**С. П. Толстов.** Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. 338 стр. + 88 стр. с таблицами. Цена 40 р.  
**Труды кафедры русской литературы.** 238 стр. Цена 12 р.

**«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»**

**Л. Былеева, М. Таборко, С. Шитик.** Игры и развлечения колхозной молодежи. 104 стр. Цена 3 р. 25 к.

**Проф. М. Ф. Иваницкий.** Анатомия человека. 810 стр. Цена в переплете 17 р.

**А. В. Карягин и Г. М. Соловьев.** Учебник автолюбителя. 208 стр. Цена 7 р. 80 к.

**И. Куперман.** Матч на первенство СССР по шахкам 1947 г. 36 стр. Цена 1 р. 30 к.



На стр. 255, в части гиража, по вине типографии, вкралась опечатка: перепутан инициал автора рецензии «Поэма о Коммунистическом Манифесте». Следует читать: Ан. Тарасенков.

**Главный редактор Константин Симонов.**  
**Редколлегия: Борис Агапов, Валентин Катаев,**  
**Александр Кривицкий (зам. главного редактора),**  
**Константин Федин, Михаил Шолохов.**

Редакция: Москва, в. Пушкинская площадь, 5. (Почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1.

Сдано в набор 19/XI-48 г. Подписано к печати 22/XII-48 г.  
А 02171 Объем 19¼ п. л. Тираж 63.300. Заказ № 2343.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени  
И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 9 руб.